

МАРИЯ

КОРЯКИНА-
АСТАФЬЕВА

ЗНАКИ
ЖИЗНИ





**Комитет по делам культуры и искусства
администрации Красноярского края
Красноярский краевой краеведческий музей
Союз товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского края**

МАРИЯ

**КОРЯКИНА-
АСТАФЬЕВА**

**ЗНАКИ
ЖИЗНИ**

Красноярское
книжное издательство
1994

ББК 84.Р7
К 70

*Книга издается
в авторской редакции*

К 70 **Корякина-Астафьева М.С.**
Знаки жизни. — Красноярск: Кн. изд-во, 1994.
—384 с.

ISBN 5-7479-0601-1

Книга «Знаки жизни» писательницы М.С. Корякиной-Астафьевой — документально-художественное повествование о жизни и творческой деятельности известного русского писателя В.П. Астафьева, о его семье, о родственниках и друзьях.

4702010201-005
К М 147 (03) - 94 94

ББК 84.Р7

ISBN 5-7479-0601-1

© Красноярское книжное издательство, 1994
© Красноярский краевой краеведческий музей, 1994
© Оформление. Е.Б. Юринский, 1994

От автора

Книга моя — мои мемуары, в ней нет ничего придуманного, не искажены и не переиначены события, случаи, ситуации — все достоверно. Название книги пришло не сразу. Думала много — хотела, чтоб название было в полном соответствии с повествованием. Предполагала назвать «Муки и радости», «Тоскующая память», «О нашей жизни» и т.д. Остановилась на «Знаках жизни». Наша жизнь уникальна, как, наверное, уникальна, неповторима жизнь у многих людей.

«Знаки жизни» — это повествование о днях, годах, делах-заботах, муках и радостях. Все подробности нашей жизни не вместит никакая книга, а «знаки» — это свидетельство, что в книге описаны избранные ее периоды, и о том, о чем я вспоминаю со светлой печалью, — все уже позади, о чем-то вспоминаю без удовольствия, но и такое было. Очень многое уже из рукописи осталось «за бортом», вошли только «знаки» — отдельные отрезки времени и жизни, прожитые и пережитые нами с Виктором Петровичем за сорок восемь лет. Позади большая жизнь, впереди осталось мало, и этот остаток жизни я пытаюсь прожить как можно рациональней. Я хотела написать книгу о девочках — моих спутницах на войне, — не написала: не выбрала времени; хотела написать о чудесном человеке — моей тете Тасе, — успела лишь опять же только отдельными «знаками», не сказала многим дорогим мне людям хорошие сердечные слова — опоздала. В книге старалась сказать о родных и близких, поскольку из нашей большой семьи в живых осталась я одна, но сказала тоже выборочно и кратко.

В заключение хочу сказать: «Верьте мне, люди, знакомые и незнакомые, — все, о чем я рассказала в книге, — правда».

Я спешу, по возможности, сделать то, чего не сделала в прожитой жизни, не успела даже не из-за перегрузок бытового толка, обстоятельств и многого такого, перед чем мы — рабы, в душе бунтующие, однако бессильные и покорные. Правда, далеко не с той уж прытью, но сделаю возможное. Китайцы утверждают: «Не бойся медлить, бойся остановиться». Так и я. Еще сожалею, что не дано нам о чем-то пожалеть загодя...

Мария Корякина-Астафьева

Мне никогда еще не снилась старость.
Мне кажется, она — венец всему,
Когда свершилось все, о чем мечталось,
Когда бездельность сердцу и уму.

Мне кажется, бездельно, беззаботно
Наступит день (не скоро, не теперь)
Я за собой сама прикрою плотно
Беззвучно обесцвеченную дверь.

Сама скажу: огни уже не светят,
Цветы не пахнут, птицы не поют,
Ни горя нет, ни радости на свете...
Возьми меня, безлика, в приют.

И станут тонко гладенькие спицы
Разматывать пушистые клубки...
Ничто не потревожит, не приснится...
Но отчего ж так плачут старики?!..

Л. Сазонова



Ура!

I

Я еще в детстве не раз и не два видела и знала, что плачут старики, особенно старушки: то из детей кто заболел, то с животиной что случилось или, не дай Бог, умер кто. Да мало ли...

Но завтра, даже уже сегодня, я знаю, как горько и безутешно будет плакать моя мама, и я буду тому виной...

Завтра я уеду на войну. Пятая из семьи. Пятая!.. Как это пережить даже здоровому и молодому еще человеку, уходящему на войну, где убивают? Как пережить провожающим на войну кормильца, который тоже может пасть от пули или снаряда (да какая разница?!). А тут вот я...

Надо ли говорить, каким убийственным горем обрушилась на людей война. Наша большая семья не станет исключением и начнет быстро редеть. Я сразу же поступила на курсы медицинских сестер, которые скоро открылись при городской поликлинике.

Днем и ночью из города стали отправлять эшелоны часто обмундированных уже солдат. На стадионе металлургов маршировали и готовились к отправке взводы и роты мобилизованных. Командиры под крики, плачь и надрывно

пиликающие гармошки зачитывали приказы, проверяли личный состав, подавали команды.

В кинотеатре беспрерывно играла музыка; в зрительном зале бесплатно демонстрировались фильмы: «Девушка с характером», «Волочаевские дни», «Трактористы», «Сердца четырех», «Моя любовь» и еще какие-то — для добровольцев, уезжающих на фронт.

В фойе вдоль стен толпилась молодежь. На крохотной эстрадной площадке разместились оркестранты и играли, играли танцевальные мелодии. В середине зала, толкая друг дружку, любители танцевать кружились в вальсе, притопывали и шаркали ногами в фокстроте или медленно покачивались, танцуя танго.

В фойе пришли многие из сотрудников поликлиники, кто был свободен от работы. Пришла и я вместе со всеми, с кем перезнакомилась и сдружилась за время учебы на курсах медсестер. Еще бы! Сегодня вместе с другими добровольцами-медиками провожали на войну и фельдшера «Скорой помощи» Васю, мечтавшего стать хирургом. О Васе часто говорили, что он краса и гордость коллектива! А может быть, и всего небольшого городка — его же знали и уважали все люди, здесь живущие.

Вася в белой рубашке-апаш, в белых, парусиновых, модных перед войной, брюках, все танцевал, танцевал... Волнистые каштановые волосы падали то и дело на правую его бровь, и он неповторимо изящным движением головы чуть откидывал их с гладкого, вспотевшего уже лба; в карих глазах влажность, полные губы все время в улыбке и оттого ямочки на щеках обозначились резче. И это выражение его лица, и легкость в движениях делали Васю просто неотразимым.

Я тоже переступала на месте в такт музыке: с притопом, когда играли фокстрот или румбу, мысленно скользила, вытанцовывая па из «Утомленного солнца», кружилась в вальсе, сама же все смотрела и смотрела на Васю, с кем бы он ни танцевал, видела только его, разгоряченного, неутомимого, такого отчаянно веселого.

Дверь в зрительный зал не успевала закрываться, желающих танцевать все прибавлялось. В переполненном фойе уже несколько раз то в одном месте, то в другом вспыхивал плач, в танцах получался сбой, и тогда оркестранты «перестраивались» — Амурские волны» сменялись «Андрюшей» или «Рио-Ритой», — и кавалеры со своими барышнями танцевали фокстрот. Веселье продолжалось: здесь сегодня добровольцы

веселились перед дальней и горькой дорогой, и они, и провожающие не давали волю отчаянию и слезам перед разлукой.

Духовой оркестр играл без передышки. Музыканты, то один, то другой, отложив инструмент, отходили к открытому окну, курили, наблюдали за прощальным весельем и, искутив «Прибой» или «Пушку» до картонки, кидали окурки в урну и возвращались на место.

Мне тоже очень хотелось танцевать, меня приглашали, но я, сама не понимая отчего, отказывалась, говорила: «Не умею. Извините» — и все стояла, все с любованием наблюдала за Васей. И мне уж боязно сделалось: не убили бы Васю на войне, не покалечили бы такого молодого и красивого, такого невозможно удивительного, в которого были влюблены почти все. Слышала, будто бы в военкомате не советовали ему торопиться на фронт, мол, медики и в тылу нужны, бронь предлагали. Он настоял на своем! Да и возможно ли иначе? Это же Вася!

Неожиданно оркестр заиграл старинный танец па-де-спань. Танцующие начали расходиться кто куда. Вася оставился посреди зала, отыскивая взглядом, кого бы пригласить на этот танец. Девчата с сожалением пожимали плечами — па-де-спань танцевать они не умели.

А я... Я через силу сдерживала себя, чтоб не ринуться на середину зала, не крикнуть: «Вася! Я очень хорошо танцую па-де-спань! Очень люблю этот танец. Пригласи меня, пожалуйста! Ну, посмотри же в мою сторону — неужели не видишь?..» Я даже губы закусилась, чтоб не вскрикнуть радостно, что играют мой любимый танец, вся напряглась и все-таки, как вкопанная, стояла на месте и не спускала с Васи глаз.

Вася, видимо, почувствовал мой взгляд, повернулся, увидел и радостно раскинул руки, двинувшись ко мне. И тут уж я не устояла! Вспыхнув лицом от смущения и счастья, сама вышла ему навстречу, посмотрела пристально в глаза, чтоб удостовериться, что именно меня Вася приглашает на па-де-спань, положила ладонь ему на плечо, другую — на его протянутую руку, чуть откинула голову — так полагается — и, уже не видя ничего вокруг, кроме Васи, вошла в танец. Когда после пробежки сначала в одной сторону, затем в другую Вася брал меня за талию и начинал кружить, я чувствовала себя птицей, легкой и свободной, и почти не касалась пола, выстланного красно-белой кафельной плиткой. Юбочка в складку развевалась, тонюсенькая розовая кофточка с рукавом-фонариком, которая мне очень к лицу, — так говорили подруги, — не

стесняла движений, и я млела от мысли, что все на нас смотрят с интересом, может, даже и завидуют некоторые...

Вася смотрел мне в глаза, легонько сжимал мою маленькую ладонь и, сломив брови, чуть щурился, преодолевая что-то в себе — глубокую ли печаль или недобрые предчувствия, и чуть слышно напевал мелодию танца.

Оркестр замедлил темп, собрался закончить играть па-де-спань. Вася, почувствовав это, весело попросил:

— Братцы! Дайте душу отвести! Поиграйте еще! — И как-то по-особенному посмотрел на меня: — Эх, Машенька! Со мной такое сегодня творится!.. Уж к добру ли? Танцую, а сам думаю: «Вот еще один танец, последний — и все! Пойду домой, побуду еще с мамой. Она там одна, плачет...» А во мне все поет, Маша! Я сам себя не узнаю! — Снова пробежка, сначала вперед, затем обратно, и снова кружение. — А ты где так танцевать-то научилась?

— А давно, еще в детстве. Взрослые танцуют, и мы тоже — отбежим в сторону и ну вытанцовывать! Да еще и подпеваем себе:

Па-де-спанец — хорошенький танец!
Его очень легко танцевать.
Только ножку поднять и кружиться.
А потом танцевать, танцевать...

Вася подхватил меня, закружил и весело запел: «Па-де-спанец — хорошенький танец...»

Музыка враз смолкла. На эстраду вышел человек в военном:

— Товарищи добровольцы! Прошу выходить на построение!

Вася давнул мою руку и устремился к выходу. Я отчего-то не ринулась вслед за всеми, а отошла к эстраде, где простояла почти весь вечер, и, приподнимаясь на цыпочки, стала отыскивать Васю глазами. Но народу тьма, и все выше меня. Недолго думая, я взобралась на эстраду и скоро в толпе нашла Васю. И тут почувствовала, как подкашиваются у меня ноги, сердце пронзительно заныло, и тогда, не помня себя от обиды, непонятной и глубокой, с отчаянием крикнула:

— Вася! Проща-ай!

Вася расслышал мой вскрик, обернулся, увидел и, усиленно работая локтями, ринулся против людского потока.

— Маша! Машенька! — еще издали, перекрывая общий гул, торопливо заговорил он. — Спасибо тебе... за па-де-спань! Ты не забывай этот вечер! Не забывай наш танец! Меня не

забывай!.. Ну, Маша, прощай! Ты славная девушка. Прощай, Машенька! — Вася подхватил меня под мышки, ссадил с эстрады на пол, крепко поцеловал, повернулся и быстро пошел к выходу. У дверей оглянулся, поднял руку. — Пока, Маша! — крикнул он громко. — Кончится война, мы еще потанцуем...

Так и живет в моей памяти Вася — фельдшер «Скорой помощи», тихо, печально и светло затаилось на самом днышке моей, такой юной когда-то души... моя ли вина, что никогда его не забуду... его ли вина, скорее — судьба, что он никогда уж больше ни со мной, ни с какой другой девушкой не станцует па-де-спань... ни к кому не придет на помощь в крайнюю минуту...

* * *

Первым из нашей большой семьи уезжал на войну брат Анатолий, недавно отслуживший кадровую службу. Он родился 23 февраля 1916 года. Был высок ростом. Голубые (мамины) глаза и слегка румяные щеки придавали его лицу нежность, но ямочка на подбородке и прямой нос говорили о твердости характера. После школы поступил учеником проектировщика на завод, на «Стан 370» — прокатный цех такой был — хорошо себя проявил, его направили на двухгодичные курсы, он их успешно закончил и последнее время замещал уже главного конструктора.

В канун отправки на фронт Толя как бы поставил условие, чтоб не голосили, не плакали — мы компанией отправились в городской сад.

Вслед за Анатолием, на которого пока еще не было похоронки, на одной неделе из нашей семьи призвали на фронт старшего из братьев — Сергея. Вернее, не призвали, да и не призвали бы — он страдал грыжей, — но он раза три ходил к военкому, доказывал, что может быть топографом, политруком, поскольку грамотой владеет, начитан, положение, в каком находится страна, понимает и потому считает, что в данное время он там нужнее, а уж чему быть — того не миновать... Убедил он военкома.

Мама жила через силу, вела хозяйство, содержала корову. Папа по-прежнему работал составителем поездов на станции, хотя крепкое когда-то здоровье его сильно было подорвано перенесенной болезнью — брюшным тифом.

Я сколько буду жить не забуду, как он тяжело болел, как долго и трудно выздоравливал, как тяжело и горько переживала эту беду наша семья. Папе дали бронь, вернее, рекомендо-

вали легкую работу, но легкой работы в ту пору не было, так и работал, иногда через смену, иногда сутки через сутки.

Уставал, недоедал, но пытался помогать и по хозяйству: шутка ли — сразу двух работников, двух сыновей-помощников лишиться!

Я в ту пору работала лаборантом на металлургическом заводе в центральной лаборатории. Когда открылись курсы обучения на медсестер я, естественно, сразу же на них и записалась — тоже не подумала о том, что теперь и вовсе ничего не смогу помогать по дому: уходила рано, приходила поздно. Через два с половиной месяца успешно их закончила, получила удостоверение, что мне присвоено звание медсестры, вроде второй категории — научилась делать уколы, различать рева-ноль от йода, накладывать жгуты, делать перевязки и еще немного из того, что должна знать и уметь медсестра. Мама без восторга встретила это мое сообщение, не плакала, и не расспрашивала, что да как и как теперь будет?

Оформиться на работу на заводской здравпункт медицинским статистиком я не успела — вызвали повесткой в военкомат. За столом сидел пожилой майор, очень похожий на папиного друга — Евдокима Кузьмича. Поздоровалась, подала повестку. Он быстро прочитал, коротко расписался и подал мне другую:

— Это вам направление для работы медсестрой в развер-тывающийся эвакогоспиталь 2569, обратитесь в канцелярию, представьтесь. Желаю успеха!

Госпиталь располагался в двухэтажной, многооконной школе, стоявшей чуть в отдалении от железной дороги.

Увидела меня в канцелярии светлокудрая, сероглазая, веселая отчего-то женщина, кивком пригласила к своему столу.

— Я вас слушаю, — и, не дождавшись, пока я объясню, взяла направление, прочитала, оглядела всех и меня тоже, затем позвонила: — Елизавета Петровна! К нам вот еще пришла медсестра, с направлением из военкомата, — послушала, покивала, но тут же уверенно ответила: — Но у нас, Елизавета Петровна, медсестер уже полный комплект. Что? Чтоб к вам зашла? Хорошо. Она сейчас придет. — Спросила, какие при себе имею документы, взяла и паспорт, и трудовую новенькую книжку, вложила в нее согнутое вдвое направление и объяснила, как пройти к начальнику госпиталя.

Елизавете Петровне на вид было лет сорок пять, лицо простоватое, но на первый взгляд, светло-голубые глаза добры и пронзительны, волосы обесцвечены, пергаментная завивка

очень к лицу, голос низкий, меж пальцев зажата недокуренная сигарета.

— Ну, здравствуй, Маруся! Ничего, что я сразу так? Да ведь нам вместе работать, почти жить. Привыкай. — И сообщила мне, что я буду заведовать медицинской канцелярией, заниматься документами, оформлением, кого на выписку по чистой, кого в запасной полк, кого на фронт... Протоколы вести на медкомиссии. Подумала, в окно посмотрела, затянувшись сигаретой. — В общем, Марусенька, работы будет много. Раненых пока нет. Ждем. А пока — подготовка: красим кровати, моем окна, готовим постели, палаты. В общем, не пугайся, не робей, но и дело знать и исполнять надо будет как положено. А пока... — она широко улыбнулась, обнажив золотые зубы. — А пока мы с тобой пообедаем — пробу снимать будем, — позвонила и сказала кому-то, чтоб принесли обед на двоих.

Дома я подробно обо всем рассказала, что и как. Мама не плакала, даже со вздохом сказала тихо, как бы подумала, мол, может, которого и из наших привезут... пусть израненного, только бы живого.

Когда я пришла домой, вижу: за столом сидит брат Валя, серьезный, насупленный, в серой куртке с фигурной коричневой кокеткой, молния застегнута до воротника, короткая челка козырьком «зализана» слева надо лбом. Это у него с детства. И у брата Анатолия — так же. По другую сторону большого, когда-то по семье стола сидит заплаканная мама.

Я еще не успела подумать или спросить, что случилось, только поздоровалась, под села к Вале рядом, кивнула на еду, спросила: «Может поделиться?» Он отказался, я съела ломтик хлеба с зубчиком чеснока, выпила забеленный молоком чай — это было оставлено мне на ужин. Тогда мама и сообщила:

— Вальку тоже на войну отправляют, — ткнула лицом в ладони и с сипом заплакала.

Брат Валя родился в феврале 1924 года. Светловолосый, чуть конопатый около небольшого, чуть вздернутого носа, не пел, не кричал громче всех, когда играли на улице, вообще, был тих и даже застенчив, не слышно его и не видно. После шестого класса тяжело болел и год пропустил, затем поучился в школе рабочей молодежи и прирабатывал как ученик художника в кинотеатре — рисовал простенькие афиши. Затем окончил ремесленное училище и его направили работать электриком в вагонное депо на станцию Верещагино... Оттуда и вызвали его повесткой из военкомата — призвали на войну.

А я — ох и умна же еще была! А может, успела не то, чтобы привыкнуть, а смирилась, что на войне столько народу,

что и раненых уже некуда класть, чтоб лечить... А убитых сколько — и представить невозможно. Но в наш дом не пришло ни одной похоронки, и потому думалось: может, нас минует эта беда — не всех же убивают...

— Сегодня к нам в госпиталь поступило много раненых, едва разместили. Начальник медсанчасти сказала, что завтра-послезавтра будут комиссовать — кого куда...

Почувствовав мамин пристальный горький взгляд, мол, хоть бы при парне-то не рассказывала, я смолкла. Спросила, к сколько часам и куда велели приходить на сбор, еще маленько посидела. Мысли, что видимся с братом последний раз, не было. Сказала ему, чтоб при возможности писал, маме велела разбудить меня — тоже пойду провожать, а пока маленько посплю... Легла и сразу как провалилась — уснула.

Проснулась — ни Вали, ни мамы уже не было. На часах без пяти семь, к восьми мне на работу. Посожалела и пошла в госпиталь.

Он только одну ночь ночевал дома, а рано утром их отправили. Получили от него единственное краткое, пока даже без адреса, письмо, что везут их в сторону Ленинграда.

Больше я брата своего Валу не видела и на единственное его письмо, из-за отсутствия адреса, не ответила.

Позже, уже много времени спустя, наверное, с полгода прошло, когда получили сообщение, что боец Корякин Валентин Семенович 1924 года рождения пропал без вести...

Мама, оплакивая его, все причитала: «Валя ты Валя! Бедный Валя, горемычный... жили в бедности, ты так и костюм не поносил, не понаряжался, не погулял...»

Я и тогда, и после — все эти годы, сколько живу, все винюсь: чужих встречала и провожала, а вот брата родного не встретила, не проводила, теперь уж не увижу никогда.

Такая короткая, безрадостная, безжалостная и жестокая ему выпала жизнь...

Уже два брата ушли из жизни не по своей воле, по приказу ушли на смерть — умереть за победу...

В феврале сорок третьего года призвали на войну и четвертого моего брата — Азария.

Но до фронта он так и не доехал — сильно разболелись глаза, и его демобилизовали домой по чистой...

Однажды сидел он на зеленой бровке у третьего магазина, где останавливалась электричка. Долго ли ждал — кто знает? То ли на солнце перегрелся, то ли обморок приключился — откинулся на спину. По одну сторону сетка с продуктами, по другую — капроновая шляпа, часы на руке, все при нем... Про-

ходившие мимо люди, видать, думали, что спит, либо пьян. Когда подобрала его «скорая помощь» и доставила в больницу — спасти уже не могли.

* * *

Однажды заместитель начальника госпиталя по политчасти собрал медсестер и санитарок, в общем, весь молодой обслуживающий персонал и призвал добровольно идти на фронт, подавать заявления. Я была секретарем комсомольской организации, и он после беседы велел мне зайти к нему в кабинет. Помню, что говорил о положении на фронтах, о катастрофической нехватке бойцов, особенно медперсонала, и чтоб я поговорила доверительно и убедительно с кем смогу и что было бы лучшим убеждением в этом важном мероприятии — это личный пример. В заключение утвердительно сказал, что я свободна, что я все поняла и что могу идти.

Я написала короткое заявление на имя замполита госпиталя и в конце рабочего дня, лучше сказать — на пересменке, потому что многие работали в разные смены, собрала в своей медканцелярии кого смогла, сказала, что долго не задержу, но дело важное — и зачитала свое заявление, а затем через некоторую паузу предложила, что если кто желает последовать моему примеру и помочь Родине в трудный час, чтоб тоже подавали заявление...

Через три дня в госпиталь поступили четыре повестки и одна из них была на меня...

Домой я шла, наверное, часа два, хотя нормального ходу было минут пятнадцать, все старалась придумать, как бы обо всем этом сказать маме так, чтоб поменьше причинить ей горя, и без того уж закаменевшей от напастей и бед.

Была ранняя весна 1943 года, начало марта. Улицы освещены плохо, с крыш капало, снег, изъеденный сажей, почти сошел, под деревянными тротуарами хлюпала вода, приступала в щели. Возле детского садика на еще голых тополях, будто старые гнезда, зловеще замерли вороны, в иных дворах изредка, как бы досадуя на ненастье, лаяли собаки. Сыро, мрачно, неприятно было вокруг и холодно внутри.

Пришла домой, разделась, приспособила мокрую обувь к не остывшему еще шестку, вымыла руки, коротко побренчав рукойошником, съела кусок хлеба — норму — со стаканом молока, оставленные мне на ужин, и залезла на печь. Мама щепала лучину на растопку, папа, скудно поужинав, уже в рабочей спецовке собрался в ночное дежурство — скрутил

цигарку, но раскуривать медлил, обычно он раскуривал ее перед самым выходом из избы, чтоб не дымить дома. Все спали, вольно раскинувшись на широкой постели, разостланной на полу. Калерия еще не пришла с работы — она тоже с недавних пор работала во вновь открытом госпитале в бывшем железнодорожном клубе бухгалтером.

— Мама... Мам... — заговорила я виновато. — Меня на фронт отправляют... Ну, не отправляют... добровольно я...

Мама невидящими глазами посмотрела в мою сторону, выронила из рук нож, сильно дагнула себя в грудь, зажав лицо руками, пошла в сенки, как в пустоту...

Папа заложил изготовленную большую, как карандаш, сигарку за ухо, в задумчивости погладил колени, кашлянул, посмотрел на разоспавшихся ребят и не то спросил, не то сказал как бы сам себе:

— На пече-то тепло?

— Тепло, — согласно отозвалась я чуть слышно...

— Значит, на войну собралась? — помолчал. — Ну, надумала, дак че сделаешь? Поезжай... А теперь слезай с печи-то да в огород ступай, в ручье полежи, сколь стерпишь... На войне мало того, что все это есть, дак еще и стреляют... убивают друг дружку... — Еще посидел маленько, тяжело поднялся, взял стоявший у порога фонарь, оглянулся на печь и, ни слова более не сказав, вышел из избы, впусив по низу холодный воздух.

Поезд уходил рано утром. Мама молча, с сухими уже глазами, с резко проступившими красными прожилками на лице и угольно-черными губами, сидела на лавке у торца стола. Когда я умылась и собралась ее обнять, повиниться, то она лишь дотронулась до моей спины, до головы, взглядом показала на часы и пододвинула ко мне прикрытую полотенцем тарелку с горячими еще пресными шанежками из пшенной каши и стакан молока. Вот тогда я по-особенному почувствовала-поняла, отчего же плачут старики! Давясь, ела эти шанежки, которые мама — я не слышала когда она топила печь, стряпала и поливала их, эти незабвенные пшенные шанежки, горячими слезами вместо сметаны... Я съела две, чтоб досталось по шанежке всем, но мама завернула оставшиеся в тряпицу и осторожно положила сверху в старенький солдатский вещмешок, выданный мне в госпитале. Там же мне дали и телогрейку из БУ, мол, возможно, даже в пути переобмундируют и все домашнее выбросят — кому оно нужно там, на фронте?..

В Перми в вагон подсели девчата- пермячки и из районов. До Москвы мы ехали уже почти укомплектованным подразделением — так мне тогда думалось. В Москве на вокзале нас

почему-то встречал лейтенант в обмундировании летчика. Когда поезд остановился и мы вышли из вагона, услышали громкий оклик: «Девушки, будущие военнослужащие, прибывшие из Перми, просьба подойти к тупику третьей платформы и никуда не расходиться.»

Летчик наш шел впереди, шага на три, опустив голову и, наверное, недоумевал, за что ему такое наказание — сопровождать этих полудеревенских девок, которым отчего-то не сиделось дома и не терпелось добить врага в его берлоге?!,

Мы снова ехали в поезде, в общем вагоне, тесно разместившись на полках, особенно на нижних, проезжали мимо полуразрушенных, а то и дотла уничтоженных селений и маленьких городов. Проехали город Клин, даже не город, а землянку-шалаш с прибитым к деревянному щиту на невысоком шесте, и на щите, том смолой или углем было написано «г. Клин» и желтенько светила одинокая лампочка.

В Калинин нас высадили, и мы долго стояли, как бы прижавшись к уцелевшей от разбитого здания стене, и она покачивалась, и всем нам казалось: вот-вот она покачается еще маленько и рухнет, и завалит нас, юных защитниц родины, которые еще и форму военную не поносили и никаких подвигов не совершили... Было раннее утро, улицы пустынные, немногие из домов казались жилыми, большинство с выбитыми окнами, с провалившимися крышами... Часто проходили туда-сюда военные машины, затем промаршировала откуда-то взявшаяся рота моряков и громко, разногласно, но угрожающе запела: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!...» У меня мороз пошел по коже, и я тогда, хотя все еще отдаленно, но поняла, что близко война, фронт. Вскоре за колонной моряков быстро промчались две грузовые машины, в которых куда-то везли мертвых людей, и они, мертвецы, не были уложены, как дрова и штабеля; а плотно составленные стояли на ногах, и были они не в военной форме, а голые, в большинстве женщины с остекленевшими глазами, оскаленными ртами и развевающимися растрепанными волосами!..

Это был ужас! Первый, неописуемо жуткий ужас и страх, пережитый мною в той далекой, прифронтовой полосе, который даже теперь, спустя столько лет, при воспоминании, льдом покрывает кожу...

Нас то соединяли, то разъединяли, то мы были в Вышнем Волочке, то в Бологом.

Обмундирование подбиралось тоже не просто, ведь были среди нас и толстые, и худые, и высокие, и низкорослые — все как в жизни. Сапоги мне достались самые маленькие — как

объяснил старшина — 38 размера, вместо тридцать третьего! Нетрудно представить, как я в них себя чувствовала, особенно смотреть на меня со стороны. Нас — не знаю, зачем и почему — очень часто заставляли заниматься строевой подготовкой, и с этим делом у меня было не просто плохо, а из рук вон, хотя я и старалась, как могла и умела. Какое-то время мы были одеты в брюки и гимнастерки, большинство портянки наматывать как следует не умели, но у меня все-таки был некоторый опыт, потому что в детстве нам папа плел лапоточки, легкие и мягкие и как бы по размеру мы наворачивали старенькие холщовые, бывшие посудные, значит, узенькие и недлинные полотенца, и ходили в этих обутках на покос и по ягоды. Но под большой размер сапог мне никаких казенных портянок не хватало, и я наматывала, что имелось и что хоть сколько-то помогало, вплоть до носовых платков, а после приновилась: подрезала солдатскую нижнюю рубаху, разделила отрезанную полосу по боковым швам на две половины и пускала в ход. Но во время занятий строевой — когда: «выше ногу, тверже шаг!» — на икрах обмотки не разматывались, зато носок сапога «гулял» туда-сюда — как хотел! Я слышала ту же команду: «Отставить!», но все повторялось, как я ни старалась: опять нога выше, а носок куда хотел, туда и вихлял. Я и наряды получала, и отдельно, «на людях», как говорится, меня подолгу гоняли, только толку все равно было мало, зато всем было весело, все смеялись, не проявляя никакого ко мне сочувствия, я терпела не только обиду, но и унижение. У меня ночами нестерпимо болели ноги, мижжали, как сказал бы папа.

И уже в Коростене, куда была дислоцирована наша часть и где нам стали — так удивительно, трудно и поверить, но так было! — курящим выдавать легкий табак, а некурящие могли получать по две пачки галет. Я, никогда не курившая, стала копить табак, и за табак сапожник-еврей мне перешил сапоги, подогнал по размеру — из больших маленькие сделать легче, чем наоборот! Вот уж тогда я, как говорится, стала «гарцевать», еще не ведая беды иной, меня уже подкаруливавшей.

Нас по-прежнему часто заставляли «маршировать», то есть ходить строевым шагом. Условия в Коростене были лучше, нас расквартировали по пустующим квартирам, то есть, поскольку фронт был ближе, то население, взяв необходимое, вместе со скотом уходило в укрытия, говорили — в леса. Мы расположились в просторной кухне. В дальнем углу настелили на пол соломы, старшина дал две палатки, чтоб накрыть ее вместо простыней. В летней избушке с провалившимся потолком взяли подушки, пообсушили на солнце, когда оно показы-

валось, там же взяли одеяло, стеженное из разноцветных клинышков, освободившись от работы и, если не бомбили, зажигали керосиновую лампу, висевшую над столом и писали письма, упочинивались, тщательно осматривали нижнее белье, потому что насекомые, называемые вшами, хоть и меньше, чем в Завторце, но еще водились, и мы с ними боролись как могли: снимали со стены лампу, устраивали ее на табуретке, снимали стекло и прожаривали швы, особенно у лифчиков. Сидим, бывало, среди ночи, как обнаженные махи. Окно занавешено — свет на улицу не проникает, и у каждой вокруг груди розовые болезненно зудящие ободки — вши накусали, таким же манером прожаривали и ворота гимнастерок.

Мы и письма писали при слабеньком свете лампы. Писали второпях, поскольку посыльный, проходя перед нашими домами, свистел, засунув два пальца в рот, что означало, что скоро и к нам зайдет, а ждать он не любит, встанет на пороге распахнутой в избу двери, сапогами упрется в притвор, а спиной навалится на косяк и все торопит: «Девки! Быстрей! Ждать не стану, уеду и тогда ваши предки срóду писем не дождутся!..» — закуривал, скучающим взглядом обводил помещение, двор, нас и спустя короткое время снова: «Девки, пишите скоряя! Ждать не стану! У меня еще дел этих его-го-го! И везде ждут!..»

И мы торопились, писали о главном, о том, о чем можно писать, — уж это-то мы знали точно! Но ведь написать — одно дело, но надо же еще, чтоб чернила высохли, иначе размажется — и всем колхозом не разобрать. Значит, сушили чернила тоже над копилкой — от лампы свету мало, ярче нельзя, «рама» налетит тут как тут! Однажды я уж почти досушила свое письмо, да на беду затлел угол листа, почернел, а переписывать уж некогда. Так я и сложила письмо треугольничком — дело это привычное — и вместе с другими отдала ожидавшему почтальону.

Отправила и получила, вроде и на душе полегчало, потому что знаю, как дома ждут весточек наших. И уж спустя много-много лет после войны уже в Вологде вдруг получаю письмо-приглашение из Чусовской когда-то детской библиотеки, куда мы частенько ходили брать книжки почитать, а потом я писала сама письмо в родную библиотеку уже насчет того, чтоб нам присылали книги — библиотеку-передвижку — на нашу полевую почту, мол, для того, чтоб и политбеседы проводить, и почитать, когда бывает возможность. Я то письмо писала с Украины, из-под Жмеринки. И книги нам приходили, мы читали чаще вслух, затем отправ-

ляли обратно и снова ждали посылки с книгами... Кстати, это, в общем-то, и свело нас с Виктором, теперь Виктором Петровичем, но об этом позже. А тогда...

Получила я то письмо-приглашение, поговорили с мужем — ехать не ехать — решили, что надо поехать. И я поехала.

Заведующая сообщила о том, что здесь присутствует и когда-то юная совсем читательница, теперь вернувшаяся с войны в чине старшего сержанта, Мария Семеновна Корякина-Астафьева. Сказала и о том, что вот уж сколько лет у них в архиве (или фонде) хранится удивительное письмо, и стала читать его. И чем дальше она читала то письмо-заметку, тем я больше краснела от смущения...

А оказалось все просто. Однажды встретил нашу маму сотрудник газеты «Чусовской рабочий» — родителей моих и семью нашу, такую большую, в таком небольшом тогда городе знали очень многие. И он остановил маму, поздоровался и спросил, мол, как здоровы, Пелагия Андреевна? Чего ребята с фронта пишут? Кто где? Она и сказала, что вот недавно от Марии письмо пришло, только какое-то странное, я, мол, сначала даже и напугалась — уж все ли ладно? Уж жива ли?

А сотрудник газеты все больше, все подробней спрашивает маму, и тогда она предложила ему зайти к нам домой, и она это письмо показала... И он зашел, и посмотрел письмо, и перечитал. И вот в газетке заметка о моих родителях-тружениках, о большой семье, из которой пятеро на фронте. Что недавно пришло письмо от средней дочери Марии, с Украины, мол, письмо полное патриотических раздумий, опалено пороховым дымом... и дальше в таком же духе.

Я, теперь уж дело прошлое, и сама когда-то работала журналисткой, но чтоб так лихо все преподнести!? До такого я додуматься, или дойти не сумела бы, отобразить солдатские будни так не смогла бы!..

Наша часть стояла еще в Коростенё, когда однажды привезли туда вагон-баню — такое чудо в тех условиях, в той жизни. Мы с Тоней Болотской были в наряде и потому мылись в последнюю очередь. Банщик заждался, недовольство стал проявлять, что торчит тут из-за двоих соплюх, а ему еще сколько «пунктов» обслужить надо?! Все ждут.

— Вы бы вышли из вагона... мы же быстро вымоемся... а при вас... — нерешительно попросила Тоня.

— Че-ево-о?! Да я вашего брата перевидал... сосчитать невозможно! Один вагон банный на такую округу... Вы че, засранки, думаете?! Видите ли, им надо, чтобы я ушел, а я тут

за все отвечаю, за каждый винтик-шпынтик, и за порядок... Живо мойтесь, а не то... возьму и уеду... вот и ждите тогда, когда опять такая удача — помыться — выпадет...

Мы открыли воду, сделали в меру горячей, встали под душ, повернувшись друг к дружке и принялись мыться. Вымылись, оделись, шинели накиннули, головы полотенцами замотали и, опустив глаза, быстро прошмыгнули мимо банщика и уж только у выхода из вагона-бани сказали: «Спасибо». А он:

— Ох, девки, девки! Вы ведь в дочки мне годитесь... Чем на стеснение время тратить, получше вымылись бы... Ну, бывайте живы...

Скоро подали паровоз и покатила баня дальше: наберет воды и к другим, чтоб и другие телу праздник устроили... дело такое...

А беда, о которой я обмолвилась выше, была уж совсем недалеко, потому что недалеко была уже и осень, а значит, и зимнее обмундирование, а значит, и шинели. Эту беду не беду я поначалу переживала до наивности легко. Пока было тепло, обходиться можно было без шинелей, когда прохладно — если не на глазах у командиров, то накидывала на плечи... Однако в наряд идти, особенно дежурить при штабе, нужно было быть, как говорится, при полном параде, чтоб все по форме. Однажды я уже пережила конфуз, за который получила наряд вне очереди. Ночи на Украине темные, местность еще незнакомая, смена караула в двадцать четыре ноль ноль.

Только не состоялось тогда мое дежурство — я не нашла свой штаб. Ночь темная — хоть глаз выколи, кругом тихо, ни выстрелов, ни огоньков, только лягушки квакают где-то возле недалекого ставка — маленького, искусственно вырытого, дождями да ключиками наполненного, по берегам осокой, какой ли другой водолюбивой растительностью окаймлено — красиво так! В таком ставке, ближнем к нашей хате мы и бельишко стирали, и мылись, когда до пояса, когда «по частям». Вот возле ставка и квакали лягушки. Я уж раза три к нему подходила, а толку? Иду обратно, зная лишь одно, что если идти долом, то хату свою или соседскую не миную, а если дойти до горы и взойти на нее — вот он, наш штаб! Но до горы я так и не дошла, переживала, что дежурный ждет не дождется, а сменщик аховый заблудилась в трех соснах... И вдруг услышала: коза блеет, одиноко так, жалобно. Откуда взялась, чья — не знаю, но обрадовалась живому звуку и пошла на ночной плач той козы, белевшей расплывчатым пятнышком. Подошла, погладила и сама заревела, говорю, милая ты моя коза, видать, тоже, как и я, заблудилась, зачем на ночь-то глядя ушла из родного стой-

ла? Глажу и плачу, и уговариваю, как разумное существо, мол, ты бы хоть дорожку нашла, а там бы мы уж с тобой разобрались — кому куда. Вдруг коза блеять перестала, шарахнулась от меня — и жутко мне так сделалось... Позже я прочту у поэта Николая Рубцова стихотворение «Вечернее происшествие», очень близкое мне по тем пережитым чувствам.

Мне лошадь встретилась в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь вам —
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных — не встречаться!

И снова я, в который уж раз, получила наряд вне очереди, хотя потом оказалось, что я почти неделю страдала «куриной слепотой» — болезнь такая, когда ничего не видишь и не различаешь в потемках. В другой раз я ко времени явилась в штаб, чтоб сменить дежурного, одетая по всей форме. Топила печи, заправила керосином лампы, навела порядок. Управилась, когда рассветало уже, но для начальства час работы еще не настал. Слышу скрип ступенек на крыльце, у входа я встала по стойке «смирно», автомат к ноге, жду. Первым вошел старший лейтенант — оперуполномоченный. Я, прихватив длинный рукав шинели, козырнула офицеру, подала руку для рукопожатия и, вытянувшись во весь свой небольшой рост, приготовилась слушать наставления. Но за нашим старшим лейтенантом шел еще один незнакомый офицер. Я и ему козырнула, прихватив рукав и опять, как охотничья собака делает стойку, почувствовав зверя или птицу, я стремительно вытянулась по команде «смирно», но гость тоже протянул мне руку, чтоб поздороваться, а я забыла про длинный, вовсе не по мне, рукав шинели... Он поискал, поискал мою руку — не нашел, потряс за рукав и последовал за старшим лейтенантом, а спустя малое время раздался из кабинета зам.нач.штаба такой хохот, от которого меня сначала покорило, а потом градом покатались по щекам слезы.

Днем вызвал меня к себе старший лейтенант. Явилась.

— Вам кто выдал такую шинель?

— Старшина, товарищ старший лейтенант.

— Но она же вам не по росту.

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— А что, более подходящей, ну, поменьше подобрать вам не могли.

— Никак нет, товарищ старший лейтенант, сказали, что для малолеток шинелей еще не нашили...

— Снимите и положите ее вон там, лучше повесьте на вешалку.

— Есть, товарищ старший лейтенант.

— Вы свободны. Да, передайте старшине, чтоб немедленно явилась сюда!

— Есть, товарищ старший лейтенант.

Сашку Манину все запросто называли по имени и фамилии, к ней так шло: Сашка Манина, Сашка Манина. Она и сама это знала, слышала и не обижалась, только со строгостью предупреждала, чтоб не при начальстве. Крупная, веселая, курносая, с кудряшками, которые, казалось, она и не расчесывала никогда, но все ее обличье и эти кудряшки очень располагали к ней, доброй, надежной, услужливой и всегда справедливой. И всем казалось: не будь у нас Сашки Маниной, проспали бы все, наголодались бы, обносились, сделались бы видом и поведением, как пещерные.

Старшина Сашка Манина не сердилась, что из-за меня получила нагоняй или выговор, но через два дня, обмеряв меня вдоль и поперек, сняв шнурком мерку, отмечая узелками длину рукава, ширину плеч, талию, отправилась в Жмеринку, а спустя еще два дня, вручила мне новенькую шинель, заставила тут же ее надеть, пройтись, изобразить выправку — и осталась очень довольна, обо мне уж и говорить нечего — я даже спать в ней была готова, чтоб поверить, что вот она, моя шинелька, ладная, красивая!.. И домой в письме написала, что выдали нам новые шинели, моя на мне, как влитая... Но как поется: «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Я уж сказала о том, что нас разбили по отделениям, и строевой мы стали заниматься по отдельности. Я, коль меньше всех ростом, то была первой, ведущей, то последней, замыкающей — и это ничего, но когда начинались команды, то левое плечо вперед, то правое, то кр-ругом, то опять кругом... А я же от роду левша и все время на этих занятиях пребывала в большом напряжении: левое, значит, сюда, правое, значит, туда, кругом — тоже понятно, но когда оказывалась первой (ведущей)

и должна была точно исполнять команду «левое плечо вперед, правое плечо вперед», старалась следовать как положено, но под конец начинала путаться, и однажды дело кончилось тем, что все ушли вперед, а я, одна себе, под команду «выше ногу, тверже шаг!» лихо — в обратную. Капитан Молочков, руководивший этими занятиями, сидя на ящике из-под патронов, так захохотал, так закрутил головой, что фуражка свалилась, а он, трясясь спиной, только поднимет голову, только глянет, как я вышагиваю «выше ногу, тверже шаг», но совсем в другую сторону, снова уронит голову. Когда всем отделениям была отдана команда «вольно!» и нашему тоже — я оглянулась, как далеко упоролась от своих, со всех ног ринулась их догонять... Тут уж, как говорится, кошке игрушки, мышке слезы...

Но и потом бывало всякое и не только со мной. Я ничего не рассказываю о своих военных успехах и неудачах, об этом куда лучше знает и помнит мой муж Виктор Петрович, бывший на фронте и разведчиком, и связистом и, став писателем, напишет об этом достоверно и блистательно и не в одном произведении. Я же все стараюсь подойти к тому времени, когда и как нас свела с ним судьба.

А всякие негражданские, военные злоключения случались не только со мной. К примеру, была в нашем отделении Соня Валиахметова и мы все осуществляли над нею как бы шефство в определенном смысле. Она, татарочка, скромная, серьезная, исполнительная, часто, если не постоянно говорила: «Я ел, я ходил, я сделал, я дежурил» и так далее. И мы ее то поодиночке, то и хором поучали:

— Соня, надо говорить: я ходила, я сделала, я принесла. В общем, все в женском роде. И однажды, когда ночью была объявлена тревога и построение, и команда «По порядку номеров рассчитайсь!» — мы четко отзывались: первый стрелок, второй стрелок, но когда очередь дошла до Сони, она громко и четко отозвалась: «Сетмая стрелка!» — снова смех и слезы. И потом, в столовой или за работой она вдруг с горькой обидой выговаривала нам: «Почему так учите, а потом смеетесь? Сами же учили, как говорить по-русски правильно надо: «я ходила, я сделала...» а сетмая стрелка — не правильно! Почему?

Однажды, когда наша часть находилась на Прикарпатском фронте, нас на все лето отправили в маленький польский городок на разгрузку — завал там получился, скопились горы мешков с почтой.

Из писем, идущих с фронта в тыл и, особенно из тыла на фронт, мы знали многое, о чем нигде и никто не сообщал и теперь уж не сообщит... Как правило, при всяком отделении

военной цензуры были руководители оперативных групп, а в помощники им назначали пять-десять человек из нашей части. Мне тоже доводилось, так сказать, быть не только цензором с присвоенным мне номером на штампике. Этой небольшой группе помощников надлежало не только читать письма «особой важности», но и «пикировать», то есть выбирать наугад пачку из проверенных уже писем и проверять тщательно. А надо сказать, что работа эта не простая и не легкая. Ведь многие, иные не по разу, болели чесоткой — письма же шли отовсюду: и из окопов, и из санбатов, и из населенных пунктов, бывших «под немцем». В помещении, где стояли длинные столы и за ними сидели и шуршали письмами наш брат — военные девчата, ехавшие воевать, а не выискивать в солдатских и в письмах из тыла какис-то тайные сведения, возле двери был прибит умывальник с соленой водой, и мы, иногда в очередь, почувствовав зуд на ладонях, меж пальцев, жестоко царапая ногтями, мыли руки круто соленой водой. Иногда это помогало, иногда нет и тогда приходилось обращаться в медчасть, где работали два мужика; один вроде бы фельдшер, злой, подозрительный, с усохшим лицом и подозрительным, злым взглядом, особенно гораздый на слова, выражения и действия унижительные, обидные, жестокие — он никогда не выбирал выражений, никогда не спрашивал о самочувствии, никогда не предлагал лекарств, зато отводил душу на пациентах, как на лютых врагах. Помощник его, Володька, был смазлив, играл на баяне, и никто никогда не видел его за работой. В общем, плохо приходилось тем, у кого чесотка «перекидывалась» на спину, на бедра, на голову. Давали мазь, но за какую унижительную цену, когда надо было выслушать такос, от чего, как говорится, уши вянут... Володька потом женился, а тот, иссохший от злости и наглости фельдшер, удобно и безопасно устроившись, вершил произвол.

Когда и я была зачислена в оперативную группу — мы стояли тогда в Большой Крошне, — чуть было не угодила в штрафную роту... Я должна была выписывать меморандумы и подлинник письма, заклеив и проштамповав — все по правилам, — отправить по назначению, адресату, а меморандум вложить в другой конверт и отправить в СМЕРЩ фронта. Мы часто работали от темна до темна, иногда при слабом освещении от движка, иногда при керосиновых лампах. Руководитель группы положил передо мной стопку писем, с которых надлежало мне выписывать меморандумы и поступать согласно предписанию. А работа цензора, о чем я уже обмолвилась, — мало сказать, что трудоемкая. Если даже не

читать письма, особенно конверты, то все равно было нужно вскрыть письмо, срезав узкую кромку слева, затем хотя бы перевернуть, согнуть ли вдвое само письмо, заклеить и подложить, подоткнуть под себя сбоку, чтоб заклеилось. Таким же манером заложить как бы проверенные письма с другого боку, и ты уж как бы провиснешь между веерами, торчащими по обе стороны, заклеенными письмами. Когда накопится другая партия, эти достаешь, штемпельюешь и отдаешь дежурному, который снует туда-сюда, раздавая или собирая уже прочитанные письма и дает новую партию, иногда по блату: большей частью в той партии торчат уголки, с которыми дело шло быстро... Я и по сию пору, хотя уж не с той сноровкой, но все равно быстро стряпаю пельмени, особенно защипываю: беру пальцами обеих рук сочень с мясом, сильно давя на концы, затем еще разок, уже посередке — и пельмень готов! А треугольник и того проще: три пальца обеих рук наготове, указательные как бы «запускаешь вовнутрь, в сгибы уголка с той и с другой стороны, с ходу разворачиваешь, глянул, что сверху нет, к примеру, «привет с СЗФ», что означало Северо-Западный фронт, пробежишь сверху вниз, не вникая в текст, не задерживая внимания, таким же манером складываешь, шлепнул штампик — и дело сделано! Задержки случались иногда только из-за того, если уголок-письмо был прошит нитками или тонкой проволочкой, тогда надо непременно «распороть».

Да еще случалось, что штамповали и национальные, хотя в конце стола сидели три мужика: два казаха и латыш, и им надлежало проверять те не по-русски написанные письма,

К концу рабочего дня так у нас болели ягодицы, что мы и ужинали стоя и не чаяли упасть на постель, тут уж не до танцев, которые иногда случались, не до гуляний, даже не до того, чтоб пойти в одичавший сад возле штаба, где росло много черешни, груш, слив и яблок, и мы часто бесшумно расхаживали и, бывало, не только наедались досыта, но и набирали с полу в кошелки, взятые у хозяев напрокат, на временное пользование.

Однажды вызвал меня к себе подполковник Ктиторов, начальник политотдела, и как только я остановилась у порога и доложила, что явилась по вашему приказанию, начал на меня кричать, брызгая слюной, топая, подбрасывать на столе какие-то бумаги. Долго кричал и топал, затем, приоткрыв дверь, окликнул часового, приказал снять с меня ремень и погоню и велел пока отвести меня под конвоем в дом, в котором мы жили вчетвером. На другой день переселили к Федотовне — симпатичной и разговорчивой женщине с черными бле-

стящими, даже игривыми вроде глазами, что-то ей сказали и наказали, она согласно покивала головой, однако отношения ко мне не изменила, и если никого не было, поила парным молоком, угощала крупными сизо-матовыми сливами, под настроение рассказывала, что у нее есть муж Тимохвей, который обещает приехать в отпуск, и сын Иванко, тоже воюет — писарь он, потому что грамотный, и тоже обещали ему отпуск, только когда это еще будет?..

Днем Федотовна почти не бывала дома, то ли занималась какой работой, то ли гуляла по гостям, часто мазала в хате пол и белила ее снаружи — все ждала дорогих гостей. Огород был большой и пышный, но засаженный только наполовину, вторая половина была засеяна кукурузой и подсолнухами. Я уходила в огород и подолгу лежала в этих высоких и красивых зарослях. Лежу, гляжу на высокое небо, рассматриваю блестящие ремни — листья кукурузы и мохнатые исподу, большие, как лопухи, листья подсолнухов и жду, когда за мной придут и поведут на допрос, и опять будут топтать и кричать, винить и уничтожать словами да грозными обещаниями, что плачет по мне штрафная...

Когда дневали — дежурили у штаба наши, свои же девчата, виновато сообщали, что велели привести меня к замполиту, шли рядом и рассказывали про жизнь и про работу, но если кто показывался на виду из командиров, тут же строжея голосом, приказывали идти на два шага вперед, чтоб ни шагу ни влево, ни вправо, а идти куда велят — приказывают...

Иногда приносили еду: завтрак, обед и ужин, и я вела счет времени именно по тому, когда приносили еду. Я много, почти постоянно беззвучно плакала, глядя на небо, на зелень, на все живое и такое прекрасное на земле даже в военное время, чего я не очень прежде и ценила в обычной жизни. Я плакала не от того, что жалела себя, нет, я плакала когда пыталась представить себе позор и горе, который предстоит пережить моим родителям, узнав о моем предательстве, о котором я и понятия не имела, но о котором мне постоянно, с гневом и нецензурными словами напоминал начальник штаба, иногда в кабинете появлялись еще какие-то военные и тоже чинили надо мной словесный пока суд. Когда меня уводили обратно, я снова уходила в огород, снова ложилась среди подсолнухов, как бы в свое убежище, лежала, плакала, страдала без вины виноватая и однажды вспомнила того молодого солдатика — «самострела», которого лечили, на которого топали ногами, орал замначальника госпиталя по политчасти до хрипоты и все повторял:

«В штрафной опомнишься, маму кричать будешь... пока не прикончат, как последнего гаденыша...»

Комнатка-палатка, где содержался преступник, «самострел», дезертир, гаденыш, изменник родины — так и еще по-разному его унизительно клеймил позором и оскорблениями замполит госпиталя, — была за стенкой моей медканцелярии, и я вольно или невольно была тому свидетелем. А паренек тот, в нижней рубашке без пуговиц, в кальсонах — тоже без пуговиц: видать, боялись, чтоб не убежал, хотя за дверью, как бы в тамбуре между канцелярией и гауптвахтой, постоянно находился часовой, скучал, иногда грозил подконвойному кулаком, мол, из-за тебя тут торчу, как истукан. А паренек, похожий на болгарского Алешу, только совсем юный, лежал, молчал, накидывал на голые ноги угол простыни — одеяла не было — и пел!.. Особенно вечером, когда начальства не было, пел не звонким молодым голосом, а приглушенным, иногда прерываемым всхлипами:

Не для меня-а весна-а-а приде-о-от,
Не для меня Дон разольется...
И сердце радостно забье-отся
Восто-оргом чувств не для меня...
Не для меня-а-а зеле-оный лес
Сверкнет алмазными лучами
И девка с че-орными оча-ами,
Хранит любовь не для-а меня-а-а...

Паренек тот иногда пел песню дальше, но тех слов память моя не сохранила, иногда, всхлипывая, шмыгал носом, как дитя, и либо дремал, либо молча, недвижно, обреченно, лежал, ко всему уже готовый... Я несколько раз приносила табак-самосад, которого у папы было на вышке полмешка, даже больше, один пакет отдавала часовому, другой просила передать осужденному, чтоб не выдали меня, чтоб не лишили солдатику перед смертью последнего удовольствия... Мне было не по себе, когда он надолго замолкал, дать бы ему книгу какую почитать, чтоб время шло побыстрее, да разве ему до книжек?! Да и не положено. Положено только думать — хоть сколько и хоть о чем... Как вспоминал и тот, молоденький солдат английской армии; юный поэт, написавший в своей как бы дневниковой тетради, найденной в полевой сумке, когда он был убит:

И если друзья, со слезами во взорах,
Меня закопают на том берегу,
Жалею девчонок, — тех самых, которых
Обнять никогда не смогу.

Я уехала на войну. «Самострел» остался. Что-то с ним стало?..

А меня еще долго, недели две, может, вечность водили на допрос, на меня кричали и топали, потом я снова лежала среди зеленой благодати, думала, плакала, переживала, слушала стрекотанье кузнечиков, даже завидовала им. Однажды, когда во мне уже поселилась равнодушная усталость, равнодушие ко всему и стало казаться, что душа умирает раньше тела — хотела только одного: скорей бы уж все... чему быть — не миновать. Устала ждать... устала жить... За мной снова пришли, чтоб сопроводить в политотдел штаба. Я покорно поднялась, поправила, отряхнула юбку, гимнастерку, по привычке хотела надеть ремень, но опомнилась, на небо поглядела, вокруг и, склонив голову, уставившись на знакомую и уже ненавистную тропу, пошла впереди дежурной. Остановилась у порога и стала ждать, опустив голову, когда начнут кричать и топтать, и называть меня изменницей родины, уже, мол, успела, хотя на губах еще материнское молоко не обсохло...

— Мою мать даже словом не задевайте!.. Она нас, пятерых отправила, отпустила... отдала на войну, а не в тюрьму!.. — высказалась, не обратившись к офицеру по званию, не спросив на то разрешения...

— Знаю, — вдруг неожиданно тихо, вроде даже виновато отозвался на мою дерзкую выходку начальник политотдела.

И тут мне показалось, будто я не на полу стою, а на раскаленных углях. Поняла: значит, проверяли, кто из родных находится на фронте, что за семья? Всех проверили, однако, подумала я тогда совсем уж отрешенно: теперь уж точно отправят в штрафную. Ну и пусть... Ну и убьют пусть... чем такие унижения терпеть...

— Моя мама — мать-героиня! Вы мизинца ее не стоите! И вообще... Два моих брата уже погибли... А дома трое малых... А я, дура набитая, добровольно пошла на фронт, и сестра тоже... Мало вам этого? Мало?! —

— Знаю, — снова проговорил начальник политотдела. — Знаю... Вы свободны. Можете неделю отдохнуть и после приступить к работе. — Кивнул сопровождавшей меня, чтоб уходила и занималась делом вместе со всеми.

А я стояла, верила не верила — как-то было уже все равно, только ноги будто приросли к полу, хотя мысленно я переступала на все еще каленых углях. Не плакала, не шевелилась, стояла и стояла. Тогда подполковник подошел ко мне, собрался то ли помочь выйти или похлопать по плечу, мол, всякое бывает. Меня всю передернуло, и я, не глядя на него,

высоко подняв ногу, перешагнула через порог, еще постояла на крыльце, увидела «конвоиршу» — та ждала меня и уже держала в руках мой ремень и погоны, как больную, взяла за руку и повела меня, совершенно безвольную, к ставке, выбрала место посуше и поскрытнее, села, усадила меня рядом.

Мы, помню, и плакали, и молчали, умывались прохладной водой, утерлись ее носовым платком, еще посидели долго ли, коротко ли, она глянула на часы и сказала: «Пойдем, пообедаем, все уже отобедали».

* * *

Письмо мне отдали перед обедом. Я привычно разрезала с левого края письмо, до удивления короткое, а дочитала с трудом, еле разбирая слова сквозь слезы. Слезы капали на тетрадный листок, чернила расплывались...

«Милая Миля! У нас беда. Ливнем унесло из огорода всю землю вместе с посадками. Мама захворала, лежит, не ест, не пьет, только плачет да жалеет вас и нас, заставляя делать дела подому. Папа работает, иначе как жить? Что будет — не знаем. Приезжай хоть ненадолго, может, вместе что-нибудь придумаем. На Толю пришла похоронка. Валя пропал без вести — это ты тоже знаешь. Сережа тяжело ранен в голову и в ногу, в тяжелом состоянии лежит в госпитале, в Москве. Дядя Ваня недавно вернулся домой, искалеченный весь. Миля, если сможешь, приезжай, пожалуйста, хоть на несколько дней. Мы так боимся за маму.

Да, а корову Девку, которую у нас украли в начале лета, я тогда тебе тоже писал об этом, — ее нашел Алеша Саитов, наш участковый милиционер. Он тогда нас, особенно маму с папой очень поддержал, мол, жив не буду, если не найду вашу корову!.. И нашел! Ее увели татарин с татаркой, и поймали их уж около станции Всесвятской. В общем, корова молоком нас кормит, мама даже немного соседям давала в обмен на соль или на сахар. Ты постарайся приехать хоть на несколько дней, мама на это очень надеется...

Твой брат Вася».

Я не слышала, как подошел ко мне старший группы, взял письмо, прочитал, затем, сев за свой стол, еще раз перечитал, сочувственно повздыхал, подумал, затем позвал меня.

— Пиши рапорт. На имя командира части. Я сам передам. Иди. Пиши...

Я плохо помню, как сехала, как добралась до дому. Помню только, как вышла из вагона, закинула за спину нетяжелый

рюкзак — мне выдали сухой паек на неделю, кое-что еще добавили сверх положенного: три банки консервированных сосисок, в каких теперь бывает говяжья тушенка, смена белья, полотенце и всякая мелочь, — огляделась — нет ли кого из знакомых. У проходившего дежурного по станции спросила, не дежурит ли сейчас составитель поездов Корякин, мой папа? Он пожал плечами, мол, не знаю, может стрелочники знают или в кондукторском резерве спроси...

Я не стала терять времени и быстро направилась в сторону родного дома. Шла то быстро, то медленно — ноги отчего-то нет-нет да и делались ватными, а то казалось, будто гири к ним подвешены... Однако завидев три стройных, высоких тополя, росших возле ручья в нашем огороде, — их далеко было видно — то шла, то бежала...

Мама лежала в маленькой своей спальне, отгороженной от печи до окна тонкой заборкой, на своем обычном месте, заслышав мой голос, захохала, а потом, когда я склонилась над нею и прижалась к ее сухонькой груди, стала гладить меня по спине и давать распоряжения ребятам, чтоб ставили самовар, чтоб молочка в кружку налили, хлебушка бы маленько отрезали, если не успели съесть весь...

Когда самовар вскипел, Вася сбегал в баню, где после ночного дежурства спал папа, разбудил, позвал пить чай. Папа и поспать-то успел час-два, но поднялся, зашел в избу, увидел меня и, пересиливая в себе боль и тяжелые слезы, часто моргая, сел со мной рядом на лавку, по голове погладил, дотронувшись до погон на плечах, как-то испуганно отвел руку и, поглаживая по рукаву, заговорил:

— Вот и Марeya приехала!.. Как хорошо, што приехала... Тут на нас беда за бедой наваливаться стали... Што поделаешь... Одно время с матерью думали, что все — дальше не стерпеть: сил нету, вас дома нету... А когда уж огорода лишились, считай что... прямо хоть ложись и помирай... Хорошо, что ты, Марeya, приехала, хоть повидаемся, хоть поговорим, посоветуемся... может, вместе-то чего и придумаем. Может, в военкомат сходишь, поговоришь, попросишь, чтоб оставили тебя, освободили от службы... да только что ты одна-то. Мужику не под силу, чтоб поправить наши дела, надсадишься только, надорвешь здоровье. Молоденькая же. Как хорошо, Марeya, что ты приехала!.. Как хорошо... Прямо как знала.

— Отец... Девка-то с дороги... Молоко в чулане в кринке должно быть еще, хлебушек по кусочку разделите... Я тоже поднимусь и сколько-то посижу с вами... Скоро и ребята должны вернуться — на старый покос ушли. В логу, может, красной

смородины наберут да по речке листа черной смородины нащипают — чай заваривать, может, где нарвут щавелью, накрошим да вроде окрошки сделаем, молоком забелим — какая-никакая все еда. Надеяться не на что. Уцелел бы огород, так и лук зеленый, и что из мелочи — все в еду бы уже пошло...

Пили чай, и мама неторопливо, с горькой тоской рассказывала, как все произошло:

— Ливень был страшный, дождь, как стена, ручей в огороде начал разливаться, дичать прямо на глазах, только что избу не снесло. А там, где еще накануне распирали мягкую землю, начали уж появляться картофельные всходы, зеленью щетинилась морковная грядка, свекла взошла хорошо, не густо, не редко, только что капустную рассадку высадили, и она так славно было принялась, окрепла, — ничего не осталось. Весь огород ровно кто вывернул наизнанку. Между оставшимися редкими пятнами земли оголились серые каменистые плешины... И нигде никаких признаков растительности... кроме тополей — им-то че делается? Да ладно, хоть они уцелели. А черемухи, измученные, растрепанные, которые так и замыло илом да наносным песком, которые сильнее — стряхнули с себя ил и мусор, скоро воспрянули и шелестят вон поврежденным листом, а калина и смородина, согнувшись в дугу, долго еще безвольно полоскали свои ветки в мутной, как брага, воде...

— Мы уж с матерью и надежду на огород потеряли, ладно хоть корова нашлась... А так... ведрами да на тачках таскали землю с Жучихиных ям — там, если помнишь, хотя мала еще была, был отвал, валили туда все, весь хлам, со временем получился хороший перегной. Дай Бог здоровья соседям да знакомым — не оставили в беде, пришли на помощь. Не зря говорится в пословице: не живи с сусеками, живи с соседями. — Папа отошел от стола, сел на порог, покурил. — После помаленьку рассчитаемся: кому обутики починю, кому молоком отплатим... Ребята тоже кому поспособят в огороде убратся, кому на сенокосе. Не гляди, что еще не вошли в возраст, многое уж понимают и умеют...

У меня было в распоряжении без дороги еще четыре дня. Я с утра до вечера, не чувствуя усталости — да и стесковалась по домашним делам, — все была занята: варила еду, доила корову, стирала, мыла, чинила износившуюся одежонку, присаживалась к маме, чтоб поговорить, послушать ее, как они тут. Про свои, про военные дела рассказывала мало, в общих чертах, что работы бывает много, а так... сыты, обуты, даже яблоч досыта поела, можно бы так вагон привезла, как гостинцы, ребятам на радость. Да как привезешь? Сама добиралась

где как придется... а так все ничего. От Калерии получила два письма, в один конверт она даже вложила фелтиперсовый чулок, мол, вложила в разные конверты, но второй я так и не получила... Ну да не беда. Их часть где-то, по-моему, от нашей недалеко одно время стояла, потому письма доходили за несколько дней. Приходили соседки, рассказывали про свое житье-бытье, о своих, что на фронте, кто раненый мотается по госпиталям, кто вернулся без ноги, без руки ли. Лизку нашу тоже ранило, рассказывала Нюра Исупова, она давно уж лежит в госпитале где-то под Пензой. Ранение не очень ее внешне покалечило — ранило в живот.

Я опять уезжала ранним утром, как и тогда. Накануне вечером зашли соседки — попрощаться, пожелать благополучного пути и скорейшего возвращения, принесли помаленьку дорожничков: первые еще, пупырчатые огурчики, носовые платки, чулки, пресные пироги с горохом. Я почти ничего не взяла, огурчик да пирожок. В военкомате дали бумажку — продовольственный аттестат, чтоб отоварила, но у того ларька шла такая битва, что Бог с ним, с сухим пайком. Ненадолго заходила в госпиталь. Многие как работали так и работают, медсестры некоторые тоже добровольно ушли на фронт, Сергей Петрович — шеф-повар дал вместо гостинца буханку хлеба да сахарину, чтоб вместо сахара в чай класть. Елизавета Петровна распорядилась, чтоб подобрали сапоги по ноге, которые поновей, да полтора метра полотна — мне и моим военным подругам на подворотнички...

В вагоне мне досталась верхняя, в мирное время багажная, полка — это даже лучше: никто не толкает, не велит потесниться. Сапоги старые, переделанные из больших, я отдала Васе, и он был очень им рад, потому что ботинки, чиненые-перечиненные, то и дело «просили есть», и папа не успевал их чинить. Хлеб разделила пополам, и одну половину взяла в дорогу, другую оставила дома. В общем, чем могла поделилась, а уезжать было нестерпимо тяжело, особенно уходить из дому. Когда уместилась на верхней полке, положив под голову и сапоги, и пилотку, половину шинели подостлала под себя, а другой полкой прикрылась — иногда и хорошо быть маленькой!.. Ждала, когда тронется поезд...

Сначала беззвучно плакала и слезы текли в уши, за воротник гимнастерки — все думала о доме, о родителях, потом немного подремала, пока не услышала совсем близко, почти рядом, кто-то негромко и печально пел, слегка подыгрывая себе на гитаре:

Где-то за Курильской грядой,
Там, где скалы борются с волнами,
Повстречал рыбак на берегу
Девушку с оленьими глазами.

Я с недоумением подумала: то с глазами дикой серны, то вот с оленьими глазами... Однако стала слушать дальше, чтоб хоть немного прервать свои тоскливые мысли о разлуке с домом и с родными:

Подняла красавица глаза,
И они наполнились слезами.
И рыбак с отчаяньем узнал:
Девушка была совсем слепую...
Где-то за Курильской грядой
Пару повстречаете такую,
Тот рыбак, высокий и седой
Под руку ведет красу слепую...

И я опять плакала. Мне было жалко слепую красавицу, жалко раненую Лизку Исупову, родителей жалко, себя... А сосед по вагонной верхней полке — нас разделяла невысокая вагонная перегородка — пел уже о другом, о море, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж... Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж...

О подобном я уже где-то слышала, и не раз, и только пыталась представить певца: кто он, откуда, куда едет, и поет отчего-то все о возвышенно-печальном.

На третьи сутки поздним вечером я была уже в родной своей части, среди своих девчат, как оказалось, очень меня ждавших, и мы почти до утра, почти до подъема проговорили.

Утром я явилась к командиру части, доложила, что прибыла к указанному времени. Он порассматривал меня покрасневшими то ли от бессонницы, то ли от забот, глазами на бледном, отечном лице. Тут вошел в кабинет подполковник Ктиторов, и я с еще большей ненавистью глянула на него, лишний раз убедившись, что ни жалость, ни любовь, ни доброта — чувства ему незнакомые, чуждые, только злость и ненависть, — встала по стойке смирно и обратилась к командиру части:

— Разрешите приступить к работе! — Он кивнул, я откозыряла и вышла из кабинета.

Через неделю нашу часть откомандировали на два месяца в небольшой польский городок — на помощь. Наш руководитель группы и адъютант командира части, оказывается,

уехали туда, чтоб подобрать место расположения части, помещения, где нам предстоит работать и попутно разузнать, где разместить наше подразделение на жилье.

Была середина жёркого лета. Мы долго ехали на машинах в маленький польский городишко. Приехали на место только ночью. Луна светила до жути ярко. Мы, глядя друг на дружку, сперва хохотали до слез, разминая затекшие ноги: только зубы да глаза у всех блестели, а лицо, и все, что на нас, было густо покрыто пылью, она скрипела на зубах, от нее першило в горле и щипало глаза. Была команда размещаться в длинном без перегородок помещении, даже без лотолка, лишь под крутым сводом крыши, да щелями в одно бревно, но полметра в длину — вместо окон, на полу по обе стороны, от стены до стены была разбросана солома и лишь посередине оставался проход. Мы сложили в изголовье свои небогатые пожитки, в основном вещмешки, кинули на них пилотки и ремни, да и поспешили к озеру, которое неподалеку светилось чистой, спокойной водой — чтобы умыться, напиться, стряхнуть с себя пыль и усталость. Какое это блаженство после длинной, утомительной дороги! На том берегу, довольно крутом и голом, безмолвно, без купола, с пустыми глазницами стоял бывший костел. Его отражение в воде было красивым, без выбоин и трещин.

Мы полоскали во рту, жадно пили из ладоней прохладную воду, умывались, брызгались — одним словом — наслаждались.

Подъем в пять утра. Уже заведен движок, уже подвезена работа. В растворенную дверь избы было видно стаканы и тарелки с едой на столах, за которыми после еды мы будем работать. Гуськом, не то что ночью, полусонные тянулись мы к озеру. Я догнала подругу, и мы первыми оказались у воды. Только начали умываться, она отступила от воды, вскрикнула и перегнулась в пояснице — ее начало до судорог рвать. Утирая выступившие слезы, она в перерывах между приступами тошноты, показывала на воду рукой и пяtilась...

В воде, на дне озера перекатывались вымытые до прозрачности черепа, кости, кое-где еще и не расчленившиеся кости рук и стопы ног. Я онемела от ужаса. Тошнотворные судороги уже корежили и меня. А она, прикрывая рот ладонями, выпачканными зеленой слюной, отчего-то все просила: «Марийка! Не рассказывай никому... Не рассказывай», — а почему — я так понять и не могла. И не знаю, что и как было потом. Завтракали неохотно, вяло, многие не притронулись вовсе к мутному чаю и лишь во время работы одна из девчат в

дальнем конце стола как бы вслух подумала: «Сколько же тут полегло...»

Я, если доживу и смогу, то напишу давно задуманное — о военных девчатах. Поведаю о тогдашней нашей жизни...

А пока, я уже говорила о том, что не о военных девчатах — моих спутницах, которые свои лучшие, самые красивые и неповторимые годы жизни проводили в трудностях, опасных и иногда надолго затянувшихся не только неудобствах; и таких условиях, которые не подходящи и противоестественны для человека вообще, для молодых женщин и юных девчат — в особенности. Но коль все списывали наши руководители и командиры на войну, мы тоже терпели, исполняли, как могли и умели, приказания, часто неразумные, даже нелепые, день за днем, неделю за неделей продолжали сносить трудности и опасности, продолжали жить и терпеть и старались не растратить пока еще живую надежду на то, что «не все еще потеряно, мой друг», как поется в романсе, что останемся живыми, вернемся домой — и у нас еще столько всего впереди... хорошего и счастливого! Что мы еще молоды! Как сказал светлый человек и замечательный поэт:

Уплывают пароходы,
Уплывает в небо дым.
Годы, годы, Ах вы, годы,
Как легко быть молодым!

— * * *

Когда мы вернулись в Станиславчик, в соседней части, на «сортировке» уже многих девушек работавших на разборке почты, не оказалось, заменили их солдаты, комиссованные после госпиталей в нестроевую часть.

Однажды привез мешки с письмами веселый солдатик, однако на груди его хорошо смотрелась медаль «За отвагу» — очень редкая в ту пору награда, и орден Красной Звезды! Да еще гвардейский значок с отбитой в нижнем углу эмалью. Боевой солдатик — сразу видно! Сказал: «Здорово ночевали! — рассмеялся широко, белозубо, веснушки по лицу разбежались. — Теперь я ваш покорный слуга, не в полном, конечно, смысле, просто буду возить-привозить. А вы меня ждите... с нетерпением!» — весело пошутил, изобразил что-то наподобие «честь имею» — и удалился.

И правда. Мы все с радостью его встречали, может, немножко больше, чем других, хвалили, когда привозил «личные» письма. В нашей части первая познакомилась с ним, ка-

жется, Рая Буйнова, родом из Ладейского поля, низенькая, фигуристая, певунья, любившая командовать. В тот день, когда привез мешки с письмами этот бравый солдат, Виктор Астафьев, дежурила как раз Рая. Нас в одно время формировали, и мы с ней угодили на первых порах в прифронтовую военную цензуру, в будущем, иногда нас с нею, как и с другими, будут делить на группы или отделения и будем работать в разных местах, затем опять все соберемся «до кучи», когда работы сделается невпроворот. В нашей группе были девушки из Читы, из Улан-Удэ, с Урала, из Перми и Чусового, несколько из Латвии и Ленинграда. У нее был муж, но они с ним скоро расстались. «Без радости была любовь», — говорила она о своем недалеком прошлом, в подробности не вдавалась, да никто и не расспрашивал — в Станиславчике я жила с Верой Бозыревой и Ольгой Ткаченко. Мы легко ужились. Тоня Болотская — ленинградка, у нее тоже был муж — инженер, бомба попала в тот дом, где он работал, и вместе с другими был похоронен под развалинами, оставшимися на месте дома. Тоня помогла эвакуироваться свекрови в Семипалатинск, а сама, как и многие из нас, подала заявление и добровольно оказалась на войне, в нашей части, и с нею мы дружили до конца, пока она не уехала обратно в Ленинград, куда я собиралась непременно приехать к ней в гости, поскольку мечтала побывать именно в Ленинграде.

Однажды мы в потемках возвращались с работы по узкому переулку, в котором было по колено грязи, и мы шли медленно, перебираясь руками по плетню. Так шли до следующей, белеющей во тьме хаты и, когда ее миновали, снова отыскивали плетень и снова придерживались за него руками. Дошли до хаты, в которой жила я с хозяйкой Федотовной, не очень еще пожилой, хитроватенькой и неунывающей женщиной, я о ней уже коротенько сказала, когда меня переселили на житье к ней — это у нее я отбывала домашний арест и потом осталась на житье.

Ну вот, дошли мы с Тamarой Шустовой до моей хаты, ей идти дальше, почти в конец улицы, чуть не доходя до хаты, где жила Рая Буйнова. Тамара — русая, синеглазая девушка, малоразговорчива, редко улыбчива, голос тихий и глуховатый, но слушать умела до удивления внимательно и как-то очень заинтересованно, что ли. Остановились, и я ей сообщаю, что сегодня получила из родной библиотеки посылку с книгами, что унесла ее домой во время обеда, чтоб не тащиться в потемках, и предложила зайти прямо сейчас, посмотреть, выбрать для себя почитать... И тут мы с Тamarой слышим: кто-то шле-

пает по грязному переулку и весело насвистывает. Услышав разговор о книгах, приостановился, порасспрашивал, что за книги, с сожалением признался, что сегодня он зайти не может и не только потому, что ноги грязные — лихо так сострил, — а потому, мол, что иду со свидания, с вашей, между прочим, подругой — Раю провожал. Веселая история...

Тамара и тут смолчала, никак не отозвалась, сказала: «До завтра» — и пошла дальше в ночь, к своему временному жилищу. А я в тон веселому солдату сказала:

— Веселая история! — замечательно! Хорошие книги... для тех, кто буквы знает и читать умеет, — тоже очень хорошо!

Еще маленько поговорили и разошлись: я к Федотовне. Солдат brave — в казарму, которая рядом с клубом, куда мы иногда ходим на танцы.

Когда он опять привез мешки с письмами, нашел меня взглядом, кивнул, чтоб подошла, спросил, серьезно ли я говорила насчет полученной посылки с книгами и, если так, то он вечером зашел бы посмотреть.

И мы с Витей, с Витей, стали встречаться чаще и теперь уж не всегда поводом были только книги. Как-то раз мы собрались у клуба, ждали, когда начнутся танцы. Витя сидел на лавке, неподалеку от колодца. Поздоровались, поговорили о том, о сем, тут подошла и Валя Уланова — тоже очень хороший, милый славный и надежный наш братик-солдатик. Познакомила ее с Витей, а разговора не получилось: заиграла музыка — начались танцы. Ребята направились в клуб, Витя подумал и решил, мол, танцевать-то я не умею — у нас пляшут, бацают — ну посижу, посмотрю... все равно делать нечего, так хоть музыку послушаю. Кстати, баянист-то хорошо устроился, на медпункте вроде и не появляется, а пиликает на баяне... ну да шут с ним, да и если бы не он — под кого бы вы танцевали?!

Танцы были и на другой день. С Витей увиделись снова у клуба, и он, оглядев меня, кивнул, мол, отойдем в сторону, и, когда отошли, заявил: если еще раз намажешь свои щеки — не поленюсь, принародно разуюсь и портянкой сотру всю палитру с твоей... с твоего лица! Запомни!

Господи! Я и без того страдала, что такая краснощекая, как доярка, как свекла, как баба рязанская... а он!..

Позже я ему признаюсь и в этом недостатке — что щеки красные — порода такая! Он отшутился, и мы направились долиной, к речке, журчистой, местами вовсе мелкой, в одном месте через нее излажен деревянный мост с перильцами из тонкоствольных березок, местами эти живучие березки выприснули веточки, тоненькие, мягкие, с нежными мелкими

листочками. Остановились посередке моста, облокотились на гибкие перила, и Витя вдруг запел, да так хорошо, так красиво, задушевно:

Это было давно, лет пятнадцать назад,
Вез я девушку трактом почтовым,
Бледнолица была, словно тополь, стройна
И покрыта платочком шелковым!..

Кони мчали нас вдаль, кони мчали нас в путь,
Словно мчала нечистая сила.
Попросила она, чтоб я песню ей спел.
Я запел, и она подхватила...

Витя допел песню до конца, помолчал. Я легонько прижалась к его плечу, даже не к плечу, а к локтю — так будет точнее, потому что мое плечо до его плеча никогда не доставало. А вокруг тихо. Лунная дорожка то рябит, то скроется.

— Я ведь и не предполагала, что ты так поешь: красиво, с чувством, душой поешь!..

— Че-о?! Хэ! Я когда парнишкой был, знаешь как пел?! Стекла дребезжали! Курицы нестись переставали!

— Вот тебе и сирота! Такой голосистый!

— Чего правда, то правда... — не то в шутку, не то с серьезностью, пусть и напускной отозвался он. — В детдоме премию дали, за рябого парня!..

— Как это?

— А вот так. Спел про душеньку да про то, что я рябой и что на любовь даже злой! — и захохотал, громко, беззаботно, весело. Он и до сих пор засмеется — тараканы валяются, — как любит себе подыграть.

Долгонько мы тогда постояли на том мосточке, и замолчали ненадолго, потом он еще спел, уж вроде в шутку: «Милый, купи мне дачу, в городе душно мне жить, если не купишь — заплачу и перестану любить...»

Знал бы да ведал, в каких дачах-дворцах нам еще доведется жить...

Часто, бывало, нагуляемся, придем к Федотовниной хате, сядем на лавку под окном и все говорим, говорим, потом уж и целоваться начали. Но только дело до поцелуев дойдет, Федотовна тут как тут, высунет голову в открытое окошко, хитро хохотнет и скажет непременно:

«Марусь, кварта з моложом на столе стоит, пей да и спать лягай. И ты, хлопчик, иди до своей казармы, где все, там и тебе быть положено. Не последний день живете. Теперя уж не убьют, не последний раз увидите... Тикай до казармы, тикай,

кажу!..» — И створку небольшого окна прикроет, а тут, миг спустя, и дверь в сенцы распахнет.

— Надо же, и тут командир сыскался?! Федотовна, а мне бы тоже квартиру, хоть молока, хоть самогону. Как с этим делом будет?

— Э-э, хороший хлопчик, а дурно заговорил! Тикай до казармы, кату! Все!

Смех и грех. Когда Витя в наряд идет — они помогали местному населению — работали на конях, то возили чего, то еще что... Время идет. Я утром маленько задержусь дома, иду в столовую чуть позже — и как раз в это время Витя мой из наряда является или отправляется. Обрадуемся друг другу, даже мимолетно встретившись. И девчата из нашей части все его уже знали и очень одобрительно, даже уважительно к дружбе нашей относились. Не раз даже у клуба собирались просто так, не на танцы; ребята из казармы выйдут, которые на свидания отправятся, которые к нам присоединятся. И пойдут разговоры. Витя и тогда уж был «хлопушей», как в детстве называла его бабушка Катерина Петровна, которую я так ни разу и не увижу... Парнишке можно сказать безобидное «хлопуша», а Вите-солдату, боевому гвардейцу, орденоносцу да такому видному, так и не скажешь — рассказчик, много уже читавший, да и о солдатах-друзьях своих по окопам, и про госпиталю — знал, чего слушать веселее, приятнее и интереснее — страху, и бомбежск, и убитых мы тоже уж повидали, и пленных не раз видели. Помню, как в Бологом вели фрицев в баню, строим, а женщины, изможденные тяжелой работой да нуждой, — с ними и дети, и старики — шли с восстановительных железнодорожных работ... Что тут было?! Откуда сила взялась, не слезы, а обидная злоба. Кое-как конвойные их уняли, тех фрицев затолкали в какой-то двор и не выпустили, пока жители не разошлись, а то разорвали бы, глаза бы выкололи, искусаили... нст, не знаю, представить не могу, что бы было...

Письма из дому пошли уж повеселее, если так можно сказать. Теперь, после того, как уж Победа свершилась — поздно или рано все равно демобилизуют. И я приседу, может, и Сергей вылечится. Сообщалось, что Калерия, возможно, к новому году уж и дома окажется, поскольку ребеночка ждет и рожать придет домой...

Все это было для меня столь неожиданно, столь меня это настораживало и тревожило, что я уж вроде бы не очень хотела поскорее попасть домой. С Калерией мы и в детстве жили не очень дружно — я в семье средняя и писала о том, что меня то

считали уж большой, то еще маленькой, — так в делах, так и в обновках и во многом другом. А Калерия вроде все как бы на привилегии: ей все в первую очередь, если что получше да что полегче... Ну, тут уж такое дело: раз беременная — куда ж ей, как не домой? Только как разместимся-то все мы в небольно большой, пусть и полуторазэтажной избе: внизу-то только кухня да спальня; сбоку от входа стояла мамина неширокая кровать, а за печкой — папина лежанка. На втором этаже — две комнаты: маленькая, в которой до войны братья Сергей с Анатолием жили. В комнате побольше — тоже две кровати: на одной спала Калерия, на другой мы с сестрой Клавой. Правда, Клава с мужем построили себе домик в поселке Архиповка, там и жили: Иван Абрамович — ее муж, Клава, а потом и дети-сыновья пошли. Сергей тоже женился и отошел от семьи, комнату братьев занял брат Азарий-Борис, в другой оставались мы с Калерией. Как-то будет теперь? Я в ту пору еще и не предполагала, чем же закончатся наши, так хорошо сложившиеся отношения.

Однажды Витя сказал, что девчонок у них на сортировке теперь уже не осталось — разъехались после демобилизации кто куда. А нашего, говорит, брата, поднабралось много, и потому пока не будет распоряжения на их демобилизацию, часть будут работать как работали, на сортировке, другая, по перемене или по желанию — помогать населению на полевых работах: кто на лошадях, кто на уборке фруктов и ранних овощей.

Часть наших девчат, наших братиков-солдатиков, тоже начали демобилизовываться. Но пока, одним по уважительным причинам, другим по возможности, предоставлялись месячные отпуска, поскольку наша часть, как оказалось, должна была передислоцироваться во Львовскую и Тернопольскую области для продолжения работы в военной цензуре — продолжать разбирать мешки с письмами — завалы.

Как-то гуляли мы с Витей по вечернему, очень красивому селу и, проходя мимо довольно большого и не глиняного, а деревянного дома с верандой, где жила моя землячка и доверительная подруга Полинушка, решили заглянуть в ней ненадолго. Они с Витей хорошо относились друг к другу. Полинка перед войной закончила полтора курса библиотечного техникума и вот готовилась помаленьку: что-то вспоминает, почитывает — чтоб, когда вернется домой, то смогла бы продолжить учбу и закончить техникум, получить специальность — тогда дадут направление и не надо будет рыскать по городу, читать объявления, кто куда требуется... Порассказывала, что

и как там, в книжном царстве техникума, Мы попили чаю и собрались уходить, потому что поздно уже, а она сказала, что еще немножко себя помучает разными инструкциями и тоже баиньки.

Я отчего-то долго не могла уснуть и решила, что завтра же пошлю Вите приглашение на день рождения. Поднялась, отыскала заложенный в книгу красивый конверт, взяла хранимый давно и бережно трехцветный карандаш, нарисовала на конверте симпатичную виньеточку и в середине вывела некрупными, но красивыми буквами: «Виктору Астафьеву». А внутри конверта лежал вдвое сложенный листок бумаги и в верхнем правом углу его было тоже нарисовано, не то птичка с цветочком в клюве, не то букетик. Я, собравшись с духом, начала со стихов:

Витя!
Каждая минута, каждое мгновенье
Все, что есть и будет в жизни и судьбе,
Пламенного сердца каждое биенье —
Все это тебе!..

Витя, пожалуйста, приди ко мне на день рождения 22 августа 1945 года, к 7 часам вечера. Очень буду ждать.

Маша.

Аккуратно сложила, думаю, завтра, на свежую голову перечитаю и тогда передам.

Мешки с письмами привез не Витя, а другой солдатик. Я подошла, поздоровалась и попросила обязательно передать. Он пообещал. А у меня начались сомнения: придет не придет, примет приглашение или станет читать вслух в казарме, под общее улюлюканье... Но тут же: «Да ведь Витя же не такой! Он так не сможет!»

К назначенному времени Витя не пришел. Я села с краю стола, ближе к дверям и выбегала на каждый стук, на каждый скрип калитки и в то же время — хозяйка все-таки — угощала гостей, слушала примитивные анекдоты, которые рассказывали «мои начальники», не ведая того, что сами же над собой и смеются... Вдруг слышу, кто-то браво, громко, отчаянно поет, подходя к нашему дому.

Витя идет по грязному переулку, который и в жаркую, сухую-то погоду редко просыхал, — переулок узок, в тени плетней, кустов, деревьев и в нем, как в корыте, постоянно грязь. Поет Витя! — это я поняла сразу, поет что-то озорное... а-а, Дуня шлепает по грязи... Точно! Витя. Только на-

чальники-то связи сидят уж за столом, самогонку пьют, огурцами хрустят и всякую снедь уплетают.

Схватила я Витю за руку, поцеловала на ходу и повела за собой, представила: «Это мой друг, сибиряк. Прошу любить и жаловать!» Не все расслышали мои слова. Витя разглядел застолье, которое явно оказалось ему не по душе, особенно офицеры, зато девчата все приоделись в гражданское, причёски изобразили, веселье поддерживают. Витя попытался раз-другой вступить в разговор, но в такой, с позволения сказать, разговор не сразу и вступишь: те говорили всяк для себя, не вслушиваясь в собеседника, и чем больше пили, тем глупее, хвастливее, и надо либо так же набраться, либо проявить снисхождение и не обращать внимания... У них же лица не овёяны интеллектом! Неужели не видно?

Витя заерепенился, мол, зачем меня сюда зазвала?! Я таких в гробу видал! В белых тапочках!

— Ну, в белых тапочках они еще будут... Не надо об этом. Прошу тебя, потерпи маленько, они вот-вот скоро уйдут. Ах как жалко, что я ваших ребят, двух-трех сюда не зазвала... просто не подумала и теперь очень сожалею, и очень тебя прошу не петушиться, и... я тебя люблю...

— Купить хочешь? Так я и поверил! — Витя проворно и демонстративно вышагнул из-за стола и прямым ходом на выход.

Я выскочила вслед за своим дорогим гостем, которого никак не осаврасишь, поймала за гимнастерку у калитки.

— Вернись! Пожалуйста! Прошу тебя!.. — одной рукой взяла своего дорогого гостя под ручку, другой поглаживаю по рукаву. — Если неприятно на них глядеть и слушать, посиди вот здесь за углом, на лавочке. Я и сама их не обожаю, но терплю... что же подёлаешь-то?.. Ну, посиди, маленько. Подожди! — я отчаянно как-то поцеловала его и наказала: — Жди. Я скоро. Я скоро приду, — и взглядом кивнула Маше Шардаковой на дверь; когда она меня поняла и пошла из-за стола, я шепнула, мол, покури с Витей за компанию, он там, за углом хаты на скамейке. А я побыстрее их спроважу — пора и честь знать!

Когда начальство, дружно над чем-то смеясь, один по одному потянулись из накуренной хаты, выйдя за калитку, Ктиторов лихо запел свою коронную: «Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт, колоко-о-о-ольчик звонко...» но дальше за «звонко» последовали вовсе другие интонации и слова...

Федотовна поскорее закрыла дверцу ворот, даже веревочную петлю поверх столбика накинула, танцующей, пьяненькой походкой направилась к хате и вдруг крикнула:

— Мары-ысь! А где кварта з молоком?! Та щоб мени вмерти — я ж ее подоить забува, — горилки богато, а молока нэма! Шо ж робыть?

— Давайте, я зараз! Я умею! — стеснительно предложила свои услуги Гутя Ожегова.

Пока Федотовна туда-сюда, пока еще чарку горилки со вкусом выпила, Гутя с ведром и с полотенцем ушла под навес. Она быстро управилась с делом, закинула ведро с молоком рушничком, поставила в сенцы, маленько постояла с нами и, попрощавшись, пошла домой. За нею стали расходиться и остальные. Мы с Федотовной сложили всю посуду в деревянный ушат — завтра вымоем, — и она отправилась спать, а я к ожидавшему меня Вите.

— Вот и я. Замерз? На душегрейку Федотовнину.

Сама я тоже была в светленьком колушке, накинутом, как у гусара, форсисто, на одно плечо, чтоб спине и боку было тепло. Да так и обниматься удобнее, решила я легкомысленно, осмелев маленько от выпитой сливяной настойки.

Засиделись долгонько, прямо скажем, потом я с решительностью пошла проводить Витю до клуба, затем он меня провожал, мол, можно ведь еще погулять — не каждый день именины...

Мы гуляли по высеченному звездами местечку, и тогда я высказала Вите свою мечту: сколько помню себя, с детства мечтаю побывать в Ленинграде. Объяснила, что Тошка Болотская теперь там живет, а после приезда домой будет не до того: ведь вернутся все-таки многие с войны, с работой будет трудно, жизнь ждет впереди — не сахар, как говорится, и, естественно, ни о каком Ленинграде и мечтать не придется. Сказала, что пока бесплатный билет — литерный, может, и съездить туда, в гости к Тошке Болотской, а как и что дальше будет — уж как будет так и будет, но пока, говорю, вы будете работать — помогать населению, я съезжу.

Поговорили и разошлись, пока до завтра, до утра. Если он поедет работать с обеда. Мне, если откровенно, то очень даже нравилось, что он работает, разъезжает на коне, а после работы, глядишь, то яблоки оставит на столе, то виноград, да такой! Крупный, красивый, спелый, сладкий!.. Я, к слову сказать, на войне поела досыта и яблок, и винограда, и слив, и груш, и черешни-вишни!..

Через несколько дней мы компанией, кому надо было попадать на вокзал, к поездам: кому в Пермь, кому в Вышний Волочок, мне вот в Ленинград!.. Кто с чемоданчиком, кто с

сумкой, кто с вещмешком. «Голосуем», останавливаем идущие в сторону Жмеринки машины, а они чаще все мимо, мимо...

Наконец остановилась проходившая порожняя машина, девчата начали «грузиться»: закидывать свои пожитки и карабкаться то на колеса, то на ступеньку кабины, чтоб перекинуть ногу в кузов, а дальше уж все легко... Вдруг смех девчоночий прервался и многие почти в голос, закричали: «Маша! Маша! Виктор идет!» А кто-то уж и выкрикивать начал, мол, с законным браком! Совет да любовь. Мы, мол, за вас рады... Постучали в кабину, чтоб шофер маленько подождал — дело важное должно решиться.

А Витя уже подошел, какой-то необычный, неулыбчивый, отозвал меня в сторону, помялся, покатал носком сапога камешек и говорит:

— Ты знаешь, нас ведь демобилизуют... Я поехал утром на работу, и вдруг конь ногу подвернул, да сильно так, едва култыхает... Я его определил на место и к начальнику: что так-то и так-то. Он выслушал, маленько подумал и сказал, мол, ну и ладно. Коня вылечат. А вас не сегодня-завтра демобилизуют будут — и Указ, списки уже пришли. Так что радуйся, солдат — что ни случается, все к лучшему. Иди, отдыхай. Завтра с утра за документами... А я растерялся так, не сразу ведь и поверил. Потом спохватился, забеспокоился: «Уехала ведь! Точно уехала!.. Теперь — ни адреса, ничего, и где Болотская в Ленинграде живет — откуда мне знать? И как теперь быть?.. — Еще попинал камешек, чуть отвернувшись, как бы прищурился на солнце и сказал: — Мне теперь уж трудно представить жизнь без тебя!..

У девчонок ушки на макушке — все расслышали и все сами тут же и решили:

— Маша! Виктор! Счастливо вам! Молодцы! С законным браком!.. — И мой чемодан уж из кузова перекочевал обратно на землю, «прислонился» к телеграфному столбу.

И пошли мы, молодые, маленько растерянные, а в душе-то, не знаю, как у Вити, а у меня такое чувство волнительной радости все заполнило, что и поверить трудно, и передать невозможно!..

Машина с девчатами ушла — укатила в Жмеринку. Мы только перешли дорогу, чтоб к Федотовне, к моей хозяйке идти, оставить чемоданишко и начинать обдумывать — с чего все начинать? Витя-то завтра документы получит, а я? Недолго думая, направилась к командиру нашей части. Витя остался ждать на улице, а я с ходу:

— Товарищ подполковник! Разрешите подать рапорт. Жених мой, из соседней части, с сортировочного пункта демобилизуется, мне тоже нужно... Без подписанного вами рапорта нас не распишут, не зарегистрируют наш законный брак и, значит, меня не демобилизуют.

— Ну, вы даете! То одно, то другое... Но, вообще-то, я очень за вас рад. Садитесь, товарищ старший сержант. Пишите рапорт.

А Вите командир части сказал, мол, сегодня-то ты в наряде отдежурь, а завтра все оформим...

И отправился мой Витя в ночное дежурство — в наряд. Я уговорила надеть чью-нибудь гимнастерку — только на дежурство, а я пуговицы начищу, подворотничек новый пришью...

Утром мы, как именинники, я во всяком случае, как именинница, только очень смущенная, направились в ЗАГС — за Прошлюбом — за Свидетельством о браке. ЗАГС располагался в центре села в двухэтажном деревянном доме: внизу в нем располагалась столовая, на втором этаже одну половину занимала контора, именуемая ЗАГСом, а во второй половине действовала — поколачивала, покуривала — сапожная мастерская. Наши как раз направились в столовую, зайдя в нас, окружили: «Вы это куда?» Я чувствую, как краснею, однако отвечаю, даже не отвечаю, а киваю на сапожную мастерскую, зачем — кто бы мне тогда объяснил! А Витя уверенно указал на контору ЗАГС. Мы поднимаемся по скрипучей деревянной лестнице наверх, все наши — за нами, как свидетели. Заведующая ЗАГСом взмолилась: пол проломите! Куда вас стелько набралось?!

Нам довольно быстро выписали Прошлюб — значит Свидетельство о браке, мы расписались в журнале, затем нам поставили отметки, или выписки о регистрации брака, закрепили печатью — Вите сделали запись в красноармейской книжке, мне — в личном удостоверении: «Вступила в законный брак с Астафьевым Виктором Петровичем 26 октября 1945 года. Перед тем как заполнить графу «Прозвище после шлюбу» (фамилия после заключения брака), я чуть помедлила, переждала мгновенное напряжение-ожидание: что скажет Витя, отныне мой муж. И он сказал: «У нее своя фамилия есть!» И тогда я подтвердила: «Да, есть. Я — Корякина Мария Семеновна». Получили мы документы. Пока заведующая ЗАГСом сверяла правильность записи в журнале с записью в Прошлюб — в Свидетельстве о браке, Витя мой вышел, мол, покурить невтерпеж, я подождала, когда мне отдадут ту бумагу, вернее, бумажку в половину тетрадного листа величиной, так много

значащую в будущей жизни людей, каждого нормального человека, свидетельствующую о том, что появилась новая, молодая семья — и совет ей да любовь, чтоб и детей прибавилось и, вообще, жилось бы на земле веселее.

Насчет рождения детей и чтоб веселее жилось на земле я продолжу чуть позже.

А пока... Положила я тот Прощлюб в свое удостоверение, Витя отбросил окурок, переглянулись и пошли к Федотовне, ненадолго завернули к казарме — Витя пригласил двух своих солдатиков, может, и не самых близких друзей, скорей всего — кто оказался, тех и позвал-пригласил, мол, надо это дело отметить! Вот она, Маша, теперь моя жена, законная, Прощлюб выдали — все честь по чести. Солдатики раздобыли бутылку самогона, Федотовна достала из закутка, из бочки несколько соленых огурцов, две чесноковки, с репу величиной, шмат сала, оглядела застолье весело, затем присела, и ей тоже налила в стопку.

Ребята нас поздравляли, говорили, что маленько завидуют, что вы теперь вместе, скоро домой... Нам пока ждать-пождать... Тут и Федотовна согласно, звонким голосом подтвердила:

— И почекайте! И почекайте! Может, которые и на наших дивчинах оженятся...

Снова выпили. Бутылка опустела быстро. Ребята собирались к себе, а мы с Витей еще посидели, погадали, что да как будет... Он ласковый, повеселевший сделался — может, от водки, может, от такого события, в жизни происшедшего, шутил, что вчера еще был холостой, не женатый, а нынче — вот!.. Муж! Молодца сковали золотым кольцом... — я с грустной улыбкой развела ладони, что пока не сковали, как уж потом будет? — дала понять. Витя обнял меня легонько рукой за плечи, накоротке притиснул к себе и тут же спохватился:

— Да ведь мне же в наряд! Во женитьба-то до чего доводит — и про свои военные обязанности забыл! — поднялся, одернул гимнастерку и вышел из хаты. Но скоро вернулся. — Да это ведь вчера мне надо было в наряд-то! А теперь я — вольный казак! — хмыкнул: — Федот да не тот! И не казак я вольный, а муж законный!

Посидели маленько перед окнами и пошли прогуляться по селу. Прощально как бы. Завтра утром мы поедем в Винницу, в управление, где нас окончательно демобилизуют, выдадут литерные билеты до Москвы на поезд — дальше не положено, дальше, на свои собственные, которые вам сейчас

отсчитают. В столовой выдадут на неделю сухой паек — и скатертью дорога!..

В Виннице всё оформили довольно быстро: Вите сразу выдали, все, что полагается, со мной чего-то потянули маленько, майор, сидевший на подоконнике даже пошутил, мол, отпустить-то отпустим, только после праздников — приближались ноябрьские праздники, — нарисуешь стенгазету, плакаты «Добро пожаловать» над входом в клуб...

Я никак не отозвалась, майор тоже замолчал, а я пережидала, чтоб поскорее все оформили, а то... с первого дня заставляю своего мужа то ждать, то еще маленько подождать... А он всегда был, пока дружили-гуляли, весел и ласков, а тут... Может, уже все напрасно? Может, подойти к нему, улыбнуться, пусть и через силу да и сказать: «Вот и все, дорогой мой солдат, милый и молодой муж, о каком я даже и не мечтала! Пошутили и хватит. Вроде у нас чего-то не так все идет... или у всех так бывает?»

Не сказала. В Станиславчик вернулись довольно быстро. Витя успел где-то черешни раздобыть, вроде даже вишни, а не черешни — осень же! Пока ехали в кузове попутной машины, он то и дело подсовывал мне свою полевую сумку, чтоб угощалась ягодами.

Шофер остановил машину у того же столба, от которого отошла несколько дней назад машина в Жмеринку и увезла несколько наших девчат на станцию.

Вышли. Постояли. Поразмышляли всяк про себя, всяк о своем. Витя спросил, все ли у меня собрано?

— Конечно! У меня и всего-то ничего: бельишко, вещички самые необходимые, документы и деньги — по карманам гимнастерки, шапку на голову, шинель на себя...

— Вот и хорошо! Тогда ты ступай с хозяйкой попрощайся, заberi свои пожитки и возвращайся сюда. Я тоже со своими попрощаюсь, может, кто и проводит? Сегодня бы и отчалили — чего нам зазря терять время золотое?..

Поезда проходящие останавливались редко, чаще только тормозили, а которые и останавливались, то двери вагонов не открывали, разве что высадить кого... Прибыл поезд, не помню, откуда, но идущий до Киева. Витины друзья-товарищи смекалистыми оказались: один подтянулся на поручнях к туалетному окну, изловчился, пнул по стеклу, оно дзинькнуло, и тут солдатик протянул руку за чемоданом, чтоб побольше дыру в стекле сделать, ткнул его в туалете, затем меня подхватили, и он, Толя, кажется, оказавшийся уже в туалете, подхватил меня, затем вещмешок, быстро открыл вагонную дверь — Витя

прыгнул, парень махом, минуя вагонные ступеньки, оказался уже на платформе возле вагона. Они прокричали, мол, закрой-тесь, отсидитесь, а дальше утрясется, и устроитесь получше.

Когда поезд тронулся и рывками начал набирать скорость, я, протирая глаза, плохо различающие ребят из-за слез, махала им. Ребята долго бежали за поездом, махали руками, кричали что-то прощальное. Я привстала на цыпочки и ухватила за ручку, предназначенную для другой надобности. Витя от окна не отходил. Я не помнила ни о себе, ни о том, чтоб не порезался об осколки стекла, затем подложила под мешок совок и веник, села в углу у двери, для Вити оставила свой чемодан, положив его на очко вместо крышки... Очко то почти проваливалось, до того было уже разрушено, того и гляди, вовсе провалится, и пиши пропало; но чемодан мой, хоть и невелик, но удержится над полом, не должен провалиться вслед за туалетным расхлябанным сиденьем.

Я иногда приподнималась, вставала на цыпочки и глядела, тоже прощально, на все, мелькающее за окном, на беленькие хатки в редкой уже зелени палисадников; иные хаты были без крыш, без окон, их было жалко, как живых; редко где встречались местные жители, ни живности, ни гусяного, ни куриного пера — все какое-то мягкое, обреченное, безжалостно покинутое... может, до поры, до лучшего времени, может, навсегда... Слезы начинали бежать уж ручейками по моему лицу, я отходила от проема окна, в которое из-за выбитого стекла, порывисто, иногда с посвистом дул ветер. Я не унимала слез, пусть бегут — не жалко; боялась, что начну хлюпать носом... И чувства, смешанные, разные, без веселости и надежд так распирали мое сердце, что и сердцу, и ребрам, и голове — всему уже делалось нестерпимо больно. И совсем уж не ко времени поплыли в памяти и перед глазами времена, совсем еще недавние: часть вспоминалась, девчата, работа, которую часто делали на пределе усталости... Мостик через речку, на котором мы с Витей один раз долго стояли и он так славно, так душевно пел, разве что как когда-то пел мой брат Анатолий, но он пел под гитару, белозубо улыбаясь, чуть кокетничая. А Витя пел совсем по-другому, пел по-особенному! И когда начинал рассказывать, как здорово, многоголосо и красиво поют в его родной деревне, мне верилось и не верилось: лучше петь уж вроде и невозможно... Тут же опять припомнился тот молоденький солдатик-«самострел». Он тоже пел, и пел совершенно по-другому, и я, пока буду жива, никогда не забуду ни его песни, ни его самого, ни того, как на него кричали и топали и все грозились отправить его в штрафную. Как и меня совсем не так

давно... Опять подумалось о Станиславчике. Там я впервые и досыта наелась фруктов, которых даже во дворе у Федотовны было полно, особенно слив, крупных, сизо-зеленых, сладких-пресладких, как мед! Как мы с Федотовной подпирали колыями тяжелые от плодов ветви, чтоб не надломиться и в будущем были так же родливы... Не раз, но глубоко, про себя, буду думать о том, что, пожалуй, лучше бы остаться на жительство здесь, в Станиславчике или где поблизости, где легче пережить голодное, холодное и многотрудное время... Но ведь дома родители, братья, сестры... ждут не дождутся, и как не разделить с ними ту великую и, часто будет казаться, уже вечную нужду, и всякие жизненные невзгоды. С трудом перебарывая себя, я всякий раз старалась уходить от этих тяжелых раздумий. Слава Богу, живые остались, Молодые — все со временем устроится.

Пыталась представить, как-то устроилась жизнь у Тони Болотской? Сообщила, что появился сынок — Коленька, что подробно напишет, когда узнает домашний адрес. Рая Буйнова, надолго-ненадолго пока Миша Пильман или Шпильман — смазливенький еврейчик (из дважды приезжавшего в Станиславчик какого-то ансамбля песни и танца) — он отбивал чечетку, пел сатирические куплеты. В первый раз они быстро познакомились, подружились — и ансамбль уехал веселить военный люд в других частях. Когда ансамбль тот приехал во второй раз, Рая незаметно, без лишних волнений и разговоров, быстро оформила перевод в другую часть и после сообщила в письме к Саше Бурдиной, что счастлива, что Миша пообещал до Берлина довести ее в объятиях...

Поезд идет-катит, то дребезжит стеклами, скрипит деревянными стенками-заборками, стучит колесами. Я то тихо плачу, то уйду в воспоминания, которые и ко времени, и не ко времени, то мучительно думаю — стараюсь представить: как доедем? Что дома? Как будет чувствовать себя Витя?..

Поезд везет, постукивает колесами, особенно на стыках рельс. Я еще раз-другой приподнялась и, вытянув шею, понаблюдала, что за окном. А за окном вроде бы все еще война — выгоревшие строения и сады, опрокинутый, уже покрытый ржавчиной паровоз, разбитые дороги, разные останки от разбитой и брошенной техники — и такое чувство, будто война так и будет преследовать нас, и никогда не отстанет.

На станциях, где наш паровоз останавливался или только притормаживал — творилось невообразимое: крики, плач, мат, рев, затевались драки, разносились раздражающие крики о помощи, военные при оружии, которые палили ввѣх, —

утихомирить, остепенить, хоть какой-то навести порядок или в чем-то попытаться убедить обезумевших людей, в большинстве своем уцелевших, израненных победителей, возвращающихся по домам...

Названий станций я не слышала, не знала, да и зачем они мне, те станции, которые проезжали, лишь бы вез наш усталый, казалось, на пределе паровоз.

На какой-то, видать, узловой станции паровоз должен был набрать воды и угля и тут уж началось такое столпотворение, что и представить трудно... Господи! Только бы не уронили паровоз наш, вагон наш... только бы не уронили...

Очнулась от раздумий, ужавшись в углу, когда кто-то или что-то рухнуло на унитаз, и чемоданчик мой легко слетел с него, ударив меня по коленкам. Витя мой, помогая, втаскивал в окно солдата с костылями: прежде закинул костыли, затем, напрягши силы, втащил раненого мужика. Тот плюхнулся через унитаз, на мешок — удачно вышло. Повезло тебе, бедный солдатик, что так вышло, а ведь могло быть и хуже: унитаз вдребезги, твои ребра, голова или остатная нога тоже пострадали бы... Живой и слава Богу! Хватит с тебя и того, что ноги лишился.

А Витя, уж не знаю, каким сверхусилием втаскивал в тесный туалет, в выбитое окно еще и женщину, оказавшуюся женой раненого солдата, — может, специально в госпиталь за ним ездила?..

В туалете — не повернуться, не шевельнуться, ведь площадь-то метр квадратный! А нас уж четверо, да пожитки... Да хорошо, что Витя мой взял и помог людям, втащил их в это крохотное, карболкой пропахшее — аж глаза слезились — заведение.

Представление о времени утратилось, казалось, однако, что мы едем уже двое суток, может, и больше. Мы не без труда выбрались из туалета, хотя тут нам помогли сами пассажиры, потому что наведаться в это заведение не терпелось многим, и потому, толкаясь, переругиваясь беззлобно, люди расступались, как могли, и мы, как могли, пробирались по вагону, медленно, но упорно, иногда мои ноги даже и пола не касались, однако движение не приостанавливалось...

Наконец мне удалось примоститься с краешку на нижней полке, на которой и так как сельдей в бочке, одной половинкой зада я присела, не упускала момента, когда вагон подбрасывало, качало ли сильно — и получалась само собой как бы «утруска», и я через недолгое время, потеснив соседок, уселась уже нормально и какое-то время еще и не верила в такое счастье.

Потом заметила, как муж мой, мучительно морщась, переставлял или вытаскивал из табора вещей ломанную в детстве ногу и втискивал на ее место другую, здоровую, хотя и ей, бедной, усталой, измученной ноге тоже хотелось отдыха... Мне удалось, не скоро, правда, но поменяться с ним местами, он сел, а я даже смотреть не решалась, как он приходит в себя, ждет, когда отойдет остамелая, больная нога...

В Киев поезд наш пришел поздней ночью, а может, уж и на утре. Народу вокруг полууцелевшего вокзала так много, будто со всей страны, со всех фронтов и сторон именно в это время сюда вот взяли и пришли, приехали, прикатили. У ларьков выдавали сухой паек, хлеб и еще не то селедку, не то конину. Витя оглядел толпу-очередь, подумал и невесело сказал, мол, суток трое — не меньше — понадобится выстоять... И в туалет не сходили ночью, пролопушили — туда тоже очередь без конца и края...

В Киеве мы вынужденно пробыли, промаялись больше суток, наверное, двое. За это время нам удалось немного: темпое побыть в помещении вокзала — в нем было все-таки теплее, мы изрядно продрогли. Затем Витя торопливо, даже вроде сердито прогнал меня в туалет. Попасть туда по-доброму было невозможно, народу все прибывало и прибывало, да в основном все мужики. Они, недолго думая, начали пользоваться и женским туалетом, и дело это затянулось, пока одна военная женщина, как рассказал мне муж, так возмутилась, что дала очередь по женскому туалету — и сыпануло оттуда мужичье, кто как, кто в чем, чаще — штаны в беремя. В это время и мне удалось туда проскочить и освободиться — такое чувство после было, будто ношу тяжелую свалила с себя, полгчало сразу не знаю на сколько, а то уж и небо с овчинку казаться стало.

Витя то и дело выходил из вокзала, возвращался безутешный, озабоченный, сердитый. Однажды же пришел, подсел ко мне и тихо сообщил, что договорился тут с мужиками-железнодорожниками — пообещали взять до Дарницы, к сожалению, только на тендере, на угле, значит... Здесь же мы подохнуть можем, но выбрать нет, а там... ну, опять как-нибудь.

Я не решалась заранее радоваться, да и поверить, что хоть что-то удастся и мы помаленьку все-таки станем двигаться к Москве... Посмотрела на него уж и не знаю с какой благодарностью и удивлением: до чего же он сообразительный! И тут не растерялся. А то, что сумел договориться с мужиками-железнодорожниками, меня даже радостно как-то внутри согрело:

значит, и с папой, тоже всю жизнь работающим составителем поездов, они легче сойдутся и породнятся.

Забрались мы в тендер, расположились на угле — я наподобие норки себе что-то изобразила, чтоб никто не увидел. Железнодорожники, — сказал Витя, — строго насчет этого предупредили. Сам Витя тоже как-то прикорнул и вроде замер.

Поезд тронулся... Всюду сразу что-то залязгало, загрохотало, угольная пыль, сажа завихрились... Не заметили, как оказались в Дарнице. Слезли с тамбура, поглядели друг на дружку и только что не упали — какие мы красавцы черномазые сделались за эту короткую дорогу!.. Направились к водокачке, как когда-то в польском городишке — к озеру... Слава Богу, тут ни черепов, ни костей, вода чистая, холодная. Умылись, пообчистились, привели себя в порядок. И снова нам предстояло решать задачу со многими неизвестными: как действовать дальше? Витя мой снова то уходил, то возвращался, то добрый, то злой, через силу уставший, измотавшийся.

Он даже, как оказалось, уж и отношения выяснять с кем-то связывался, и матерился, и доказывал... А кому что докажешь? Однако офицер-патрульный, контуженный, который подходил к нам документы проверять, когда мы коротали время на старой лавке под каким-то широко растущим деревом, покачав головой, ничего не пообещав, вдруг в темную уж пору послал за нами молоденького рядового с приказанием явиться к нему. Может, не совсем точно запомнила, как все было, но в ночное время тихо, затаив дыхание, мы залезли в полупустой вагон прикрытия — это между паровозом и пассажирским составом — на случай, если поезд резко затормозит, то вагон прикрытия может и раздавить, зато едущие в вагонах первого класса важные люди, могут даже и не понять, что произошло.

Витя мне тихонько, почти шепотом, рассказал, что все это значит, но если и повезет, то мы таким образом доберемся до Москвы... Я плохо во все вникала, я хотела одного: поскорее бы, пусть хоть как, хоть на чем добраться до Москвы, побывать у тети Таси — и прямым ходом домой.

Не сразу, не скоро устоялось относительное спокойствие в вагоне: кто-то чего-то у кого-то требовал; пожилой мужчина прямо и резко отшивал молодых патрулей, которые вели себя, увы, без намека на вежливость или снисходительность к истрадавшимся, усталым, израненным победителям... Патрульные отряды являлись не раз и не два — требовали, чтоб освободили вагон, что не положено, что опасно, угрожали, что стрелять будут... Затем патрули-молодцы закрыли наш вагон на тяжелую

задвижку и с хохотом пошли, мол, попляшут, узнают, еще в ногах валяться, умолять станут, чтоб открыли дверь.

Наконец вроде все успокоились, все утихло и тут мой молодой муж вознамерился со мной поиграть... Сначала я старалась не только не отвечать на его ласки, но и как бы не реагировала вовсе, вроде как дремала. Муж не унимался. Я подумала-подумала и взяла его руку, отвела от низу, приложила к своему разгоряченному лбу. Он отдернул руку, забеспокоился: «Простыла?» — спрашивает. Я отрицательно качаю головой. «Заболела?» — «Да нет же», — и тут не выдержала, призналась, что я же в вагоне одна женщина, а мне время от времени тоже надо бы в туалет... Я уж и не пью совсем, и почти не ем, но я больше не могу терпеть.

Я не успела договорить, объяснить, так сказать, как Витя мой снова с вопросом: «Почему об этом не сказала?» Говорю, что боялась отстать от поезда и еще боялась автоматчиков...

— Да ведь я же железнодорожник! — почти со стоном заговорил Витя. — Я же правила движения знаю. Когда горит красный... Может, я тебя загорожу шинелью, и ты в притворе дверей пристроишься?..

— Нет, не беспокойся, я еще потерплю. Ты только пока ко мне не прикасайся, пожалуйста, и не обижайся, не сердись на меня.

Витя укутал меня чем мог, утешил как мог и устроился у приоткрытой двери, на сквозняке, чтоб не заснуть, чтоб станцию не прозевать.

За вагоном разговор слышался. Витя мой к двери с просьбой, чтоб отперли вагон, что говнюки-патрулики от нечего делать, развлекаются... И что-то еще говорил тому смазчику или осмотровщику вагонов. Тот каким-то своим инструментом стронул тяжелую задвижку с места и откатил до отказа. И тут подхватил меня молодой и такой смекалистый мой муж, ссадил на землю и велел бегом бежать — показал, куда, что паровоз еще только отцепляют на заправку, а без паровоза мы же никуда...

— Беги, не беспокойся! Я тут ждать буду.

Потом рассказывал как, раскинув руки, говорил хлынувшим из вагона, натерпевшимся мужикам, чтоб шли в ту сторону, что сюда нельзя! И мужики, говорит, не разбирались, в чем дело, не теряли времени и, на ходу изготавливаясь, впробеги, на полусогнутых, как говорится, двинули куда подальше...

Когда все обошлось, когда сделалось легче и даже веселее, я вспомнила и рассказала мужу, как мы вот так же ехали

на Украинский фронт. Поезд то идет, то стоит, то опять пойдет... Пытались некоторые принаравливаться в дверь, да не дело это. Зато когда показалась вдали станционная будка, а может, небольшой вокзал и от семафора, закрытого на время, шла автоблокировка — провода, натянутые над землей на высоте полуметра, может, и того меньше. И одна из наших девчонок рванула впереди всех и, не разглядев ту автоблокировку, запнулась за нее и метра три, если не больше, прокатилась по инерции вперед и не сразу поднялась. А когда поднялась — ох, Господи! — рот рукой зажат и сквозь пальцы кровь сочится: Гутя сломала зубы, а другой рукою собрала в горсти перед платьем, пыталась скрыть мокрое пятно...

В Москву мы приехали, помнится, к вечеру и сразу же направились в метро. Я с легоньким вещмешком Витиним, а Витя с моим чемоданом, который и чемоданом-то назвать едва ли можно. Спустились к поездам, заведя в темном далеком тоннеле фары электропоезда, выбрали место, где поменьше народу, остановились, ждем. Я вроде рассказывала Вите, что любимая моя тетушка Тася живет на квартире в Загорске, на Запрудной или на Надпрудной улице, перед домом в палисаднике рябины и черемухи... И еще я была совершенно уверена, что мой Витя, такой удалой и смывленный, значит, и расторопный — электропоезд стоит одну-две минуты и люди спешат: одни, чтоб выйти из вагона, другие, чтоб успеть войти... Юркнула я в вагон быстро — мне это удалось, думала, и Витя за мной. Остановилась у окна, оглядываю пассажиров в вагоне — Вити моего нет! Не успел! Остался — глянула в окно: стоит мой милый боевой солдатик, мой родной муж по ту сторону вагона, на перроне. Я покричала, но чувствую, бесполезно, тогда пальцем на стекле вывела слово «Ленин» — библиотека Ленина где же я написать успею, а Ленин — написала. Стою, не отходя от входа-выхода, чувствую, как сердце во мне плачет, не глаза, а именно сердце — переживает случившееся... Вышла я на остановке «Библиотека Ленина» и все пыталась встать на видное место, чтоб он сразу меня увидел!.. Только выберу место побезлюдней, как тут же, откуда ни возьмись, появляясь и начнут толпиться люди, и меня опять не видать... Я только что на скамейку не залезла — не решалась — оштрафуют. Верчу головой, всматриваюсь в публику: а вдруг! Но как слышу шум приближающегося электропоезда — вся внимание! Все двери и входы-выходы, конечно, взглядом не охватишь — это я понимала, однако, дождавшись, когда выходят пассажиры из ближних, из средних вагонов, снова отходила на видное место. Один или два поезда даже пропустила — от

горького расстройтва. И плакать боюсь — из-за слез не разгляжу, не увижу его в толпе. А как представляю, что теперь обо мне Витя мой думает, а представляю, думает Бог знает что: и кланет-проклинает, и меня, свою жену непутную, и тетю Тасю за компанию, хотя тетя Тася тут совсем ни при чем... Видать, кончилось мое счастье, так еще и не начавшись. Ладно, хоть домой ничего не сообщила, что замуж вышла. Ох, как же нам найтись-то?! Господи, где же он теперь есть-то? Может, тоже переживает, а может, подумает, погорюет маленько да подастся из метро и направится, куда глаза глядят, решив, что утро вечера мудренее. От этих мыслей у меня не только все внутри похолодело, даже ноги коченеть начали, хотя и тепло в метро, уютно в холодную пору, а летом, в жару — тут всегда прохладно и, главное, всегда чисто... Ох и дура! Нашла о чем думать: прохладно, чисто. А Вити все нет и нет. Конечно ждать да догонять — нет хуже занятия, но смотря чего и кого ждать. Было бы кого, как вот теперь Витю. Да я готова до утра его здесь ждать, только на ночь метро закрывается, всех просят освободить залы и вагоны метро.

Снова прошел поезд. Витя и с этим поездом не приехал. Ладно. Буду ждать, опять встану на видное место.

— Да вот же ты где! Батюшки мои! Я жду, жду.

Разговор мой о том, как я ждала, Витя тут же прервал, да таким манером, такими словами. Я даже и не знала, что такие матюки бывают! Папа мой никогда не матерился, и вообще, при нас, ребятах, никто никогда матерно не выражался. И тут же виновато-радостная мысль: «Да ругайся ты, ругайся, как хочешь! Сколько хочешь! Главное — нашлись же, снова вместе. А ты ругайся, матерись, если легче тебе от этого, а я потихоньку, постепенно, постараюсь и к ним, к этим выражениям, привыкнуть...»

И потом, когда шли к электричке, уже последней, идущей до Загорска, Витя все мне высказывал, высказывал, прямо как в современном мультике о «Красной шапочке», которая поет: «Я при-ду в Париж, чтобы высказать все, что на сердце у меня...» Красная шапочка — в Париж, чтоб высказать, а Витя мой — по дороге в электричку, чтоб поехать со мной в Загорск, тоже, чтобы высказать!

Когда вышли на конечной остановке из электрички и направились по плохо, почти совсем не освещенному городу Загорску к тете Тасе, я сначала шагала бодро, с уверенностью, но по мере приближения к пруду, вдруг засомневалась — где же живет моя тетя Тася? Встану на мосту лицом к тому берегу пруда, припомнится, будто дом-то ее совсем и близко от моста,

а оглянусь — покажется, будто она живет совсем не на том берегу, а на этом... Все от волнения, от переживаний всю память отшибло. Но непременно надо вспомнить, непременно, как же иначе-то? То в метро приключение, не приключение, а горе-то вот теперь здесь. Стояли мы стояли, глядя на пруд, в один конец направимся — вроде не туда, вернемся.

— Витя, я не знаю, где живет моя тетя Тася! Я у нее была только один раз, еще до войны, и адреса не знаю, не запомнила, вылетело из головы от переживаний. Знаю, что перед домом палисад, а в палисаднике рябина и черемуха растут...

— Значит, не знаешь?!

— Не помню.

Тут уж Витя начал проклинать себя, мол, куда и глядел, где и выискал такую золотую?! Дуру полоумную! Вон в Станиславчике сколько этого добра было — глаза разбегаются! Любую выбирай! И на что позарился?! Дурак! Идиот! Охломон! Возьму и пришибу!

Тогда я второй раз услышала от него, как он может материть, материться, а тогда, когда портянкой хотел стереть краску с моих щек — разве это матюки были?! То были комплименты, если разобраться как следует: разглядел и, видать, хотел, чтобы я выглядела лучше.

Я ни оправдываться не могла — да и в чем оправдываться-то? Сама виновата! И плакать не могла — это я за собой давно знаю: когда мне вовсе плохо, тогда я и плакать даже не могу.

Витя мой еще поматерился, походил туда-сюда и вдруг остановился против одного дома, схожего с другими, соседскими, а вот выбрал этот, зажигалкой посветил, подумал и, как знающий себе цену, не без презрения, велел, показывая на дверь, чтоб звонила или стучала.

— Да как же я могу беспокоить людей, скорей всего чужих, незнакомых, в такой поздний час?!

Я даже голову уткнула в плечи, так он на меня сверкнул единственным глазом. Однако пошарила по воротам, потрогала щеколду, встав на цыпочки, в палисадник заглянула, поглядела на закрытые ставнями окна, а постучать не решалась и, вообще, будто вся как льдом покрылась...

Снова полетели матюки — я и их смиренно выслушивала, но когда мой муж, много чего обидного наговорив, снял пилотку и постучал по своей голове, дав понять, что она не только для пилотки, что в ней кое-что имеется, не то, что у некоторых. Я тогда отчего-то, именно в тот миг, вдруг поверила, признала — это тети Любин дом! И сначала робко, затем

настойчивей стала стучать. В кухонном окне вспыхнул огонь, высветив растительность под окном, затем не сразу, помедлив, приоткрылась дверь, и сонным уже голосом хозяйка спросила, кого носит в такую ночную пору? Может, добрый человек, а может...

И тут я закричала с радостью, благодарностью и вроде отчаянием — вдруг не отпрут дверь, что тогда?

— Тетя Люба! Тетя Люба! Это я Миля! С фронта я еду...

Тетя Люба! Узнав в тихой ночи громкий мой голос, тетя Люба отворила дверь, взгляделась в меня пристально:

— И правда, что Миля! Милечка!

Тетя Люба крупная, породистая женщина, когда-то в молодости была пригожа лицом и статью, да она и сейчас еще видная, скорей сказать представительная, — обнимала меня крепко и нежно, как родную, и я уж задышалась в объятиях ее пышного тела...

Мы, еще не отойдя от двери, и поплакали уж, и поцеловались, и она вдруг неожиданно спросила, указав на Витю: «А это кто?»

— А это муж мой, Витя! Очень хороший человек, не смотрите, что молодой, зато смелый, отважный... и я его очень люблю и буду любить всегда.

— А-а, муж. И имя хорошее. — О чем-то подумала маленько и пригласила нас в дом.

Пока шли от калитки к крыльцу, тетя Люба тихо предупредила, только, мол, потихоньку, осторожненько. Вася с войны вернулся, да таким барином сделался — не знаешь, как и подступиться иной раз. «Потом все расскажу. А тети Таси твоей, Милечка, дома нету», — жалостливо шмыгнув носом, сообщила тетя Люба.

— А что, в поездке?

— Если бы в поездке! В больнице она, твоя тетушка, дура набитая... ногу поломала. Давно уже лежит. А я тут кручусь-верчусь.

Попечалилась я, очень жался тетю Тасю.

— А мой-то, — кивнула тетя Люба на закрытые двери в горницу, или свою спальню. — Кто воевал, а он в плену беду нашу русскую переждал — вернулся чисто барин! Да барин и есть... Умывайтесь да и спать устраивайтесь-располагайтесь в ее комнате. Есть-то, наверное, не станете? Да и какая еда ночью да после такой дороги. Да простыни-то снимите, сдороги ведь. В бане помоесть, тогда и тряпицу вот возьмите. Кабы она, голубушка моя, знала, кто у нас объявился! На костылях бы добралась. Да ведь только дуракам закон не писан! Дура

была, дурой и осталась. От работы, как говорится, конидохнут, а она... думаешь, Милечка ты моя дорогая, в больнице-то лежит — лечится да отдыхает? Как бы не так!

Витя мой едва держался от усталости да переживаний, я кивнула, чтоб незаметно удалился в тети Тасину боковушку да и укладывался спать. Спустия немного, заглянула: лег ли муж мой, которому я за это время столько огорчений добавила хлопот да забот, легонько поцеловала его, уже задремавшего, и вернулась к тете Любе. И мы еще не скоро с нею разошлись по своим местам, она то про барина своего Васю, то про тетушку мою, все слово за слово.

Ранним утром я поднялась. Нагрела воды — бани у тети Любы не было, выстирала гимнастерку и брюки Витины, приспособила сушить к печке, чтоб быстрее высохли. Портянки не очень отстирались, и я их повесила за печку — с виду подальше, затем вымыла голову.

Витя проснулся поздно, и я к этому времени уж выгладила ему обмундирование, подворотничек подшила, пуговки о суконную шинель почистила, сапоги тоже собралась было почистить, но чем? Обтерла тряпочкой его сапоги и только принялась за свои, тетя Люба увидела меня за этим занятием и тут же принесла большую жестяную банку с гуталином. И скоро у порога стояли отблескивающие, прямо как новенькие, две пары сапог, большие и маленькие!

— Доброе утро, — с улыбкой сказал нам Витя.

— Какое тебе, голубок, утро? День уж давно. Ну, Милечка, и оторвала ты себе муженька! Спать горазд!

— Не только спать, тетя Люба, он горазд, он и смекалист, и надежный, и много знающий — понимающий. И это еще не все!

И когда я начала рассказывать, как он, никогда не бывавший в городе, отыскал нюхом, как разведчик, ее дом, Витя уже стриганул из избы — справлять нужду. Затем я показала, где ему умыться, и если хочет, то и голову можно вымыть, и ноги — воды нагрето много...

Когда Витя обмундировался во все чистое, свежее, сам отоспавшийся, глаз ясный, ласковый, выждала момент, когда мы остались одни.

— Милый ты мой солдатик! Добрый молодец! Наверно, даже самый лучший! — смутилась маленько, но быстро справилась с собой и уже вполне серьезно добавила: — Витя! Никогда не унижай себя, ни перед кем, ни в чем! Ты красивей, смелей и порядочней всех! Так и знай!

Обедали мы с тетей Любой и мужем ее — барином, это она точно определила. Сервировка стола — для него — была собрана лучшим образом, и его это ничуть не стесняло в присутствии нас, даже, наверное, наоборот. А в тете Любе наблюдалась какая-то рабская услужливость, что ли. Это меня поразило очень: тетя Люба! Такая видная, все умеющая, такая практичная и неустанная — и вот. Ну это, как теперь говорят, их проблемы. Не желала, не хотела, боялась я только единственного, чтоб Витя мой, привычный всегда, всем говорить правду, часто резкую, грубую, не в бровь, а в глаз... Теперь же был не тот случай — надо бы сдержаться, на эти два дня — и только. Но я не настолько хорошо и тонко знала своего Витю, больше любила, и потому не решалась сказать ему об этом прямо, а так хотелось только и сказать-то: «Витенька, сдержись. Завтра мы уедем к тете Тасе, послезавтра — домой, и без радости была любовь, разлука будет, как говорится, без печали. Другое дело — тетя Тася. Я так ее люблю и так мне ее жалко и не знаю, чего бы сделала, только бы она поскорее выздоровела... Я очень хочу, чтоб ты с нею познакомился как можно скорее. Тетя Тася — замечательная и самая любимая тетушка! Ты только не петушись. Ты лучше меня матери сколько хочешь! Вон какой ты на это дело мастер! Потерпи до завтра. Завтра поедем к тете Тасе, навестим ее, поговорим, послушаем, ты поближе познакомишься. Потом я за билетами поеду — у меня же литерные талоны! Мы с тобой дальше поедем в купе, может, даже только вдвоем. Мы же с тобой так вдвоем-то еще и не были... А барин этот и мне противен, но что тут поделаешь? Кому как...»

И вдруг Витя резко, почти зло напомнил мне, что я не была на Днепровском плацдарме, что я...

Конечно, ни на каком плацдарме я не была, и вообще войну видела издалека. Хотя... Да, Витя, а ты не знаешь, что тетя Тася уговорила свою хозяйку — тетю Любу, чтобы та привезла ей в больницу ее швейную машинку!

— А это еще зачем? — сильно удивился тогда мой Витя.

— Завтра узнаешь! — улыбнулась я и, бегло поцеловав его, шепнула, что я сейчас пойду, разденусь и ты через минуту-две приходи...

Но тут в дверь деликатно постучала тетя Люба, присела на край постели, опять стала жаловаться на своего барина. Я от этих жалоб тети Любы чувствовала себя как-то неловко: тетя Люба, статная, видная, даже властная, во всяком случае сильная, умеющая за себя постоять, женщина — и вдруг оказалась рабыней своего вассала!.. А может, ей просто хотелось

выговориться, освободить душу и сердце да и жить дальше — не каждому ведь обо всем и расскажешь, а тут мы свиделись-расстались, ей полегчало, нам, наверное, тоже...

Долго рассказывать, как мы ехали и шли и наконец добрались до железнодорожной больницы на станции Яуза и отыскивали там тетю Тасю.

Я знала из писем, что тетя Тася во время войны обслуживала разные вагоны, разный народ. То с артистами, разъезжающими с концертами по прифронтовым городам, то со специалистами по восстановлению разрушенных мостов и железнодорожных линий. Стоянки разные, то затяжные, то краткие. Всякую обстановку тетя Тася использовала до крайности. Станции освещались плохо, и тут она приспособилась: залезу, рассказывала она, на крышу, как векша, выкину «переноску» с лампочкой, подсоединю с электролинии, к столбу, который поблизости, — светло возле вагона делается. Огляжусь и где тормозную паклю подберу — сгодится на растопку, рассыпанный ли уголь на путях соберу, иной раз не одно ведро — все в вагон. Если поезд остановится где-нибудь среди леса или возле поля, сделаю основную работу в вагоне и отправлюсь на промысел: если места подходящие окажутся, наберу грибов или ягод и разнообразное блюдо к обеду приготовлю; если овощное поле поблизости — накопаю, надергаю овощей, обработаю, даже запас небольшой сделаю...

Полусидит моя тетушка на больничной постели, привалившись к спинке кровати, в большой палате. На животе у нее родная ее швейная машинка: попросила тетя Тася свою квартирную хозяйку, чтобы та привезла машинку, — и вот чинит больничное белье, старое на новое переделывает... И мне сразу вспомнилось ее письмо из Владивостока, где она писала о жене военного, ехавшей с детьми к мужу, тоже взявшей с собою швейную машинку, чтобы время в длительной дороге напрасно не проходило.

Увидев нас, поохала, поахала, и порадовалась, и попечалилась тогда тетя Тася. Будь бы, говорит, я дома — горы бы пирогов напекла! Долго сидели, поговорили, ночевать велела в ее комнате, которую снимает у тети Любы и наказала передать хозяйке ее поручение, чтоб та нашла в комодě малиновый шифон — мне подарок, — на платье, покрывало бы новос отдала, пару простыней и вязаную скатерть.

Все так и было. Лишь спустя многие годы тетя Тася, уже старенькая, но все такая же сноровистая в деле, говорунья, ласковая и хлебосольная, расскажет, как ревела тогда после нашего ухода, как женщины по палате успокаивали ее: не дочь

ведь, что не по горю плачут, а от горя... «А я, — рассказывала тетя Тася, — от этого еще сильнее редела и все объясняла им, что ты мне еще дороже, чем дочь. Да к тому еще выросла в большой семье, в бедноте, и мужа вот нашла кривенького, в приюте выросшего. Как и жить станут?...»

Рассказывать об этом тетя Тася будет подробно и весело. Достанет связочку моих к ней писем, военных еще, припомнит, какое когда получила; фотокарточки иной раз поперебирает и напоследок непременно скажет: не зря редела.

— Вон уж сколько лет вы вместе! Так и живите! Судьба у тебя, Мария, сложилась хорошо. Всех тебе труднее, но и всех интереснее у тебя жизнь!

И так будет всякий раз. Только из-за разных обстоятельств я все дальше буду жить от своей любимой тетушки и все буду тешить себя желанной мечтой: «Брошу все — дел всех не переделать! — уеду к тете Тасе на неделю, буду слушать ее сыпучий вятский говорок — москвичкой она так и не сделалась, ни в одежде, ни по укладу жизни». И часто я буду думать и убеждаться в том, что именно за эту, чисто русскую, по-крестьянски обстоятельную, совестливую жизнь, за открытость, за доброту и отзывчивость ее так любят и уважают соседи и знакомые.

Купит тетя Тася в подмосковном городке Хотьково половину дома, с палисадником, с верандой и небольшим огородом. Дома у нее тихо, светло и уютно. Стены и потолок мыты до теплой желтизны, на белых гладеньких подоконниках в горшочках да в износившихся, но чистеньких эмалированных кастрюльках разноцветные пышные герани, тюлевые шторочки всегда хорошо выглажены, легко колышутся на открытых в палисадник окнах в летнюю пору, а зимой от них светло в избушке и очень уютно. На комод, покрыт вязаной скатерочкой, зеркало, прислоненное к стене, по обе стороны от него стройные вазочки из лилового стекла — для цветов, в них некрупные, розовые и алые пионы, искусно сделанные из крашенных перьев, фотокарточки в перламутровых и деревянных, соломкой отделанных рамках; кровать, будто невестина, заправлена вязаным покрывалом, подзор и наволочки на подушках с кружевными прошивами. Перехватит тетя Тася мой удивленный взгляд и пояснит, что зимние вечера длинные, включу, говорит, радио, устроюсь поближе к теплой голландке и ковыряю, кошка об ноги трется, мурлычет, радио то говорит, то поет...

В переднем углу большая икона, дорогая, старинная, завещанная и переданная ей какою-то из близких знакомых, уже

ушедших в мир иной. Перед иконой теплится днем и ночью синенькая лампадка. Икону эту не раз и не два просили у тети Таси продать — для музея, даже из Лавры приезжали, и цену большую давали, да тетя Тася спокойно, но твердо стояла на своем, убеждала, что Бога продавать грех, придет ее последний срок жизни на земле, передаст ее так же, как ей когда-то, хорошему человеку, а продавать не станет.

На полу домотканые половики. Тепло, сухо, спокойно и легко у нее в избе, стол посередине комнаты стоит да старенькие венские стулья.

В палисаднике и в огороде у тети Таси чего только нет! Под окнами да у забора малина краснеет, смородина в тени томится, увешанная лаково-блестящими ягодами. Гряды, как сдобные пироги, высокие, мягкие, борозды излажены чуть под уклон и сходятся у выкопанного ею самую небольшого прудка, а над ним калина развесила пламенно-яркие, крупные кисти, как корзинки. Лук и чеснок распирают рыхлую землю, огурцы то там, то тут повысовывались из густой резной зелени, обвесили гряды. И всюду цветы, цветы, разные и в самых неожиданных местах. Нарциссы и тюльпаны, мальвы и ромашки, флоксы и гладиолусы, астры и георгины, маргаритки и ноготки, даже китайские фонарики — на любой вкус! По одну сторону прудка, в дальнем конце огорода огромный куст диковинного, черного крыжовника, сладкого, как виноград «изабелла», рясно обвешанный продолговатыми, не очень крупными, иссиня-черными ягодами, что и листочков не видать. Другой угол занял, вольно раскинув сочные, огромные листья, ревень — тетя Тася делает из него вкусный квас, варит компот и варенье. У входа в огород, у самой калитки стоит потемневшая от времени, пузатая бочка с землей и обвесили ее, как напоказ, зеленовато-белые, крупные кабачки, а в середине, над зеленым ворохом хрупких листьев красуются крупные, распахнувшиеся во всю силу, оранжевые цветы, удивляют людей и хозяйку поздним, уже бесплодным, но таким жарким, солнечным цветом.

Тетя Тася щедро дарит букеты цветов молодым на свадьбу, именинникам или дорогим гостям. Соседки иногда выговаривают ей назидательно, какой, мол, прок от цветов? Одна потеха, и та до первых инеев. Картошки бы лучше посадила больше — недостаток невелик... Но это те, кто плохо знает тетю Тасю. Она слушает, посмеивается и отвечает, что она такой красоты лишиться никак не может — и себе, и людям радость! А когда выйду, — скажет, — в огород ранним утром, погляжу,

какая красота вокруг, так и пожалею людей, которые долго спят и ничего этого не видят...

А уж как солит тетя Тася огурцы и грибы! Диво-дивное! Вкус необыкновенный! Варенье сварит — ягодка к ягодке!

Я забегу вперед и расскажу, как приехала к своей тетушке однажды, постучала раз, другой, сильнее, нетерпеливей — не слышно ни шагов ее в сенках, ни голоса, как обычно: «Иду я, иду, да ноги вот плохо шагают, не торопятся...» В огород заглянула, в дровяник — нет нигде. Забеспокоилась — ладно ли уж с нею? Однако стараюсь о плохом не думать, предполагаю, может, ушла куда к соседям или в Загорск, в церковь уехала... Снова собралась стучать, да решила в окно заглянуть. И вижу: сидит моя тетя Тася у окна, старый чулок распускает, на клубок нитки сматывает. Увидела меня, вскрикнула было радостно, да тут и заплакала в голос:

— Заболела ведь я сильно: ноги вовсе не ходят. Ключ от двери в почтовом ящике — отопри.

Я вошла, расцеловала ее и села рядом.

— Милая ты моя! — заголосила она. — Не забыла! Приехала! — И все обнимала меня, утирая слезы. — А я вот видишь. Люди добрые и в баню водят, и обстирывают, когда и печку истопят, чтоб воздух сухой был. Еду сварят или принесут кто чего. Сейчас-то все на работе, все при деле, вечером приходят, проводят.

— Чего же не писала?

— Своих дел и забот у тебя хватает, знаю. Думаю, если совсем плохо станет, тогда уж... Ох, голодная ведь ты! В чулане суп, молоко там же, кисель овсяный...

Поели мы с тетей Тасей, я со стола прибрала и опять уселась к окну, чтоб разговаривать и делом заниматься — без дела же она никак не может! Поглядела тетя Тася в окно, про хорошую погоду поговорила и вздохнула:

— Малины вон сколько назрело, осыпается. Жаль. В детский садик все покупали, сначала лук зеленый, потом морковь, потом ягоды.

Я взяла бидон и пошла в палисадник, начала обирать ягоды да переговариваться со своей милой больной тетушкой.

Тетя Тася посидела, пораспускала чулок и неожиданно попросила:

— Ты поставь табуретку к кусту да помоги мне выйти, глядишь, и я в помощницы к тебе сгожусь. — Я все сделала, как она просила. И пошла у нас работа! — Вот как я ловко устроилась! Как комасинская учительница — босиком и в шляпе! А я вот летом — в валенках! Дожила... А ты знаешь, какие они мягкие да теплые — ноги зимой не нарадуются!

Заслышав по радио пение Сергея Яковлевича Лемешева, тетя Тася вспомнила и стала рассказывать, как ей два раза посчастливилось обслуживать вагон, в котором ехал знаменитый певец. Первый раз он выступал с концертами в Костроме и Ярославле. И тетя Тася никогда не забудет, как Сергей Яковлевич возвращался после концерта в вагон, усталый, побледневший, однако, глядя по сторонам, улыбался, кивал головой, благодарил слушателей, гурьбой его окружавших, и пробивался, спешил к вагону. А они, слушатели, поклонники его дивного таланта, неистовствовали, все плотнее обступали его, готовые стиснуть от восторга чувств. Он отбивался, как мог, деликатно, конечно, но усиленно и когда достиг ступеньки, поспешно, будто от погони, скрылся в вагоне, не оглянувшись на многоголосую толпу.

А поклонники все осаждали и осаждали вагон, что-то выкрикивали, махали руками, платками, шляпами, пытались уцепиться за поручни, взобраться на ступеньки.

Тетя Тася, наблюдая такое дело, решительно, со стуком опустила «фартук» и укоризненно заговорила. Это для всех было неожиданно и потому получилась заминка, толпа на какое-то время смолкла.

— Да вы что, с ума все посходили?! Столкнете ведь вагон! — Народ опять стал приходить в оживление, но тетя Тася не дала толпе опомниться. — Такие вы счастливые, что довелось вам послушать самого Лемешева! Вам радость, удовольствие, а Сергей Яковлевич устал, ему нужен отдых. Неужели не понимаете? Вы послушали, другие тоже хотят его послушать, тоже ждут. Давайте расходитесь и оставьте человека в покое! — и захлопнула дверь вагона.

Концертную одежду, цветы, памятные подарки сопровождавшие певца служители внесли в вагон через другую дверь, которую тетя Тася предусмотрительно открыла.

Она быстро помыла руки, налила в стакан свежего, ароматного чая, в розеточке — сахар, в другой — ломтики лимона, все поставила на небольшой поднос, покрытый накрахмаленной салфеткой, и постучала в дверь купе.

Сергей Яковлевич сел, ожидая, что прорвался кто-то из поклонников — за автографом. Но увидел тетю Тасю с подносом в руках и, всплеснув руками, радостно, с облегчением выдохнул:

— Чай! Как это замечательно! Вот спасибо-то вам!..

— А помнишь ли свое черное платье с зеленым кантиком? Теперь уж дело прошлое, признаюсь. Это ведь я крестному рубаху хотела шить, да скроила с одним рукавом!.. Все вроде

шло ладно, а когда хватились шить — второго рукава не оказалось. Думала, ты или Галка для кукол взяли. Все обыскала — как растаял рукав! Крестная глядела, глядела да и спрашивает: «Был ли он?». — «Был», — говорю. А она мне: «Сатинету было мало, и я сомневалась, как ты выкроишь рубашку отцу? А ты еще и с запасом делаешь — вдруг сядет после стирки... Вот с запасом-то и вышел один рукав!» Что делать? То ли реветь, то ли смеяться? Ни то ни другое не поможет. И перепланировала я, да и сшила тебе платье!

Разговорилась, развеселилась моя тетя Тася, говорит и смеется звонко, радостно, передвигается с табуреткой от куста к кусту. Солнышко греет, птицы поют, ягоды с половины кустов уже обобрали. Знакомые, проходя мимо, приостановятся, поинтересуются — отчего это с утра Тася такая веселая, будто и не хворающая. Увидят меня и скажут: «А-а, вон оно что! Племянница любимая приехала! Тогда скоро поправишься».

— Возьми-ка шанежки наливные, со сметаной. Горяченькие, только испеченные. Как раз вам к чаю, — сказала соседка Антонина Никифоровна и подала через невысокую изгородь теплый сверток.

Другая тети Тасина подружка молока да яиц принесла, постояла недолго, поговорила с нами и пошла по своим делам.



Чем дальше, тем сильнее я буду мечтать и надеяться, что поеду к тете Тасе, буду слушать ее разговоры-воспоминания, а память ее «дальняя» так и останется сильной, почти неподвластной ни времени, ни забвению. Наблюдать, как она все еще красиво трудится, спокойно, по-своему интересно и достойно живет, запоминать, учиться и мысленно благодарить ее за эти бесценные уроки жизни уж в который раз говорила я себе. Только, к сожалению, встречи наши с нею так и останутся редкими и краткими — все-то мне будет некогда, все-то я буду бежать впереди себя. Однако же каждое с нею свидание — пусть оно продлится день-другой, а то и всего несколько часов — очистит мою душу, высветит помыслы, незримо, но непременно придаст силы, чтоб жить дальше, в чем-то вразумит, поддержит в минуту трудную, научит терпению и сдержанности, скажет, что незачем плохое свое настроение, душевное ли страдание обращать в озлобленность и глубокую обиду. Тебе, мол, это все равно не поможет, не принесет облегчения, зато принесет горе другим.

И я буду жить дальше, болеть от мысли, что, наверное, недалек уж тот срок, когда не станет на свете моей любимой и единственной уже тетушки. Что настанет и такое время, когда из-за нездоровья да и немалых уже лет и я не смогу, не решусь поехать в дальнюю дорогу и, значит, не увижусь со своей тетей Тасей уж никогда... Жаль, конечно, что никак не могу уговорить ее переехать к нам. Не обижайся, — говорит она мне на это, — я привыкла жить одна, сама себя обслуживать. А занемогу вовсе, тогда не оставь, помоги как сможешь...

Но пока мы с нею живы, буду надеяться на встречу, буду сильной духом от сознания, что живет в Подмоскovie такой дорогой и родной мне человек. И от этого мне спокойней и уверенней жить на этом свете.

И всякий раз, расставаясь с нею, я буду говорить: «До свиданья, родная моя тетя Тася! Спасибо за все! Не хворай! Как только смогу — приеду».

И опять оставляю ее, такую одинокую и такую мне необходимую. Прежде чем свернуть с улицы, оглянусь и увижу: стоит, как когда-то, моя маленькая, старенькая, самая на свете дорогая тетушка, неторопливо машет мне вслед рукой. И скажу про себя: «Не хворай. Поживи подольше. Я непременно к тебе приеду!»

Тетя Тася, сколько я ее помню с детства, всегда была легка на ранний подъем. Я, бывало, приеду к ней обычно ближе к вечеру, разговоримся и часто уляжемся уж далеко за полночь, а поднимется она все равно рано, хотя у нее и не семеро по лавкам, всю жизнь жила одна, относительно, конечно, — родни много, желающих остановиться на ночь, приехавших в Москву по делам — Хотьково же от Москвы недалеко — или погулять, посмотреть родную столицу. И того больше: если дело было летом, то никогда не пустовала ее веранда-светелка, чистая, с накрахмаленными шторочками. В доме кухня и отделенный от нее небольшой заборкой закуток: там посудник, холодильник, лавка, вешалка для фартуков да разных легких и удобных поддевок — чтоб в огород ли выскочить, помои ли выплеснуть, дров ли принести, одно окно, наполовину занавешенное пестренькой с оборочкой шторкой — все под рукой, все на виду, на полу ею же тканый когда-то пестренький половичок, начавший уже махриться по концам, хотя она его часто, почти после каждой стирки обметывала или обшивала ситцевой полоской. Начала уже ткать новый, но руки до этого дела доходили редко, как говорится, дом невелик, да спать не велит... так она его и не доткала... Я не без печали

и часто впоследствии буду вспоминать стихотворение вологодского поэта Александра Дружининского, который расскажет:

Над застылым болотом, в ту осеннюю пору
Все кричал одичало белогрудый кулик...
Умерла моя милая бабушка скоро,
Не успела последний доткать половик.
Что дала она миру? Нелегко мне ответить...
Я губами к платку ее молча приник.
Умерла моя бабушка. Нету на свете!
...Не успела последний доткать половик...

Однажды получила от тети Таси письмо, очень печальное, хотя очень редко, в самых крайних случаях она не сдерживалась и на что-либо жаловалась.

Старость, говорит, навалилась вовсе, и в погоде начались сильные перепады, может, от этого еще и здоровье сильно ухудшилось. А Саша с Тоней — я о них тебе говорила или писала, что на них и дом перевела, и все, что в нем, а они меня заверили, что до конца дней меня не оставят, не покинут, ухаживать станут, когда вовсе занемогу. Но вот сын из армии вернулся и теперь своих дел-забот прибавилось, заходить стали очень редко. И что ей очень трудно и одиноко...

Милая, милая моя тетя Тася! — плакала я тогда над ее письмом. И так мне захотелось к ней съездить, хотя бы на недельку, поухаживать бы за нею, чего сделать, прибрать, вымыть бы ее, порасспрашивать, послушать... Да только не было у меня тогда недельки, да и потом не будет — все буду наезжать к ней накоротке, иногда с утра до последней электрички, иногда с ночевкой... Написала ей большое письмо, что вот поеду провожать Ирину с детьми домой и на обратном пути непременно заеду. Недолго, конечно, опять спешить придется. У Ирины задержусь не на день-два: надо бы подыскать для нее помощницу — надежного человека, хоть часа на три-четыре в день, чтоб Витеньку в садик увести, за питанием на детскую кухню сходить, а потом чтоб Ирина сходила на базарда в магазин, может, и поспала бы с часок, а вечером, чтоб взять из садика Витюшку да помочь малышку выкупать. Как мне и что удастся сделать, чтоб помочь Ирине, пока и не представляю, но в Хотьково обязательно заеду. Приехала. Стучу. Звоню. Никого не слышно, никто не открывает... Уж не случилось ли чего? У соседки окна подшторниками задернуты, значит, дома нет. Вышла за ограду, постояла, подумала, вернулась и в палисадник — принялась стучать в окно. Я даже и постучать еще не успела, дотянуться до стекла, вижу: сидит моя тетя Тася, чего-то делает. Увидела меня, распахнула створку и сквозь слезы заговорила:

— Как хорошо, что ты, Маруся, приехала, ровно чувствовала. Обо всех об нас у тебя сердце болит, все чувствует... Я ведь болею, Маруся. Так стали болеть у меня ноги... ночью дак не знаю, как их и уложить. Милая ты моя, как хорошо, что приехала!..

Пробыла у тети Таси я всего два дня, но скоро приеду снова, напишу письмо Вите, напишу, что и как, и опять к ней приеду.

«Витенька! Отправила тебе письма и пьесу, сегодня упаковую и бандероль, и посылку, только отправлю, наверное, на Галю — не уверена, застанет ли почта тебя. Сейчас напишу тебе и пойду к деду, а Ирине с Витенькой в три часа надо быть на приеме у врача, чтоб посмотрел и дал направление на анализы. В остальном тут пока терпимо.

Если у деда ничего не осложнится, то в пятницу вечером, если Люда поможет с билетом и на обратный путь, то съезжу на эти полтора дня к тете Тасе. У нее совсем отнялись ноги, и как она там — не знаю. Может, хоть что поделаю у нее: помою, постираю да самое выкупаю.

Вчера врач разговаривал со мной о деде, говорил долго, что общее состояние по сравнению с тем, в каком он поступил, улучшилось, желтизны стало меньше и вообще кожа почти чистая, биллирубин снизился в три раза. Кашель есть, но у курящих и куривших людей при любом обострении он появляется, температура держится 37,5—37,6 — воспалительный процесс все-таки продолжается, да и капельницы часто дают т-ру, а отменять пока не будем — пока действуют хорошо. Хотела его протереть — кожа-то шелушится, но врач сказал, пока не надо, пройдет кашель и можно будет купать. После врача посидела в палате: постель чистая, тепло, но не душно. Приступы боли по 5-6 раз в области печени, но терпит да и уколы соответственные дают. Аппетит неважный. Говорю, не унывайте очень-то, может, и без операции обойдется. Ну, пока все, Витя, пойду по делам, а вечером может быть уеду к тете Тасе. Целую. Маня».

* * *

Через недолгое время снова лечу в Москву, чтобы быстрее попасть в Хотьково: пошли очень тревожные вести — вызывали на переговоры Тоня или Саша, которые как бы ее опекуны. А тут еще зубы разболелись у меня не на шутку. Думаю, может, в Литфондовской больнице помогут, а зуб-то коренной, да под коронкой, врача-специалиста в тот день на

месте не оказалось, так я и поехала к тете Тасе. Подхожу к дому. Вижу, возле ее калитки стоят несколько женщин, с испугом подумала я: «Все!..» — поздоровалась, подхожу, а ноги как ватные, сердце у горла, и тяжелое, как гири. Прошла. Никто ничего не сказал. Вхожу и вижу: спит моя разьединственная теперь уже тетушка, исхудавшая до костей и только кожа как бы и держит ее, еще пока живой скелет, в положенном состоянии, череп обозначился, нос заострился, руки поверх одеяла, но такие странные, непривычно-неподвижные, изработанные кисти рук... Плачу, заговорить вслух не решаюсь, взглядом спрашиваю: спит или все еще без сознания? Тоня сообщила, что неделю как не было у нее во рту и маковой росинки, два дня без сознания, никого не узнавала, не шевелилась. Утром привозили священника, она исповедовалась, пособоровали и вот только что священника проводили, а она уснула..

Сидела, смотрела на тетю Тасю, думала о том, как непомерно крупные руки тяжело давят ей грудь, слушала, как и что было, плакала, пила чай и все боялась: вдруг она больше не проснется... Но где-то около восьми вечера — я приехала днем, — тетя Тася открыла глаза, обвела свою комнатку, увидела меня и говорит:

— Мария, дай попить. — Я растерялась, тороплюсь ее напоить, верю — и не верю. А она снова: — Я же знала, что ты приедешь, а ты испугалась...

Днем все около нее вместе чай пили, даже бульончика маленько попили, икру минтая привезла, так она ее кончиком чайной ложки, сидя в подушках, помаленьку брала в рот и хвалила, что солененького ей так давно хотелось... Поговорит маленько и скажет: «Теперь ты говори. Я устала...» Зуб мой болит, аж потею, терпя боль. Когда ходила в магазин, зашла в местную больницу, но мне ответили, что зуб коренной, да еще под коронкой. Езжайте в Москву, в платную клинику. Я опять в аптеку, глотаю аналгин днем держусь, а ночью, как лунатик, меряю веранду из конца в конец...

Вечером опять пригласили врача. И врач, обращаясь к тете Тасе, сказала, что нужно время и тогда еще и в огороде побываете, и в садике своим посидите, вот так же, в подушках спервоначалу. А мне сообщила, что пока будет апетит — будет жить, затем начнется белокровие, понадобятся наркотики, дежурство возле нее ночами. Сколько это продлится — сказать трудно, но нужно быть готовым ко всему.

Я сказала тете Тасе, что поеду в Москву, зубы замучили, может, удастся все-таки попасть в платную клинику или достать билет, чтоб поехать домой, что буду ей писать каждый

вечер, а потом приеду обязательно, а может, еще и из Москвы вернусь, и попросила, чтоб она меня не теряла и не умирала бы без меня. И она, бедная, но светлая, пообещала, что все поняла, что постарается. Она знает, что доживает свои земные сроки, но не в отчаянии и не затаила обиду на здоровых, а такое случается; я знаю, и нередко, особенно с обреченными больными. Она же в светлой памяти, не казнится тем, что не так жила, не то делала, потому что жила и делала как могла, умела, как складывались обстоятельства, но душа ее чиста... Вот меня бы спросили: знаю ли я, как жить? Я бы ответила — да, знаю. А так ли живу? Сказала бы, что нет, потому что обстоятельства бывают сильнее, да и разум не всегда согласуется с сердцем.

Тетя Тася — мой последний корешек, связывающий меня с моей родственной, жизненной жилкой. Оборвется она — и я долго не смогу обрести опору в жизни, в помыслах и в поступках — тоже...

Когда я приехала домой, меня ждало письмо от тети Таси, уже предсмертное. Она писала:

«Здравствуйте, дорогие мои Маруся и Витя! Сердечный привет и самые наилучшие пожелания! Как видите, пишу, значит, жива, но держусь на волоске — очень больна. Без конца рвет. Есть ничего нельзя. Приходят врачи, делают уколы, дают лекарства, да они уж мне не нужны...

Пишу плохо — руки дрожат. Память еще есть. Помню, как у вас гостила... Добрые воспоминания я унесу с собой. Не знаю, успеешь ли ты, Маруся, еще приехать? Недолго осталось жить... Простите меня...»

Особенно остро и больно вспоминается мне «тот последний половик», который остался недотканным, в те прощальные дни, когда моя милая тетушка уже лежала в переднем углу, под большой иконой, успокоенная, с сомкнутыми губами, которые никогда уж не улыбнутся, ничего не скажут, не спросят...

Все свершилось... Спи спокойно, милая моя тетя Тася! И подари тебе, Господи, царствие небесное в месте светлом, в месте златном, в месте покойном...

* * *

Предзимье. Странная пора.
Не холодно, но как-то знобко.
Зима переступила робко
Грань осени еще вчера.
Но не вошла, а у дверей

Присела скромной ученицей.
И, всхлипывая, плыли птицы
Ночами черными над ней.
Распластанные в вышине,
Роняя перья у излучин,
Еще надеялись на лучшее
Они по собственной вине...
Но утренний ударит хлад,
И с неба градом чудо-льдинки,
Комочки тел, судеб слезинки
На землю плавно полетят.
Под этот похоронный звон
Мурашки побегут по коже...

Галина Белова

Тогда из Москвы мы уехали скоро. Я плохо помню: вместе с Витей или одна наведалась ненадолго в Загорск, к тете Любе, — за подарками, какие нам определила тетя Тася, как бы на бедность нашу, на начало нашего семейного обустройства. Тетя Люба ворчала, я молчала, ожидая того, чего велено нам отдать тетей Тасей. Все взяла, аккуратно завернула, поцеловала подушку на заправленной постели, поблагодарила хозяев за приют и ласку, пожелала добра-здоровья и пошла со двора. Тетя Люба, шаркая надернутыми на ноги галошами, дошла со мной до калитки, многократно расцеловала, заливаясь слезами, и с сожалением, как мне показалось, отпустила меня из своих объятий, чего-то еще громко сказала вослед и крепко заперла за мною дверь.

Мы ехали в купейном вагоне до Перми — так было указано в билете, а из областного центра идут электрички и попутные поезда. Нам и тут долго ждать не пришлось. Объявили, что прибывает поезд или отправляется уже — Пермь—Соликамск, я заспешила, Витя за мной, втиснулись в тамбур, а там постепенно и в вагон.

Поезд плавно отошел от Пермского вокзала, быстро начал набирать разгон, и мне не выразить те свои чувства в то время, но их, чувств было много, разных, волнительно-тревожных, радостных, что скоро буду дома! Но и у Вити все выражено на лице — что у него на уме. А тут еще и похолодало ощутимо — и не до разговоров, и не до шуток. Электровоз везет, мы покачиваемся, помалкиваем. Я уже несколько раз предлагала Вите свою шапку — у меня же еще и берет есть, но он не взял, отмахнулся. Ну, не взял и не взял. Я уж как-то не очень и верила, что мы скоро, часа через полтора явимся с ним вместе к нам домой, думаю, решит в последний момент, а может, уж и решил, что передумал здесь оставаться, в Сибирь поедет. Я уж и к этому вроде была готова, хотя умом понимала:

ну и что? Ну, передумает, поплачу, погорюю и забыть уж никогда не смогу, но не сопьюсь, не истаскаюсь... Ладно хоть домой не сообщила, что замуж вышла, — все же произошло быстро, почти в два дня. Но в своем письме к Калерии писала, что вот сдружилась с очень хорошим парнем, бывшим детдомовцем, начитанным, надежным, веселым. Но и словом не обмолвилась, что собираемся пожениться; да у нас и разговора-то прежде об этом не было, просто нам с ним очень хорошо и интересно. Ответ написала не сестра, а ее муж Петр, письмо нравоучительное и в таком тоне, что если мы поженимся, то им с Калерией нас и кормить, и поить придется, коль он раненый да детдомовец...

Приехали в Чусовой, вышли на перрон, затем на привокзальную площадь. На табличке же было написано и указано стрелкой: «Выход в город». Вот мы и вышли. Витя огляделся: по одну сторону вокзала-станции — гора, на склоне которой дома то табунками, то поодиночке, по другую сторону станции — сплошь железнодорожные пути: станция-то узловая, а за путями — река, но ее почти не видно. Увидел в низеньком, приосевшем привокзальном скверике на невысоком постаменте тоже как бы приосевшую, литую фигурку Ленина со снежным комом вместо шапки на голове и с вытянутой в сторону перрона рукой. Витя какое-то краткое время поводил головой, поприглядывался к фигурке вождя и громко, с веселостью воскликнул: «Здорово, товарищ Ленин! — единственная знакомая мне личность в этом городишке».

И мы направились по дороге, в сторону дома. Погода помягчала, снежок пошел, и, когда дошли до здания милиции (или прокуратуры?), где было яркое освещение, мы поставили свои небогатые пожитки к телеграфному столбу и маленько покидались снегом — поиграли в снежки. Я и это поняла: Витя мой замедляет и замедляет ход, чем ближе к дому тем заметней. Пришли к дому, вошли под навес крыльца, присели на лавку. Посидели. Я хотела уж стучать в дверь, но Витя остановил, мол, посидим еще маленько. Еще посидели. И тут я неожиданно, но с надеждой вспомнила, куда клали ключ от двери, прошлась пальцами за верхним наличником двери от угла до угла и в конце наткнулась на гвоздь, вбитый сбоку, а на гвозде том... вот он, ключик, не золотой, конечно, поржавевший уж немного, но тот самый! Я мгновение подумала и отдала тот ключ Вите, чтоб открывал, чтоб...

Витя так и сак вертел-повертывал тот ключ в замочной скважине, пробитой в жестяной пластинке — видать, сама

замочная дырка как бы «размахрилась» по краям, просторней сделалась и ключ не сразу попадал в нужное отверстие.

За дверью, в сенках, слышались осторожные шаги, приблизились и отступили. Витя махнул недовольно рукой и сунул ключ заветный мне в руку. Я тоже со старанием принялась орудовать вроде с детства знакомым ключом, но безуспешно. Дверь из избы снова отворилась, и слышался такой родной и до боли уж мне знакомый голос — голос папы.

— Кто стучается? Ково надо?..

— Папа! Да это же я, Мария! Мы с Витей с войны приехали, вот, домой!..

— Марей?! Дак што же ты отпереть-то дверь не можешь, че ли? Ты... вы вертите теперь не к Куркову, а к Комелину! В ихну сторону, к Комелиным. Осенью варнаки какие-то испортили замок. Пришлось исправлять да наоборот вот и вставили.

Когда я ключ повернула в сторону соседей Комелиных — дверь с легким скрипом открылась. И стоит перед нами папа, в нижнем белье, в телогрейке, накинутой наспех на плечи, в шапке, у которой одно ухо висит, а другое вверх задралось, маячит тесемкой...

— Мати, Вася! Ребятишки! Марей ведь приехала! Слава Богу, жива-здорова. И Витя вот с нею, тоже солдат. Не знаю, наш — не наш? Да если и гостимо, так места всем хватит. Давайте, проходите. В избе тепло. Раздевайтесь давайте. А ты-то че же? — оглянулся он и увидел Витю, так и стоявшего у порога. — Повесь шинель на гвоздь — их тут много понабито заместо вешалки — и проходи. Марей, покажи Вите, где у нас рукомойник... Тася! Сколь звать тебя надо? Самовар разжигай, ребята-то с дороги, холодные, голодные, шевелись давай!..

Мама, я не заметила, когда и как она оказалась на лавке у стола, охала, ахала, радовалась и плакала и все колотила себя по коленям, порастирает и снова колотить принимается...

— Миля, подойди ко мне, видишь, ноги мои опять за свое, опять они ходить отказываются: то жилы сведет, то приступить не могу. Ну да ничего, днем расхожусь — не первый раз. Только сегодня то уж и вовсе ни к чему... такая радость, а они вот... Подойди, посиди маленько. Вите полотенце-то, Тася, подай, и мыло — на припечке, а может, на умывальнике сверху... Господи! Вот радость какую Бог послал! Миля, а Витя-то как? Наш или куда дальше ему ехать?

— Наш, наш, мама! Витя — мой муж! Мы расписались перед самым отъездом. Не он бы, так мне еще долго, наверно, пришлось бы мотаться туда-сюда. Хороший он парень. Очень.

Вырос в Сибири, в детдоме, а потом на войну. Столько раз ранен... Мама, папа, вы уж жалеите его почаще, чем нас, родных. Витя! Полотенце-то нашел — нет? Там, на гвоздике должно быть.

В этот момент вышел из-за занавески, как бы из-за печи, Витя, тщательно протиравший лицо и руки, посторонился от шипящего поблизости самовара под трубой. Смущается — почувствовала я, подошла, взяла у него из рук полотенце, улыбнулась ободряюще и легонько направила к маме:

— Витенька! Это моя мама, Пелагия Андреевна, тети Тасина сестра. Она у нас еще ничего, всю домашнюю работу делает и вообще... только беды одна за другой точат и точат ее сердце.

— Посиди маленько со мной, Витя, понимаю, как вы устали с Милей — дорога дальняя, нелегкая, да не из гостей, с войны. — Когда Витя опустил на лавку рядом с мамой, она погладила его по рукаву, до головы дотронулась, улыбнулась. — Ничего. Теперь дома. В тесноте да не в обиде. Со временем чего-нибудь придумаем, разместимся, всем места хватит. Отец, — обратилась она к папе, — сейчас-то еще рано, а днем надо предупредить Шепуревых — временно пожить пустили, пока найдут что подходящее. Они освободят избушку, побелите, приберете... Мария все это умеет делать, справится, а теперь, когда вас двое, так и вовсе дело быстрее сделаете — и переберетесь... Тася, — нашла она взглядом мою младшую сестренку, — самовар-то к вечеру вскипит, или пораньше? — И та присела на кукорки да так принялась дуть в решетку-поддувало — самовар моментально забулькал! — Ну вот, теперь дело за небольшим — на стол собирайте. Вася, полезай в подпол, там, в самом углу, за корчагой с глиной бутылка должна быть с наливкой! Ох-хо-хо. Какая уж там наливка? Малина второй год бродит, сахару в нее малехонько тогда еще сыпанула. Ну да уж чем богаты. Отец! В чулане на верхней полке в ларе маленько хлебушка должно быть...

Мама руководила и все растирала и растирала ноги. Иван Абрамович спустился по скрипучей деревянной лестнице сверху — через холодную дверь ходил проверить в целости ли мясо.

Подал Вите руку, назвался — познакомились. И стал со смущением рассказывать, как нас за воров принял, думал, говорит, что подперли нас с улицы и орудуют в дровянике, где ободраный теленок, вчера заколотый, подвешен к стропилине. Ну, говорит, думаю, теперь все. Теперь нам из нужды так уж и не выбраться — не достроить дом... Рассчитывали, что на вырученные за продажу мяса деньги подкупим

пиломатериал, стекла да толи на крышу, пусть хоть временно, да закрыть бы...

Иван Абрамович не договорил, дверь открылась, и Азарий явился. Маленько выпивший, разбуряившийся от ходьбы да от морозу: у подруги своей праздник встречал — мы же явились как раз в канун ноябрьских праздников. Оглядел застолье, протянул Вите руку, сказал, что рад познакомиться. Очень рад! Разделся и помог достать папе семейную сковороду с картошкой из горячей еще загнеты русской печки. Картошка покрылась хоть и хиленькой, жиденькой, но все равно золотистой корочкой. Азарий почесал затылок, что-то посоображал и нырнул с чашкой в подполье. Не прошло и двух минут, как он с пристуком поставил эмалированную чашку с соленой капустой, легко взнялся сам, минуя ступеньки, подтянулся на руках, вытер дно чашки и тоже поставил на стол. Мы с Витей переглянулись и, не помню уж который из нас, достали из вещмешка три луковицы, кусочек сала да горбушку зачерст- вевшего уже хлеба.

Недолго засиделись за столом. Мама видела, что Витя то и дело встряхивает головой, отгоняя усталый накатывающий сон, я держалась, но тоже уже через силу. Мама негромко распорядилась, кому где спать, чтоб высвободить кровать для нас, и папа тут же проводил Витю в верхнюю комнату, показал постель, погладил ладонью по подушке, мол, тут и спать станёте, отдыхайте. Спите с Богом, а завтра... да утро вечера мудренее, — еще покивал молодому зятю и неторопливо спустился по узенькой лестнице в кухню.

Мы еще маленько поговорили с мамой, перескакивая в разговоре с одного на другое, и она сказала, чтоб я тоже шла спать. Тася ложки-чашки перемоеет — вода горячая в чугуне есть, потом порастирает ей ноги муравьиным спиртом — не сиднем же сидеть.

Витя спал, отвернувшись к заборке, к стене вернее, чутко отодвинулся, освобождая мне место с краю. Зоря лег на другую кровать, где до войны спала Калерия, а на этой спали мы с Клавой. На Урале большинство домов, даже бывших купеческих — все двухэтажные, но лучше сказать — полутораз- тажные. На нижнем этаже окна низко над землей и низкие сами по себе, а верхние — нормальные. В теплую пору кто-то спал в «летней» комнате, кто-то в летнем чулане — и вовсе вроде просторно делалось. А тогда...

Ранним утром, как мне показалось ранним, да и день все короче делался, ночи длиннее, потому, может, и не очень ранним, папа поднялся на вторую или третью ступеньку узень-

кой внутренней лестницы и, положив локти на пол-потолок — смотря откуда глядеть, — негромко позвал:

— Марея! Витя! Баня истоплена. Идите, мойтесь, пока не выстыла. После такой дороги... Айдайте, мойтесь.

— Ладно, папа. Хорошо, сейчас пойдем... Соберу бельишко да и...

Витя потянул на себя одеяло и вставать не собирался.

— Витя! Витя... Папа баню истопил, велит идти мыться...

— Вместе, что ли?

— Ну... может, ты пока мыться будешь, я в предбаннике подожду. Только так ведь не бывает у добрых людей. А они, родители-то, ведь не знают, не представляют, что... Давай, вставай. Вставай-вставай! — я подала своему Вите белье-обмундирование: положила чистые папины кальсоны, папину нижнюю рубашу, а верхнюю рубашку сняла с вешалки, из самодельного шифоньера, выбрала у брата, которая побольше. Себе тоже чистое бельишко положила, а на себя под халат надела армейскую рубашу, чтоб потом все снятое выстирать — семья-то ого-го-о получается, почти как раньше. Слезы к горлу подступили, но я тут же справилась с собой и, чтоб уж совсем отвлечься, стала щекотить мужу подошвы, откинув одеяло, и тут только удивилась: до чего же они, ноги, у моего мужа большие! Надо же!

Витя зашел в баню, повесил снятую одежду на жердь почти над каменкой, чуть только в стороне, задел таз, уронил, выдал первый мат, не то спросонья, не то от досады. Собрался воду наливать, ковш вроде оловянный, давнишний еще, увесистый взял и не донеся его до бачка с горячей водой, поглядел на меня. А я стою у порога, терблЮ тесемки от рубахи и всю меня колотун бьет, изнутри так прямо взбульндывает, и никак я не могла унять в себе эту дрожь, хотя в бане не то что тепло, жарко. И тут мой муж не выдержал:

— Ты зачем сюда пришла?! Мыться или меня караулить?! Чего торчишь тут? — И как полетели в меня и на меня матюки. Будь бы то камни — забили бы до смерти! Но это ж не камни. Додумать я уж не смогла, не помню, как скинула с себя ту рубашу, прямо с неразвязанными тесемками, нашарила второй таз, схватила ковш, крючком зацепленный за край бачка, пощупала на мокрой лавке мыло — не нашла и принялась мыть голову. Вспомнила, как до войны мы всегда головы мыли щелоком: ставили ведро на привычное место, в углу, и или наливали через край, или осторожно черпали, чтоб не взбаламутить. Голова щелоком хорошо промывается, и волосы потом

как шелковые делаются. Заглянула в тот заветный уголок в конце лавки, налила...

— Тебе че, воды мало, тянешься с ковшом куда не надо! — снова вскипел Витя, но уж не так, как вначале, но еще поматерился для порядка.

— Там щелок приготовлен... голову мыть...

— Так бы и сказала...

Витя еще и на полоч залез, чтоб попариться, а я никогда не парилась и направила уже было к двери, чтоб еще разок окатиться да и в предбанник — одеваться.

— А кто на каменку сдавать будет? Папашу звать?!

И тут я решила: человек мыться намеревается основательно, чтоб все, как у людей. Когда мы вернулись из бани, на столе уже стоял самовар.

Иван Абрамович собирался домой, мол, заждались дома, беспокоятся: «Ну, с легким паром, вас. Рад был познакомиться с тобой, Виктор. Надеюсь, да почти уверен, что жизнь у вас наладится, молодые. Милости просим к нам. Конечно, угощение будет незавидное, так теперь пока время такое. Все наладится. Дорога установится — по реке и не заметите, как дойдете. Ну, всем еще раз до свиданья... Виктор, Маруся, — Иван Абрамович покашлял в кулак и с улыбкой повинулся, — уж не обижайтесь, что за воров принял. Ну, до свиданья!»

На другой день мужчины наши отправились на реку — вмерзшие в воду плоты вытаскивать. Почти всегда еще до заберег, до шуги успевали приплавить сено и плоты вытащить. В этот раз не получилось — помощников-то считай не осталось, вот и не вытащили плоты на берег вовремя.

Уработались мужики, усталые, намокшие явились, а у Вити моего — и нос набок.

Уже сидя за столом, опорожнив бутылку мутной самогонки — с устатку да для сугреву, разговорились. Бутылку ту Иван Абрамович выставил по случаю удачной продажи мяса. Немного отпили тогда, остальную сегодня, когда работники, целый день выдалбливавшие обледенелые бревна-плоты из реки на берег, очень в этом нуждались. Тут я и узнала о случившемся на берегу, когда Азарий выпустил из рук комель дерева раньше чем Витя, — не враз — и вершиной, вершина та все равно что бревно, только чуть потоньше — она-то, спружинила и тюкнула мужа моего по носу... Как и что там происходило, как папа был расстроен, ругал сына, мол, ты же не первый раз имеешь с этими бревнами дело, а парню впервой, непривычен он пока к этой, к «нашей» работе, дак нет штобы

поосторожней, тебе ровно игрушки... ошпентил парня по лицу...

— Витя!.. Витя!.. Глаз-то хоть не задело ли, не повредило ли? Со мной тоже за жись-то всякое бывало, и терпенья нет от боли никакого, в глазах искры замелькают, но когда кровь пройдет — полегчает маленько... Што теперь сделаешь? Случилось дак, уж што теперь? — и опять к сыну: — Глядеть же надо, приноравливаться. Один-то много ли натаскаешь?..

А братец мой винулся перед Витей, снег к носу все прикладывал, отбрасывал пропитанный кровью, лепил комок из свежего и снова к лицу зятя и уже как бы близкого друга — они быстро сроднились, сдружились и уж навсегда.

Пока мужики работали «на сплаву» — вытаскивали из воды обмерзлые бревна, я выстирала Витино обмундирование, высушила. И так нагладила Витину гимнастерку и брюки — загляденье: ни складочки, ни морщиночки! Медали и орден приспособила на определенное им место, носовой платок в брючный карман положила и повесила так, чтоб видно было не только белый подворотничок и блестящие пуговицы, но и боевые награды. Повесила на стул — как войдешь в комнату, сразу и увидишь. Сапоги начистила. А себе погладила только юбку, сложила ее на сиденье стула, а сверху кофточку, которую связала еще в Станиславчике, из немецкого мешка из-под сахара: голубая кокетка, манжетки и резинка внизу, остальное — рябое, бело-голубое, красивенькая кофточка получилась, а пуговку сменила на более подходящую. Выбрала в банке из-под монпасье, тоже начистила сапоги, разыскала довоенную свою шапку-берет, только из толстой белой шерсти — тетя Тася еще показывала мне тогда, как вяжут береты. Пригодился тот берет мне очень!

Витя несколько дней подряд провел в военкомате в ожидании соответствующих документов, снес на барахолку, которую и барахолкой-то было назвать нельзя — просто толпа разного народу, то реденькая, то поплотнее и там либо меняли, либо продавали-покупали, — продал новую пару запасного нижнего белья, сфотографировался, купил хлеба, кажется, полбуханки и пришел домой. В военкомате, когда после большого снегопада завалило железнодорожные пути и затормозило работу и движение поездов, набрали желающих поработать на станции, пока дела с документами с оформлением идут медленно. За снегоуборку в конце работы выплачивали определенную сумму, вроде по десять рублей за день. Я тоже времени зря не теряла: на час-другой уходила на поиски работы. Встретила знакомую, которая, конечно же, изумилась и не

скрывала этого, что я, вернувшись с войны, не в пример многим другим, очень даже приборахлившимся разными способами, в разных местах, иду в чиненой-перечиненной маминой шубейке на «лисьем меху», как говорится, в ее же подшитых валенках... Зашли в горсовет, прислонились к батарее, и я, перебив ее, собравшуюся расспрашивать, как да что, спросила: не поможет ли она мне с работой? Что в лабораторию я возвращаться уж и не хочу, и подзабыла все «инструкции» по анализам шлака, стали или чугуна, а газовым больше не пойду... Да и мне бы — где карточка на хлеб побольше...

— Все поняла, — сказала мне в ответ обнадеживающе моя знакомая, когда-то соученица, Нина Блинова. — Давай завтра, — взглянула на часы, — к двенадцати приходи сюда же, и мы, я уверена, все решим, — помялась маленько, оглядев меня, и прямо спросила: — Миля, а одеть-то у тебя есть чего-нибудь... кроме этого?

Я снова запереступала, как на каленых углях, от этого вопроса, как когда-то, там еще, но быстро справилась с собой и завершила Нину, что, конечно, есть — и форма, и шинель, и сапоги... были и платья, ты же знаешь, но сестренка их за войну износила. Да ты не беспокойся, приоденусь, не подведу, звонко уже заговорила я, через силу сдерживаясь, чтоб не разреветься от обиды, от стыда, от жалости к себе и к Вите: ведь мы тоже молодые и ничуть не хуже даже этой же Нины. У нее отец председатель колхоза, она единственная дочка, ей хорошо. У нас тоже все образуется, хотя, когда, каким образом все наладится — понятия не имела, знала единственное, что у нас головы на плечах, руки, ноги, молодость.

Меня приняли в плановую группу Горпромсоюза, который объединял все артели местной промышленности. Работа как работа, на счетах считать я умела, в учетных ведомостях, где перечислялись изделия, выпускаемые цехами — артелями, иногда, конечно, делала ошибки: то против «саней» в графе укажу — пар, то в графе «сапоги» укажу штук. Нина при проверке смотрела на меня иногда с недоумением, иногда с раздражением, я смущалась, потому что точно знала, что сто пар валенок, сто штук телогреек, двадцать штук одеял... Просто голова была занята совсем другим: как там, дома? Не простыл бы и не заболел бы Витя, работая на снегоуборке; не явилась ли Калерия, как мама, как дожить до полочки и, главное, как побыстрей выселить из флигеля квартирантов. Я ни папе, ни маме, ни тем более Вите не говорила, что захожу к ним и вечером, и утром, перед работой, то убедительно прошу освободить жилье, то настаиваю — сколько можно напоминать?

Карточку дали хорошую: 800 гр. хлеба, талоны на крупу, на мясо или рыбу, еще нет-нет да мануфактуры выпишут, или меду, или валенки. Вите потом даже сапоги хромовые сшили на заказ, красивые такие сапоги — «джимми», но ноги-то у Вити «костлявые», ему нужен и взъем повыше, и вообще посвободней. Надел он эти новые сапоги, и пошли мы с ним в кино. Как уж он дошел вперед, как терпел весь сеанс — не представляю, но обратно уж почти всю дорогу на мне висел — что ни шаг, то и стон от нестерпимой боли...

Не помню, работал ли он еще на снегоборьбе, или уже перешел на постоянную работу — дежурным по вокзалу. Азарий работал на заводе, зарабатывал хорошо, но было похоже, что в скором времени собирался жениться на Соне Тимофеевой, то там и находился большей частью, иногда и вовсе домой не приходил, объяснял с улыбкой, мол, места там много, квартира большая. Сестры у Софьи замужем, брат Иван преподавал черчение в ФЗО, и от завода живут поблизости. Нам же все равно, где он и с кем. Мама, давно знавшая семью Тимофеевых, успокаивала, как видно, себя тем, что в этой семье все порядочные и нашему Азарию с пути сбиться не дадут. Тася училась на счетовода при горфинотделе, а Вася последний год учился в фэзэо на маляра-штукатура, летом, во время каникул подрабатывал где придется: кому-то избу побелит, кому-то поможет отштукатурить стены в избе. За это его кормили и давали немного денег. Но дома, вылезая из-за стола после скудного обеда, все спрашивал у мамы (или мечтал), скоро ли настанет время, когда все пообедаем досыта и на тарелке еще хлеб останется?..

Однажды среди ночи или уж и на утре мы проснулись от какой-то громкой суматохи, с плачем, с истерикой, с возмущением...

«Явилась сестрица!» — догадалась я, еще полежала немного, на Витю посмотрела — вроде спит, хотя какой уж тут сон, когда такой скандал, плач и громкий говор доносится снизу. Пожалела его — сму скоро на работу, надела старенький халат и спустилась вниз, в кухню, и, прислонившись к теплому боку печи, старалась сдержаться, не вступать в разговор с дорогой сестрицей: ни утешать ее, ни уговаривать, чтоб не кричала на весь дом — ночь ведь! Все спят! Утром всем вставать... Ничего я не говорила своей сестре, даже не поздоровалась — не выбрала момента. Она приехала не одна, ее сопровождал солдатик, покрасневший до ушей от всего происходящего. Никто на него не обращал внимания, не приглашал проходить, раздеваться. Тогда я тронула его за рукав, велела раздеваться и не

обращать на это действие внимания, подвела его к умывальнику за печкой, усадив с краю за стол, налила теплого еще чаю с морковной заваркой и достала с «полатей» пирожок. Солдатик быстро съел пирожок, выпил чай и не знал, что делать дальше? Я сняла с вешалки-гвоздя его шинель, папину телогрейку, еще чего-то и, кивнув ему, чтоб шел за мной, стала подниматься вверх. В ребячьей комнате раскинула на полу телогрейку, что-то подсунула в изголовье и, когда сестрин сопровождающий, не снимая обмундирования, лег, накрыла его шинелью — ему ехать в Нижний Тагил, значит, пойдут скорей всего вместе с Витей и он поможет солдатику попасть, устроиться в поезд...

Я снова спустилась в кухню. Калерия и не заметила, куда делся сопровождавший ее боец, все плакала и сердито выговаривала, мол, не могли встретить на лошади, что она еле дошла, что ей плохо, что лучше бы и не рвалась так домой. Тут же не забыла напомнить, сколько посылок они с Петей прислали, старались и заботились не только о себе, а чтоб хоть как-то приодеть и их вон, братьев да сестру...

Папа, пересиливая сон, попытался успокоить дочь, мол, утро вечера мудренее, что в тягости и не надо бы так расстраиваться да счеты сводить, в бедности всю жизнь жили, да не ерепенились из-за пустяков... Но дочь и папе принялась чего-то припоминать, давние обиды за бедность вечную, что, мол, днями Петя придет, увидит, куда я попала, мол, неизвестно, чего и будет.

Папа надел шапку, накинул полушубок и отправился в баню — спать. Я тихонько боязливо спросила: «Ты куда, папа?» — «Да не беспокойся, Марей, я в бане досплю, там тепло и тихо, да и не первый раз...»

Мама присела к столу, снова запоглаживала колени и все горестно вскидывала разболевшуюся голову, на каждый вскрик или громкие причитания Калерии. И тут я не выдержала, подошла к Калерии, где она сидела на табуретке и продолжала шмыгать носом, реветь или жалобно всхлипывать, приподняла ее лицо, чтоб в глаза посмотреть и на пределе сдержанности, вполголоса сказала:

— Ты вот что, сестрица! Приедет твой Петр — ему и высказывай все свои претензии и жалобы, а сейчас, если чувствуешь, что пора подступила рожать — собирайся потихоньку, я до больницы провожу и подожду, когда тебя примут и определят, куда следует. А если еще время не наступило, то уймись. Ты слышишь меня? Уймись. Вон ложись на мамину кровать — у нее тут тепло и спокойно... Весь дом на ноги

подняла своей истерикой! Будто режут... Завтра всем на работу, всем рано вставать, а ты тут... Уймись, еще раз говорю. А не то соберусь — и за «скорой помощью».

— Мария! Мария! Ты в своем ли уме-то? Она в тягости, может, ночью родит, а ты...

— Мама, иди и поспи маленько хоть на Зориной кровати, его дома нет. А родить — так пусть рождает, тогда и накричит-ся... А сейчас-то чего орать? На кого? За что? Небось солдатику-то и спасибо не сказала, что помог...

Калерия уткнулась лицом в подушку, собралась было еще повысказываться, но я с силой задернула занавеску, отделявшую кухню от спальни, попила воды из ведра, накапала маме нашатырно-анисовых капель побольше, и она беспрекословно выпила, утерла усохшие губы, кончиком головного платка утерла слезы и, обратившись к иконе в переднем углу, с которой молчаливо и скорбно смотрел на происходящее Святой угодник Николай чудотворец, тихо молвила:

— Господи Иисусе Христе, Сыне божий, спаси, сохрани и помилуй рабу божию Калерию! Не остави ее, пресвятой Николай чудотворец... Спаси, сохрани и помилуй!.. — поднялась, собралась было подниматься наверх, но передумала, велела, чтоб я принесла из сенок широкую скамейку, приставила бы к лавке, которая длинно еще продолжалась от торца кухонного стола почти до стены. Я собрала всю одежду, которая висела как бы над папиной запечной лежанкой, вытянула оттуда старую соломенную подстилку, изладила подобие постели и помогла маме лечь, прикрыла ее суконной шалью да стареньким еще тети Тасиным стеженным жакетом и недолго посидела на табуретке, которую освободила сестра. Принесла из сенок ведро с водой и вылила в большой, щербатый с одного боку чугунок, стоявший на шестке, самовар долила, углей из тушилки наложила сверху, на растопку скомкала какую-то бумажонку да мелко наломала лучинок, и трубу пристроила — все это на завтра, ногой подтолкала дрова под припечком, погладила маму по узенькому, усохшему плечу и ушла наверх досыпать.

Уснуť уж не смогла. Витя проснулся или дождался времени, когда надо собираться на работу. Вася тоже поднялся, а мама была уже на ногах. Разбудили солдатику, провожавшего сестру, чтоб тоже собирался, чтоб чаю попил да и дальше в дорогу направлялся бы. Не знаю, может, они вместе с Витей дошли до станции или порознь. Вася поспешил к автобусу, который подбирает учащихся ФЗО и повезет до места. Калерия глубоко спала, а нам с Тасей можно не торопиться: ей к девяти,

мне тоже, только подальше. Когда мы с нею вышли из дома, папа колот в дровянике дрова, нам кивнул, мол, ступайте с Богом, а сам присел на чурбак и принялся свертывать большую сигарку.

Калерия родила дома, на утро следующего дня. Заслышав не то писк, не то детский плач, Витя ворохнулся настороженно, а я слетела вниз, не считая ступенек.

Мама уже приняла роды. Черпала горячую воду из чугуна, выливала в банный таз и уносила за занавеску... На мой, лишь глазами высказанный вопрос: «Почему дома? Почему не в больнице?» — тихо и виновато отозвалась, мол, не согласилась Калерия идти рожать в больницу, боюсь, сказала. Я переждала время, тихо вошла в спальню, погладила сестру по голове. Она открыла глаза, нащупала около себя малюсенькое живое существо — сына своего и успокоенно опять смежила глаза и оставила руки лежать как лежали — обессилела после родов...

Мама шепотом, перемежая рассказ, что и как произошло, с молитвами, тихо наказала мне, чтоб позвала Евдокию Ниловну — соседку, жившую по другую сторону линии. Та быстро пришла, и они уж вместе с мамой обихаживали роженицу и младенца... Я снова ушла наверх, осторожно легла с краю на неширокую кровать, хотела чуть пододвинуть мужа к стене, но он не спал и, когда я улеглась, тихо спросил:

— Кого Бог дал? Все нормально?

— Племянника, — тоже тихо ответила я, — пока вроде все нормально, а вообще-то, откуда я знаю?..

В этот день на работе я опять нет-нет да и считала лапти, к примеру, штуками, рубашки парами, телеги парами, перчатки штуками.

Петр, муж Калерии, приехал через неделю. В тот день нас как-то легко и просто, будто само собой так получилось, будто так и полагалось, переместили на мамину постель, мама на короткие часы беспокойного сна устраивалась на папиной лежанке — за печкой. А сам папа то на полу в ребячьей комнате, где теперь спали Тася, на кровати, Вася и Азарий — на полу и иногда папа тоже лепился с краю, или уходил спать в баню, иногда устраивался на печи...

Петр с первого дня повел себя по-хозяйски, то Васю, то Таисию без стеснения посылал за квасом на хлебозавод, благо тот был неподалеку и квас продавался у проходной в ларьке почти постоянно.

Тут уж я не на шутку взялась за квартирантов, стучалась, зыбала в дверь через час да каждый час. Однажды, когда дверь

оказалась незапертой вынесла имущество квартирантов, что смогла, в сенки, сказала что это только для начала, потом же вовсе выкидаю все ихние пожитки на улицу, а то и дом подожгу, а они отвечать — платить страховку за него станут — они ж тут жили...

А в нашем перенаселенном доме делалось все беспокойней: то ребенок плачет, то Калерия сводит какие-то свои счета с мужем — Петром Мироновичем, то сообща судят-пересудят и маму с папой, и всех живущих в доме, нас, конечно, тоже, и как только хотят, перебивают наши косточки...

Петр Миронович, муж Калерии, приехал утром в последние дни февраля. Калерия родила без него, ей — не позавидуешь, а малому что? Был бы сыт да пеленки сухие, да тепло и ласка...

Когда с работы пришел Витя и увидел нового родственника, недавно явившегося, но уже чувствующего себя хозяином, не очень довольного от знакомства с семьей супруги, вообще, от условий, в каких ему довелось оказаться, — поздоровался, умылся, сел за стол, ожидая еду.

— Миля! Теперь вот Петр Миронович приехал, да Каля с ребенком, так мы уж их там в верхней комнате и определили... — Я жду, что она скажет еще. — А вы уж тут... и мы тут — в тесноте да не в обиде, питаться станем, чем Бог пошлет.

— А мы что-то особенное требовали, мама? Мы чье-то место заняли? Или я не ваша теперь уж дочь?.. Чай пить перед работой и ужинать после работы мы с Витей будем дома. Как всегда. Все остальное я для себя и для нас всех делаю сама. За молоко, когда ели — расплачивались трудом...

Достала из печки толченую картошку, в чашку капусты положила, хлебушко разделила по справедливости: папе, Вите и Васе — побольше, нам — поменьше. Витя достал из кармана несколько конфеток, правда, утративших товарный вид, но все равно к чаю хорошо. Я огляделась, кого позвать к столу — кто еще не ужинал? Но ни Таси, ни Васи поблизости не было, папа лежал за печкой — отдыхал или грелся, мама сделала отмашку рукой, мол, обо мне не беспокойся. И мы стали есть, тихоенько переговариваясь: как день прошел, не встретил ли по дороге домой кого из знакомых?..

Витя ушел из-за стола, взял сигареты, может, табак, спичками в коробке пошорохтел — есть ли — проверил и, накинув спецовку, вышел на улицу покурить. Я вымыла посуду, все прибрала за собой, хотела подняться кверху, да передумала, расстелила на одном конце стола старенькое байковое одеяло, разогрела утюг и принялась гладить белье.

Петр ни о чем не спрашивал, видимо, Калерия или мама уже рассказали, когда мы приехали, что вот работаем оба, что квартиранты никак помещение — избушку не освобождают... так, мол, уж все одно к одному...

Время было еще не позднее. Витя, вернувшись с улицы, подошел и тихонько спросил — предложил, может, мол, в кино податься? Я с радостью согласилась, убрала утюг на шесток, недоглаженное белье завернула в одеялко и толкнула в угол на скамью, как бы под иконы, переделась, переобулась, глянула на себя в настенное маленькое тети Тасино еще зеркальце из толстого стекла, поправила берет на голове и сказала:

— Мы с Витей в кино. Ключ взяли. Не ждите, ложитесь, мы тихо постелемся и ляжем.

На Петра даже не взглянула — очень уж он мне напоминал того замполитотдела, старшего лейтенанта Ктиторова, и мне понадобится немало времени, особенно большого усилия, чтобы вытеснить, изжить из памяти того, который топал на меня, кричал с провизгом, говорил невожатанно-оскорбительно, изрыгая зло и неприличность выражений. Все это от бессилия, скорее даже от досадной, обидной несправедливости — почему его, старшего лейтенанта, заставили командовать сопливыми девчонками, вместо того чтобы быть среди бойцов и бесстрашно, боевыми словами вдохновлять бойцов на бой, победный и справедливый, на бой во имя защиты отечества... А ведь то были лучшие, самые красивые годы в жизни каждого человека и самые горькие... И такие вот, как наш замполит Ктиторов, как госпитальный замполит Блинов, оравший и топавший на раненого солдатику-«самострела», приравниваемого, по его словам, к изменнику родины... А чем лучше этот? Мой новый родич, муж сестры, ответивший мне на письмо, адресованное ей, сестре, что я такая-то и такая-то, что еще губы не обсохли, а уж замуж засобиралась, да за беспризорника, и, выходит, им с Калерией и нас еще предстоит кормить и одевать — все во мне накалилось от этих мыслей-воспоминаний... Он же нас и в глаза-то еще не видел, а уж взялся читать нравочения!

Витя ждал, покуривал, крутанул головой, мол, больно уж долго собираешься, вся кина кончится, — и мы тропинкой вышли на центральную улицу и впробегу ринулись к кинотеатру, чтоб успеть на сеанс. Много мы тогда посмотрели с Витей трофейных фильмов, да один лучше другого, и актеры, и содержание, и много музыки...

Когда подошли к дому, Витя свернул за дровяник, к нужнику, а я мимо дома напрямиком к флигелю, попинала в

дверь и, заслышав шаги и оклик: «Кто там?» — резко и громко отозвалась: «Хозяева! Хочу напомнить, чтоб выбирались подобру-поздорову, пока дело до худого не дошло! Сколько можно напоминать? Сколько можно ждать? Я действительно под горячую руку подожду эту нашу избушку... вместе с вами... подожду — и все дела!» Еще раз пнула и ушла.

— Ты куда ходила? К ним, что ли? — изумился Витя.

— К ним, конечно! Им я житья не дам — это точно! Пожили в войну сытно да безбедно, теперь другое время наступило — долги отдавать.

— Ты так и... серьезно, что ли?

— Серьезней не бывает...

За печку, на папину лежанку, да еще вдвоем мы спать не легли. Подстелили что нашли в угол, неглаженое белье я приспособила себе как подушку, Вите достала подушку с папиной лежанки, покрыла невыглаженной, но выстиранной наволочкой, широкое полотенце подослала ему вместо простыни и поскольку там, с той стороны стола расстояние между лавкой и столом шире — мы чуть отодвинули стол и втиснули туда еще три ровненькие табуретки...

Мама, увидев нас, спящих не по правилу, тревожить не стала, ходила туда-сюда на цыпочках, настраивала самовар кипятить, а печку растоплять временила — скоро уж всем подыматься, тогда и...

Однажды в субботу дело было, папа баню топить собирался. Зоря с Васей воду носили, а мы с Таисьей принялись мыть полы. Она потихоньку утянулась наверх: там пол крашенный и чистый — легко мыть да не забыть цветы полить, да еще и надежда все-таки теплилась в девке: вдруг чего-нибудь «выделят» родственники из своих трофеев — вон их сколько?! И на стульях, и на кровати, и на вешалках, и под стульями — везде. Она уж незаметно и туфельки примеряла да и не одни. Может, которые и ей достанутся?..

Я мою пол в кухне. За перегородкой уж вымыла, кое-что вытряхнула, на улице на забор поразвесила, окна протерла, ножки у стола, табуреток и лавок тоже, одним словом, делаю дело и радуюсь, что никто не колобродит, не шлендает туда-сюда. А Витя мой! Мой молодой муж натянул на себя мою военную юбку, на голову мою такую славную шляпу, даже с пером, с чуть приспущенными полями — я-то ее люблю да носить не с чем, а он, как в туалет приспичит, на ноги валенки или сапоги, на плечи телогрейку или куртку, а на голову непременно мою шляпу! И чего она ему далась?! И веселит меня — развлекает: поет веселые матерщинные частушки да еще

привстанет, зашипнет пальцами юбку по бокам, хотя она и так в обтяжку ему, и пританцовывает. Я посмеиваюсь, он веселит, дело делается. И вдруг входит Серафима Андреевна! Крестная моя! В гости пришла! И что же видит за картину! Прыснула, конечно, не сдержалась, я быстро руки вымыла, и мы расцеловались с нею, затем она к Вите, обнимает его целует и со смехом разглядывает.

Я пока прошу ее проходить на чистое, Витя, так в юбке и в шляпе, самовар разогревает. И входит мама. Улыбнулась госте, обняла ее, проходить приглашает, а сама вся в растерянности и усталом смущении. А крестная тут сразу же ей и высказала свою за нас обиду:

— Что же вы, кума, так с молодыми-то? Они ж только жить начинают, такие молодые, такие милые. А вы их за печку?! Пусть ребята, Зоря с Васей, спят по запечкам, а с молодыми так нельзя! Нехорошо. Неужели забыли, как вы-то молодые были?!

— Да чего о нас говорить-то? Как мы жили в молодости, никому бы не пожелала... И их, конечно, жалко, — тихо и горько отозвалась мама. — У нас ведь Калерия приехала, днями сына родила... А позавчера и муж приехал. Они теперь вместе. И душа за них не болит.

— Вот видите! Вот видите! Они вместе, а этих — в закуток! Да вы на них только посмотрите, до чего они молодые да хорошие! Ведь домой-то, с войны-то ждали? Да еще как! А дождались и хоть под порог...

Мама ушла за занавеску, заплакала. Серафима Андреевна еще маленько поговорила с нами, уж о другом, и ушла успокаивать маму. Слышим, она довольно громко, видать, чтоб и мы слышали, сказала, что от чайку не откажется, а ночевать не останется, ее Анна Ивановна ждет — она приболела, тоже повидаться хочется...

Я закончила по-быстрому с полом, половничок под порог раскинула, руки вымыла, подшторники задернула, халат передела и стала собирать на стол: клеенку протерла до блеска, достала чайные чашки и кружки — кому чего, хлебушко, оставленный на завтрак, тоненько нарезала, рябины в решете Вася с сеновала принсс, яркой, заиндевелой, красивой. Крестная достала из сумки гостинцы: крендельки малюсенькие, витые, шанежки с картошкой и стакан варенья.

Мама заикнулась, мол, тех-то бы тоже позвать надо, чаю попить, но папа тихо молвил, мол, утихомирились недавно, ребенок успокоился, пускай спят...

Чай пили без радости, без веселых разговоров и улыбок — какое уж тут веселье? Серафима Андреевна еще недолго посидела и засобиравлась, мол, пока не поздно, а идти далеко-вато. Витя помог ей одеться, и она, оглянувшись на оставшихся за столом, обняла меня крепко, поцеловала. Витю обняла, оглядела его с печальной улыбкой и сказала, чтоб всем было слышно:

— Ну, живите, мои милые-хорошие! Миля, теперь, когда сама уже женщина, жена... стала мне еще ближе и дороже. — Помолчала, подумала недолго и напоследок сказала: — Если ничего не наладится, если так все и будет, тогда перебирайтесь к нам, поможем, чем сможем, и с работой, и с жильем. Поможем. А пока потерпите, главное, будьте здоровы и не падайте духом... Пелагия Андреевна, Семен Агафонович, ребята! До свиданья. Всего всем доброго да хорошего. Пелагия Андреевна держитесь и все-таки подумайте и о них. Вы же всегда были такая мудрая, умная, решительная и терпеливая. Оставайтесь с Богом! — Она на мгновение припала к маминой исхудавшей спине, папе подала руку, повернулась и вышла из избы. Витя вознамерился проводить ее, но быстро вернулся, видимо, крестная моя хотела побыть наедине со своими раздумьями.

Петр Миронович — я его ни за глаза, ни в глаза иначе не называла, не буду, не смогу и через силу улыбаться ему не буду: для меня он на всю жизнь так и останется, как недобрый, самолюбивый человек. Как тот старший лейтенант Ктиторов...

Петр Миронович, видимо, решил, что Витя ушел провожать гостью, спустился в кухню и с ходу, недовольно и с укоризною заговорил:

— Пелагия Андреевна! Почему же вы позволяете каждому встречному и поперечному вами командовать, поучать, нотации читать?

— Это не встречные и неперечные, Петр Миронович, как вы изволили выразиться. Это замечательные, достойнейшие люди, не то, что некоторые, не указывая на личности, — Витя расходился в праведном гнев, но пока еще не матерился и это было всего страшнее. — Это крестная моей жены, Марии Семеновны, кума Пелагии Андреевны и Семена Агафоновича...

— А ты-то тут при чем? С тобой же не разговаривают! — презрительно сморил взглядом Петр Миронович Витю. — Ты-то сам тут кто, и по какому праву так смешь говорить со мной, старшим по званию.

— Да говно ты, а не старший по званию! Дармоед, нахавший трофейного добра!.. Не тобой нажито, не для тебя готовлено. Гнида ты тыловая, нажившаяся на чужом горе... Да

я с тобой не то, что... я срать с тобой рядом не сяду, понял?! А не понял — поясню! — Витя направился было к заносчивому новоявленному свояку, но неожиданно круто повернулся, схватил со стены куртку и выбежал из избы, направился к флигелю.

Я за ним. Витя почти сорвал с петель слабенькую дверь в сенки флигеля, ворвался в кухню, схватил со стола нож и, крепко зажав его в руке, двинулся на перепуганную квартирантку. Она завопила на всю округу:

— Ре-е-жу-у-ут! Спасите-е! Он сейчас нас всех порешит!.. Спасите-е!..

Я схватила Витю сначала за куртку, сползла к ногам, ухватила за штаны и, срывая до крови ногти на пальцах, изо всех сил пыталась оттащить его, выволочь из избушки на улицу.

На улице он как бы опомнился, увидев в руках нож, поразглядывал его и остервенело закинул далеко в огород. Затем упал, зарылся лицом в снег и горько, надрывно заплакал:

— Да что же это такое? За что-о?! Зачем я не подох, когда был беспризорником?... Зачем меня не убило на войне? Н-ну, зачем? Зачем ты меня сюда привезла, скажи ты мне на милость?!

Я на какое-то время обмерла от ужаса, представив, что могло произойти, затем, оглушенная его рыданиями, упреками, сильно порастирала себе лицо снегом и после этого, давась слезами, сама умирая от горя, стала уговаривать, умолять Витю, чтоб он поехал бы в Сибирь, в родную деревню — повидаться... Я тут все устрою, все налажу: этим не дам житья, такое наделаю — сами сбегут...

— Витенька! Милый мой! Любимый мой и такой несчастный. Я это... без вины виноватая... Наша семья была до войны дружная, хорошая. Разве я думала, что все так будет? Поезжай, родной мой, поезжай. Повидаешься со своими родными... Не все же за войну озверели. Поезжай, а потом приедешь. Когда приедешь, все будет хорошо, все наладится. Миленький мой, я не знаю, как тут без тебя буду? Да пусть хоть как, хоть умру, только бы тебе было полегче... Я тебя никогда не забуду. Я всегда буду любить тебя, ждать тебя, думать о тебе.

Витя будто очнулся от моих причитаний, посидел еще немного, меня обнял, подумал и сказал:

— Наверное, мне действительно надо уехать. Повидаться... показаться... Пожалуй, сегодня же и уеду.

И уехал мой Витя. Не заверил, что скоро вернется, но, наверное, подумал, как поэт Рубцов в своей прощальной песне:

«Может быть, я смогу возвратиться, может быть, никогда не смогу».

С этими мыслями и чувствами я и проводила своего молодого мужа. А сама...

* * *

Квартиранты после этого случая быстро, даже торопливо освободили одну комнату во флигеле, и я тут же — меня в трудное время всегда работа выручала, а в эту пору такая выручка была мне крайне необходима, — не теряя времени, взялась за дело: принесла из артели «Трудовик» ведро извести и малярную кисть, отпросилась у Нины — начальницы своей непосредственной на три-четыре дня и принялась орудовать.

Я шумно, без осторожности двигала, белила, мыла, топила печь, грела воду в самоваре, взяв у родителей на временное пользование большой самовар и тушилку с углями. Углей оказалось мало, тогда выбрала, которые покрупнее из каменки в бане. И все бы хорошо. Но на дворе февраль, в избе выстывает, а дров-то нет! Брать у родителей — вроде совесть иметь надо, — им они нелегко и не даром достаются...

Умылась, переоделась и опять подалась в артель «Трудовик», в которой шили и чинили обувь, где-то в филиале при леспромхозе гнули полозья к саням и собирали сами сани, делали колеса к телегам, оковывали их железными обручами, там изготовляли и сами телеги, плели лапти для лесозаготовителей — на летнюю, так сказать, сезонную работу и на продажу, шили брезентовые фартуки. Много чего разного, вроде и незavidного, но такого нужного в жизни жителей нашего города Чусового — полукрестьян, полурабочих. Именно в этой артели больше всего отирался, находился — если сказать более культурно — завхоз Прядейкин, в народе, среди рабочих — Петруха. ПроЙдошИстый был тот завхоз Петруха — больше некуда, все мог, во всяком случае, все обещал и исполнял иногда обещанное, приходил на помощь, иногда за пол-литру или какую выгоду, иногда — из-за понятливости, мол, все знаю-понимаю, и сочувствую. А видом был схож с артистом Новиковым, который часто в кинофильмах играл таких же ушлых, хитрых, пройдошИстых героев.

Как говорится, на ловца и зверь! Я еще только взялась за ручку деревянной двери, ведущей во двор артели, или в расположение, а Прядейкин мне навстречу. Я тут же высказала свою нужду, что дров надо бы купить, и не тянуть бы с этим делом, поскольку на улице не лето, а нам, двум добровольцам-

победителям, вернувшимся только что с войны, не с собой же тащить было топливо, которого там осталось — не один город топливом обеспечить можно было бы...

Прядейкин подумал, затылок почесал и спросил: за какую сумму брать? Говорю, что не очень бы дорогие, так подешевле, да и денег у меня все равно нет, в получку рассчитаюсь. А Прядейкин мне тут же с вопросом:

— Да кто же мне в долг дрова продаст, сама подумай! И ты ведь не продала бы, как тебя звать-величать-то?

— Мария Семеновна.

— А-а, новенькая из конторы? — Я кивнула. — Ты, Семеновна, перехвати у кого денег до получки-то, со своими легче сочтешься, а покупать в долг... не знаю... не уверен, что выгорит.

— Ладно. Сколько надо? Сколько может стоит воз дров теперь?

— Сотню хоть как, но паси. Моя забота дров найти, что купить-продать... думаю, расстараюсь...

Вернулась я домой, опять переделалась в рабочее, самовар разогрела, думаю: дело делать буду и обдумывать насчет денег. И тут меня осенило: у Конюшихи всегда деньги водятся, сотню-то уж даст. И снова сняла с себя старый Васин лыжный костюм, в котором работала, надернула кофту под шинель, штаны вывернула — левая сторона чистая, а швы под шинелью не сразу кто разглядит. Бегу через линию, брякаю кольцом в калитку, собака из конуры по проволочному блоку к самым дверям подбежала, зубы скалит, рычит, лает заливисто. Я встала на цыпочки, чтоб Конюшиха увидела меня из-за калитки. Она быстро показалась на крыльце, увидела меня: «А-а, Милечка!» — воскликнула и махнула рукой, чтоб подождала маленько, мол, собаку закрою и приду.

Маленько поговорив, без большой, конечно, охоты, но она дала мне сто рублей и приглушенно, как бы в смущении добавила: мол, на месяц и с процентами, что поделаешь, время такое, а всем жить надо.

С процентами так с процентами. Ростовщица объявилась! Ну да как-нибудь. Наконец, крупные да мясные карточки загоно — не умру, а без дров как? Не у квартирантов же брать? Они и так уж, наверно, поленья давно пересчитали. Думаю так, раздумывая и бегу с линии, вообще, несусь, как на крыльях, и с ходу к маме, отдаю ей деньги, объясняю, что вот-вот дрова должны привезти, что свалят пока около вас, а ты рассчитаешься, а я вечером перетаскаю...

— Дак и не подымешься, не поглядишь на племянника-то?

— Потом, мама, сейчас вот как некогда...

— Ты хоть ела ли?

— Ела, ела.

А чего уж там ела? Утром корочку от заветной полбуханки отрезала — норма же 800 граммов! Покруче посолила да кипяточком запила.

Снова за работой. Белю, хожу туда-сюда, не соблюдая как бы правил общежития, где плесну нечаянно, то уроню чего... Белю, о Вите думаю, о себе и плачу, плачу — его жалко, себя жалко. Глаза и нос щиплет, ест — не то известка попала, не то от слез да от едкого запаха. А тут еще песня попала на язык. Слезами захлебываюсь и напеваю с перерывами, с подтрясом, как позже услышу выражение в Сибири, «мол, поет да с подтрясом!..» Так и я — пою с подтрясом:

Зашел я в чудный кабачок, вино там стоит пятак,
И вот сижу с бутылкой на окне.
Не плачь, милашка, обо мне...
Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю,
И когда вернусь — не знаю. А пока — прощай!..

Тут уж я вроде не пою, а с подвывом выговариваю:

Прощай и друг, не забудь.
Твой друг уходит в дальний путь.
К тебе я постараюсь завернуть
Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь...

Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю.
И когда вернусь — не знаю. А пока — прощай!..

Так и работаю: пою, плачу, белю. Когда начала белить стену, по которой шла электропроводка, меня то и дело стало дергать током, всю встряхнет и постепенно пройдет. Дело пошло тише, медленней, с боязливой осторожностью пробеливаю те места, где провода, — проводка-то старая, изоляция потрескалась, обмахрилась. Только песня ну никак не отвяжется от меня, то со всхлипом, то с испугом, но все за свое: «Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю... И когда вернусь — не знаю, а пока — проща-ай...»

Время от времени слышу, как квартиранты ходят туда-сюда, из кухни в комнату; из комнаты в кухню... Мешаю я им своим «заливистым» пением, ну и пусть. Мешаю — пусть уходят на все четыре стороны. Вот еще и квартплату взыщу за месяц вперед.

Ох, какая я злая и несчастная была тогда, особенно в первый день. Умаялась до упаду и только направилась домой, сказать, что спать пошла, в баню — там обмоюсь, там и посплю. А мама смотрела, смотрела на меня, потом и сказала:

— Миля! Дрова-то привезли. Правда никудышные — сплошной жердинник. — И я только собралась ответить, что на безрыбье и рак — рыба, и тут слышу: — Только и жердинник тот увезли — хозяева нашлись... Чужие дрова тебе тот мошенник продал... краденые...

Тут я и села. И окаменела, не имея сил ни на слезы, ни на возмущение. Пришла маленько в себя да и отправилась в теплую баню — спать.

На другой день, ровно к тому часу, когда заведующий Горпромсоюзом Кокарев Герман Иванович должен явиться на работу, присела в коридоре у дверей в его кабинет и стала ждать.

Разговор не сразу получился, и вопрос мой насчет дров тоже не сразу решился, потому что Герман Иванович пытался все меня спровадить в военкомат, мол, демобилизованные, только что вернувшиеся с войны — обязаны помочь. Я кратко обрисовала картину, что там, в военкомате, делается — это только чтобы документы получить, а о дровах кто там со мной говорить станет?

Он доказывал, что должны, и предлагал не терять времени и идти.

А я как села, так и сидела и никуда уходить не собиралась, пока не помогут мне.

Затем Герман Иванович подал мне листок бумаги и велел написать коротенькое заявление: от кого, кому и изложить просьбу. Я написала, расписалась, число поставила — все как надо сделала. Он прочитал заявление и изумился:

— Корякина, что ли? — я кивнула, поскольку в Прошлюбке моя девичья фамилия значилась.

— Ну ты и настырная!

Я, заполучив бумажку-заявление с резолюцией, подтвердила, что у нас все такие! Сказала: «До свидания!» И взялась за ручку двери.

— Послушай, Корякина! А деньги-то у тебя есть, чтоб расплатиться за дрова?

— Нет. Но будут. Я же здесь работаю. Получку получу и рассчитаюсь.

— Иди сюда!

— Зачем?

— Заявление давай!

— Зачем?

— Господи! Зачем, зачем? Распоряжусь, чтоб тебе дрова бесплатно написали.

Я положила свое заявление на стол перед начальником, однако один угол заявление придавила пальцем и не отпускала. Начальник и это заметил, улыбнулся грустно и добавил:

— И правда, настырная! И правильно! Позови ко мне бухгалтера.

На этот раз привезли мне дрова законные, хорошие, возчик Шаклеин помог перетаскать к стене флигеля, потому что подъехать к нему вплотную ни с какой стороны невозможно.

Поздним вечером мы с Азарием ширывали те дрова, он колот, я складывала их в сенках, освободив для них место у стены, а барахло квартирантов так и оставила лежать костром посреди сенок... Посидели с Азарием маленько в кухне, поговорили, чаю попили — он достал две конфетки: Сонька, говорит, угостила. Погоревали и перед уходом заверил, что скоро Виктор придет, помяни мое слово! А Калерия, видать, захворала, лежит с температурой. Врача вызывали. Приезжал тот, который и патологоанатом, всегда полупьяный, выписывает аспирин, слушает... только не знаю, чего слышит, — одна половинка фонендоскопа вечно болтается возле уха, а другая — в ухо вставлена, где ей и быть полагается.

Я отчего-то сразу и охотно поверила брату насчет его предсказания, что скоро Виктор придет, и проворней делала начатое дело. А Азария еще попросила, чтоб он почаще заходил да погромче, чтоб квартиранты слышали, сообщал, что Виктор вот-вот придет! Мы с братом Азарием жили, в общем-то, дружно. Он когда поменьше был, то частенько младших обижал: то дразнит, то щипать примется, то игрушку самодельную изломает или за печку забросит, бывало, и в печку кидал. Зачем? Почему? А прекратились его такие выходки разом. Сидели мы всем семейством за столом, ждали, когда супу нальют, и брат давай дразнить ребятешек, Вася и заплакал:

— Мама, а чего Азарий дразнится?

А тетя Тася сидела от Васи поблизости и все наблюдала, да и сказала:

— Вася! Ты вот славненький, хорошенький, сидишь себе и никого тебе дразнить не надо. И Азарий не дразнится — он такой кривой и есть...

И все как рукой...

Моя малярная и всякая черная работа в комнате подходила к концу, я уж и печь выбелила, и окна вымыла, сколько было возможно, только пол красить в зимнюю пору — дело

беспольное, и я тогда зашла на работу, чтоб сказать Нине, что через два дня выйду на работу. Рассказала, чего уже сделала, чего еще осталось, а осталось, сказала, самая малость: дожидаться полочки и наведаться на баракхолку, чтоб купить ситчику — двери занавесить, чтоб из кухни не так пахло, да и за занавеской не все будет видно моим квартирантам, а то следят за каждым шагом, как за вором. Сказала, что пол красить передумала, вернее, отложила до тепла — поинтересовалась у Нины: ткнут ли у них в деревне половики? Мне бы полоски две, на середину. Она сказала, что сегодня как раз поедет к родителям, все и узнает, может, и привезет чего, и тут же, как бы спохватившись, сообщила, что в Горпромсоюзе только что закончилась ревизия, списали один стол и несколько стульев, мол, если нужны, то можно взять — хоть на первое время. Я обрадовалась.

Теперь у нас с Витей есть все! Почти все! Нет только главного — самого Вити. Я проглотила закипевшие слезы, поблагодарила Нину за участие. Она отмахнулась, сказала, что Артур — конновозчик так называемую мебель привезет сегодня же, как освободится, а я вернусь от своих из деревни и, думаю, тоже кое-чем порадуя маленько.

Я еще забыла рассказать о том, когда мы с мужем вернулись с войны, мама настояла, чтобы мы, не откладывая надолго, съездили бы в Лысьву, навестили бы мою крестную и наказала, чтоб мы, когда войдем, непременно поклонились бы ей в ноги — не переломитесь, а куме будет приятно.

Явились мы тогда к Серафиме Андреевне, замешкались у порога. А она была столь проницательна — сразу почувствовала наше замешательство и громко, с улыбкой воскликнула, мол, кума, небось, на колени пасть велела?! Обняла нас, поочередно расцеловала и велела проходить.

Мы прогостили тогда у них три дня. Алексей Ефимович — муж моей крестной — быстро с моим молодым мужем сошлись, шумно разговаривали, смеялись, про охоту разговаривали, на прощанье крестный подарил моему мужу свое ружье — на память, сказал, что может, и пригодится. Серафима Андреевна поставила перед нами два ведра: одно с мукой, другое с картошкой, зеленый эмалированный чайник, две чашки суповые, две тарелки — тоже эмалированные — там завод местный выпускал, пару простыней дала, новое нижнее белье Алексея Ефимовича, две пары носок да пять метров марли с придачей — метров десять нешироких кружавчиков, мол пришьешь и получишь шторы на окна — на первое время...

Здесь, пожалуй, самое время пояснить, почему меня многие в семье, да и знакомые называют Милей. Когда я появилась на свет, мама решила пригласить в крестные образованную и красивую дочь всеми уважаемой в ту пору соседки Ульяны Клементьевны Коняевой. Папа, отдохнув после дежурства, принял стаканчик зеленого вина — в честь прибыли в семействе и за здоровье, пообедал, надел на себя все выходное и отправился сначала в ЗАГС — там получил на меня метрическую запись, написанную красивым почерком и заверенную круглой печатью. Затем зашел в железнодорожный магазин и выкупил полагающуюся на новорожденную мануфактуру — по десять метров полотна и фланели. Вышел из магазина, поставил возле ноги сумку, убрал документ во внутренний карман, свернув сигарку, закурил и пошел в контору участка, где работала моя будущая крестная. Войдя в служебное помещение, снял форменную фуражку с перекрещенными молоточками над лаковым козырьком, пригладил волосы, сказал: «Доброго здоровья!» — и, приблизившись к столу молодой соседки, молвил:

— Серафима Андреевна, баба моя просила тебя к нам зайти.

— Зачем же понадобилась я Пелагии Андреевне? — поинтересовалась она.

— Приди, раз просит. Сделай милость.

После обеда зашла к нам Серафима Андреевна, как всегда, хорошо одетая, поздоровалась и, будто не понимая, зачем ее звали, подошла к маме, справилась о здоровье.

А мама того и ждала:

— Серафима Андреевна! Окрести, пожалуйста, не откажи! Дочку бог дал.

— Почему не предупредили? Мне же приготовить все нужно.

— Да все приготовлено. Не откажи, сноси, окрести.

Серафима Андреевна головой повела на младенца, на меня, значит, взглянула, с мамой ласковым взглядом встретилась и тут же спросила настороженно:

— А какое имя дали? Как называли девочку? Может, Анной или Марией?

Папа взял кiset, спички и вышел из избы, а мама отчего-то виновато призналась, что отец записал Марией, значит, Мария и будет...

— Не пойду крестить! — неожиданно рассердилась Серафима Андреевна. — Марья да Иваны — грибы поганы!.. — походила туда-сюда, снова к кровати подошла, подумала.

А мама опять:

— Окрести девочку, голубушка! Не оставаться же ей некрещеной. Сходи, окрести, пожалуйста!

— Ну, ладно, — милостиво согласилась Серафима Андреевна. — Тогда хоть Милей ее зовите. Только не Марией.

Так и пошло, Миля да Миля, и в семье все звали Милей. Но не папа! Он всю жизнь, до последнего часу иначе, как Марией меня не называл, хоть выпивши, хоть больной — Мария! — и все тут.

Когда я поступила в техникум; то иногда ходила к крестной в гости. Там меня угощали, одаривали чем-нибудь, а она непременно, всякий раз пересказывала мне отрывки из романа «Воскресенье», где говорилось о Катюше Масловой, и после со значением напутствовала: «Милечка! Учись прилежно, веди себя скромно. Видишь, как все может произойти в жизни. Освоишься с учебой тогда я дам тебе почитать эту поучительную книгу».

Серафима Андреевна была человеком удивительным: любила театр и церковь, читала книги и газеты, следила за политикой, иногда с гордостью вспоминала, что в молодости читала романы на французском. А однажды призналась мне, что теперь я стала ей еще ближе и дороже...

Много они значили в моей и нашей жизни, и я часто их вспоминаю.

* * *

Витя приехал из Сибири в середине марта. Я уже правдами и неправдами перебралась в отдельное жилье — квартиранты со скрипом, как говорится, но освободили флигель, где-то сняли половину дома, я не интересовалась где, однако их дочь Тая, начавшая преподавать в музыкальной школе, при встрече всегда здоровалась, с улыбкой и смущением то расскажет про школу, то об отце, который давно уж «не просыхает», и разойдемся — она не приглашает заходить к ним, я тоже.

Однажды, когда спешила на обед, а мне еще непременно надо зайти к нашим: Калерия заболела тяжело — ее попроведовать, узнать, что врачи говорят, ключ взять — оставляла на всякий случай — вдруг... Забегаю по скрипучей лесенке наверх, в большую комнату и вижу: возле кровати, на которой лежит больная моя сестра, сидит Витя! Мой Витя! Какое-то краткое время пережила я грустную радость, что вернулся мой долгожданный муж, обнялась с ним накоротке, над сестрой

склонилась, спрашивая о самочувствии. А она кивнула на табуретку, мол, посиди, и стала говорить о том, какой хороший человек — мой Витя, вот из Сибири, из такой дали, привез ей брусники, такой вкусной, такой приятной. Она поела немножко и вроде даже полегчало маленько. «Спасибо, Витя, — сказала она, погладив его руку. — Спасибо! Ты на обед? — обратилась она ко мне. Я кивнула. — Ну тогда идите: у тебя перерыв, Витя с дороги. Идите к себе, а вечером заходите посидеть...» — и отвернулась к заборке, прикрыла глаза.

Петр стоял неподвижно у окна, смотрел на что-то, или на кого-то, может, думал, переживал, к разговору прислушивался. Мама передала мне маленького Толика, мол, поддержи, а я молоко из загнеты достану, налью в пузырек, и ключ отдам... Толик, сын Калерии, то бессмысленно улыбался ротиком, то зевал и все причмокивал губами, собрав их в трубочку, кряхтел — захотел есть. Я походила с ним по комнате, похлопывая по спине, когда появилась мама с бутылочкой, полной теплого молока, на горлышко которой надета оранжевая, рассосанная уже соска, молча взяла ребенка на руки, глазами показала на стол, где лежал ключ, начала кормить внука, а мы с Витей отправились домой.

Пока мы не переживали бурной радости встречи, что снова вместе. Когда разогрелась овсяная каша — поели, попили чай с медом, который нам недавно выписали в Горпромсоюзе — отоварили талоны на сахар. Я заспешила на работу, не чувствуя, чтоб меня удерживали, посмотрела на Витю с улыбкой, ожидая ответной, он кивнул и стал приглядываться к жилью: подушки на кровати пощупал, в окна поочередно посмотрел, половичок поправил.

И все-таки с работы я очень спешила, не шла, летела, даже к нашим не забежала, решила, что поужинаем и вместе сходим. Витя крепко спал, однако заслышав, как скрипнула и притворилась дверь в избу, вскинул голову, утер губы и сел, как бы виновато улыбнулся:

— А я вот «придавил», да так крепко! Не собирался спать, лежал сначала, смотрел, представлял, думал... и не заметил, как уснул.

Витя не спрашивал, как я тут без него, не рассказывал о себе, о родственниках, и от этого я не знала, как мне себя вести, что делать, чем заниматься. И когда он перед небольшим, на ножке зеркалом начал причесываться, признался, что так давно уже не был в бане... Хорошо бы лишнюю грязь с себя смыть. Наши баню не топили, не знаешь? — спросил как бы между прочим.

— А разве обязательно?.. Можно и в городскую. Работает ежедневно, с семи утра до одиннадцати вечера... Давай? Я белье быстренько приготовлю, все соберу, и ты вымоешься — там не выстынет и мойся хоть сколько, и в парную сходишь, и отмоешь себя, где все моются. Тазов всем хватает, воды горячей и холодной тоже. На сколько духу хватит, столько и будешь тешить свое усталое тело в теплой благодати.

Все положила: новое нижнее белье; носки, рубашку-кошаворотку, которую сшили мне в артели как бы по заказу, из черного сатина, с белыми пуговками, и брюки сшили тоже в нашей мастерской, вернее, я из готовых выбрала, не очень дорогие, но славные, темно-синие — подошли бы только. И полотенце, и мыло с мочалкой, и расческу чистую, и носовой платок. Все завернула в «кальку» — от Анатолия еще осталась бумага для копирования, почти целый рулон. Я его прибрала и употребляла в крайних случаях, иногда вместо скатерти, а тут вот тоже к делу. Пакет определила в сетку и отправила супруга в баню. Уж в дверях спросила, есть ли деньги на билет, а может, пострижешься? — парикмахерская там есть тоже.

Долгонько не было моего Вити. Я начистила и поставила варить картошку, думаю, сделаю вареники — муку, три килограмма, недавно получила, тесто приготовила быстро, картошка варится. Сварила десяток и унесла — Калерия, может, поест... Остальные оставила на разделочной доске, прикрыла полотенчиком и воду оставила на плите, чтоб наготове горячая была и быстрее все было готово. Делаю, спешу, верю и не верю, что Витя приехал. Не было дня, чтоб о нем не думала, а думала все с тревогой, все переживала про себя. Маме соврала, что получила два коротеньких письма, что скоро приедет...

Сестра моя бедная к еде даже не притронулась — ей все хуже и хуже делалось. А Толик — милое существо, ел, спал, справлял всякие дела, затихал, когда брали на руки, кряхтел и даже плакал, когда укладывали в зыбку и качали...

Поплакали мы с мамой, подержала я маленького месячного Толика на руках и заспешила домой, заверив сестру, что, может, даже и сегодня еще зайдем вместе с Витей, а сейчас он ушел в баню, а у меня печка топится. И только я подживила в печке огонь, поставила «на дырку» чугунок, — забулькала вода — явился мой Витя, свежий, хороший, молодой, и усталости на лице как не бывало.

Долго, под разговоры, ужинали, потом я пока прибрала все со стола, он посидел, за компанию, и все — дня как не было. Заперла я в сенки и в избу двери, там на деревянную задвижку,

в избе — на кованный крючок, задернула подшторники, и, когда улеглась в постель, Витя придвинул меня к себе и сказал вдруг:

— А ты меня сегодня в слезу вогнала!.. — Я в недоумении повернулась к нему. — Открыл я, значит, свою «кабинку» — этот узкий, как в детских садиках, шкафчик, разобрал белье, одеваюсь и тут носки увидел! Я же их и в детдоме-то никогда не носил... А они — глаженные, аккуратно сложенные, даже подумал: надевать не надевать — больно новые да так сложенные!.. А уж когда носовой платок обнаружил, да тоже глаженный!.. Тут из моего глаза и покатались слезы горючие одна за другой. Засунул голову поглубже в тот ящик, будто ищу чего или достаю, а сам шмыгаю носом да утираю слезы свои непрошеные...

* * *

Двадцать третьего марта, перед обедом, Калерия умерла... На двадцать седьмом году от роду, оставив тридцати восьмидневного сыночка. Мы тихо стояли у постели умирающей молодой женщины, и казалось, она даже слышала наш тихий плач — из-под сомкнутых век еще выкатились несколько слез, а сказать что-то или спросить, видимо, сил у нее на это уже не было.

Мама плакала тихо и мало, часто принимала лекарство, то капала в стакан, как когда-то говаривала, мол, пятнадцать да одну долгонькую, пыталась хлопотать на кухне, но то я, то Клава, пришедшая из Архиповки, наша старшая сестра, то Тася оттесняли маму, велили лежать. Да разве улежишь, когда такое горе? На другой день я шла в клуб металлургов заказывать духовой оркестр для похорон. Был выходной день, весенне-яркий, светлый, красивый. На улице было много людей и все, может, и не все, но большинство весело разговаривали, смеялись. Я чуть сторонилась их и горько недоумевала: чему смеются? Чего это им так весело, когда умерла моя сестра, молодая, красивая, оставила месячного сыночка. Думала про себя, что так вот, от горя, тоже можно умереть. Ведь случилось, особенно на войне, когда кого-то и пули не убивали, а душа его умирала... Боже мой, как все несправедливо в жизни устроено. Когда я подходила к клубу металлургов, мне оставалось миновать небольшой парк, или сквер, и вдруг показалось, как тому поэту из Вологды: «...Как в этот день рыдали в парке липы, раскачиваясь с раннего утра! Мне было жутко! И под эти всхлипы я невзлюбил весенние ветра...» По-моему, с тех имен-

но пор, после смерти моей сестры Калерии, и не люблю весенние ветра. Вообще ветер не люблю.

Вот и еще на одного человека наша большая семья стала меньше. Калерию схоронили, пока пережили только еще самый первый момент горькой утраты, когда не все еще до конца и осозналось, пока боль и тоска глушили мысли о будущем, особенно о маленьком Толике, который пока ничего не понимает, все его любят и жалеют — он и это не воспринимает в полной мере. Ночь после похорон я провела возле мамы. Папа совсем ушел в себя — он и никогда не бывал многословен, а тут замер в себе, редко с первого раза слышал, о чем ему говорили или спрашивали, за стол садился без охоты, как бы по необходимости. То лежал, вздыхал тяжело и редко шевелился, то уходил во двор, устраивался на чурбаке перед дровяником, прихватив износившуюся почти вконец японскую старенькую шубейку на груди, под уголком свисающей, пестрой от седины бороды, иногда глядел себе под ноги, иногда тоскливым взглядом провожал проходившие мимо по линии поезда, иногда искал заделье: правил пилы и ножовки, точил топоры, насаживал лопаты. Смотреть и наблюдать за ним было больно и боязно.

Мало кого занимало, как там Петр? Чем занят? Плачет ли, переживает, что вот схоронил молодую свою жену, хотя на кладбище вроде даже пытался упасть в могилу. Этого я не знаю, было так или могло быть. Тася говорила, что Петя разбирает посылки, сбереженные мамой, что-то прикидывает, обдумывает. Тасе собирался сделать предложение, она сказала об этом маме, и мама громко, со слезами и обидой ругала ее и все повторяла: «Чего и придумали?!» Однако младшая сестрица то и дело крутилась возле него, начала покуривать, пока тайно, как бы переживала горе, помогала Петру, утешала его, как могла и умела. Она же рассказала о том, что он был в военкомате, что, когда отведем девятый день, он должен будет ехать в Японию — для него, мол, война пока не кончилась...

Как-то под вечер зашел к нам, посидел, попил с нами чаю, повздыхал, мол, у вас так хорошо, и вообще, вам хорошо. Ни я, ни Витя, как говорится, не очернили, не обелили, с тем и ушел. С тем и уехал. Насчет вещей — трофеев, которые они привезли с собой и посылали посылками, я так и не знаю, куда они делись, когда их не стало. Правда, на Тасе видела то новое платье, какого у нее прежде не было, то костюм... Но она была молода, когда еще норов паче разума. Ее стали часто посылать в командировки по поселкам — от горфо — насчет платежей и

отчетности, она ехала туда в хорошей одежде, что из того, что не в гости едет, а по лесным участкам, часто верхом на лошади.

Нас не было дома, когда уезжал Петр. И писем от него за все время было два или три. Сначала он, возвращаясь из Японии или еще откуда, заезжал на три дня — попроведовать сыночка, которому было уже девять месяцев. Бедная мама укладывала его возле себя, чтоб грелся, около нее, молоко держала или в загнетке, чтоб было теплое, или за пазухой. Малый заххекает среди ночи, есть запросит, мама достанет бутылочку из-за пазухи даст соску в рот — он и затихнет, напьется молочка, струйку пустит, мама, чтобы не подниматься, подсунет под него чего сухонькое, будь то пеленка или ее нижняя юбка — и опять спят, перемогают ночь — старый да малый.

Петр привез гостинец сыну — две банки кабачковой икры да две пачки печенья, прогостил три дня и уехал, сказав, что в Ростове живут его родители и как только мальчик подрастет, он возьмет его к себе и воспитает. Но... хорошо сказка сказывается. Когда мама заболела и Толика мы стали брать к себе, Витя написал ему по-мужски серьезное письмо. И пришел ответ — не письмо, а жалоба на свою несчастную судьбу, на свою плохую жизнь, что болеет, что никто о нем не вспомнит, не то, что поможет. И все дело отца с воспитанием сына на этом и закончилось.

Муж мой продолжал работать на станции Чусовая дежурным по вокзалу, я по-прежнему в местной промышленности. Начали постепенно и трудно налаживать свою жизнь. Мы уже купили Виктору Петровичу бостонский темно-синий костюм на барахолке — в ту пору много чего продавалось, всякого разного трофейного имущества, особенно одежды и тканей, даже посуды. К первому мая — к дню рождения мужа я сшила себе платье из бордового шифона, который подарила мне тетя Тася.

Повыше на груди вышила мелким крестиком две полоски и тем еще больше украсила свой наряд. Витя привез с родины сохранившуюся белую рубашку в зеленую полосу, мы пододелись, принарядились и сфотографировались — на память, уже не на документы, а именно на память. Фотография эта сохранилась, уже как редкость, потому что в будущем-то появится много фотографий, а в ту пору это действительно было событием и памятью на всю жизнь. И еще Витя мне сделал самолично подарок и преподнес в канун своего праздника — дня рождения. Нарисовал цветными карандашами летящую птицу, чайку или лебедя, на фоне облаков. В верхнем углу

написал: «1-е мая 1946 год» — и под рисунком, наискосок, зеленым карандашом, оттенив крупные довольно буквы желтым, как бы солнечным цветом, написал: «Машенька моя!» А на обороте чернилами фиолетовыми написал: «Поздравляю тебя от души с самым жизнерадостным, самым прекрасным из всех существующих праздников весны — 1-е мая!

Будь так же радостна и бодра, как этот чудесный день — 1-е мая 1946 года, всю жизнь цвети, как май, и всю свою будущую жизнь будь так же молода душой, как май! Пусть все твои дни будут прекрасны и не омрачены тоской!

Целую! Виктор»

И еще продолжение, уже в стихах:

Цвети, как май!
Будь вечно юна!
Мечтай и в мыслях вспоминай
Дни прошлые... (души порывы)
Их никогда не забывай!
Люби и будь любима,
Надежду в счастье не теряй!

30.IV.46 г. И роспись. Неповторимая и, пожалуй, невозпроизводимая.

Я думаю: это «проба» росписи, когда ему понадобится подписывать не только заявления на дрова, на зарплату, но и издательские договоры и многое, многое другое. Впереди же жизнь, да не простая, а творческая — через несколько лет у Виктора Петровича Астафьева выйдет первая книга «До будущей весны», — и это будет начало, и он, набирая силы и опыт, будет создавать новые произведения, будут и будут выходить книги, и не только в Союзе, но и за рубежом.

Пока же до этого далеко, хотя жизнь и не стоит на месте, а я речь завела с того, что представляла из себя та роспись его под праздничным, красивым по форме и содержанию, как говорится, обращением — поздравлением ко мне. Тут я замечу, тоже забегаю вперед, что отец Виктора Петровича, Петр Павлович, малограмотный, но горячо желавший выбиться в начальство, для начала пусть хоть какое, подписывая какие-то нужные бумаги и письма свои, тоже так расписывался, что сын его, Виктор Петрович, много раз изумлялся этакому художеству и всякий раз заключал: «Папа! Тебе только на кредитках расписываться! Уж больно ты здорово это изображаешь!..»

Я скоро поняла, что забеременела, дождалась следующего срока и убедилась в этом окончательно. Тут уж было над чем задуматься, но где-то, в далеких мыслях, вернувшись с войны, насмотревшись на усталых от войны, от нужды, от полуголод-

ной жизни людей, которые и себе, и другим уже в тягость, для себя решила: я — здоровая женщина, рожу детей, двух, трех — сколько будет, но не столько все-таки, сколько было нас у родителей, сестер и братьев. Подниму их, поставлю на ноги и буду жить лет до шестидесяти, пока буду в силе содержать дом и семью, буду способна обихаживать себя, а дальше уж сама постараюсь не задержаться на этом свете, пусть прекрасном и неповторимом, и, понимая, что жизнь у человека единственная, избавлю от неизбежной необходимости близких, чтоб они не возились со мной, старой и немощной, укорачивая свои красивые и радостные дни и годы. Ведь многие, большинство, если не все, переживали трудности и послевоенные лишения, живя надеждой на лучшее, что не всегда так будет, и что моим будущим детям будет жить легче и интересней. А сама себя все же много раз в ту пору я ловила на мыслях, что пока я живу на белом свете, еще не верю, что умру.

Жили мы с Витей, стойко переживали нужду, радовались малым радостям, не унывали, можно сказать, потому что, к примеру, однажды сходили в кино и у нас на другой день не на что было выкупить хлеб по карточкам. Ничего, пережили и это, почитали перед сном газеты и уснули, а проснулись — молодые, бодрые, только бы не проговориться об этом маме: она-то так никогда бы не поступила...

Время не стояло на месте. Дни часто были похожи один на другой. Как встречали мы приближающийся новый, 1947, год — не помню. Наверно, незаметно, буднично. Витя уже перешел работать в артель «Металлист» — там тоже давали хорошую норму на хлеб и, вообще, продовольственные карточки были, по-моему, чуть повесомей, а поскольку эта артель тоже входила в местную промышленность, то иногда случалась какая-нибудь, пусть и незначительная, но помощь. Выписали однажды старого железа и гвоздей — крыша сильно протекала, там же припаяли новое дно к проносившейся кастрюле, и она нам долго служила верой и правдой, да мало ли...

В декретный отпуск я вышла с опозданием, все не выписывали больничный, все как бы у них, в женской консультации, не совпадали сроки с моими. Отгуляла я восемь дней. За это время самолично выстежила детское одеяло: ваты выписали в «Швейнике», а сатину по три метра на карточку выкупила в магазине. Маленько белого лоскута дали в цехе массового пошива. Одним словом, я изготовилась к появлению первенца и одиннадцатого марта тысяча девятьсот сорок седьмого года благополучно разрешилась дочкой, названной по настоянию отца — Лидочкой.

Недолго прожила наша доченька на белом свете, умерла от диспепсии, только-только достигнув, даже маленько недолжив до полугодика. Зима была холодная, весна тоже выдалась ненастная в тот год, а я же и зимой, и летом — все одним цветом, все в шинели своей неизменной, хотя как неизменной, — выносилась она от постоянного ею пользования. Я застудила груди, мастит не проходил сам собой, хотя и грелась, и мазями пользовалась — не помогало, пришлось оперироваться, и мы с дочкой двадцать четвертого августа угодили в больницу. А вскоре после того, как появилась на свет наша первая дочка, Виктор Петрович, не знаю зачем, вызвал из Сибири свою неродную бабушку, Марию Егоровну Астафьеву — мачеху отца Виктора Петровича, но довольно еще молодую — лет пятидесяти. И приехала она, Мария Егоровна, чистоплотная, своенравная, любила, чтоб за нею ухаживали, сама же в домашних делах не усердствовала и только, странное дело, теперь уж давно и прошлое, но все чего-то постанывала, куталась в шаль, и все следила — подглядывала, как и что я делаю, как содержу Витю, и при всем при этом, если наблюдала, что Витя ко мне хорошо, даже иногда ласково относится, прекращала разговаривать со мной вообще и вдруг заискивала перед Витей. А я ей только ноги не мыла. И все не так, все не по ее. Главная же причина в том была — наша бедность, как я потом понял.

Однажды оставила на женщин-матерей, у которых тоже болели дети, свою Лидочку, несколько раз умоляла их, чтоб хоть которая, хоть маленько дали ей поесть, чтоб хоть немножко грудного молочка она поела... Но нет. У всех отощавших матерей молочка не лишка. Витя дважды приносил в больницу самодельные конфеты, купленные на базаре, и когда их опустить в молоко, то оно делалось либо голубым, либо розовым — в зависимости от цвета тех конфет. С них и началась эта жестокая диспепсия у девочки — в больнице их запретили ей давать. Утром на обходе врач, прежде чем осмотреть ребенка, напоминала, что нужно сдать хлебные и продовольственные карточки, иначе выпишут... А на работе меня заменяла женщина «с воли», которая только ради карточек и устроилась временно на работу... Однажды Виктор Петрович в мазутной одежде, сам чумазый, явился в горком партии и прямиком к секретарю. Тот поначалу возмутился: почему без разрешения вошли? Почему в таком виде? А Витя, устремив прямо на него свой единственный зрячий глаз, приблизился к столу и спросил:

— Моя жена, добровольно уходившая на войну, пятой из семьи... она — член партии!.. Она заслужила у своей партии двести граммов хлеба в сутки? Ее грозятся выписать из

больницы с больным ребенком на руках только потому, что она не может сдать хлебную карточку, которую получает другой человек, ее заменяющий на работе?! Заслужила или нет? — я спрашиваю...

Тот начал было пояснять, мол, если жена — член партии, то должна понимать трудность момента в жизни страны и тут только заметил, как муж уже сжимает побелевшими пальцами тяжелую, мраморную чернильницу...

— Вы присаживайтесь. Вы поймите... Мы постараемся что-нибудь придумать для вашей жены.

Виктор Петрович саданул дверью кабинета секретаря, явился в цех в таком состоянии и виде, что рабочие начали отпаивать его водой, успокаивать, проклинать начальство...

На другой день я неожиданно пришла домой — вымыть голову да узнать, может, удалось на рынке купить сахарку?.. В этот раз со мной не разговаривали уж ни тот, ни другая. Я молча налила теплого чаю, попила и увидела, что даже в зыбке вся постелька перевернута вверх дном. Прямо как в стихотворении про жаворонка: «Гнездо вверх дном, птенцы запаханы!.. Вспорхнул и канул в небосвод. Надрывно охает и ахает, а люди думают — поет!»

Так и я... Ничего не спросив, ничего не сказав, отправилась обратно в больницу, к беззащитной, бесконечно дорогой и жестоко страдающей дочке. Лежит она на кровати и все пытается угадать соской, снятой с бутылки, в голодный ротик... Взяла ее на руки, потербила свои пустые груди и, крепко прижав ее к себе, стала ходить по палате, поднесла к широко разросшемуся цветку с зелеными листочками, она даже ручку поднимает, дотянуться пытается, но силы, даже самой малой, в ней уже не осталось от истощения... Будь бы у меня чего предложить женщинам-матерям, чтоб они, хоть которая-то покормили бы девочку, один только разик в день, один-единственный, но мне нечем было с ними рассчитаться за несколько глоточков молока и тем подживить жизнь в девочке, а может, и продлить...

Лидочка умерла уже ближе к ночи второго сентября тысяча девятьсот сорок седьмого года... Витя увидел, видно, стоял перед окном палаты, как я уронила голову на постель и еще чувствовала обнявшими руками, слабенькое, остатное ее тепло... Сестра сходила за дежурным врачом, та приоткрыла уже завянувшие веки ребенка, посмотрела на ноготки, быстро, прямо на глазах начавшие темнеть, ненадолго приложила к груди Лидочки вытащенную из кармана халата трубку-статоскоп, послушала, выпрямилась, мгновение еще посмотрела на

мертвую девочку и молвила: «Сочувствую... Через два часа можете брать домой... или переправим в морг...» — и ушла.

Когда Витя нес уже неживую дочку по ночному городу, еще чувствовал, говорит, тепло, устоявшееся под шейкой... А в избушке по радио, из привычной в те времена, черной тарелки-репродуктора доносилась какая-то печальная музыка... Мария Егоровна тут же засобиралась к нашим, мол, че мне теперь тут делать? Мешать только...

На другой день Витя с Васей, моим братом, отправились копать могилку и по пути должны были зайти к моему дяде, Сергею Андреевичу, грамотному человеку и хорошему столяру, чтоб к вечеру сколотил гробик.

Я то плакала, то только вздыхала и шила платьице, чтоб одеть в него Лидочку и в нем отпустить от себя родное дитя в мир иной, шила капорок, отделив оборочки кружевцем, на подушку-думку, из ее же зыбки, надела новенькую наволочку, сшитую из ненадеванного головного платка. Витя сходил и показал в магазине свидетельство о смерти дочери, ему продали белого полотна, синего сатина — обить гробик, маленькие самые маленькие пинетки, больше похожие на носочки и еще дали десять метров голубой неширокой ленты.

Сергей Андреевич довольно скоро изготовил гробик и уже у нас дома обил его сатином, и стружки сохранил, мол, вместо подстилки, матрасика — всегда так делают, и принес два новых вафельных полотенца. Я успела сделать несколько цветочков-розочек из тонкой курительной бумаги, вырезала из тетрадной корочки листочки, папа нашел где-то у себя медную проволоку, я соединила цветочки и надела на головушку Лидочки, поверх капорочка, как венок.

Азарий узнал о нашем горе, убедился, что все уже почти готово, сходил за фотографом. Гуссис — по фамилии, они оба, муж и жена, занимались фотографией, ходили по заказу по домам. Лидочку тоже сфотографировали и до сих пор невозможно без горьких чувств смотреть на ту фотографию, на дочку, перед которой мы уж столько лет, сколько прошло со дня ее смерти, так и живем с виной в сердце, что не уберегли... не спасли, уморили голодом...

Какое это горькое горе и чувство — родительское бессилие, тяжелое, жестокое, совершенно немилосердное. Мой младший брат, добрый и уже несчастный, часто летними днями держал бывало Лидочку, свою племянницу на руках. Усядется с нею на крыльце, в тень, похлопывая одной рукой, а другою листает страницу за страницей — читает. Он очень много читал, иной раз спросишь, чего он читает? А он виновато,

скорее застенчиво, улыбнется и то скажет название книги, то покажет обложку, и тут же успокоит, мол, за нее не беспокоюсь, я же с нею не только сижу, мы и погуляем — шаги меряем от угла до угла дома, или по бороздам, меж зеленой ботвы моркови, к тополям вон ходим. Ты не беспокойся. Она у вас такая тихая, спокойная. Мне нисколько с ней не трудно...

Когда Лидочка умерла, Вася чаще стал жаловаться на головную боль. У него, когда он работал на строительстве дома в Новом городе — штукатурил, красил, — однажды голова закружилась, он упал с лесов, долго был без сознания. А потом врачи осмотрели, признали сотрясение головного мозга, мол, нужен покой, обязательно нужно больше лежать, отдыхать, а в больницу не обязательно его класть, можно и дома, только очень следить нужно, чтоб не нервничал, ничего не делал в наклон — больше, как можно больше покоя. А книги пусть читает, раз грамотный, раз нравится, может, и на поправку пойдет быстрее.

Я начну, бывало, прибираться в своей избушке и то погребушку найду — приносили знакомые, часто заходили с работы попроведать, то ложечку чайную, из других выделяющуюся, подаренную кем-то, мол, на зубок — сяду на кровать перед зыбкой, сижу, плачу, иногда подолгу засиживаться стала. И снится Лидочка стала почти каждую ночь: так явственно увижу, как она, такая маленькая, такая беленькая, безгласная и спокойная, как взрослая, перейдет через линию и спускается к нашему дому — веночек на голове, платьице длинное белое и явится перед окном с глазами, полными слез. Я соскочу с постели, кинусь к окну, а ее уж нет, она уж у другого окна стоит, молчаливая, не по-детски скорбная. Я к другому окну, но и там уже нет, а сама думаю: как же ей холодно, одиноко, а я в дом погреться не могу ее пустить — никак дверь найти не могу. Лежу, умываясь слезами, то задремлю, то заплачу.

Витя смотрел, смотрел на меня и взял отпуск, и стали мы с ним да с Васей, иногда и Мария Егоровна с нами, ходить по грибы. Витя с Васей идут впереди и все разговаривают, разговаривают. Витя потом не раз и с удивлением рассказывал, мол, я думал, Вася листает книгу за книгой, просто так, без понимания и интереса, а пока шли, разговорились и оказалось, он очень внимательно и вдумчиво читает, и рассказывает интересно. Ему бы куда-то учиться. Ну, наладится с головой, тогда надо подумать, может, для начала хоть в вечернюю школу рабочей молодежи.

Не прошло и недели с того разговора о Васе, Витя на телеге привез глину: надо печь перекладывать — сложена она

была на деревянный сруб, когда-то, видать, посильнее раско-
чегарили печку и зашаял тот деревянный сруб. Стали топить
печь с осторожностью, чтоб пожар не наделать, да заго-
тавливать постепенно кирпич, песок, глину, чтоб артельно
взяться да и управиться с работой за день-два, сложить помень-
ше да понадежней... И жить-поживать дальше.

Когда Лидочку схоронили, враз вроде дел меньше сдела-
лось, вот и решили заняться печкой. Мы с Васей — иногда и
Азарий помогал — чистили кирпичи, привезенные с углеж-
жения, сразу сортировали целые по одну сторону дверей в
сенки, половинки — по другую. И вот Витя глину привез.
Стоял на телеге, посреди двора, напротив проема на сеновал,
куда сено на зиму метали. Я подросла, да Зоря, и сам Витя
спрыгнул с телеги, папа притащил из дровяника широкое де-
ревянное корыто с ручками, как носилки с бортами, принес и
старое железное корыто, уже заржавевшее, — в него можно
воду наливать да кирпич мочить. Сгрузили быстро, и Витя
уехал на телеге, погоняя коня, чтоб лошадь сдать ко времени,
а там и конец рабочего дня.

И только мы поужинали, я взялась посуду убирать со
стола, Витя потянулся за печной выступ за спичками, чтоб
закурить, и в этот момент сильно забили, забарабанили в дверь
в сенки.

Витя проворчал, мол, ровно на пожар, и пошел отпирать
дверь. В проеме дверей стоял папа и, подрагивая плечами,
шарясь крупными пальцами по рубашке на груди, болезненно
сморщив лицо, сдерживая слезы, сказал:

— Марея! Витя! Вася-то наш повесился!.. — и, шатаясь,
пошел домой.

Еще днем, когда я бежала домой на обеденный перерыв,
увидела в огороде маму — свеклу она начала вырезать. Увидев
меня, она громко выкрикнула, что Васи-то нигде нету! Дома не
ночевал... — и так рванула на себе старенькую жакетку, что
пуговицы брызнули в разные стороны. Я подбежала к ней,
глажу, успокаиваю, обещаю, что с работы попытаюсь до-
звониться до Нового города, до стройуправления, узнаю — не
случилось ли чего? Или после работы сама съезжу, узнаю.
Мало ли... может, в кино с ребятами ходили там, домой поздно
не стал возвращаться — далеко же. Может, вот-вот придет. Не
переживай, успокойся.

Поди, полежи, а сама чего-то перехватила на ходу и снова
на работу...

Мы, вообще-то, с Витей уже приспособились: картошку
начистим с вечера, а в обед или с работы кто раньше придет,

тот и печку топит, и чай кипятит, или суп, загодя сваренный, разогреет, или картошку варить поставит, часто и в мундирах. Об этих «мундирах» еще пойдет речь впереди, но пока не о том, совсем не о том, пока о чем-то таком, что неотвратимо и страшно надвигалось на нас, на всю нашу родню, от чего, не скрыться, не откреститься — оно неизбежно.

И вот оно... Снова тяжелое горе свалилось на нашу семью. Мама, как потом мы узнали, пошла вечером, не дождавшись еще нас с работы, доить корову, а утрами еще выгоняли коров пастись, чтоб пока можно, где отавы поедят, где трава не перестояла, а зима впереди длинная, корму много понадобится. Подоила она корову, поставила к порогу подоилицу с молоком, перекрестила животину на ночь и только приподнялась, встала на кромку ясель — угла, отгороженного специально для сена, собралась стащить охапку сена, а сеновал по основанию как бы отгораживали два ряда бревен, может, для того, чтобы корова не паялилась по стене да не стаскивала щипками сено, которое съест, которое истопчет, может, из каких других соображений, но когда мама приподнялась и хотела взяться за сено, чтоб спустить его прямо в ясли, увидела своего младшего сына Васю — стоит, голову чуть набок наклонил, а не видно же из-за бревен, что ноги его пола не касаются. И на веревку, которая стянула ему горло, — тоже никакого пока внимания. Да ведь и Витя, когда днем глину привозил — стоял на телеге вровень с проемом, когда весь сеновал можно осмотреть — он тоже головы в ту сторону не повернул.

— Вася! Сынок! Ты чего же тут стоишь-то? Мы с ног сбились, ищем тебя, где взять, не знаем, у кого ни спросим — никто не видел. А ты вон где! Ты че же на сеновале-то делаешь? Один!.. Стоишь, как вкопанный... — Поднялась на цыпочки и увидела, что Вася-то не стоит, а висит. Она как закричала, упала с яслей, ведро уронила, а через высокий порог конюшни никак выбраться не может.

Ладно, папá был во дворе, услышал ее крик, сорванный от горя, поднял ее, увел в избу и нам вот постучал. Его бы снять, освободить от веревки, — размышлял как бы сам с собой папа, но тут уж люди обступили — откуда и набрались? Милицию, говорят, вызывать надо да врача, а пока не трогать.

Вася, видимо, всю ночь тут, на сеновале провел, в дальнем углу сено примято, даже не примято, а как бы слежалось, сделалась вмятина, как маленькая берлога. Васю сняли, положили на старое узкое дверное полотно от предбанника, врач оглядела след от веревки, глубоко врезавшийся в полудетскую еще шею, руки, ноги целы, невредимы, высунувшийся

синий и большой язык затолкали на место, через силу раздвинув челюсти. Сложили руки на груди, отошли. Тут приступил в осмотру милиционер: вывернул карманы — в них нет ничего, даже табачных крошек, чему очень удивился; в снятых ботинках тоже ничего не было, на ногах носки, уже малые для его ноги, потому пятки носков приходились почти на середину ступни, глаза плотно зажмурены, а густые прямые волосы рассыпались по сторонам, образуя прямой пробор, заострившийся нос, темные губы полуоткрыты... а так как живой или сознание потерявший.

Боже мой, что было с родителями и, вообще, в доме. Сергей Андреевич пришел быстро, может, Тася позвонила ему на работу, погоревал, посидел с сестрой — моей мамой, почерневшей и безмолвной, покурил с папой в ограде и начал подбирать доски для гроба. Папа ему как-то совсем отрешенно показывал, где новые, где не очень, но ровные, Азарий с дядей, Сергеем Андреевичем, вытащили из дровяника старый верстак — в дровянике тесно, неудобно с длинными досками возиться. Пока мы с Тасей обивали гроб изнутри, пока шили наволочку, готовили полотенца.

К вечеру Вася уже лежал в аккуратном, по нему — не шире, не длиннее — сделанном гробу. Азарий сходил к соседям, у которых много росло рябины, и она украшала палисадник и даже межи в огороде, с разрешения наломал самые красивые и яркие восточки и ими, теми осенними яркими кисточками, обложили Васю по кромкам домовины. Нельзя сказать, что они очень уж пришились кстати, но сам Вася лежал среди них, как живой, воротничок рубашки прикрывал запавший синий рубец, рот чуть полуоткрыт, руки покоились на бездыханной груди. И все казалось, и не только мне, что Вася полежит, подремлет да и поднимется, сядет, оглядит с удивлением и недоумением все, что вокруг, задумается ненадолго и, ухватившись молодыми, крепкими руками за борта гроба, легко, как гимнаст, закинет вытянутые ноги в легких новых тапочках, выпрыгнет как бы, чуть присядет на полусогнутых ногах, выпрямится, улыбнется и скажет что-нибудь вроде: «Ну и хватит! Представление окончилось. Можно всем кому куда...»

Время шло, а Вася, как его уложили, так и лежал, покорно, успокоенно, обреченно. Хоронили его ранним утром, до церковного колокольного звона... Несли гроб не по улице Ленина, а по некрутому подъему поднялись на линию, осторожно ступая, медленно вышли на Транспортную улицу и по переулку, по которому гоняли стадо, по которому катались на санках пошли в гору.

В гору поднимались медленно, то и дело подменяя один другого, перекладывая конец полотенца на подставленное плечо... И не было толпы провожающих, лишь кучкой соседи и знакомые, узнавшие о нашем семейном горе, шли за гробом и все время кто-нибудь да поддерживал маму под руки. Она не плакала, не причитала, не била руками свою изболевшую уже до дна грудь и только, как заведенная, все тихо говорила-повторяла: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!...» — так до самого кладбища и шептала иссиня-черными тоненькими губами. Когда гроб с телом Васи опустили в могилу, в ту же, где уже покоилась сестра его Калерия — подкопали осторожно сбоку, — мама впала в забытие, силы ее кончились, и тогда соседи — дядя Володя Комилин и дядя Петя Курков осторожно подхватили маму, исхудавшую, исстрадавшуюся, усадили на низенькую табуретку, кем-то подставленную и так, полусидя, полупонимая, что происходит, вернее, что уже произошло, что все кончилось, она безвольно разжала руку, и высыпалась из нее горсточка земли на крышку гроба.

Бедная Клава рыдала надрывно, то сжимала голову руками, то раскачиваясь из стороны в сторону, и все спрашивала:

— Господи! За что столько горя на нашу семью? За что такое жестокое наказание? В чем мы уж так провинились?.. Ну, за что?..

Клава плакала громче всех, и ее насильно отдалили от свежей могилы. Мужики уже вбивали колышки, размечая ограду, советовались: кто краской расстареется, кто оградку заказывать будет? Сергей Андреевич спокойно сказал, что оградку закажет через свою организацию — Вторчермет — сделают быстро и аккуратно. Поставим пока деревянный крест, сам на днях сделаю, вон как у Лидочки, только побольше, веночки которые обновит... Помолчал, поправляя очки, оглядел кругом: не забыли ли лопаты, полотенца?.. У самой могилы неожиданно появилась Конюшиха, расстелила белую салфетку, на нее бутылку с самогонкой поставила, стопки, как наперстки, огурец разрезала, колбаски, пряников положила и, перекрестившись, первая налила себе маленько выпивки, приняла, утерла губы ладонью и поклонилась: «Царство небесное всем вам, Калерии, младенцу Лидии, новопреставленному Василию... Царство небесное...» И уступила место другим. Выпили помаленечку, помянули и начали расходиться.

Мама тихо, без слез, уставшая уже целовать мертвые губы, безропотно принимала лекарства, запивала теплым ча-

ем. Хотела посидеть за скудным поминальным столом, да передумала, сказала виновато:

— Я пока не могу. Мне полежать надо. Лекарство вот попою... А за стол после... отдышусь, отлежусь, соглашусь с бедой. Сколько теперь нас осталось-то? Пятеро... Да мы с отцом... Сергей, Тоня сказывала, скоро приедет, ходит уж, ест, пьет, читает, по дому тоскует. Не помню, сообщили ему о Кале-то или нет? Ну да теперь и ее уж не вернешь. И Васю... О-о-ох! Много, видать, я тяжких грехов за жизнь-то сотворила, сама того не ведая... Вася бедный, то ли от болезни, то ли от предчувствий каких, случилось ли чего, да мы не знали, а он вот руки на себя наложил. Господь и за это наказывает: всех поминать станем, как и поминали, и Толю, и Валю, и Калерию и всех, убитых на поле брани, а Васю... А Васю только раз в году в церковный поминальник записывать можно. Про себя-то буду молиться, просить Господа, чтобы помиловал, чтоб простил прегрешения вольные и невольные. Все равно уж в грехах утонула... Ох ты, Вася, Вася!..

Вася умер, когда не прошло еще и двадцати дней после смерти нашей Лидочки — плохая, говорят, примета, да куда от нее денешься, разве возможно чего-то изменить.

Мария Егоровна вовсе от домашних дел отошла и стала поговаривать, мол, ехать надо домой, че мне тут людей объедать? Вите последнее время стали все чаще приходиться письма. Все письма, какие приходили, а нам и писали: крестная, тетя Тася да несколько девчонок из части. Вите приходили письма из Краснодара. Мое, до предела страдающее сердце, не предвещало, конечно, для меня ничего доброго, связанного с этими письмами. Но у нас было негласно решено, что письма, адресованные Вите, — его письма, он их вскрывал, читал. Письма, адресованные мне, никаких тайн и секретов не имели, тем более, что всех, от кого приходили письма, Витя хорошо знал и по прочтении мы иногда разговаривали, вспоминали Станиславчик. Краснодарских писем Витя мне не читал, ничего о них не говорил, только убирал куда подальше, а может, уничтожал — не знаю. Я ничего не предпринимала, чтоб мне узнать о их содержании, отчасти потому, что за войну я, работая в военной цензуре, не по своей воле, не любопытства ради; столько прочитала чужих писем, разных, ласковых, доверительных и, наоборот, гневных, с угрозою, со злом, с укоризною, всяких...

Наблюдаю, как Мария Егоровна выжидает момент, чтоб подсобрать свое добро, на которое я, увы, никаких видов не имела да к тому жизнь вынуждала жить в таком напряжении, в горе, когда одно не успеешь пережить, не успеешь опом-

ниться, на очереди, а то и вне очереди, можно сказать, подкармливало другое и так жестоко, до неправдоподобности жестоко, казалось иногда, что больнее и ушибить уж нельзя, тем более кем-то из близких, так нет же. На современном языке сказали бы: иглоукалывание — всегда в самую большую точку...

Мария Егоровна для начала стала жаловаться маме — нашла кому! — что вот вовсе, мол, болеть начинаю, надо ехать обратно — кому я тут хвораю-то нужна? Да и робенка не стало, дел особых нет, мол, только мешаю да обедаю... Мама раз или два мне об этом сказала, и я ей, даже маме своей, вовсе без вины виноватой, ответила с резкостью, что Мария Егоровна сама не маленькая, и не очень стара, чтоб поехать до Красноярска одной. А то, что она все сговаривает «Вихтора», чтоб проводил, — у него своя голова на плечах и, если семья его ему в тягость — скорей умру от горя, чем умолять примусь остаться либо возвращаться поскорей домой.

Когда Мария Егоровна притворно стала утирать сухие глаза кончиком головного платка, мол, Маруся, я ведь хвораю, только терплю, ничего не сказываю, но мне во что бы то ни стало надо ехать домой, в Красноярск, и надо, чтобы Вихтор меня проводил до места, одной мне уж и не доехать.

— А Вихтору вы об этом уже сказали?

— А как же? Да он и сам не маленький, видит... да и отказать мне как он может? Когда беспризорничал, сколь я его обстирывала, обмывала да кормила... Последним делилась.

— Я беременна! И не от прохожего молодца, а от мужа, от Вихтора, как вы его называете... Дело ваше — сговорились — уезжайте, я... а мы... как-нибудь. Я завтра, на выходной уеду в Лысьву, вот вы без меня и решайте. Одна поедете — дорога скатертью, а с Вихтором — ему не понадобится выдумывать причину. Вон их, писем-то пачку уж получил, значит, ждут. Мне бы на прощанье поблагодарить вас надо за помощь... да я не припомню, в чем она заключалась?! А те письма, оба — верните мне сейчас же, найдите, куда дели! Я же не спрашиваю, зачем рылись в детской постельке? Не пеленки же стирать брали... Все вверх дном. Чтоб сегодня же были они под клеенкой на кухне, и для вас же будет лучше, если сделаете это, пока Виктора дома нет... Иначе будет плохо не мне одной!.. — Я все-таки не сдержалась, расплакалась, но, закусив губы, поспешно оделась, обулась, умылась, в зеркальце заглянула, взяла из-под скатерочки на уголке половину имевшихся в доме денег и ушла.

Походила по-за огородом по улице, чтоб не маячить на глазах у людей, затем, когда лицо пообдуло, слезы высохли,

зашла к маме. Папа, сказала она, пошел в городскую баню — попариться, говорит, охота, а баню топить для двоих — лишняя забота, да недавно и мылись. Я сказала, что собрались съездить на выходной в Лысьву, к Серафиме Андреевне — плохо ее во сне вижу да и соскучилась, и отвлекусь маленько. Когда я покупала билет в кассе на вокзале, подала деньги и попросила билет до Лысьвы, кассирша Люда чуть из окна не вылезла — так разглядывала меня — она знала и то, что я жена Виктора Астафьева, знала, конечно же, и о том, что в семье нашей молодой не все ладится, и знала, что я сегодня поеду, потому что уже, сидя в вагоне у окна, не ожидая — когда тронется поезд — по вагону прошел мой Витя, чуть задержался на мне взглядом и пошел дальше. Я не оглянулась, только встретила взглядом с ним, а он, видимо, хотел удостовериться, что я действительно уезжаю и у них есть время, чтоб все решить и действовать...

Крестная моя, Серафима Андреевна, встревожилась моим приездом в такой поздний час.

Я сказала, что ближний поезд ушел на Кормовище через Лысьву, с ним и поехала.

Долго, пожалуй, что до самого утра, до той самой поры, когда мне уже надо будет пойти в церковь, исповедоваться, причаститься и усердно помолиться перед иконой Тайная вечеря, мы проговорили.

Я рассказала о том, как оставила больную Лидочку под присмотром женщин, у которых болели дети, и они с ними делили страдания пытались сохранить в себе надежды на выздоровление ребенка уже много-много дней и ночей. Дома со мной ни Витя, ни Мария Егоровна не разговаривали, будто воды в рот набрали. Когда пришла домой вымыть голову, на плите обычного чугунка с водой не было, самовар еле живой, я попила теплого чаю, вернее теплой воды, и с тем ушла обратно, к больной дочке, к самой родной и милой на свете душе.

Когда я увидела переворошенную детскую постельку вzybке, прежде ужаснулась, чем поняла, что все это могло значить. А значить это могло единственное — два письма. Первое от Вани Гергеля, Витиною однополчанина и друга, которому я после долгих и нелегких раздумий написала письма.

Второе письмо было от Володи, Владимира Васильевича Корзунина — хирурга из госпиталя. Он был молод, самостоятелен, весел, справедлив, требователен и добр, мы были симпатичны друг другу.

Владимир Васильевич вскоре за мной, тоже ушел из госпиталя добровольцем на войну — подбирали специальные

медицинские подразделения. Он и на фронте оставался хирургом, в полевых условиях, иногда вовсе не подходящих для такой работы, оперировал раненых. Я получила от него два письма, когда еще мы были на Северо-Западном фронте, предлагал мне перевестись в его часть, дел, мол, хватит, трудностей тоже, что был бы очень рад... «Ты ж с полуслова могла понять: что, где, как записать, чтоб коротко и ясно, и с перевязками помочь, и вообще... были бы вместе. Я ж тебе тогда еще, когда ты уезжала из госпиталя, говорил, что разыщу тебя непременно, где бы, в какой части ты ни была!.. Я уже награжден — можешь погордиться за меня и даже поздравить — две «звездочки»! Заслужил! И не за просто так!» Он всегда с юмором, со смешком. В госпитале, бывало, начну разносить истории болезни раненых по отделениям, к врачам. Кабинет Владимира Васильевича располагался в верхнем правом конце коридора. Я приноровилась заходить к нему к первому: выходила из своей канцелярии, она почти под его кабинетом располагалась, только на первом этаже. Я легко и беззаботно, бывало, спешу на четвертый этаж в кабинет к Владимиру Васильевичу, стукну в дверь разок и, не дожидаясь «войдите», открою дверь и к столу, за которым сидит веселый, пока еще не уставший за день, пока утро — молодой, белозубый хирург, увидит меня, и залучатся радостно его серые глаза, обойдет стол, возьмет из рук моих истории болезни, положит как бы себе за спину на стол и неожиданно, быстро и как-то радостно прижмет меня к себе, поцелует, заглянет в смущенное мое лицо, на мгновение притиснет мою голову к своей груди и выпустит, и скажет: «Ну, ступай! Тебя ждут и в других отделениях, и начальница, и скоро десятиминутка начнется — не опаздывай! Кто ж без тебя ее начнет?!» — опять же с улыбкой, но вроде и серьезно добавит Владимир Васильевич.

Иногда вечером Владимир Васильевич, если дежурил, то заходил в бывший спортивный зал, где шли танцы или показывали кино, задерживался ненадолго. И мы хоть взглядом да обменяемся с ним непременно. В том письме, которое я получила дома, когда Виктор Петрович путешествовал с кем-то и куда-то по родной Сибири, он сожалел, что отказалась переводиться к нему в часть, сама не знаю, почему отказалась. Может, боялась отстать от девчат, с которыми мы уж сдружились, сработались, а там... кто знает, кто ждет там? Вдруг Владимир Васильевич потом что-нибудь передумает, или его переведут куда в другое место? Вместе было бы, писал он, и легче и надежней, наконец, земляки же, и, кроме того, я тебя, Машенька, по-прежнему люблю, часто о тебе думаю-

вспоминаю, и не исключено, что однажды нагряну, заберу тебя...

Я подробно, как на духу, рассказывала своей крестной обо всем, что переживала в то время, и о письмах тоже рассказывала со всеми подробностями, даже о том, как я их, эти два заветных письма, прятала-перепрятывала. Порвать, сжечь не решалась: слишком они были для меня необычны и дороги, и я их то в подушку зашью, то в карман старого фартука положу, прихватив карман булавкой, небрежно бросала его в угол, к умывальнику — кто может догадаться? И к маме несколько раз приносила, чтоб отдать на хранение, но не отдавала, передумав в последний момент, уносила обратно и опять, особенно перед сном, уже лежа в кровати, оглядывала избушку, искала укромное место, снова прятала, а потом с трудом находила. Долго все это продолжалось, и вот чем кончилось.

Никаких моих писем, сказала обиженно Мария Егоровна, она сроду и не видывала, и вообще, зачем добрым людям чего-то утаивать друг от дружки?..

Утром, еще совсем рано, Серафима Андреевна осторожно дотронулась до моей головы, погладила и тихо молвила:

— Милечка! Если не передумала насчет церкви, то надо собираться: пока дойдешь, пока местечко себе выберешь, икону Тайной вечери найдешь, свечи поставишь... Когда вернешься, тогда и чай пить будем, а пока, перед исповеданием не полагается... Иди с Богом! Дорогу-то помнишь ведь? — спросила она, прикрывая за мной дверь...

Я затеплила свечу и долго молилась на икону, то стоя на коленях, то с поникшей головой. Шептать, произносить тихо, для себя, молитвы у меня не получалось, душили слезы, и я, сипя сдерживаемыми слезами, творила молитвы про себя и безутешно плакала. Когда священник пригласил желающих исповедоваться, я была к нему близко и потому исповедовалась почти первая. Батюшка, покрыв мою голову бархатной с кистями лентой, спрашивал: в чем грешна? Вопросы он задавал разные, житейские из людской обыкновенной жизни, и я вторила одно и то же: «Грешна, батюшка...» Затем причастилась, еще недолго постояла перед главной, как мне тогда показалось, иконой, про себя, мысленно каялась в делах не совсем праведных: вот квартирантов почти силой выставила из флигеля, но нам совершенно негде было жить — тут же как бы и оправдала себя; что году еще не прошло как схоронили дочку-младенца — заморили голодом. И снова собралась было оправдаться, мол, грудь болела, что карточку не давали, и тут же остепенила себя: я же не оправдания жду, а помилования, чтоб

отпустил мне Господь грехи мои, вольные и невольные, снова молилась, снова плакала. И, когда слышала приглушенные шаги — верующие начали тихо расходиться после утренней службы, — вышла из храма, посидела недолго на лавочке под тополями, перекрестилась, когда вышла из церковной ограды, на икону образа Господня, которая висела высоко над воротами, глубоко вздохнула и пошла в сторону парка, на Цветочную улицу, где в доме номер 22 жили мои крестный и крестная, а на двери блестела медная табличка «Алексей Ефимович Ходырев».

Такое умиротворение в моей душе было, такая просветленность, и крестная, наблюдая за мной, это почувствовала, порадовалась за меня и сказала:

— Милечка! И впредь, в будущем, когда тебе сделается очень плохо, до сердечной тоски, не ходи ни к каким гадалкам, ворожеем, колдуньям ли, ко всем этим подвидным и нехорошим людям: они не помогут никогда ни в чем, сходи в церковь, помолись усердно — и Господь услышит. Обязательно услышит.

Крестная нажарила вкусных пирожков с капустой, поставила кувшин с холодным молоком, чай заварила, на столе варенье, сахар, калачики. Мы еще немного поговорили, и она предложила: сегодня, пока в душе моей светлость и спокойствие, мне лучше поехать домой. Я не гоню, места у нас, сама знаешь, всегда всем хватало, тебе особенно, мы всегда тебе рады, но вот сегодня, после утренней службы, — ты молодец, что выстояла ее, покаялась, поисповедовалась, причастилась — и, даст Бог, все будет хорошо, пусть не сегодня, не сразу, но будет. Ты же так усердно сегодня молилась.

— Вот тебе, Милечка, мои любимые туфельки. Они, видишь, почти новенькие, светлые, с ремешком, на каблучке — до самой поры, когда рожать надо будет, в них ходить станешь, ноге в них легко, удобно. И вот пальто, смотри, какое славное. Я его давно уж не надевала, а тебе оно очень подходит, как для тебя и шито. Вот еще чулочки новенькие, ночная рубашечка — бери-бери. Это так тебе необходимо, а мне с возрастом, чем дальше, тем все меньше уже требуется. Да и есть у меня все, ты же знаешь: шила всегда все сама, и себе, и маме-покойнице...

Крестная положила мне еще ком замороженногопельменного теста, мол, вдруг Витя еще не уехал, или себе поесть чего-то такого захочется, вот и состряпашь пельмешков ли с капустой, вареников ли с картошкой...

Пока ехала из Лысьвы до станции Чусовской — ни о чем не думала, в окна не смотрела, сердце дурными тревожными мыслями не надсаждала: ехала и ехала, будто спала с открытыми глазами. Однако когда приблизилась к дому, сердце сжалось, помедлила немного, посмотрев по сторонам: ни во дворе, ни на улице людей не видно. Просунула палец в круглое, уже как бы отполированное отверстие, подвигала задвижку — и дверь в сенки тихо отворилась. Когда глаза привыкли к полумраку, различила в скобе двери в избу белую бумагу, и опять мое сердце сжалось. Нашарила над дверью, вернее на полке, концом примыкавшей к косяку двери ключ, покусав губы, вставила его в замочную скважину, открыла, вошла. В избе было тепло и чисто. И только. Никого и ничего больше...

Пережила мучительные первые минуты одиночества, разделась, разулась, вымыла с мылом руки и легла, забыв о записке. Легла и скоро уснула. А когда проснулась была уже половина ночи. Зажгла в кухне свет, прочитала записку от Вити, но не сразу разобрала, что в ней написано. Слезы закипали, я погасила свет, разделась до рубашки, закрыла на крючок дверь и легла.

«Маша! Уехал провожать бабушку. Там будет видно. Жди вестей. Мамаша, папаша ни при чем. Только жалко. Жалко Лидочку и Васю. Не поминай лихом. Целую. Виктор».

Утром робко постучали в дверь. Спросила: «Кто?» — «Дая, — отозвалась мама. — Думала всю ночь — приедешь или ночуешь? Ну приехала и слава Богу. Поспи еще. Если велишь разбудить когда — не забуду, разбуджу. Спи».

* * *

Вити не было дома полгода. Через полмесяца, может, чуть пораньше начали приходить письма из Красноярска, разные по настроению и содержанию. То писал, что скучает и постарается поскорее вернуться, как только уладит кой-какие дела. То с гневом, не выбирая выражений, писал, что давно надо было разойтись и не создавать видимость, что как мы жиди — это тоже есть жизнь. То писал, что близких родных оказалось меньше, чем думал на самом деле. «С большим опозданием, но хвалю себя, что взял и все разом оборвал! Хватит, побатрачил, поел оговоренный кусок, похлебал баланды, под названием пища...» На все письма — я отвечала на каждое из них — отвечала очень кратко, по существу, ни о чем.

Погода холодала, но не напористо, чтоб сразу в зиму, а так... Почти так, как потом, спустя много лет, выразит поэтесса, как будто почувствовав мое состояние:

Предзимье. Странная пора.
Не холодно, но как-то знобко.
Зима переступила робко
Грань осени еще вчера.
Но не вошла, а у дверей
Присела скромной ученицей.
И, всхлипывая, плыли птицы
Ночами черными над ней.
Распластанные в вышине,
Роняя перья у излучин,
Еще надеялись на лучшее
Они по собственной вине...

(Г. Белова)

У меня впереди не только переживания, боль разлуки, робкие ожидания: «А вдруг...» Но у меня и забот, о-го-го сколько! Надо что-то решить с дровами, пока буржуйкой-экономкой, изготовленной в артели «Металлист» еще при Вите, обходилась. Как-то Иван Абрамович привез, кажется, уже на санях, дров и в придачу сушеной малины да связку веников, заготовленных до поры и немного луку. Ко мне часто стала забегать Полинка Малькова — она заканчивала библиотечный техникум в Кирове. Забежит, посидим, поговорим, повспоминаем. Она тоже не раз обмолвилась в воспоминаниях, что когда мы были в «ВЦ», в Станиславчике, там, говорила она, для меня была, пожалуй, самая счастливая жизнь...

Однажды она сказала, что отчим ее, дядя Ваня, перешел работать на лошади и, может, чего привезти, увезти, ему пока в этом не отказывают. Я заикнулась, может, ему и дров выпишут, может, на его имя, если на меня нельзя, что для меня эта самая большая забота. Пока еще беременность небольшая, я могу пилить, колоть, складывать и одновременно дитя будущее закаливать. Она как-то не очень весело повела головой, не пообещала, но и не отказала. А я, чтоб «закрепить» деловой разговор, сказала, что, если дадите вату, материал и нитки, выстежу одеяло, мягонькое, легонькое, какого размера надо, такого и сделаю. Можно бы одеяло и в артели у нас заказать, но там вату расстилают неровно, рисунок редкий, некрасивый, а я такое могу — загляденье!

— Правда, что ли? — удивилась Полинка, даже рассмеялась. — Ну, милая, ты даешь, — сказала.

А я уж подумывала, что надо бы мне этим делом заняться — и время быстрее пойдет, и подработать можно, все равно в избе

пока свободно. Как-то вечером принесла от мамы пята. Азарий, узнав о моих намерениях, пришел, спросил — поинтересовался, как печка топится, не дымит? Хорошо ли греет? Потом рамы осматрел и пообещал в двух заменить треснутые стекла, промазать замазкой, а проконопатить, мол, сама. Пообещал — сделал. И пакли принес, чтоб щели у рам проконопатить, и я, не теряя времени, быстро чего поем-попью, придя с работы, — и за дело. Нарезала все от той же, Толиной кальки ровненькие полоски, оклеила рамы.

Слушаю радио, о Вите думаю: где он, с кем? Думает ли о доме? Иногда плачу, иногда пою, не то, что пою, а когда привяжется какая-нибудь песня, ни к селу, ни к городу, а от языка не отстанет...

Полинка забежала как-то вечером и наказала, чтоб я или Азарий были бы дома — отец обещал дров привезти.

Братец Азарий в деле мне не отказывал, о чем попрошу — делает, если сможет.

Не раз и не два вспоминала о Владимире Васильевиче, тогда молодом еще хирурге, который, оказывается, любил меня. Витя по-прежнему писал и нередко, если говорить по правде, но письма те были и не письма вроде, а так: откроет дверь в избу, выпалит заряд, какой он, какая я, какие все корякинские, вспомнит, как устал тогда таскать на кладбище покойников, впустит в избу холоду, да кабы в избу, — в душу — и «захлопнет дверь», замолчит на время. А я отвечаю, что живем по-старому, новостей нет у нас, ни в городе, сообщила, что Сергей приехал. Иногда о родителях напишу несколько слов, что, слава Богу, пока на ногах, погода такая-то, чтоб передавал родным приветы. О себе ни слова.

Витя уже несколько раз с обидой как бы даже написал, мол, сама-то о себе ты хоть что-нибудь да напиши. Как ты себя чувствуешь? Как живется? Кто бывает у вас? Ездил ли в Лысьву, или к тебе Серафима Андреевна приезжала? Я снова вокруг да около. Чего ж мне писать? Как одеяло стежу? Как дня не хватает, чтоб побольше успеть сделать, пока маленького нет? Что плачу часто, как говорится, без свидетелей, как хранию, берегу, подживляю, как могу и умею, хрупкую в себе надежду на встречу, как не хочу верить, что будто все у нас позади, все в прошлом, — тогда как в сущности-то ничего еще и не начиналось — как жду, как люблю, как желаю его. И думаю обо всем этом, когда убираю в ограде снег, ношу воду, пока в состоянии, иногда мою пол в родительском доме, потому что младшая моя сестрица закадрила, с утра намарафеченная, а к вечеру, глядишь, так весела... Забежит ко мне иногда,

чего-то повертится, похохатывает — неизвестно отчего ей так весело, — покрутится, похихикает и с тем удалится, потому что не отрываться же мне от дела ради нее — вертушки. Как-то сижу за пятами, стежу одеяло, а одеяло большое и им я заняла всю комнату, от окна до стены, на кровать пролезаю под ним, утром вылезаю. Вспоминаю, как в детстве, бывало стежили одеяло, но стежили четверо или пятеро и дело спорилось. Но тогда надо было сделать поживее, потому что всем с утра до ночи топтаться в кухне — дело ли? А я одна, хоть спи, хоть шей до утра. Часто за этим занятием застаёт меня только либо Азарий — побеседовать явится, про Софью порассказывает, с нею мы знакомы: она недолго, но работала в госпитале у нас. Да папа заходит. Сядет на табуретку у порога, поглядит, вздыхает, чего спросит или скажет, иногда воды принесет, мол, носил домой, вот и тебе принес — тебе одной-то надолго хватит. А я незаметно четушечку на стол и еще, чего уж есть, капустки из подполья достану, луковицу искрошу, маслица сверху. Папа огладит бороду, на руки посмотрит, тыльные стороны у него вечно в темных полосках — дратвы делает или катанки подшивает. Иной раз скажет, как спросит: «Марей, у тебя за печкой постель свободна, может, у тебя заночую — дома мальчонка заболел, всю ночь хныкает, ни матери, ни мне ни покою, ни отдыха... А мать днем пускай поспит, я с им позвожусь или, может, ты на час-другой возьмешь к себе? Так-то славный варнак растет, ись, пить просит — терпенья подождать не имеет».

В другом письме Витя засушенный стародуб послал — где и сохранился? Я и поплакала над ним, и поразглядывала и убрала на угловик.

Ребеночек в животе попинываться стал сильнее. Бывало, сижу, шью чего на руках или рукавицы вяжу, книжку положу на подушку, придавлю немного снизу, чтоб она как на подставке, вяжу и читаю, и вдруг почувствую внутри движение, приостановлю дело и жду, когда локоток или ножка упрется, натянет кожу на животе, затем тихо, спокойно угнездится там поудобней, значит, думаю, задремал. Меня тоже иногда в сон потянет и тут уж мне решать: либо еще пошить, либо укладываться — завтра же на работу.

В одном письме Витя с тревогой написал о том, что на барже кто-то венерической болезнью заболел, а ведь из одной кружки часто пьем. Переживаю очень. Если обойдется, схожу в церковь, надену крест и не сниму до конца дней своих...

Тут уж есть над чем задуматься, да все про себя — кому про это расскажешь?.. Много раз и потом случалось, когда

просто не терпелось кому-то пожаловаться, рассказать и через великую силу сдержишь себя, зато потом, утром, вспоминаю, что смолчала, и похвалю себя. В ограду выйду — тихо кругом, темно, только дорога возле линии чернеет в потемках, за линией в редком доме, скорее в кухне, огонек светится: может, кто приехал, может, уезжать собирается, может, заболел. И вспомнится: «Спала в пыли дороженька широкая, набат на башне каменной молчал, и, может быть, сгорало очень многое, но этого никто не замечал...» И про себя подумаю: никто во всей округе и не подумает, что вот мне не спится, думается о Вите до сердечной тоски. Надо бы взять себя в руки и либо написать ему, чтоб раз и навсегда, — ну и что тогда? А мне бы маленько, совсем немножко душевного спокойствия, чтоб ребеночек родился спокойным. Он-то за что страдать будет, нервничать, вредничать, наверное, и болеть часто, а если так же, как... Нет-нет, взмолилась я от таких мыслей... Азарий приносит книги: читай, развлекайся, или отвлекайся. И Полинка тоже нет-нет да и явится с книжкой под мышкой, читай, мол, не пожалеешь. Иногда и содержание рассказывать примется, но прервет себя и с напускной сердитостью выпалит, мол, чего ты, в самом-то деле?! Так ведь и свихнуться можно! Что так уж и сошелся на нем клином белый свет?! Обнимет меня, погладит по голове, до живота дотронется, послушает, как новая жизнь рвется на волю, будто тут рай?..

Попили чайку по второму заходу, и она заспешила домой. Остановившись у дверей, спросила, скоро ли я пойду в декретный? Я ответила, что в апреле, если в консультации опять не обсчитаются в сроках... Полина уж вышла в сенки, прислушиваюсь, когда закроет за собой дверь, а она вернулась с письмом в руке, протягивает мне и молча удивляется: разве я сегодня никуда не выходила?

— Ходила-ходила! Когда с работы шла, его еще не было, а я ведь к нашим еще заходила — попроведать. Завтра Толика возьму на весь выходной — мама устала, измаялась с ним, а я, так сказать, потренируюсь, поразвлекаюсь.

— Ну, читай скорее, может, чего интересное Виктор пишет? Ну я пошла!

Письмо от Вити и в самом деле было необычное. Вначале сообщал, что насчет заразной болезни вроде все обошлось. Парня того, который болел, с баржи вытурили и заставили принудительно лечиться, и расписку потребовали, что никому этот подарок не передаст. Дальше писал о том, какая красивая весенняя пора в Сибири, что Енисей весь сверкает-перелива-

ется от солнца, торосы как серебром политы, что на работе устает и не уверен, что до конца выдержит, отработает, сколько положено по договору. Что в деревне бывает редко, в городе — тоже. Подумывает, что пора бы и домой подаваться, да вот договор сдерживает, иначе не оплатят, не отдадут зарплату... Не представляю, мол, какая весна бывает на Урале? Какие первые весенние цветы появляются?.. И все в таком роде, о чем он до этого в своих письмах ни разу не писал. А в конце подписался, что любит и целует!..

Я много раз перечитала то письмо, прочитаю, сверну, положу под подушку и начинаю думать, представлять, мечтать. Снова перечитаю.

Потом, когда Витя вернется домой, а до этого не так уж долго оставалось ждать, я уничтожу все эти письма, изорву, оплачу каждое — и в печку... Не хотела, чтоб с ними так же обошлись, как с теми, а они, письма эти, такие для меня мучительные и долгожданные. Но думать о Вите не переставала, и он уж мне казался не таким, каким был, каким уезжал, а каким-то недоступным уж для меня, что ли, тем более, что я, доживая последние сроки, выгляжу плохо, неуклюжа, мало улыбчива — это только когда дома, когда наедине со своим, еще не родившимся, но таким уж бесценным существом, когда дороже и ближе не бывает. Только пока я еще не могу излить на него всю свою любовь и нежность, потому что он еще не появился на свет, и я даже не знаю, кто это будет: девочка или мальчик? Для меня это не имеет значения. Я знаю точно: это моя радость, моя мука, моя тревога и любовь — безмерная на всю жизнь!

Мне хотелось написать обо всем этом Вите моему — он бы представил, поверил и, без раздумий, вернулся бы. Он бы узнал, какой для меня он самый дорогой, самый умный и красивый! Что никаких обид я уже не помню и не хочу вспоминать, как и обо всем том, что произошло. Что я готова повторять и повторять за поэтессой, которая в своем стихотворении призналась в переживаниях, очень созвучных моему сердцу и уму:

Исчезли мелкие подробности,
Ушла обыденность поспешно.
И ты до неправдоподобности,
До ненормальности безгрешный.
Мы перед временем бессильны:
Что было близким, стало дальним.
Но чем ты дальше, тем красивее,
Чем недоступней, тем желаннее.
Твоим величием подавлена,

И удивляюсь то и дело:
Да как же я в ту пору давнюю
Такого полюбить посмела?
(М. Зими́на)

Конечно, я не напишу своему Вите такие слова-признания, у меня пока иные думы и заботы, а сколько всего еще предстоит пережить, перетерпеть, выстоять.

А пока я то на работе, то дома — мою, стираю, чего-то варю, чего-то шью-вяжу. Выбираю время помочь маме, хотя, к сожалению, не постоянно: то полы в кухне вымою, то маленького Толика к себе возьму, иной раз и ночевать оставлю — тоже как бы привыкаю; пеленки на ночь выстираю, высушу, иногда и поглажу. Он уже ползает, пузыри пускает, редко попросится на горшок — услышу, что закрихтел, значит, надо помочь парнишечке справиться дела, иногда успею, иногда увы. Тогда в таз воду наливаю, обмываю, обтираю и вальну его на кровать, а сама за стирку, за починку: где пуговку к его рубашонке пришью, шнурочек нарощу к вязаным носочкам, чтоб удобней завязывать, а завязанные он их не так часто снимает. Бывало, уложу его спать на своей, в общем-то, широкой довольно кровати, сделаю «барьер» из одеяла или подушки, а сама оденусь — и во двор: снег убираю, выкидываю за ограду, пробую долбить канавки — вот-вот ручейки побегут. Глаза привыкают к темноте быстро, да не осень ведь, снег еще не сошел, высветляет, и разминку телу своему даю, чтоб родить полегче было. И дышу, дышу свежим воздухом, и думается тогда не только о печальном, тревожном... Вспомню про Лидочку, погорюю, не раз пыталась представить ее большенькой, что ходит уж, разговаривает о чем, но представить такое мне не удавалось... Всякий раз, заходя в сенки, — на обед ли иду или с работы — все посматриваю, не белеет ли где конверт. Когда выпадала удача, тут уж и бросала всякие дела, мыла руки, присаживалась и не сразу вскрывала конверт, отдыхала недолго, растирая отекающие ноги, особенно в икрах, и думала, что надо поменьше пить жидкости. Решала не раз, но сдержаться было нелегко, работала, стала разрабатывать оперированные не так давно груди, чтоб новорожденного можно было бы кормить материнским молочком. И труды не пропали даром — это я почувствовала довольно быстро.

Долгое время от Вити не приходили письма, и тогда уж я решила, что же делать-то? — пусть будет как будет, не розыск же мне объявлять: муж исчез! Написала письмо крестной, и она быстро приехала.

Я очень ей обрадовалась. Не знаю, куда посадить, чем угостить, стесняюсь своей фигуры, все ужимаю живот, да разве его утянешь? Она заметила, весело усмехнулась, мол, чего стесняться-то, от кого скрывать? Когда вскипел самовар, я постелила новую клееночку, достала чашки с блюдцами, сахар в блюдецке, самодельное печенье, изготовленное на всякий случай.

Себе-то я признавалась всякий раз, что, если вдруг Витя придет, — будет с чем чай пить. А в этот раз угощала дорогую свою гостью чаем с домашним печеньем. Она быстро, согласно под села к столу и, заметив, что я, накинув шинель, за- собиралась уходить, настороженно спросила:

— Милечка! Ты куда? Я не успела приехать, а ты...

— Я маму позову, а если папа дома, то и его.

Она кивнула, мол, хорошо и сделаешь, что их пригла- сишь, здесь и повидаемся, мол, поговорим. Я очень глубоко уважаю твоих родителей и очень рада тому, что ты уже успела так много перенять от них доброго и необходимого в жизни. В подарок мне крестная привезла пять метров полотна — на приданное маленькому и хоть не новую, но очень славную, легкую и теплую кофточку вязаную, и пояснила: будешь носить, чтобы снова не застудить груди.

Весна началась дружно, весело, с крыш капало, сосульки со звоном осыпались на не оттаявшую еще землю, и только все тоскливей делалось у меня на сердце. Что же еще ждет меня? — грустно думала я перед сном. Может, Витя еще чего надумал или заболел, не дай Бог, или, может, и родину уж свою покинул, на теплые края променял?.. Иногда надолго тревожно задумаюсь, иногда не замечу, как усну. Утром все сначала: попив чаю, забегу ненадолго к нашим, ключ оставлю, мол, чтоб не обронить где, а он один, спрошу, как ночевали, и на работу — там скучать и предаваться раздумьям некогда, там работа, там соображать надо.

В половине марта от Вити пришло письмо-поздравление. На конверте нарисовал цветочек, в письмо опять вложил засу- шенный стародуб и еще десять рублей и с извинением как бы написал, мол, знаю, что на цветы не потратишь, тогда купи чего-нибудь к чаю. В конце приписал, что, мол, что-то тоскливо сделалось, даже читать книги не тянет, что собирает- ся съездить в деревню, зайдет к тете Тале — жене Кольки старшего, иначе Николая Ильича, может, письма есть какие... для меня.

Внешне дни по-прежнему похожи один на другой, но прибавилось работы — в подполье подошла вода, и я с переры-

вами вытаскивала ее наверх, картошку рассыпала на полу за печкой и в проходе к умывальнику. Иногда так уставала наклоняться и разгибаться, что плакала, и тому лишь радовалась, что никто это не видит, главное, не видит меня такую Витя, как я кожилюсь с раздавшимся животом, отечными ногами и руками. Все время держала на плите теплую воду, после такой изнурительной и неудобной работы, когда пот градом, обмывалась до пояса над стиральным корытом, вытиралась старенькими еще от Лидочки пеленками. Они на пеленки-то не походили, но на подгузники еще сгодятся — старенький, мягкий ситец не раздражал нежное маленькое тельце.

Родители нам выделили в своем огороде, с краю, три гряды под мелочь. В какой огород ни глянешь — везде люди копаются: гряды готовят под мелочь да под рассаду, с картошкой уж отсадились многие. Под картошку нам дали землю старшая сестра Клава с мужем Иваном Абрамовичем. У них три сына, один-то еще, кажется, и из армии не пришел, а Ленька с Вовкой какие-никакие, но помощники. Иван Абрамович руководит и без дела никому сидеть не даст. Они для себя и картошку посадили, и овощи, и нам выделили земли ведер на пять, их семена, и они в этот раз, этой весной (или уже летом) за нас, за меня — поскольку Вити нет дома — сделали.

На грядках в мамином огороде я посадила морковь, лук, чеснок, горох и репу. На дальней гряде, за баней, папа как сажал табак, так и в тот год посадил. «Курево не больно корыстное, говорил он, — но курить можно, без курева изведешься весь — привык уж...»

Я осмотрела свою работу, себя: руки грязные, в земле — не беда, а ноги отекли так, что отекавшие икры, как подошедшее в квашне тесто, перевалились за голенища. Мама на крыльце сидела на лавочке — чистила картошку, не целую, а половинки, оказавшиеся без ростков, — на завтра. Я маленько с ней посидела, показала, что вон с посадкой тоже все закончила, а уж устаю, прямо не знаю как.

— Дак, конечно... Может, пойдешь да дома полы вымыть еще надумаешь.

И меня как осенило: конечно, надо вымыть, чтоб все осталось чисто и прибранно, когда из больницы с ребеночком приду, никаких хлопот. С ним, с ребенком-то и так забот хватит: пеленки, постирушки, накормить, спать уложить. Я через силу стащила с ног сапоги. Приготовила возле кровати что надену, что с собой, взяла ведро, тряпку и проворно поначалу взялась за дело. Кухню домывала с трудом, через силу можно сказать. Домыла, коврик под ноги постелила, ноги вы-

мыла тщательно, ногти остригла, да и сама до пояса как бы окатилась. Оглядела жилье свое усталым, но удовлетворенным взглядом, надела чулки, чтоб не суетиться потом, рубашку, лифчик, все чистое надела, оставила приготовленный халат, туфли и пальто. Полежала минут десять — не ложится. Встану, похожу, опять прилягу, но на минуту-другую — снова поднимаюсь. А потом уж и ложиться не стала, а когда схватки начались, надела пальто, туфли, закрыла избушку на ключик и к маме. Стучу в дверь, а она, бедная, наверное, и улечься-то не успела. Распахнула дверь, охнула, схватила шаль шерстяную большую под мышку — на случай, как потом объяснила, мол, вдруг дорогой роды начнутся... Меня маленько отпустит — я бегом, она отстанет, как меня прихватит, я присяду, она той порой меня догонит... Дворник в больничной ограде метлой работал, поглядел на нас, покачал головой и снова за дело. В приемном покое велели раздеваться, чтоб на топчан ложилась, всю обмеряют, потом в ванну и тогда в родильную палату... Я пальто сняла, один туфель расстегнула, рубашку через голову стянула и тут меня так схватило, что я другой туфель и снять не успела, в нем и залезла... Пока залезала на высокий стол в родильной палате, воды отошли, роды начались.

И я закричать от боли не успела. Обступили меня, переговариваются акушерки, на живот давят... И вот он! Крик! Прорвался, через момент какой-то повторился. Я приподняла голову и тут уж крикнула так крикнула: акушерка держала за ножки вниз головой мою дочку, в полоску! Синеватую-розовую, белую и как кровоподтек...

— Успокойтесь, мамаша! Успокойтесь же! Девочка живая, хорошенькая, полосатенькая... это пуповинка ее так перепоясала, бывает... Все будет хорошо, вот увидите...

Я обессиленно опустила голову и почувствовала, как освободилась от последа.

— Слава Богу! Слава Богу! Доченька!.. Ручки, ножки, глазки, носик, ротик, ушки...

— Все-все при ней! Молодчина, ваша дочка! И вы, мамаша, молодчина! Сейчас ее обработают, вас тоже... и будете отдыхать, приходить в себя от боли и радости. Все будет хорошо. Лежите.

К вечеру я сама, самостоятельно, возле стенки, придерживаясь на всякий случай, дошла до палаты, санитарочка показала мне на кровать, к спинке привязала на шнурочке детскую оранжевую клеенку-бирочку, на которой написаны фамилия, вес, рост, число. Я лежала, волновалась в ожидании, когда принесут кормить ребенка. Порастирала груди и, на-

давив на соски, увидела выкатившиеся капельки голубоватого молочка, и покатились у меня слезы от радости, что молоко появилось, что девочка будет сыта, — слезы были облегчающие, крупные они опять скатывались, как когда-то, давным-давно, еще... в уши, на шею, слышно было, как капали на подушку...

— Господи! Дай жизни моей маленькой и такой еще пока беспомощной и незащитной дочке! — и уснула.

Утром ходячие, — как со смехом одна из рожениц выразилась, мол, мы уж отстрелялись, теперь можно и по новой — подносили таз и чайник, умывали ослабевших рожениц, утешали, обнадеживали.

И та женщина-роженница, конечно же, и не предполагала, что вот так будет глушить в себе предродовую боль. Зато потом, когда все уже будет позади, к просветлевшим, облегченным, усмирненным появлением младенца женщинам вернется радость и надежда, желание жить во что бы то ни стало, и пусть живется по-прежнему трудно, в нужде и заботах. Пока же они переживают самую нежную радость к появившемуся на свет дитю и уж чего только не сделают для того, чтоб жизнь продолжалась. Некоторые уж шутили, подсмеивались одна над другой, мол, в цирке такие фортели не выделывают, как ты! Мечтали, с нетерпением ждали выписки, мол, все в порядке, ребенок здоров и сама она тоже — можно бы и домой, даже не думают о том, что тут ни пеленки стирать, ни пищу варить не надо, и с ребенком пока спокойно: принесут — покормишь — унесут, и ты отдыхай, отсыпайся пока, а дома-то — ого-г-го! — сколько дел и забот сразу навалится! Не успеешь опомниться — и сразу впрягаться придется, да скоро и не в одну смену. Чего ж за примерами далеко ходить?

Встала утром, убрала кровать, на базар сходила, щи сварила, собрала дочурку погулять, напоила всех и накормила. Разогнула спину от полов, поглядела на часы тревожно. «Слава те... — подумала без слов, — вот теперь и на работу можно». И все-таки молодые, да и не очень молодые мамы, родившие, давшие жизнь малым и милым существам, представляли ожидавшие их хлопоты и заботы, дела вечные и бесконечные, уходили из больницы, поблагодарив врачей, просветленные, похорошевшие, облегченно-радостные они открыто смотрели в глаза людям и детям своим, которые ждут дома.

Зато из больницы, где производят прерывание беременности, по-простому, делают аборт, — больницу ту назвать больницей не очень и подходяще: уходили из нее совсем не так. Даже девки, нагулявшие на стороне дитя и вот освободившиеся

от него, спешно и сердито одевались, не глядя никому в глаза, обувались, и у них то шнурок у ботинка рвался, то пуговица отрывалась, то одна другую нечаянно толкнула, может, и не толкнула даже, а задела невзначай в тесноте — вспыхивала короткая перебранка, у порога толпились те, которые еще не получили справки на освобождение от работы на три дня — их, те справки, не оплачивали, они нужны были лишь, чтоб им прогул не поставили на работе, получали — и были не были!..

До обхода врача уже дважды приносили детей на кормление. Я не могла насмотреться на свою доченьку, чуть-чуть прикасаясь пальцем, разглаживала ниточки-бровки, слегка щекотала пухлые, местами беленькой крупницей присыпанные щечки, и девочка моя делала попытку улыбнуться, открывала глазки и начинала причмокивать губками — я тут же давала грудь, чтоб лучше поела, тогда и спать будет спокойнее. Когда детей уносили, а женщины по палате начинали разговаривать кто о чем, спрашивали, кто да что, кто отец, есть ли еще дети? — я укрывалась простыней с головой и, если уж было совсем грустно и обидно и никак не могла сдержаться, то плакала, а вообще, делала вид, что сплю.

На другой день к вечеру приходила мама, принесла бутылку молока, чтоб сама пила-ела, спросила про здоровье, про ребенка, когда обещают выписать? Я на все отозвалась спокойно, как только могла, а потом сказала, чтоб Зоря или Тася наносили бы воды да протопили бы печь, что я здесь не задержусь — все нормально, так и отпустят. На третий день мама же принесла в узелке все приготовленное для ребенка, у меня одежда здесь. Если Полина Малькова зайдет, так нашла бы время — пришла бы... я была бы ей рада.

Когда во время обхода я стала настаивать на выписке, врач подумала, попыталась отговорить, но больничный принесла, положила на тумбочку. А вечером пришла Полина, и мы с нею неторопливо собрались, всем пожелали добра-здоровья, попрощались с врачом и отправились домой.

Был 1948 год теплый майский вечер, девятнадцатое число, пятница. Мы идем домой. Встречных мало, значит, и излишних разговоров-расспросов не случилось — я этого побаивалась. Даже не побаивалась, а попросту не хотела.

Дома тихо, тепло, чисто. Полина разогрела самовар, стала накрывать на стол, даже бутылку кагора принесла с собой. Я тщательно вымыла руки и развернула малюсенькую девочку — два килограмма семьсот граммов! Она почувствовала свободу от туго спеленавших ее пеленок, стала смешно потягиваться, шарaborить ручками, похожими на лапки, захекала, потому

что лежала на сырой пеленке. Я приготовила все сухое, осмотрела тельце — чистенькое, подопрелостей почти нет, слава Богу. Дотронулась губами до ее пушистеньких темных волосиков над лбом и расплакалась.

Полина послушала, подождала, потом подошла к кровати и сказала:

— Марийка! А ты чего плачешь-то?! Смотри, какая у тебя лялька! Прелесть! Завертывай ее давай, пока она не замерзла, покорми, и она уснет, а мы с тобой «за жизнь» разговаривать станем, если хочешь, а лучше попьем винца — за здоровье младенца, за твое, ну и за мое, — хохотнула коротко. — Чего бы ты без меня-то делала?!

Хорошо так мы с нею посидели — она все знала-понимала. Попросила ее купить пустышек, можно и на бутылочки — я покупала да куда-то так положила, что и вспомнить не могу. И еще, чтоб дала Виктору телеграмму: «Родилась дочь, как назвать, на какую фамилию записать. Мария». Адрес на обороте. Поблагодарила за все, за помощь, поддержку, и она ушла — ей завтра на работу.

Утром заходила ненадолго мама с Толиком на руках, говорит, хотела до рынка дойти да с ним несподручно. Оставила я Толика у себя и только все поглядывала, чтобы он не залез к маленькой девочке — ее пока нельзя трогать ручками, можно только смотреть и то недолго. Он хорошо поел манной каши, напились чаю, и каждый за свое. Ему дала катушки и ложки — играть. Воды накипятила — Полина обещала вечером зайти, чтоб перед сном девочку выкупать...

Пока я еще толком как-то не определилась: с чего начать нашу теперешнюю жизнь. Днем мы с ней погуляли по улице, она легонькая, маленькая, от ветра захлебывается. Потом пеленки постирала, в ограде натянула веревку от ворот до угла, развешала, они хорошо, быстро высохли. Приготовила ванну — промыла с мылом, прокалила на солнце, прислонив на изгородь. Принесла — достала с вышки — зыбку, тоже с мылом всю вымыла, папа очеп в дровянике отыскал, приспособил, чтоб зыбка пришлась над кроватью, в ногах. Из марли сделала небольшой над зыбкой полог, чтоб мухи не беспокоили, постельку изладила и на вторую ночь уложила дочку спать отдельно — в зыбку — и самой спокойней, и ей.

Папа посидел, почти весь вечер. Говорит, чего-то не очень может, с тем, с варнаком-то хотел в ограде чего поделать, а он везде лезет, то и гляди, топор возьмет или пилу. Поскладывали дрова, старый да малый, смех и грех... Спросил, есть ли вода? Как с дровами? Мать сказала, что как запишешь

ребенка в ЗАГСе, так и на молочную кухню талон дадут. Долголько помолчал и только тогда спросил, мол, Витя-то чего пишет — нет? Сказала, что пишет, нечасто, что о дочке пока не знает, завтра напишу. Папа еще помолчал и опять спросил, опустив отчего-то глаза, — как, мол, думаешь, приедет, нет? Дело молодое... Может, уж и женился, может, с работы не отпускают. Не переживай шибко-то, Марья. Как уж будет... Чем можем, поможем, не привыкать, в беде не оставим. Не переживай больно-то. С этими словами и ушел.

Тут и забежала Полинка, наладила все для купанья, поразговаривала ласково, склонившись над малой.

Витя ответил быстро, тоже телеграммой: «Пусть будет Ирина Астафьева. Приеду, оформим как положено. Виктор».

С Витиной телеграммой мы с доченькой Иринушкой сходили в ЗАГС, зарегистрировали ее. Наведались домой, чтоб покормить ее да перепеленать, — и в детскую поликлинику. Там осмотрели и сказали, что ребенок здоровенький, хороший. Завели на нее историю болезни, написали, когда показаться и выдали талончик для детской кухни. Можно, мол, не сразу, но лучше не откладывать, чтоб вы были в списке. А детская молочная кухня близко, на улице Ленина, и мы с мамой посоветовались, что пока моего молочка Иринке хватает, это питание пусть употребляет Толик, пусть растет. Иногда за питанием ходила я, иногда мама, иногда Таисья, надев на племянника чистенькую рубашечку, трусики, сандалики, иногда то на руки возьмет, то медленно, шажками идут за питанием для сестренки.

Иринку окрестила Шура Семенова, веселая, самоуверенная молодая женщина, у которой уже был свой сынок. А у меня подходил срок выходить на работу — в ту пору не давали длинные отпуска роженицам. Что делать? Работать так работать. Принес папа от соседей, а может, и сам когда-то сделал, да забыл за давностью лет, «дупло» — такое хорошее сооружение для малых. Внутри сиденье — маленькая скамеечка: малый может на ножках постоять, посидеть. «Дупло» со всех сторон пеленкой теплой или одеялом стареньким обложено, на сиденье кладут еще пеленку или платок старенький, сложенный в несколько раз. Очень это «дупло» удобное. Все за столом, и малый как бы в компании, то до ложки дотянется и либо в рот тянет, либо уронит, то хлеб мумляет, все с ним разговаривают, он воркует на своем языке.

В таком «дупле» Иринка моя много времени проводила, иногда и жалко ее было очень, на руках бы побольше поддерживать, погулять. Но это уж не в обеденный перерыв, после

работы — вечер наш. И погуляем с нею, Толика за руку рядом ведем. Покормлю — и в зыбку спать-отдыхать, а сама ногу засуну в привязанную к люльке петлю из старого и покачиваю, и баюкаю, а сама то картошку чищу, то пеленки стираю — прервусь ненадолго, чтоб воду сменить или развесить, или печку-экономку растопить, снова покачаю, пока не уснет, тогда закину половик легонький — и за другие дела. Иногда успею у родителей уборку сделаю, хотя бы в кухне, то воды наношу себе и им, два-три раза схожу, для бани...

Как-то весь день места себе найти не могла, все чего-то ждала, не загадывала, что хорошее чего-то меня ожидает. Иринка, слава Богу пока здоровенькая, и молочка ей хватает. Мама поделает чего по дому, потом полежит сколько-то и снова за дело. Азарий с папой вставили, уже на мох определили два сутунка в стайке, под окном вовсе оно вываливаться стало, а ведь не все тепло будет, гляди, дак и осень подкатит. Толик тут же суетится, то строит чего из щепочек, то опилки на голову себе сыплет, пока в глаза не попадет. Я взяла Иринку, пристроилась на невысокий чурбачок, слушаю разговор с братом, наблюдаю, а сама места себе не нахожу — мучаюсь в мыслях: «Ну что еще, какая напасть идет на нас, на меня ли? Может, с Витей что? Не всякое же время там гуляет да веселится, написал же, что домой бы собираться надо, да работа задерживает. Я не знаю что там у него за работа, но если с ходу его уволить не могут, значит, не могут. Мама опять ночами спать, говорит, стала вообще плохо. И Таисия все по командировкам, по лесоучасткам, все верхом на лошади... Не для девушки такая работа, а ей отчего-то даже весело — не накуралесила бы чего... Да и Сергей с Тоней вообще редко заходят — наверное, некогда или еще что, — они живут далеко, и я почти ничего про их жизнь не знаю...»

— Скоро косить начинать надо, — заговорил папа. — Ходили мы с Зорькой, поглядели, трава хорошая поднялась, почти уж выстоялась. Как подумаю про сенокос, так сердце и сожмется. Вообще-то, эта работа радостная, на вольном воздухе весь день, литовки налажены, отбиты, грабли, вилы — все в исправности. Не знаю, как только без помощников-то обойдемся? Ты, может, отпуск оформишь? — обратился он к Азарю. — Хорошо бы тогда получилось, легче бы и быстрее управились.

Азарий прищурил в хитровой улыбке глаза, посмотрел на отца и как бы всерьез сказал, мол, главное, чтоб Софья отпуск взяла. Она, ты знаешь, какая работница! Какая

покосница?! Не знаешь! А она нас с тобой за пояс заткнет, обоих! Не смотри, что невелика да кривенька!..

Папа покосился на него и с укоризной сказал:

— И чего ты мелешь пустое? Я ведь о деле толкую, а тебе все шуточки...

— Ладно, папа, не сердись. Уж и пошутить нельзя. Скоро у нас дома только вздыхать да слезы проливать и можно будет... Скажешь, когда понадобится рабочая сила, позову своих орлов — Пашку Пичугина да Герку Конюхова. Узнаю, когда у него поездки, когда выходные — и все будет путем...

— Путем, путем, — еще маленько поворчал себе под нос папа, с Иринкой как бы поговорил маленько, улыбаясь да головой кивая.

— Расти давай. На свете всем места хватит, и вообще... детская кожа не висит на огороде... Ну, Марей, идите отдыхайте. Завтре выходной, будет время, дак в огороде пополоть матери маленько пособить — у меня чего-то пальцы вовсе не проворят. Такое чего делаю, тоненькие травинки никак ухватить не могу. Попытался как-то — дело бесполезное... А я маленько еще тут чего поделаю со своим помощником — он, варнак помогать-то еще толку нет, но то и гляди, то молоток куда заташшит, то гвозди рассыплет. Ничего-о, пускай привыкает.

Дома я угольки к шестку подмела, половички поправила, накинула халат и стала продолжать вязать крючком скатерть из ириса. Цвет красивый, рисунок выбрала попроще и, когда укачиваю Иринку, засунув ногу в петлю, вяжу или читаю — больше стихи. Полинка приносит сборники, иной раз по несколько штук. В стихах — я уж давно для себя заключила — иной раз даже в коротком стихотворении, а так много смысла! Будто целую книгу прочитала. Да и с детства, когда в школе училась, часто задавали учить стихотворения наизусть, и чтоб просто сесть за стол, открыть книгу и зубрить — редко так бывало, я и не помню такого. Все с задельем: настала моя очередь пол мыть — я книжку открытую на нужном месте положи на табуретку и даю себе норму: вымою четыре половницы и выучу четыре строчки.

Нет, не сидится, как говорится. Поставила в кухне на стол старенькую мамину швейную машинку и принялась шить из подаренного крестной полотна пододеяльник, почти закрытый, только снизу конец пододеяльника прошила с концов: зашила по одной трети и одна треть оставалась, чтоб вдевать туда самодельное, временное одеяло; на марлю расстелила не толстым слоем вату, покрыла второй половиной марли и, сшив

через край кромки, прошла, как наметкой вдоль и поперек, и, образуя клетки в полтетрадный лист. Теперь у Иринки — мама моя звала вучку не Иринкой, а Ринкой: ласково и кратко — два одеяла. Время уже было позднее, я перепеленала девочку в сухое, покормила и, уложив ее в зыбку, улеглась и сама...

Утром вроде бы ничего особого не предвещало, однако около часу дня забежала Тася и с подвидностью странной сообщила мне, что зашел к ним человек, одетый в полувоенное-полугражданское: в гимнастерке, в военных брюках, в ботинках, вместо шинели или бушлата, кожаный пиджак. Меня спрашивает, ждет уж минут двадцать. Я замерла, пытаюсь предположить, кто может быть, а потом сказала ей с удовольствием, чтоб проводила сюда, к нам, ко мне. Она пожала плечами и упорхнула. А я как осталась стоять, так и стояла и лишь, слышав шаги, постаралась принять обычное выражение лица. Хватило меня ненадолго.

В дверях показался мужчина, белозубо улыбаясь, снял фуражку и, чуть пригнувшись под притолокой, остановился у порога, хотел оглядеться, но, увидев, как я почти до крови прикусила губы, чтобы не вскрикнуть, схватил меня, обнял крепко и, склонив голову на мое не только не могучее, но и невысокое плечо, все крепче обнимал меня, чуть покачиваясь из стороны в сторону.

— Да откуда же ты такой взялся? — заливаясь слезами, смотрела я в глаза Владимира Васильевича, госпитального хирурга. — Откуда же ты свалился на мою голову, Господи? — Чуть отстранившись, я разглядывала его лицо, такое до боли знакомое, ничуть не забытое, будто и он, и госпиталь, и все-все было совсем недавно, совсем-совсем недавно. — Володенька! Милый! Хороший мой! Дорогой мой! Как же я тебе рада!.. А я вовсе не готова к встрече с тобой. Нам же не надо больше встречаться... Всего столько произошло... столько всего изменилось... И как же я все-таки тебе рада! Ты живой! Здоровый! Молодой! И вроде еще моложе и красивей стал... Ох ты, Володя, Володя! Ты — моя молодость! Ты — гордость моя! Я сожалела, что отказалась переводиться в твою часть. Я тебе очень благодарна, но никак не могла решиться. Не знаю, почему?

Я не заметила, как мы уже оказались за столом, и Володя своими серыми, пронизательными и когда-то очень веселыми глазами пристально разглядывал меня. Это меня отрезвило, и я попросила его так на меня не смотреть. Я плохо выгляжу, кое-как, по-домашнему отста...

Мы перебивали друг друга, словно боялись, что не успеем наговориться. Я рассказала, что письмо его получила и потом

долго не решалась расстаться с ним, и беречь его было не безопасно. Прятала-перепрятывала: то в подушку зашивала, то в детское одеялко, то в карман фартука — зашпиливала булавкой. И много-много раз перечитала, пока... И рассказала грустную, даже жестокую по отношению к нему и его письму, историю, с ним приключившуюся. А потом, когда дочку, первенькую, схоронили и душа моя опустошилась, и мне показалось, что более она, душа моя, уже не способна ничего столь волнительно переживать и чувствовать, лишившись письма, так долго хранимого, — как надежды... тогда и решила:

Кто-то плачет, где-то полночь.
Дым озябший над трубой.
Я тебя уже не помню.
Это правда.
Бог с тобой...

Зашла мама. Поздоровалась. Я сказала ей, что это хирург из того госпиталя, где я работала в начале войны. Владимир Васильевич. Да ты, может, его не раз и видела, да забыла... Он тоже был на фронте. Многим раненым жизнь спас, оперировал иногда чуть не в чистом поле да под обстрелом. Сам много раз ранен, много раз награжден. Вот заехал повидаться, встретиться..

Мама какое-то время слушала меня как бы с недоверием, потом подошла к нему, поцеловала в плечо — выше-то не доставала и еще, сдерживая рыдания, сказала, мол, будь вы там, где мои сынки погибли, может, и спас бы хоть которого-нибудь... «Ну, прости меня, старую да неразумную... Мария, Иринка-то спит? — Я утвердительно кивнула. — Ну я пойду, не стану мешать вам, посидите, поговорите... такой случай...»

Володя посмотрел вослед моей маме, прикрыл было дверь поплотней и тут же передумал, приоткрыл ее — так тепло и хорошо на улице. Заглянул в зыбку, осторожно, двумя пальцами приоткрыв легкий полог, сел напротив и сильно надавил мне на колени, чтоб не только не ушла, а даже и не ворохнулась бы, и уставился в меня каким-то — будто он уже все и навсегда решил — взглядом:

— Машенька! Родная моя! Я здесь проездом, мог бы прямиком, да вот не мог... Я кажется все понял, если не все, то почти все... — Заметив как бы мое несогласие, протест ли, заторопился: — Не перебивай меня, Маша! Сейчас меня не надо перебивать. Я был бы рад... счастлив и благодарен тебе, если б ты на этот раз решила принять мое предложение, приглашение... Как хочешь, так и понимай. Поедем со мной,

Маша! Поедем! Вот прямо сейчас! Как есть! Все оставим и поедем... — Я быстро поднялась со стула и попятилась к зыбке. — Вместе поедем! Ты, я и она! И навсегда! Чтоб вместе... Меня пока вот откомандировали в Миасс, сказали, временно, а потом уж обоснуемся, обживемся основательно. И детей еще нарожаем!..

— С меня пока двоих хватит. Одну уж схоронили...

— А муж?.. Из наших, бывших госпитальных, или нет? — Я отрицательно покачала головой. — Из дальних, значит. А сейчас-то он где? В командировке или завербовался куда — сейчас это модно... или вообще в бегах.

— Володя, не надо так. Он — бывший беспризорник... при живых родителях. В детдоме жил, затем учился в ФЗУ, затем работал на станции, составителем поездов. Затем ушел на фронт, мол, все равно плакать обо мне будет некому, если и убьют. Ранен не раз, но, слава Богу, живой остался. Он очень хороший человек, и очень ему трудно, очень. Поехал бабушку неродную провожать да вот надолго задержался. Без него и родила. А он мечется... Кто бы объяснил, за что ему такая доля?..

— Ты-то, что ли?

— Кабы я... Молодость — в прошлом, здоровье — в прошлом... Единственную профессию — составитель поездов — потерял из-за ранения. Пошел по разным работам. А он начитан, хорош собою, умен, правда, взрывной — так тут, от такой жизни станешь не только взрывным, а и похлеще кем... Скоро обещает приехать...

— И ты ему веришь?

— Конечно!.. Вот и тебе надо вроде бы доказывать, что он очень порядочный человек, хороший и я его очень люблю! Он не сопьется, он обязательно выбьется в люди, обязательно! Ему бы только маленько счастья да душевной светлости... а тут еще и семья наша... Боже мой! Чего только не было: на двоих братьев похоронки пришли, трое раненые-перераненные явились. Сестра тоже добровольно на фронт ушла, там замуж вышла и вот... умерла, оставив месячного сыночка... Он сказал как-то, что устал моих родственников на кладбище таскать да закапывать, а мне бы от смертей отвыкать надо, иначе ни сердце, ни голова не выдержат...

— Он когда приезжает?

— Не знаю...

— Тогда собирайся и поедем со мной. У нас еще есть два часа до отхода поезда... Думай, решай... поедем! Ну, прошу же я тебя — поедем!..

Я сходила к нашим, отнесла спящую Иринку и попросила маму поводить с ней — я только Владимира Васильевича провожу. Я недолго. Ключ на гвоздике.

Мы с Володией шли по линии, по сухим и теплым от солнца шпалам. Володя что-то говорил, говорил мне, торопился, а я его уже слышала и не слышала. Показалось, до вокзала дошли довольно быстро. На вокзале встретила некоторых знакомых Виктора, с ним тут же работавших, на мгновение представила, чего они наговорят ему, когда увидят, когда встретятся. Да пусть, — мысленно отмахнулась я. А Володя шел с заком-постированным билетом на ближний поезд. Сжав меня за плечи, долго, до рези в глазах, смотрел на меня. Когда подошел поезд и мы остановились у нужного ему вагона, он крепко поцеловал меня, покусав губы, проморгался, ухватившись за поручень вагона, и пока я успевала рядом идти с вагоном, все повторял:

— Сообщи, если что? Я адрес сразу же сообщу. Только не молчи. Отзовись, как будет, все равно напиши, не напишешь — сам приеду... И тогда уж будет по-моему!..

— Да уезжай же ты, — взмолилась я.

И он отступил в глубь тамбура вагона, а я подождала, когда состав пройдет, перебежала через пути и заторопилась домой.

Иду опять по шпалам — это лучший способ никого не повстречать. Все же ходят по тропе или по дороге, думаю об Иринке, наверное, проголодалась, плачет, а мама недовольно ворчит. И тут же мысли, чего ему, Вите, эти вокзальные бабы наговорят про меня... и как он... И не к месту, вовсе не к месту и не ко времени, припомнилась песня, которую пел в вагоне сосед по полке, только я с этой стороны, а он как бы за перегородкой, в купе рядом: «... Молодой казак вел коня поить... А ревнивый муж вел жену топить...»

Иринка уже сидела в «дупле», пускала пузыри, увидев меня, захныкала.

Мама вышла из спальни и с укоризной, тихо сказала:

— Чего уж так долго-то? Ребенок есть хочет, я из окна в окно...

А я уже вытаскивала мое милое существо из седухи, как иногда называли то «дупло», нащупала мокрую пеленку, взяла ключ, и мы с нею — две сиротинушки — отправились восвояси. Там нас никто не видит, никто не заругает, никто не пожалеет.

Вымыла руки, распеленала Иринку, подложив сухонькую пеленку, погладила ее, ручки-ножки повытягивала, погукала, дала пустышку и, пока переодевалась, оглядывала ку-

хонный стол и плиту, соображая, чем червячка заморить. Да ладно. В чистенькое запеленала дочку, взяла на руки и стала кормить. Ела она жадно сглатывая молочко, стискивала грудь ручонками, и я расплакалась:

— Жадалась ты меня, будь побольше, подумала бы, что спокинула на стариков — им уж заодно... — Слезы начали душить меня, и я едва их уняла — нехорошо ребенка кормить и слезами заливаться, надо успокоиться. — Сейчас пей молочко, быстрее вырастешь, будешь здоровенькая да красивенькая, умненькая да добренькая...

Насытившись, дочка выпустила сосок, глубоко вздохнула и отвернулась. Я осторожно уложила ее в люльку, посмотрела на ее маленькое, чуть кремовое, спокойное личико, погладила, опустила марлевый платок и отошла, села к столу и так разревелась, такую волю дала своим переживаниям, что голову заломило. О встрече с Володей думала, что письмо его давнее нашло меня с таким опозданием. И приезд его... когда уж изменить ничего невозможно, да и надо ли чего менять? И кто знает наперед, где лучше и как именно поступить надо? Приехал, напомнил о своей любви, о чувствах, наобещал, что все будет хорошо. А откуда это хорошо возьмется? Ведь едет пока на новое место — временно, по распоряжению командования, а там... Как теперь говорят, посыпал соль на рану — и едет себе дальше. А я... я зачем-то вот плачу, горюю?.. Может, к лучшему — облегчу душу, и будем мы с доченькой жить-поживать да родителя поджидать.

Снова умылась, причесалась, тем временем чайник закипел. Чаю пить стараюсь много, да с молочком, чтоб побольше молочка у меня копилось. Вон она — поела и посапывает — сытенькая, сухонькая и до сердечной тоски родная и милая. Только принялась чай пить, кто-то негромко постучал, открыла — папа пришел.

— Оторвал от дела или, может, отдыхала? — подсел к столу. — А ты вон чай пьешь! Вот и хорошо! Девушка-то спит, поди? — Я кивнула на зыбку. Помолчал маленько, я достала кружку, сахарок пододвинула.

— От чаю дак и не откажусь, и если не помешаю, то и посижу недолго у тебя, поговорим, подумаем.

Папа чай любил прямо каленый, самовар булькает, до крана дотронуться невозможно, а папе — в самый раз!

Папа кружку выпил, еще нацедил, переждал маленько и спросил:

— Больно горюешь, или как? Я про врача-то спрашиваю. Зачем-то приезжал же? На войне-то не виделся — не довелось?

Я ему спокойно уже, даже вроде буднично рассказала, как в госпитале работали вместе, пожалуй, дружили даже, как на войну мне написал, чтоб перевелась к нему в часть. Теперь вот приехал... Откуда ему было знать, что я уж замужняя, что первенькую девочку уж похоронили, вот вторая появилась, даст Бог, вырастет...

— А Витя приедет, вот помяни мое слово. Переживет обиду, которая здесь на него свалилась, и приедет... Да и не только ведь на него: как пойдет, дак... Тебе уж скоро на работу или как? Декретный-то отпуск, однако, кончится вот-вот?

— С понедельника, через три дня. А я пока никак не пристрою свое горе, все думаю, соображаю, как быть, как жить? Дров бы надо купить, пока сухие да не больно дорогие. Вон Володя оставил под чашкой пятьсот рублей. Я не просила. И не видела, когда он их туда положил, и ничего не сказал...

— Хорошо и сделал. Вот тебе на дрова-то и хватит. Говоришь, Иринку в ясли отдавать придется? Жалко, девушку. Не знаю, какой уж там уход, догляд, питание. Меня, по правде сказать, больше беспокоит, чтоб болезнь какая там не пристала... Часто такое случается, как послушаю. И матери с двумя-то не совладать — она, бедная, и так уж через силу живет. Дал бы Бог, чтоб еще пожила, подольше... Как мы без нее станем? Пропадем. Азарий женится и отойдет. Вон Сергей-то и в городе, и не больно в нужде, а зайти попроведать никак, видать, время не выберет. Ну да ладно, как живут, пусть и живут... И Тоне не больно позавидуешь: попить он и до войны любил, а теперь, после такого ранения и вовсе бы об этом думать не надо, только едва ли это его остановит. А пить станет — грех в семье, недовольство начнется... Я маленько покурю в дымоход, а лучше, дак на улице зобну раз-другой — и мы с тобой еще поговорим, побеседуем... С тобой разговаривать мне глянется — все понимаешь, никого не ругаешь, не жалуешься... А так-то я все больше молчу, однако, об чем только иной раз и не передумаю... и вспомню чего, и думаю, как бы вот тебе пособить, а чем? Возможности наши ты сама знаешь... А Толька-то, варнак, бойкущий растет и смышленный... Отец-то его вам не пишет? Да он и никому не напишет — оставил свое горе на нас и живет где-то... Ну, его-то, Петра-то, я, признаться, ни понять, ни полюбить не успел, был — и не был... Одна и память: Калерия бедная в земле сырой уж третий год, и парнишке какая жизнь выпадет?.. Еще маленько покурю схожу...

А благодать-то какая на улице! Так и не уходил бы... Если погода устроится, дак скоро и сенокосить бы начинать надо... Говорил как-то с Азарием, помочь управиться с сенокосом, а

он... Софья, говорит, хоть и косенькая, зато наилучшая помощница на сенокосе!.. Болтун! То сказал, мол, назови срок-время — приведу двух дружков и ты только промежки успевай считать... Иной раз гляжу на него: вроде парень умный, сообразительный, башковитый, иной раз понаблюдаю, дак невеселые думы появляются. Всех сподручней да исполнительней у нас Валька был, царство ему небесное. С малых лет к делу относился серьезно, с понятием. Вася дак мал был, на подхвате — сено ворошить да вытаскивать из кустов. Таська — девчонка, че с ее возьмешь? Да она и теперь не переделает. Азарий-то, пожалуй, пособит, глаза бы того не разболелись... А вы уж с матерью тут домовничать станете, управляться на два дома, и корову обходите, подоите... Подлей-ко еще горяченького — так хорошо нутро греет...

— Папа, у меня ведь и вина немного есть, может, выпить хочешь?

— Седни, пожалуй, не стану. Спать пойду. И ты спи, спите обе. Утро вечера мудренее. Так хорошо побеседовали. Да, Марья, ногти бы мне еще постригла — отросли, цепляться стали, неловко с имя.

Я осторожно, но и с тщательностью постригла отросшие, ломкие ногти у папы на руках и на ногах. Потом и бороду подровняла.

— Вот спасибо тебе, вот хорошо как обиходила меня. Дай Бог здоровья. Ну, оставайтесь с Богом! Сенки я сам запру, а изнутри закрою на крючок... мало ли.

В оставшиеся до работы дни я в лесничестве все-таки выписала дров, а конновозчик из «Швейника» привез. Хватило рассчитаться за все. Кое-что подготовила из одежды — для себя, чтоб на работу ходить. Груды располнели — подобрала что с застежкой спереди, где швы выпустила с боков, тогда запас делали приличный: по два сантиметра на ту и на другую сторону шва. Обувь — туфли и парусиновые босоножки — почистила. Только как быть с Иринкой — на кого ее оставлять — ничего придумать не могла. Поговорили с мамой, и она сказала, Таисья отпуск берет — вот пусть и водится с Толиком, а я с Ринкой-то как-нибудь управлюсь. Кормить прибегать станешь — недалеко, пеленок сухих да рубашонок оставишь. Мне ведь утром, пока с коровой, то да сс — некогда, а днем-то посвободней. Когда и в седухе посидит... ничего. За этим, правда, глаз да глаз нужен, но пока погода жаркая, дак он все больше в ограде, отец инструменты прибрал подальше, вертушку на двери в огород сделал выше, чтобы не дотянулся. Ничего...

Полина по-прежнему нет-нет да и забежит и однажды сказала, что через неделю поедет в командировку в Пермь, дней на пять. Тебе — спросила — ничего не привезти? И я попросила ее, если у нее будут деньги, то купила бы она мне плащ болоньевый — зонтика нет, да и с ребенком, если куда, то неловко, а плащ бы хорошо да если с капюшоном.

Как-то нагрела я много воды, чтоб и Иринку выкупать, и кое-что постирать, и самой обмыться — корыто большое, и я уж приспособилась... После работы сразу забрала у мамы Иринку, накормила, перепеленала и поспать положила — до ночи еще долго. Когда девочка уснула, я взяла ведро и тряпку, переоделась в старенький халатик и пошла к маме — вымыть в кухне пол. Не успела дойти до маминого крыльца, слышу, кто-то окликнул меня, повернулась — посреди ограды, почти у наших сенок стоит Полинка. Я ведро оставила и поспешила к ней:

— Здравствуй! — улыбаюсь ей. Она смотрит на меня как-то странно, будто меня и не слышит, только смотрит и смотрит. — Ну что, купила плащ? — спрашиваю и открываю дверь в сенки, чтоб проходила в избу. Она опять молчит и все смотрит, смотрит на меня, пронзительно так. — Ты чего так на меня уставилась? Будто век не видела. Я, правда, в таком виде... — оглядела себя, — к маме пол мыть собралась, уложила ребенка, и пока она спит, я управлюсь... По-ля! Ты что как остолбенела!

Она со значением кивнула на ворота ограды и тихо сказала:

— Маша! Марийка! Витя ведь приехал! Мы вместе... он там, за оградой... Марийка, ты же умница!

Я замерла на мгновение, приподнялась затем на цыпочки и из-за Полининого плеча увидела за оградой Витю! Но что это был за Витя?! Одни глаза. Лыжный костюм из фланели чертовой кожи табачного цвета, может, темно-зеленый — грязный, и сам Витя грязный, может, и на крыше даже ехал... Искудавший до костей. Я рванулась, припала к нему, лицом уткнулась в грудь и глажу, глажу его по рукам, по спине, а лица от его груди оторвать не могу, может, не решаюсь. Наконец переборола в себе большую радость, улыбнулась ему, как смогла, через силу да и чтоб не расплакаться.

— С приездом тебя, Витя! Я рада... я так рада... я так ждала... Ну, пойдем домой, — рассказываю, что к маме пол мыть идти собралась, ну да это потом. Иди, Витя! Да иди же...

Вошли в избу. Витя сел на одну табуретку, оглядел кухню, увидел ванну и чуть пожал плечами, затем стал снимать

сапоги, куртку. Я сижу на табуретке напротив, смотрю на него и опять — верю и не верю. Он умылся наскоро, утерся, заглянул под положок, кивком головы дал понять, мол, человек спит — похрапывает!.. Помедлил, постоял над корытом и тихо сказал: «Может, мне помыться... хоть в корыте, хоть лишнюю грязь смыть...»

Я засуетилась, принесла из сенок ведро с холодной водой, показала, что горячая на плите, подала мыло, мочалку, полотенце. Из чемодана достала его чистое нижнее белье, носки, рубашку черную, косоворотку, достала брюки, расческу поближе положила. В зыбку заглянула — спит ли? Потопталась еще, и показалось мне, что он переживает, когда уйду. Я и сказала, чтоб мылся пока, а я скажу маме, что сегодня уборка отменяется и вернусь.

У мамы задержалась недолго. Она не то, чтоб сильно обрадовалась моему сообщению, что Витя приехал, но сказала: «Слава Богу!», спросила, здоров ли и есть ли чем накормить — с дороги ведь человек. Я сказала без раздумья, что еда найдется, что он пока моется, а Иринка спит... Пойду схожу за водой — горячей-то много, а холодной принесу — и ушла. Поставив ведра в сенках, как бы невзначай уронила коромысло, обругала себя за неловкость — это чтоб Витя знал, что я иду, никто другой.

Вхожу, смотрю, а он уж одевается.

— Ну, помылся маленько?

— Соскреб, чего смог.

— Ну, не все сразу. Завтра или баню истопим, или в городскую — как лучше, так и сделаем. Мне-то на работу, а ты, поскольку пока вольный казак, останешься за няньку. Или как?

— А я ведь еще и есть хочу, — с обидной дерзостью сказал он.

— И это дело поправимо: есть вареная картошка, лук, масло, даже огурчики... даже водочка!..

— Ничего ты!

— Гостя ждали, вот и дождались. Правда, с папой вечером вчера чуть не выпили по маленькой, да он, как знал: сказал, Витя приедет, тогда и выпьем. Прямо как знал! А я то подолгу не спала — все прислушивалась, а то... если девочка спит, я тоже... за компанию...

Между разговорами я вынесла в сенки грязное Витино белье и одежду — все выстираю в субботу; грязную воду ведрами вынесла к папиной табачной гряде — туда все идет, вынесла и корыто, поставила «на попа» к огороду, обдала кипят-

ком из чайника и оставила просушить. Управившись с делами, вымыла руки, сняла фартук и стала собирать на стол. Посмотрела, а Витя уронил намытую голову на руки, сложенные на столе, задремал. Я погладила его по мягким волосам, поцеловала в макушку — он никак не отозвался, видать, крепко задремал: в дороге устал да помылся как уж вышло.

Витя проснулся от детского плача, вскинул голову, увидел, что кормлю дитя. Я с виноватой улыбкой пожала плечами, мол, еще придется немножко потерпеть. Вот доченька напится, успокоится, и тогда будем ужинать и мы, чем Бог послал. А Иринка опять ела жадно, захлебывалась молоком, тискала грудь пальчиками и тянула, тянула живительное, питательное молочко. Я тихонько поглаживала ее по спинке и все смотрела то на нее, то на Витю, растерянного и умиленного, казалось, он даже не моргал, смотрел и слушал, как она, его дочь, Ирина Астафьева, хочет жить, потому ест аппетитно, без перерывов и даже ножонками вроде шевелить перестала... Витя дождался, когда дочка откинула чуть набок головушку, подошел и, всматриваясь в родное и пока еще совсем незнакомое личико, осторожно взял из моих рук и уложил в зыбку. Еще посмотрел, взял за положок, опустил его и, поймавшись за оцеп, заплакал...

Я не останавливала, не говорила, что разбудить ребенка может, повернулась к столу, уперлась подбородком в руки и тоже заплакала.

Сколько это продолжалось — не знаю, почувствовала, как Витя обнял меня за плечи и затем сел напротив.

Мы оба молчали. Мы пока не знали, о чем говорить, ни о чем не спрашивали, не вспоминали, только время не стояло на месте.

Я стала расправлять постель, подушки положила рядышком так же, как когда-то, очень, кажется, давно, откинула угол одеяла, ладонями расправила простыню и, привычно легонько качнув люльку, вернулась в кухню, встретилась с Витей взглядом, сдерживая слезы, улыбнулась и кивнула на постель, что, если ужинать отдумал, то, мол, можно ложиться... отдыхать... спать... А я пока буду мыть посуду, убирать со стола, готовить сухие пеленки; расстелив одеялко на сухо протертом столе, сложила что куда, сходила за ванной, принесла еще ведро воды и стала ждать, когда дочка проснется, чтоб выкупать. Тем временем начистила картошки на завтра — завтра мне на работу, так чтоб успеть и ребенка накормить, и к обеду кое-что приготовить. И вдруг почувствовала глубокую усталость.

Витя сказал, мол, ложись, завтра я еду сварю, Иринку накормить успеешь и указания соответствующие дать тоже успеешь, ложись...

И я легла... как по строевому уставу: голову прямо, руки вдоль тела, ноги как легли, так и лежали. Мы за всю ночь не сказали друг другу слова, не сомкнули глаз, глядя в потолок. Иринка спит хорошо, нет-нет да дернется люлька, значит, пошевелилась — большего ей сделать невозможно: туго запеленала, разве что в пеленки дела свои большие, маленькие ли сделать. Тогда она уж молчать не станет, как хмыкнет, а потом заревет, с ходу, без разгона и так будет требовательно и громко реветь, что не залежишься — надо вставать... Долго ждать не пришлось. Пришлось вставать. На столе перевернула ее в сухонькое, смочив теплой водой угол незапачканной пеленки протерла дочку, уделавшуюся от пупка до пальцев. Затем, прикрыв легким одеялком, склонилась над нею и, не взяв на руки, так и покормила. Она наелась, раскинула руки и так, в вольной позе и уснула. Я ее подпеленала до пояса и тоже так, в вольной позе, и в люльку уложила. Забочила в тазу замаранные пеленки, поставила в сторону, чтоб утром не запнуться, и снова легла, опять как бы «навытяжку», замерла и стала ждать рассвета, ждать утра. А оно медлило отчего-то, не наступало, и я уж забеспокоилась, что усну в последний момент, когда вставать надо будет. А пока прямо как у поэта Полторацкого, переведенного с какого-то языка:

Парень с девушкой об заклад побились,
Что в одной постели на ночь лягут,
Но друг друга тронуть не посмеют.
Если только он ее коснется —
Пропадет конь пятисотрублевый,
А коли она его затронет —
Пропадет бесценное монисто.
Вот легли они в одной постели.
Парень спит спокойно, как ягненок,
А она, как рыбонька, трепещет
И, не выдержав, ему тихонько молвит:
Повернись ко мне, мой драгоценный,
Проиграла я свое монисто,
Так проигрывай коня смелее!..

Так и мы... Только мы не бились об заклад не дотронуться друг до друга, и проигрывать нам было уже нечего, даже наоборот...

Я пораньше поднялась, привела себя в порядок, наложила полешков в экономку, соль, масло, хлеб и заварку — все на столе оставила, а кастрюлю с припаянным дном в артели

«Металлист» поставила на экономку сверху, чтоб прямо над огнем. Витя лежал, отвернувшись к стене, спал не спал — не знаю, а Иринка заворочалась, запыхтела сердито, значит, мокрая, значит, есть захотела. Взяла ее осторожно из люльки и, чтоб не расплакалась, не разбудила бы папку, на колени клеенку раскинула, дочку взяла вместе с сухой пеленкой и стала кормить. Она-то потягивается — ручки-то на воле, то схватит грудь и ну тянуть-глотать молочко. В такие минуты я не раз думала, вот и сейчас тоже: какое это ни с чем не сравнимое чувство, когда ребенок сосет грудь! Этого не передать! Это надо пережить, переживать и чувствовать всякий раз. Это слияние двух кровно родных людей, таких нужных друг другу в тот момент, таких самых-самых.

— Ну вот и все! — шепотом заговорила я с дочкой. — Теперь потерпи, пока приду на обед и снова все будет хорошо. Не капризничай. Пеленки не мочи одну за другой — кто ж тебе перевернет, кто тебе поможет? Скоро папа встанет, позававится с тобой, потом бабушка придет — попроведать, потом, может, папа и «дупло» перенесет сюда, как обогреет устроит его на доску к забору, чтоб не шатнулось, и ты будешь сидеть в нем, поглядывать на травку, на небо, на птичек, а поездов, проходящих мимо, не бойся — они к тебе не подвернут, у них своя дорога... Ну, давай, поваляйся еще в своей зыбке, или поспи. Я ведь недолго, а ты не одна...

— Ты уходишь? — поднял голову Витя. — Так и не поспала?

— Ничего. Не первый раз. Отосплюсь еще. Я тут, что можно, приготовила, позавтракай, а с Иринкой — сам не справишься, к маме унеси. Ну, я пошла. Я скоро...

На работе был день не очень чтоб загружен: перебирала папки, подшивала, что новое, хотела пройтись по ближним цехам, да Нина Ефимовна сказала, лучше это сделать в конце месяца, чтоб и остатки снять, и ревизии к тому времени проведут... Спросила, как дочка растет? С кем ее оставила? Я сказала, что вчера приехал Витя, может, управится, а нет, так... С местами, я узнавала, в яслях плохо и попросила: нельзя ли получить, сколько мне там причитается? Она узнала, сказала, что после обеда — много не обещают, немного дадут. А вообще, тебе, наверное, надо бы недельки две взять еще или в счет будущего отпуска, по графику он тебе полагается на сентябрь — осталось всего ничего, мол, можно оформлять и сейчас, если не решила оставить его на более позднее, более нужное время? Ты сегодня, мол, подумай, решите вместе с Виктором, как лучше, а завтра или получишь какой-то остаток, не знаю, сколько там,

или напишешь заявление на очередной отпуск. «Да-а! — спохватилась она. — Я же все собиралась к тебе забежать, принести кое-что, да вот не собралась — мама в деревне очень заболела, и я часто вынуждена ездить туда. А это вот вам с Иринкой! Буду рада, если все окажется кстати! Ну, забирай все свои документы и в стол — никто не тронет, никуда ничего не денется. Может, — спросила, — заказать тебе платье из шерстянки, такая славная, голубая — недавно получили, и недорогая — наши все заказали, и халат из штапеля — тоже расцветка славная. Зайди в цех, снимут мерку — оформляй заказ. И еще чего-то я хотела?.. Материал выписывают неохотно — доход же только с готовой продукции, — усмехнулась, мол, подумай, завтра скажешь, что и как. На прощанье даже чмокнула в щеку и пригрозила в шутку, мол, все равно приду, хочешь не хочешь.

Вдруг меня позвали к телефону. Нина округлила свои чернушущие глаза, мол, кто и знать мог, что ты здесь?! Звонила Поинка, поздоровалась и предупредила, что будет говорить кратко, о главном, чтоб ты имени, ничего не говорила, а только «да» и «нет». Виктор переживает очень, о том как ты его встретишь. Мол, если бы на белом коне — то и разговор, и обстоятельства другие, но если Мария хоть словом, хоть намеком начнет меня попрекать, мол, такой-сякой, оставил-бросил, и вообще, — тут же повернется, и уж более она меня никогда не увидит!..

— Спасибо! Хорошо! Всего доброго! — успела я сказать, и Поинка тут же положила трубку. «Вон, оказывается, в чем дело?! Вон отчего все?! Да Господи!.. Да разве б я могла?..» Вдосталь наплакавшись в поповском — поп с попадьей когда-то жили в углублении улицы, — тупике, так сказать, потому что переулочек, прибранный, неширокий с обеих сторон, за палисадниками зеленые развесистые кусты, — я, задрав голову к солнцу как бы, поспешила домой.

Сёнки не заперты — может, мама зашла или папа, может, Витя ушел? В избу дверь тоже открыта, прямо распахнута. Заглянула за шторку, как бы из кухни в комнату, и вижу, как Витя смешно и с нежной осторожностью возжается с малюсенькой дочуркой...

— Ну, как вы тут? — с улыбкой спросила я и с ходу к умывальнику — мыть руки. Вымыла, сама умылась, переоделась в халат и туда, к ним, где двое, там и третий... Поцеловала Витю, кивнула закхекавшей Иринке, спохватилась, вернулась за гостинцами, положила на стул и еще раз, уже крепче, поцеловала Витю. — Я так рада, как дура!..

— Почему «как»? Ты и есть дура!

Я растерялась и почувствовала, как обида подкатила уж к самому горлу, прислонилась к косяку — что еще мне мой милый муж скажет?

— Да потому, что тебе бы бить меня надо, гнать в три шеи, в глаза бесстыжие наплевать, а ты — рада...

— Витенька, да что с тобой? Успокойся и расскажи, раз не терпится сдержаться, или... — едва слезы сдерживаю, на ребенка посматриваю, а она уж ножонками сучит, ждет, когда на руки возьмут, когда кормить будут. Расстегиваю пуговицы, изготавливаюсь и к тому, что сейчас доченька есть будет, а еще больше — чем же и за что меня Витя еще побольнее ударит...

— Ты пока кормишь, я в ограде посижу, подумаю, на природу полюбуюсь, я недолго, пока кормишь...

Я взвыла по-бабьи горько и тут же уняла себя — мне же дитя кормить... чтоб спокойненькая росла, значит, и самой... Положила Иринку на широкую постель, распеленала, погладила, поцеловала и в ручки, и в ножки, она ручонками за волосы мои ловится. Когда отдохнула от свивальника, попотягивалась, я ее уж и на животик ненадолго положила — голову держит хорошо, крепенькая растет слава Богу, завернула в легкую пеленку, клеенку на колени подложила — и мы принялись за дело.

Скоро пришел Витя, спросил, как дела? Сказала, что поела, вот понежится еще маленько, может, срыгнет — жадно ела, едва успевала сглатывать молочко, — тогда и запеленаем, чтоб молочко все на пользу пошло, в кровушку впиталась, после можно и в седуху.

— В какую еще седуху? — изумился Витя.

— В «дупло» специальное — в нем ей хорошо: и посидит, и привстанет, и все, и всех ей видно, и ее тоже все видят — на народе веселее. На, положи ее пока в люльку, а я за седухой схожу. — И оставила дочку с отцом.

Она лежит, пустышку то бросит, то ищет, папа ее покачивает и слышу, тихонько напевает: «Солнце скрылось за рекою, затуманились речные перекаты, а дорогою степною, шли с войны домой советские солдаты...» Песня вроде вовсе не подходящая, а девочка под ту песню засыпать уж начала.

— Маша!.. Ты слушай, смотри мне прямо в глаза и отвечай, что и как? Но чтоб безо всяких обиняков, напрямую, как было, так и скажи...

Я поспешно села за стол, напротив Вити, жду, жду, как приговора, потому что самой мне оправдываться не в чем, и я скажу обо всем, как на духу.

— Маша! Ты действительно меня ждала? — помолчал. — Ты действительно верила, что я приеду? — покусал губы, швыркнул носом. — Ты действительно меня любишь? Не возненавидела?.. Чего молчишь?

— Жду, чего спросишь еще?

— Я все спросил! Главное! И я, когда ехал, то твердо для себя решил: если ты меня упрекать начнешь, унижать, может, и прогонять... Уеду. Ни на минуту более не останусь... Если б я вернулся, как говорится, на белом коне — тогда и надобности в разговоре не было бы. А сейчас мне очень важно знать, как ты ко мне относишься? Или, презирая, прощаешь, снисходительность проявляешь... А мне все-все надо знать. Сегодня же. Сейчас.

— Витенька! Раз ты вернулся ко мне, к нам, значит, мы нужны друг другу. Значит, очень нужны. И люблю я тебя еще больше... Это все, что я хочу и могу тебе сказать..

Витя какое-то время, не знаю, сколько, окаменело сидел за столом, ничего не говорил, ничего больше не спрашивал. Затем тяжело поднялся, обошел стол, остановился передо мной, покачался легонько и со всхлипом сказал:

— Спасибо! Спасибо тебе, родная моя, многотерпеливая моя жена! Опустился на колени, положил голову мне на фартук и, легонько ее покатывая, со всхлипом, все повторял: — Спасибо! Я этого не забуду... Я верю. Спасибо за дочку, спасибо за терпение, спасибо за любовь твою, такую самоотверженную!.. Спасибо...

* * *

Папа очень обрадовался приезду Вити. На другой день вечером, после того, как мы немного очнулись от нашего нелегкого, но, как оказалось, неизбежного с Витей объяснения, папа негромко постучал в дверь, вошел, заулыбался, оглаживая усы, подался к Вите, чтоб поздороваться, может, и обняться, почти следом зашел и Азарий:

— А-а, вот вы где? Ты чего же, Виктор, приехал и глаз не кажешь? Шурин я тебе или нет?! — Чуть оттеснив папу, пожал Вите руку, обнял, отстранил от себя, снова крепко обнял, папу зачем-то по плечу похлопал, как дружка, увидел меня и тут же: — Я тебе чего говорил, помнишь. Помнишь, чего я тебе говорил, Маша? Говорил, что Виктор скоро приедет. Говорил? — Потряс меня за плечи, обнял накоротке. — Вот и замечательно! Ну замечательно, ничего не скажешь! Маша, а у тебя пропитанье на такой случай какое есть или... или мне к Софье —

туда-сюда, обратно?.. Давайте так, — начал распоряжаться брат. — Ты, Маша, ставь варить картошку. Я к Курковым наведаюсь насчет десяточка яиц, может, и огурчиков. У меня вот мерзавчик есть, лук зеленый на гряде — овощ хорошая! Может, чего у мамы найдется? Нет, надо к Соньке — у нее наверняка найдется... — и исчез.

Витя наколол помельче полешек в буржуйку, начал картошку чистить, а она, свеженькая, и чистить-то одно удовольствие. Папа сказал, что луку нащиплет да матери скажет, чтоб пораньше с коровой управилась да с нами тоже посидела. До Клавы с Ваней далеко, до Сергея и того дальше, — с горькой улыбкой молвил папа. Ну да не в последний раз. Тесть с зятем разговаривают да на кухне хлопочут, я за занавеской с ребенком занимаюсь: распеленала, сухонькое подложила, подтыкала с боков и оставила поваляться на кровати, прикинув старенькой пеленкой. Слышу, Толик забежал, громко, с порога заявил, что они с бабушкой корову встретили, сейчас ее доить будут, а она будет мычать и хвостом махать... А где маленькая девочка? — спросил и тут же в комнату, но я его перехватила, велела принести сухие пеленки, они в ограде на веревке висят...

Азарий явился довольно быстро, принес булку хлеба, кружок колбасы, еще одного мерзавчика, конфеток и метра два пестренького ситчика — Иринке на рубашонки. Картошка бурлила, вскипая пузырями на раскаленной эконолке, Витя крошил лук. Скоро пришла и мама, принесла литровую банку парного молока. «Это тебе, — обратилась ко мне она, — к чаю. Больше станешь пить, больше молока в грудях будет». Из фартука, который держала за уголки, выложила на стол ровненькие пупыристые огурчики. Поворковала маленько с Иринкой, с Ринкой, как она сокращенно и ласково звала внучку. И так будет всегда.

Пока я кормила да пеленала дочку, на столе уж было почти все собрано. Азарий принес из дому ложки да стопки, да блюдца вместо тарелок. Витя сберег как бы место для меня рядом с собой. Места всем хватило.

— Ну так что? Выпить, однако, полагается? — весело спросил Азарий. Налил помаленьку в стопки водки, расставил перед каждым. Толе дали длинненький огурец со срезанным кончиком, и он его держал, как стопку. — Давайте сначала... — помедлил, — сначала помянем братьев Валю и Толю, Васю помянем сестру Калерию, племянницу Лидию... Помянем. — И первый отпил из стопки, остальное как бы вытряхнул на пол.

Все выпили помаленьку, мама чуть глотнула, отодвинула стопку, утерла глаза и снова перекрестилась на маленький образок, висевший в кухне. Затем выпили и за Иринку, и за нас с Витей, и за папу с мамой — разговорились. Папа о сенокосе, что теперь управятся, вот еще одного помощника Бог дал! И на Азария посмотрел. «Если все ладом... не всякий же раз из-за неосторожности человека калечить... — с многозначительностью договорил он, напомнив сыну, как он прошлой осенью Виктора лесиной ошпентил... — Может, и без чужих еще обойдемся?..» Я сказала, что разрешили очередной отпуск взять, значит, месяц еще буду дома, и нам с мамой будет легче, и в огороде, и по дому. А Азарий снова за свое, мол, Софью-то брать придется — пусть работает, проявит себя, а то и замуж не возьму! — хихикнул. А если серьезно, то прошу назначить день и час.

Тут уж папа вступил в рассуждение, поговорили недолго, порешили, когда дело начинать, и папа сказал: «А теперь и отдыхать бы надо расходиться, и им отдых нужен. Значит, ты, Витя, маленько повремени устраиваться на работу, отстрадаем и тогда... Так-то сам, конечно, гляди, как лучше, но страдать ждать не станет, а без сена, без коровы как жить? Ну, решайте, как лучше. Спасибо за угощение. Так хорошо посидели, поговорили... Спите с Богом! — и направился к двери. Мама заглянула в люльку, незаметно перекрестила внучку.

— Спасибо, Витя! Спасибо, Мария! Спите с богом!

Брат, глядя вслед родителям, пожал с сожалением плечами, пожал руку Вите, сказал:

— По домам, так по домам. Пока!

* * *

То был редкий, пожалуй, год, когда так хорошо управились с сенокосом. Николай Ефимович Смирнов — грамотный, справедливый и не очень мягкий человек, работал в поселке Узкие водозамерщиком, но и за порядком следил: кого полюбит — полное к нему уважение и расположение, а уж кто не очень к душе, к тем и крутоват бывал, и спать на сеновал отправлял, несмотря, что комар съедает. Он и в баню-то не каждого ночевать пускал, чтоб не спалили ненароком. Но у папы было там свое определенное место для спанья, самое хорошее к нему и уважительное отношение.

Сено приплавляли благополучно, договорились с попутной порожней машиной и привезли домой, свалили в ограде, плоты разобрали, сложили на берегу, скрепив крученой прово-

локой, до поры, пока удастся с кем договориться, чтоб их тоже привезти к дому, пока кто не позарился, да не растаскал — бревна сухие, добрые...

А у Вити рассказов было — с утра до вечера. Сначала он удивил моего папашу тем, что набрал много ягод, черники, да такой кисель заварил — язык проглотишь! Папаша, говорит, вроде с недоверием поглядел на этот кисель, а как попробовал, так и заахал и так уж стал хвалить своего молодого зятя, что даже Николай Ефимович не удержался, хлебнул раз-другой, покачал от удовольствия головой, на Агафоновича поглядел, на меня — на зятя — и позвал Анисью Семеновну:

— Иди-ка, иди-ка сюда, на-ка, попробуй! Да и учись, как люди кисель варят! И как ты его такой сварганил? — спросил он у Вити.

— А я, — рассказывает Витя, — пожал плечами да и говорю, что варят же щи из топора!..

— Х-хэ, дак то топорище! То байка! А кисель-то, вот он ешь знай, успевай!..

Анисья Семеновна подошла к столу, взяла кастрюлю с киселем и унесла.

— Сначала поужинайте! Уха вон готова! Огурцы с редиской да с луком! И каша овсяная есть. А кисель уж напоследок...

Витя рассказывал, как он долго после сидел на берегу красивойшей реки, слушал, вниз глядел: вода прозрачная, каждый камешек видно и глубина порядочная. Смотрел на противоположный берег, где завтра надо будет выбирать, пилить да сталкивать на берег лесины — для плотов. Лес хороший стоит, пока вроде и не тронутый, но это, наверно, пока тут Николай Ефимович хозяйничает. Его все знают и побаиваются... А птицы поют! А земляники по-за огороду! Пожалел, что меня не было: вот бы потешились, да и Иринка помусолила бы, пооблизывалась... Девчонка, не изурочить бы, такая крепенькая да миленькая...

— А на другой день зато я уж от Николая Ефимовича получил сполна! Утром рано переправился на тот берег, лодку под скалой учалил, забрался в гору и быстро подобрал с десяток лесин, ровненьких, не пустотелых, сухих. Вышел на берег, два пальца в рот да как свистнул — Азарий, ровно на крыльях, вылетел: он ждал моего сигнала и был наизготовке. Скинул рубаху, штаны, обмотал ими голову и пустился вплавь. Любодорого даже глядеть, как он хорошо податливо плыл. Его вроде даже и течением не сносило. Вышел на берег, отряхнулся,

оделся, лапти старые в лодке углядел, подобулся, чтоб ноги не шибко кололо да царапало, — и ко мне.

Мы с шурином-то быстро сработались: ширк-ширк, ширк-ширк, и дерево, как подкошенное, — это он так определил. Время идет, мы ширкаем, деревья валятся. Слышим, обедать зовут. Подумали, подумали да и решили сразу и сучья обрубить, и вершины опилить да и вниз — своим ходом. Которое легко, без запинки достигает берега, иногда и до самой воды, которое застрянет, значит, надо следом слать другое, чтоб вместе вниз отправлялись. Хорошо так дело идет. Вернее шло, пока одно не пошло по «руслу» нашему, уже накатанному, а наскочило вершиной на выступ скалы, встало торчмя, постояло, покачалось, да как ухнет! Да прямо на лодку — и носа у лодки как не бывало! Азарий замахал руками: «Ах, ах, чего теперь будет?! Ах! Ах!...»

Я тоже знаю, что ничего хорошего ждать не приходится, однако, когда Николай Ефимович, вволю наматерившись, погрозился, что никакую лодку за ними не пошлет, — там и кукуйте! — махнул рукой и подался к дому. А мне только того и надо: делаю Азарию знаки, чтоб к лодке подбирался и побольше груза на корму набирал. Груз да мы вдвоем [≈] вздымаем нос и, если не зачерпнем кормой, то и переправимся. Едем по реке и только что песни не поем: нос задрался высоко, как парус, а мы сидим на дне лодки в корме и гребемся изо всех сил так, что лодка не плывет, а летит!

Только выбрались из лодки на берег, Николай Ефимович уж тут как тут — и с новой силой отменными матюками поливает нас. Я слушал, слушал, тоже стал выдавать такие матюки, что и самому смешно и страшно!

Ужинали молчком, ни про кисель вчерашний не поминали, ни про лодку, хлебали щи, хрустели луковым пером, пили чай, потом курили на крыльце да на чурбаках на берегу. Николай Ефимович снова сокрушался насчет поломанной лодки, и я не выдержал, сказал, что не первую нарушил, но не первую и чинить буду, раз виноват. Хотя вижу — дело не шуточное, да если тесин подходящих нет...

* * *

Когда приплавляли сено и вывезли домой, папа сходил в церковь к обедне — так уж давно повелось, вечером выпили маленько, угостились и с чувством исполненного долга разошлись.

Однажды Витя повстречался с Вахмяниным — заведующим артелью «Металлист», — с Витей он уже знаком. Разговорились о том о сем, и, когда Витя заговорил, что надо бы на работу устраиваться, да пока ничего подходящего нет, тогда Вахмянин предложил ему устроиться в артель, теперь уж слесарем. Зарплата ничего, карточки хлебные и продовольственные — тоже, мол, поработаешь сколько, а подходящая работа подвернется — держать силой не станем: рыба ищет, где глубже, а человек, само собой, где лучше.

Витя проработал в артели год. Работа, конечно, не по нему, но пока дело безвыходное. Меня тем временем невестка — жена брата Сергея, ведавшая городским радиовещанием, — пригласила работать к себе, мол, грамотная, времени будет свободного побольше и информашки писать сможешь, только чтоб без халтуры, чтоб знала то и о ком пишешь, мол, обслуживать будешь железнодорожный узел, там и передовиков производства много, и всяких новшеств. Короче, переводом я перешла работать на радио. К тому времени у нас уже появилась няня Галя — в «Швейнике» работала ее родственница и вот порекомендовала. Она, говорит в семье не одна, да только вроде падчерицы ее содержат, те сестры — девки как девки, а эта, за то, что некрасива: зубы, как крупные клыки, вперед подались, что и рот не закрывается, глаза навывкате, а так-то девка добрая, услужливая, да если еще почаще хвалить — она же сама как ребенок! — так няни лучше и искать не надо.

И правда, Иринка к ней сразу привыкла, даже привязалась, и гуляла Галя с девочкой много и в чистоте всегда содержала. Бывало, приду на обед, Галя стирку развела. Иринка сидит на табуретках, составленных в ряд между столом и заборкой, а на столе перед ней чего только нет: тут и ложки, тут и пузырьки из-под лекарств, тут и крышка от чайника. Иринке весело, а Галя стирает — брызги до потолка, рот распахнут в улыбку, глаза ласково-преданные.

Витя вечером снова начал вспоминать, как они плавил с папашей сено с покоса по реке. И Галя тут же — любила слушать, о чем говорят, чего не поймет — переспросит, а уж если чего веселое — смеется, как дитя, громко и во весь дух, как говорится. А Витя рассказывал, как папа проверял вбитые в бревна плотов огромные гвозди. Уж я, говорит, вгону тот гвоздь — шляпка вопьется, а папаша все равно наклонится, поглядит и хоть разок да тукнет по тому гвоздю... Я сначала вроде в осержку, ну в недовольство, за обиду это недоверие к моей работе принимал, пока Азарий не пояснил, что он, мол, всегда так. Анатолий и Сергей того глубже гвоздь в бревно

вгонят, а он все равно хоть разок да стукнет. Потом папаша мой растерялся, когда я по-своему распорядился, как плотами управлять: где ему быть, где мне. С недоверчивостью слушал и глядел на меня тестя, но спорить не решился. А до этого я уж знал, — продолжал Витя, что он, папаша, сколько лет по реке сено плавит, ни разу еще не бывало так, чтоб не измочился, не набродился, да еще в студеной воде. И, слушая меня, очень даже сильно сомневался. Сидит, говорит, он в носу первого плота, покуривает — дым из его большой сигарки, как из самоварной трубы, и я, — говорит Витя, — время от времени ему напоминаю, чтоб сидел, отдыхал, наблюдал и ничего не предпринимал, пока я сам не скажу. Сидит, попыхивает, потом маленько приподнялся на колени да и говорит мне:

— Витя-а! А впереди, уж скоро такой... пережат будет! Ухо остро держать надо!

А папа же никогда в жизни не матерился, а тут вот, насчет пережата как заговорил, так и обозвал его матерным словом и обозвал как-то ласково, по-детски вроде. А я как захохотал — на всю реку — эхо от скал отскакивает! И благополучно, спокойно я управился с плотами на этом пережете. И папаша с той поры меня очень даже зауважал! — хохочет Витя, вспоминая об этом; Галя тоже заливается, Иринка нос морщит, аж соплишки блестят, будто тоже чего смыслит.

Я, бывая на станции каждый день — мой же участок, — по цехам хожу, с мастерами, с рабочими разговариваю. Особенно любила заходить в вагоноремонтный цех — там всегда так хорошо стружкой пахнет, свежей, сосновой. Разговариваю как-то с мастером Бортниковым, что вот муж все работу подходящую подыскивает, хотя бы временную, — легкие слабые, а в слесарной мастерской шум, гам, пыль металлическая, помещение темное да холодное, неприятное...

Витя, может, от меня послушав про тот цех, может, с кем из знакомых разговорился, объявление ли прочитал, что требуются плотники... Не помню, как и когда именно это произошло, но Витя мой перешел работать в то вагонное депо, плотником. И поначалу, видать, все шло ничего, летом — благодать, зимой холодно, но можно забежать погреться.

Я получила — выкупила по талонам мануфактуру, взяла шесть метров полотна на простыни и три метра кальсонного полотна — гринзбона, чтоб сшить Вите кальсоны. Я их никогда в жизни не шила, но решила просто: распорол одну штанину старых кальсон — по ней выкроила, с припуском — на швы, да мало ли где понадобится пошире сделать. Старые кальсоны зашила — по готовому-то трудно ли, а мама сказала, мол,

пользуйся пока машинкой, все равно она без дела стоит в спальне. Один вечер сметывала да прикидывала, на другой день — Галя с Иринкой занимаются, иногда играючи и стирают: Галя — белье, Иринка — куклам платья...

И к вечеру я дошила изделие, петлю прометала, пуговицу, хоть и не очень подходящую, но пришила крепко. Раскофегарила утюг, нагладила, повесила на спинку кровати, за подушки, чтоб утром завтра, когда будет собираться на работу — выдать. С Галей договорились, пока помалкивать об обновке.

Время идет, дело молодое, Иринка подрастает, Галя помогает. Мы уж с десяток книг приобрели. Витя в простенок, между заборкой и окном струганую дощечку подобрал, прикрепил ее к стене, я скатерть довязала, осталось кисти приделать да стол занять, пока же у нас тот, списанный, который привезли из горпромсоюза был кухонным, а в спальне стояли две кровати и между ними втиснута тумбочка — больше туда ничего не входило. Значит, лежать ей до лучших времен, однако иногда, сложив ее вдвое, накрывала тумбочку, и она украшала комнатку.

Дело молодое тоже соответствует своему назначению, и, когда я почувствовала, что скоро у нас появится второй ребенок, Витя мой перешел из плотников в горячий, литейный цех — там зарплата больше, там продовольственные карточки существенней. И это не все — недалеко от станции располагалась школа рабочей молодежи, и его убедили, что надо учиться, ну хотя бы среднюю школу закончить...

Тут я вернусь к обновке, приготовленной для Вити, чтоб ему не так холодно было работать — телогрейка греет, а выносившиеся подштанники да сверху мазутные штаны не очень соответствовали холодной погоде.

Стал утром собираться наш работник на работу, до которой надо отшагать побольше трех километров, по железнодорожной линии, время от времени сворачивая в снег, уступая дорогу поездам с длинными составами, а то и снегоочистителям, от которых ни укрыться, ни спастись — все равно закидает-запорошит снегом по макушку.

Я с работы пришла пораньше, Галя уж картошку сварила, натолкла, я тесто замесила. Иринка бродит по-за столом на скамейках, тянется к муке, к картошке, но это для нее все еще еда не еда, а как дотянется до меня, вцепится ручонками и тянет: «Надо! Надо!» Ну, надо так надо. Мою руки, забираю ее на колени, и, как малюсенькую, продолжаю кормить грудью,

хотя самое меня уж ветром вроде качает... А она насосется тепленького молочка, и снова весела, здорова и играет себе.

Вдруг вихрем влетает в избу Витя, никого и ничего не замечая, хотя зрячий глаз сверкает прямо на пределе. Не оставившись в кухне, пролетел в спальню и через совсем короткое время белой, скомканной птицей вылетают в кухню новенькие кальсоны, а вслед за ними матюки, один крепче другого, и, когда первая, пулеметная очередь, отстрочила, сделались понятны слова, которые он выпаливал:

— Сама носи!.. Сама сшила, сама и носи! Всю смену... ни поспать, ни поспать, хоть в штаны накладывай да домой неси...

У нас с Галей застопорилось дело с варениками, я от обиды губы кусаю, чтоб не разреветься. А огрызнуться, накричать на него, ответить руганью я ему никогда не могла и не могу до сих пор... У меня наперед обиды, наперед желания огрызнуться — тут же на память: он же в детдоме рос, он же сирота, он же столько раз ранен — нет не могла и не могу я ответить ему криком или руганью. Слов нет, пройдет время и иногда, как говорится, за мной не пропадет — я тоже выскажу ему при крайнем случае, как та Красная Шапочка — которая поет в мультике: «Я пойду в Париж, чтобы высказать все, что на сердце у меня...» Так и я, но выскажу уже «обкатав» каждое слово, как камешек, чтоб ответно и убедительно, и чтоб ему нечем было крыть. Но это не всегда и тем более не по всякому поводу. А тогда...

Витя еще долго ворчал за занавеской в комнатке, переодевался, умывался. Пока он умывался, я те кальсоны из гринзбона затолкала куда подальше, а Галя все еще живот поджимает, все еще смех в себе не может остановить. Вышел Витя наш из закутка, утирается полотенцем, долго утирается, тщательно и незаметно наблюдает: какого он шороху на нас напустил — долго помнить будем!

Иринка руки к нему тянет — она наш маленький громовотвод! Он ее взял, потормошил, приласкал и неторопливо, спустив пары, сел за стол. А на столе уж вареники дымятся, масло в блюдечке, перед каждым тарелка и вилка, а перед Витей — стакан и ковш пенящейся ароматной браги.

— Вот это другое дело! Это тебе, — обратился он к девушке, — это тебе не кальсоны, у которых единственная пуговка и та выше пупа, а ширинка — одно название...

— Витенька! Я же по старым кальсонам шила!

— Витенька! По старым... По своим, небось, которые еще не истратила девке на пеленки! А я — мужик!..

Галя хохочет-взвизгивает, покраснела, закроет ладошками лицо да пуще того хохочет...

Тринадцатого марта 1950 года у нас появился Андрюша — братик Иринкин. Я и его рожала в железнодорожной больнице. Домой нас привезли на лошади, хорошо так, все смотрят, улыбаются, но как только поравнялись с парадным подъездом горсовета, возьми да и выпادي из сетки банка с вареньем, крышка спала, а варенье так и сделало дорожку к казенному крыльцу, где опустевшая банка остановилась. Ну, посмеялись, махнули рукой и поехали домой.

Не прошло и двух дней, может, трех, я лежу с парнишкой за занавеской на кровати, кормлю, Витя сидел у окна и вдруг говорит-спрашивает:

— Это куда же наши учащиеся подались?! Чуть не всем классом!

Не успел удивиться, а компания вся подвернула к нашей избушке и гуськом заходят, посмеиваются, с шутками, с прибаутками, с бидоном пива, с подарочками... Расселись кто где: и на подоконниках, и на полу, громко по-молодому разговаривали. Вот сказала «громко» разговаривали и тут же вспомнила: когда мы жили в Перми, сосед за стенкой почти десять лет готовился в консерваторию и играл на пианино с утра до ночи — чего-то играл уже прилично, чего-то уже «заболтал», но играл, играл и чем дальше, тем громче. Приходит почтальонка, боевая такая девица, звякнула к нам, чтоб расписались за бандероль, и пока я ходила за ручкой, она слушала, как сосед играет. Я расписалась, она неожиданно спросила: «Кто это играет так?» — «Сосед». — «Женатый?» — «Нет, холостой». Она глаза вытаращила и переспросила с недоумением: «Не женатый и так громко играет?!»

Так и молодые рабочие из цеха литейного, где работает и Витя, и многие из которых вместе с ним учатся в школе рабочей молодежи. Вот уж воистину: «Бедность — не порок». Засиделись, наговорились, о чем говорили, вроде и не вспомнить, но душу отвели... Витя был в классе старший, да к тому же женатый, да к тому же уже дважды отец. И он выделен был вниманием, уважением и снисхождением, когда не был готов к уроку. Он приходил с работы усталый, успевал поесть, переодеться и снова в школу. «Учись, грызи гранит науки — он счастья будущего ключ!» На тот ключ и надежда... Ест хоть и не очень вкусно, но сытно, я нет-нет да перед ним ковшичек бражки. Он его примет, оживится, на время забудет усталость и отправится. Однажды учительница — проходили «Степана

Разина» — кого ни спросит, все уклоняются, чего-нибудь поговорят, два-три слова и все. Тогда она обращается к детному отцу: «Виктор! Может, ты расскажешь про Степана Разина?» Он, уже затяжелевший от бражки-то да усталый, не враз слышал, что его, оказывается, спрашивают. Поднялся, извинительно оглядел и учительницу, и учащихся, и признался: «Я, Вера Афанасьевна, лучше спою про Степана-то Разина...» — «Нет-нет, петь не надо, Виктор. У нас урок...»

На полке-досочке еще прибавилось несколько книг, и Витя часто разглядывал корешки, названия книг, иную открывал и сожалел, что не удастся выбрать время почитать. А тут еще Толик принес из садика конъюнктивит, да такой жестокий, а поскольку с Иринкой они играли вместе почти постоянно, то и на нее тот конъюнктивит перешел. Бедная девочка не могла даже глаз открыть — не глаза, а красные, блестящие луковицы. Одним утешением для Иринки, да спасением была зыбка, которую еще не успел занять братик Андрей — оберегали его от этой болезни уж не знаю как. А Иринка лежит в зыбке вниз лицом, подогнув под животишко ножки, и требует, чтоб ее качали да еще и напевали. И мы по очереди не отходили от зыбки, сношу ее в больницу, введут капли под веки, она верещит почти всю дорогу, пока я впробег с нею, завернутой в одеяло, не добежу до дому. Дома раздену, сменю трусишки, если от боли или от крика она пустит струйку, укладываю в зыбку и пока крошу крошечки хлебушка в молочко, какое-то время молчит, или к груди тянется. Но она же уж большая, молочко нужно братику, и я, пользуясь случаем, отнимаю ее от груди. Кормим, кто свободен, ей же нравилось больше, когда кормит папка. Она лежит сверху личиком с открытым ртом, пока ей с ложки еду не дадут, ногами топотит, требует, чтоб качали, и не только качали, но еще и пели. У Вити это получалось хорошо: ногу засунув в петлю, покачивает зыбку, ложкой из кружки черпает тюрю, в рот ей дает и припевает... Иногда упадет крошка мимо, она нащарит ее на подбородке, сунет в рот и давай помогать расклевываться, да пищу принимать дальше, пока не насытится и в сон ее не поведет...

Миновала и эта печальная беда — нет хуже, когда ребенок болеет, лучше бы, думаешь, сам. Иринка выздоровела даже раньше Толика.

Вот и август на исходе, и день рождения моего остался позади, зато впереди бабье лето! А конец августа я больше всех других времен года люблю и не только потому, что двадцать второго августа я появилась на свет, а двадцать четвертого

меня уж и окрестили, и нарекли Милей-Марией, Машей, Марусей, Маней... Мне нравятся темные и еще теплые августовские ночи, мягкость в воздухе, в душе уже поселяется светлая печаль:

В эти ночи всегда грусти больше, чем радости,
Когда в поле трава устает зеленеть,
Так бывает всегда в эти поздние августы:
Небо в виде тумана приходит к земле.
Небо в виде тумана на землю ложится
И, обняв горизонт, до рассвета гостит.
И смолкает земля, и смежает ресницы,
И, уткнувшись в потемки, о чем-то грустит.

Именно в эту пору, чуть позднее, по решению горисполкома, как я полагаю, почему-то понадобилось снести два дома — наш и Фефеловских, которые жили с нами в близком соседстве, прямо за ручьем. Тут уж было над чем задуматься. Папа редко когда давал советы житейского масштаба, более значительные, чем по мелочи, по хозяйству, но когда дело касалось чего-то серьезного, отчего многое зависело в жизни, тут он был всегда очень нужным, доброжелательным и справедливым советчиком. Он по-прежнему частенько и долгонько сживал у нас вечерами, уработавшись за день, натрудив руки и спину, до ночи еще оставалось время, приходил к нам, чай пил с нами под разговоры. Прежде он говорил, мол, с тобой, Марей, мне глянется беседовать. Но когда появился Витя да раскрылся в родственном знакомстве, папа полюбил его разговоры, слушал с вниманием и интересом его рассказы, будь они байки, смешные или серьезные. А я уже в ту пору, и позже, и пока он будет рядом — не перестану удивляться, восторгаться, немножко про себя завидовать, как он много знает, а то как рассказывает — по-моему — это больше, чем мастерство!

И когда нам вполне уже официально было сообщено, что дом наш подлежит сносу и что выделен участок-усадебка, но если не понравится, то мы можем выбрать под дом другое место, только это будет уже где-нибудь на окраине или в Новом городе, где пока строятся квартиры только для рабочих-металлургов, но строительство не стоит на месте, оно продолжается и, возможно, со временем...

А мы никак пока не можем выбраться из нужды, и дети маленькие, и в углы дует, и в подполье постоянно стоит вода, и крыша протекает все больше.

— Я уж не успеваю подпорки ставить, чтоб наша хохлома не завалилась в канаву вовсе, вместе с нами... — вспыхливо заявил Витя и скрылся за занавеской в комнате.

Папа погладил колени своими крупными, изработанными руками, оглядел избушку, подбежавшую Иринку взял на колени, прижал к груди, по головке погладил, в окно посмотрел и сказал:

— Жилье, конечно, незавидное, кто станет спорить. Но самое трудное, бесприютное время в домишке пережили, а век он не простой, да не на век строен... Я уж не раз думал: дров за зиму уходит много, тепла нелишка, и дело не токо в печке, хотя и она некорыстная... — Папа долго молчал, держа на коленях внуку, здоровенькую, егозистую, очень им любимую, Витя из комнаты не выходил.

— Я, Витя, на той неделе сходил туда, на то место, которое можно занимать под дом. Место не шибко удобное, возле самой дороги — пыльно будет и для ребятишек небезопасно... Огород большой, только опять же, длинным клином уходит вверх. Но место сухое, и вода есть недалеко — у Ленинских яслей есть колонка, а подальше — дак и ключ.

Я уж думал, если бы и не сносили эту избушку, все одно перебирать бы ее пришлось, нижние два-три венца менять надо — вовсе сгнили, крышу хоть как дак перекрывать надо, она уж ровно решетом... Сергей в лесничестве работает, лесу, думаю, выпишет, заявление только написать надо, указать сколько кубометров. Место сухое, дак думаю, и без фундаменту каменного можно обойтись. Косяки и рамы Сергей Андреевич изладит. У них сосед баню, избушку ли рубить собрался, да уж почти и срубил — главное дело сделал, но... баба от его ушла... уехала — всем прямо на удивление, вроде и баба ничего была, а вот поди ж ты!.. Сергей Андреевич говорит, мол, продавать «свою заготовку» сосед собрался, чтоб разделаться со своим небольшим хозяйством, да и тоже куда-нибудь укатить, чтоб из памяти вон... Недорого, как оказалось, и просит — хорошо бы не упустить такую возможность, только как вот с деньгами-то извернуться? Марeya! Ты за декретный-то уж получила или нет ишшо? — Я сказала, что деньги получила и пока лежат, не решили, как ими распорядиться лучше... — Ну вот. Сколько уж есть, да Азарий пускай ссуду для себя как бы, временную выпишет, да сам Сергей Андреевич пообещал из кассы взаимопомощи взять — с отсрочкой... Я уж всяко думал и вот чего придумал: — Если Сергей выпишет лесу на нижние венцы дак и за дело бы приниматься можно...

Витя ничего не говорил, ни о строительстве дома, ни о чем вообще, утром, как обычно ушел на работу, Галя по дому да с Иринкой, я пока больше в постели — со своим маленьким Андрюшкой...

После ухода Вити на работу Галя, а она чуткая была очень к тому, что происходит в доме, в семье, если особенно какое-то несогласие — старалась, как могла и умела, как бы всех сблизить, «сдружить», сделать что-то хорошее, отчего все будет хорошо или хотя бы лучше.

Утром наносила воды, нагрела и провернула большую стирку, натянула веревки в кухне и в закутке у умывальника, сварила картошку с салом да с луком — сто грамм сала на ведро картошки! — как со смехом называла она «свое» блюдо, но туда покрошит луку, листик лаврушечки, соль, чесноковку, морковку — что есть и долго варит — пока не разварится картошка и не впитает в себя мясной запах, а сало она резала мелко-нькими кубиками, чтоб почаще попадались в ложку, чаю вскипятила и выбелила печку. Мы ее белили почти каждую неделю, и от нее, светленькой, да тепленькой в избе делалось светло и уютно.

Витя пришел, поужинал. Затем мы с Галей детей купали, сначала Андрюшку — очень уж он любил это дело. Подстелем в ванную пеленку побольше или старенькое одеялко, а на него сверху накинем легонькой пеленкой и прежде чем мыть, ладошками поливаем его сквозь пеленку, одна с одной стороны, другая — с другой. Он потягивается, позевывает, замрет, когда его водичкой поливают... А мы в голос: «Расти большой, расти удалой, умный-разумный, красивый да статный...» — всякие хорошие слова говорим, а он полеживает. Терпел, когда мыли головушку, под мышками и в пашках, глазки протирали и ушки, и ноготочки постригали, чтоб сам себя не царапал. Я домываю, Галя окатывает, затем расстилает на столе пеленки и тут же его в теплую сухую благодать. Я пеленаю, кормлю, Галя в зыбке постельку поправит. Пока малого завертываем да укладываем, Иринка не один раз забиралась во всем, в чем была, в ванную с водой, булькалась, пеленки как бы стирала.

Пока я кормлю да укладываю сыночка, Галя громким шепотом — тише не умела — выговаривала Иринке за проказу, и тут уж ей приходилось разворачиваться: с Иринки все разувать, раздевать и во что-то на время укутать, чтоб не остыла, а ей, Гале, тем временем успеть отжать мокрую одежонку с девочки, пеленки тоже, и воду слить в ведро да в таз, а вынести на улицу уж после, как руки дойдут.

Витя устал, мы с Галей устали, но ребятишек вымыли, Иринкины носки да ползунки к печке сушить приспособили, а пеленки так в ванной и оставили — развешивать все равно негде, завтра выстираем и развесим. И все улеглись спать: Галя за печкой, мы с Витей на кровати, зыбка над нами в ногах, а

Иринку укладывали на стульях: ножки стульев связывали, чтоб не разъезжались — она ж спит беспокойно, ворочается, раскрывается и к ней чаще, чем к Андрюшке иной раз подниматься приходилось.

Перед тем как лечь спать, я в печку не заглянула — не осталось ли где головешка, да Галя, как потом она сама призналась, пораньше закрыла, чтоб поскорее и печка просохла, и белье...

Вдруг Иринка как заплачет, как зачихает. Я хотела подняться и не смогла, скатилась только на пол, а встать не могу, и понять ничего не могу. Тут Витя вскинулся:

— Да ведь угорели! — Встал, запнулся за меня, помог сесть и сказал, что трубу откроет, — потянулся к трубе, а у печки-то ванная с водой да с пеленками — опрокинул, облился весь, губу рассек и тогда как-то сообразил, что надо дверь открыть, хорошо, что упал головой и ею дверь открыл, хватил свежего воздуха... чувствует: губа разбита — о корыто, весь мокрый, кричит, будит, трясет меня, Галю, чтоб ребятишек завертывали да на улицу, к нашим... — И пошел.

Мы оделись, как смогли, кое-как. Я Андрюшку завернула, под телогрейку, полами прихватила, Галя Ирину пытается одеть, а та плачет, ничего понять не может. Пришел папа, распахнул избу и велел мне с ребенком за хлястик его полупальто держаться, сам взял у Гали Иринку, а она чтоб шла за мной — вдруг падать начну, так подхватила бы вовремя...

А там, у наших уж разговор; как испугались, увидев Витю голого и всего в крови, решили, что ворвались головорезы. Тася принялась на полу в кухне постель расстилать, мама печку затопила, чтоб теплее. Мы с Андрюшкой улеглись наверху, на кровати Азария, Галя с Иринкой — на полу в этой же комнате, а Витя, Азарий и папа улеглись на полу в кухне. Мама спала с Толей в загородке-спаленке, он не проснулся, а она после опять к нему к краю легла.

Потом, вспоминая про это ночное происшествие, да и по другому какому случаю — все говорили, что Иринка — маленькая доченька нас всех спасла, а то все бы так разом и уснули... столько бы гробов понесли на кладбище...

* * *

Когда я пришла к Сергею с просьбой выписать лесу — на три-четыре венца, чтоб заменить гнилые нижние бревна, не отказал, но... предупредил, даже глаза не потупив:

— Миля, я вам выпишу лесу, надо так надо, только мы своим сотруди́никам отпускаем-продаем его по двадцать шесть рублей за кубометр, а посторонним — по шестьдесят четыре... Извини... — и тут же распорядился, чтоб выписывали накладную и что мол хоть завтра, как оплатите счет, так можно и вывозить...

Я какое-то время стояла перед своим старшим братом в лесничестве, в его кабинете, как подсудимая, именно так я тогда себя чувствовала. Еще постояла, он не торопил, но присесть забыл предложить. А я считала в уме: сколько надо уплатить и хватит ли у меня денег. Тут ему подали бумажку — счет, он протянул его мне, там значилась цифра и в скобках прописью: одна тысяча семьсот девяносто два рубля. У меня было 1800 рублей. Я, не пересчитывая, отдала деньги, взяла ордер с печатью «оплачено» — и вышла, ни спасибо, ни до свидания мой старший брат тогда от меня не дождался, а без восьми рублей, полагавшихся на сдачу, мы проживем и так, — со злой обидой решила я.

Мир да добрые люди пропасть не дадут. Заведующая ту-беркулезным диспансером выделила две лошади, и на другой же день лес был вывезен.

Я забыла сказать о вроде бы малозначительной детали. Как-то Витя пришел с работы и не один — его привел сосед татарин, работавший вместе с ним. Витя сильно повредил большой палец на правой руке, а мог, как оказалось, вообще лишиться руки. А мы с Галей опять на ужин вареники лепим — хорошая еда. Вода кипит, Галя лепит, Андрюшка спит, а Иринка за столом, как заправская работница, вся в муке и в тесте — дали ей колобок, она с ним и возится, швыряет носишком и трудится.

Долго, недели три, болел палец у Вити, он болел и потом еще, но три недели его держали на больничном. И не бывает худа без добра — не зря говорится — он за это время не одного крестника заимел: все приглашали, чтоб сходил в церковь, окрестил. Ну, надо так надо, — решал Витя и нес младенца, чтоб макали его в церковную купель. Приглашали его и сходить в церковь, чтоб обвенчали там молодых! Витя пошел нарасхват! И не зря! Много хороших знакомых заимел, и они-то, большинство из них, оказали нам неоплатную помощь. Кто продуктами, кто деньгами, кто трудом да умением.

Кум Саша Ширинкин сговорил двух мужиков — плотников, и они довольно быстро и сноровисто уложили в подготовленное ложе для нижнего венца подогнанные бревна, на них еще три ряда ровных, новых бревен, а дальше уж гадали —

выглядывали: что куда. Нашу избушку раскатали и сюда же перевезли, а мы временно проживаем снова у наших. Моху у того соломенного вдовца было заготовлено много, Сергей Андреевич плотник опытный — на его ответственности были оконные и дверные косяки, а рамы — дело тонкое — он делал у себя в полуподвальной части своего дома, где была и кухня, и его столярная мастерская.

За зиму постройку дома не закончили — не успели. У помощников время, отведенное для этой работы, кончилось, мы с Галей промазывали пазы глиной, но окон нет, глина холодная, по недостроенной избе гуляют сквозняки — и я опять простыла, на этот раз воспалением легких. На крышу наложили досок разных и покрыли временно толью, окна забрали досками.

Витя бедный — у него проснулся ревматизм — утром едва вставал на ноги. Я их и керосином растирала, и теплую соль прикладывала, и сшила из стареньких пеленок, проложенных ватой: на руках сшила края и к углам пришила тесемки — получилось что-то навряде медицинской маски. Он привязывал эти «утеплители» к коленям, одевался, завтракал, чем Бог давал, и отправлялся на работу, ранним утром, в самую-то холодную пору. Идя с работы, он все равно тащил две-три доски из вагонного депо — из тех досок впоследствии получились сенки с оконцем, краснеющие издали отметинами — дырками от гвоздей.

Когда удавалось погреть воздух в холодной недостроенной избе печкой-экономкой, Витя с Азарием да с Галей иногда туда уходили и на глазок выстилали пол, выравнивали, помечали половицы, которая куда пойдет, сколотили западную. Но долго в таких условиях не выдержишь, много не сделаешь, да и день зимний короток.

Жена у Саши Ширинкина — Маща, — милая, бойкая, удалая бабонька, работала обвальщицей на колбасном заводе, и Витя, чтоб не уморить с голоду семью и себя — на горячей, тяжелой работе да полуголодный, да израненный, — определился туда на работу, сначала ворочал, сгружал, таскал, вытаскивал мерзлые и скользкие туши, а лесенки в обвальочный цех узкие, скользкие от жира, сносившиеся — упадешь не поднимешься. А он таскал, иногда и сам поест питательной пищи и домой принесет то обрезанных жил, то костей, иногда чего и более ценного: колбасы, еще горяченькой, — я ни до той поры, ни после такой вкусной колбасы и не едала! А ребяташки давно. А то и шпику, и мы на нем жарили картошку, по-настоящему, когда сало швырчит, картошка подпрыгивает, а

потом, когда поостынет и на дне сковороды останется самая вкуснота — ребятишки все клеенку извозят, тянут друг от дружки ту сковороду, отскребают жирные, хрустящие пригаринки.

И так это нас поддержало, так выручило, что у ребятишек заметно и быстро округлились мордашки, да и в нас молодые чувства взыграли...

И только бы себя и детей подкормить, дать окрепнуть, но тут от нас забрали Галю — которой-то из сестриц нянька понадобилась. Ох, как мы ревели с Галей, обнявшись на прощанье! Ох, как голосили! Мы какие-то подарочки Гале сделали, да что те подарочки по сравнению с тем, что она вместе с нами пережила, вытерпела, вынесла.

Она еще какое-то время после навевывалась к нам, но всякий раз как бы с оглядкой, мол, ненадолгопустили.

Кум Саша Ширинкин работал на хлебозаводе, о нас тоже не забывал: то принесет буханку хлеба — сам он до того тощий, что стоит ему утянуть живот и булка хлеба свободно входила под рубаху, под ремень. Раза два, наверное, приносил пирог с повидлом, но без стеснения однажды показал, что сделалось с его брюхом, когда его «перехватили» на проходной, а перехватили там странно: женщин и девчонок принимались лапать, щекотать, и которым делалось невтерпеж — со злом извлекали из ухоронки хлеб или пирог, сало или колбасу, а Саше вахтер как изо всей-то силушки дакнул кулаком в живот, так и потекла жгучая, сладкая каша по телу и вниз — вахтер долго хохотал Саше вдогонку, как он, оттянув штаны насколько возможно, бежал в угор, к нам, пригоршней выгребая то злосчастное варенье. С тех пор Саша на пироги не зарился, а вот калачи, булки хлеба, а еще лучше муку приновился к «операции». Однажды, правда, кум, приготовил «для пикировки» специальный холщовый мешок, насыпал в него муки, разровнял, разложил по груди и животу под рубахой, идет по цеху на выход и видит вдали «полундру» — проверяющих трех или четырех мужиков. Мгновенно обдумал ход и, проходя мимо противопожарной огромной бочки с водой, бульк туда мешок, и дальше пошагал, руки в карманы, как ни в чем не бывало! Рассказывал, что жалко было выбрасывать мешок, но все лучше, чем за решетку. А Маша и вообще его утешала, сказала, что мешок не промокнет насквозь, только корочкой возьмется, так Маруся, это я, значит, замочит, мол, в кастрюлю, да отстирав муку с мешка, наведет блинов, посолит, посахарит маленько, тогда се — блины лучше наилучших будут!

Как только начало обогреть, Витя мой снова за работу, какой материал есть, тем и занимается, снова носит доски, иногда и по три за раз из вагонного депо. В артели «Металлист» по старой памяти снабжали гвоздями, Сергей Андреевич стекло сумел выписать и сказал, что рамы скоро будут готовы.

Мы огород копаем, а земля каменистая, копается трудно, а чего уж на ней вырастет — осень покажет...

Витя уже пол настлал, потолочины примеривает, многие сгодились от нашей избушки — от стены до матицы проходят, даже если трупелые концы опилить. Но вот беда: работник-то он один, как говорится, сам себе барин и дурак. Уронит молоток или топор — слезать за ним надо. Работа продвигается медленнее, чем лето подкатывает. Вот уж по дороге, мимо дома, начали выгонять стадо — на первую травку. Мама нашу корову тоже в это стадо гоняет, сдают пастуху и по очереди выносят ему хлеб, молоко, иногда и пару яиц. Пока в гору стадо гонят, не очень разберешь, о чем хозяйки разговаривают: то одна корова отстает, то другая куда свернет. Зато уж когда обратно идут, то непременно проходя мимо нашего дома, притормозят ход и заговорят о хозяине, который тут постройку дома затеял. Одна говорит, мол, знает ли кто, что за новожитель объявился? Пьянчушка, видать, каких свет не видел! То поет, то матерится!..

А им невдомек, что хозяин тот на все руки один, и если все ладится — поет во всю головушку, а если молотком по пальцу стукнет или, того хуже, ножовка или топор упадут, и поднять, подать их некому — самому приходится за ними слезать — тут уж матерится, как умеет и сколько голоса есть. Вот и выходит: то поет, то матерится.

Мама виду не подавала, лишь ниже склоняла голову и уж после рассказывала, как глотала тогда слезы, умолчав о молодом, незадачливом хозяине-строителе — своем зяте, каково ему плотничать без помощников да без денег? Кто его всему этому научил? Рос в сиротстве, в детдоме, потом война, израненный, от нужды усталый... Кому, — говорила она тогда, — про все это скажешь? Кто поможет? Одно утешенье, что молодые, что война кончилась... потихоньку устроятся, станут жить, как смогут, как сумеют.

Саша Ширинкин с Витей — два кума — довольно быстро подвели решетинник под толь — под временную кровлю — и быстро с этим делом управились, прибавив полосы толи неширокими деревянными рейками, чтобы ветром не снесло.

Сергей Андреевич, дай ему Господи царство небесное, вставил аккуратные рамы, уже застекленные и покрашенные,

наличники изнутри и снаружи приколотил — окна как проснулись, а мама сказала: «Как умылись!»

Нашли дядю Гришу, известного в городе печного мастера, а кум Саша к той поре сварил из толстого железа прямоугольный пятиведерный бачок для воды, с откидной крышечкой сверху, с медным краником внизу, недостигая два-три пальца до днища. Изладил нам дядя Гриша печку русскую, да такую дивную да аккуратную! Вместо кирпичей на шесток плиту с кружками положил, сбоку вмуровал тот бачок из толстого железа сваренный — и русская ли печка топится, плита ли — в бачке всегда горячая вода! А он, дядя Гриша, еще заставил нас натолочь бутылочного стекла и рассыпать его под кирпичи: дров сожжешь малое беремья, а в печи хоть барана жарь — так под накалялся!

С той печкой, никакая другая из мною виданных, до сих пор в сравнение не идет!

Затопил он сам излаженную им же печку, присел, полюбовался, как свод в печи заалел, что дым раза два выбросило и все — дальше пошел-повалил, куда ему и положено идти.

Принял уже две или три стопки и ласковым, удовлетворенным взглядом обвел заливешую (запестревшую от тепла) печь, поглядел еще раз, затолкав голову чуть не в самую печь, оглядел свод и заключил:

— Горя знать с печью не станете, помяните мое слово. Конечно, порядились бы и вместо пяти сот дали бы две — я и две взял бы, но на две и сложил, а, не рядясь, выдали положенную сумму — и вам с такой печкой жить и зимовать надежно, и мне не совестно!

Покрасили мы с Машей Ширинкиной окна, косяки, двери, перед этим на два раза пробелив потолки. Разделили заборками — доска к доске избушку нашу на спальню, опять же из расчета на две кровати и чтоб половичок ложился на пол между ними; Витя из двух гладеньких, уже крашенных досок, выбрав получше из тех, вагонных, «изобразил» полочку, укрепил укосинкой — один конец в стену упер, другой — в кромку полочки. Получилось замечательно. Теперь уж и стены белые, и печка не пегая, а ровненько выбелена. Когда красили двери и полы, я сколько-то дней с детьми ночевала у наших, а Витя решил спать в чулане — там в сенках и чулане будем красить полы в последнюю очередь, а если краски хватит, то и в туалете покрасим — там тоже побелено.

В комнате поставили стол, тот, списанный и привезенный из Горпромсоюза, четыре стула имеются, купили диван, обитый черным дерматином, но все называли его кожаным.

Кухня пока осталась без стола. И опять кум Саша вынул, принес большущий ящик из-под сигарет или из-под печенья, крепкий, металлических ленточками по углам обитый, покрыли мы его клеенкой — как настоящий стол.

Избушка с виду была, конечно, не дворец, а внутри теплая, светлая, чистенькая, и все, кто к нам приходил, удивлялись — такая с виду маленькая, а внутри так хорошо все разместилось и получилось очень даже уютно.

* * *

Ох, как трудно мы принаравливались к той изнурительно-тяжелой жизни — без содрогания и вспомнить невозможно. Еще перед тем, как Витя мой устроился рабочим на колбасный завод, чтоб не уморить детей голодом, — хватит, одну дочку уже уморили — мы завели было козу, но недолго подержали: не оправдала она заверений ее хозяина, продавшего нам ее, — пол-литра в день — какая от нее корысть? Вернули мы ту козу ее хозяину. Ладно, деньги вернул. Тогда купили трех кроликов — детям как бы на забаву до поры, до времени, они и кормить их станут, траву рвать, поить. Ни наша семья, ни тем более Витина родня никогда с ними дела не имели. А мы... Смастерили из старых ящиков клетки, поместили в подполье. Но они такие шустрые да жоркие оказались, быстро порушили клетки, побили да перевернули банки с солеными грибами да с капустой, прорыли сквозные норы в углу завалинки — и были таковы!

Смех и грех, но погoreвали сильно. Тогда наш кум Саша Ширинкин принес нам трех куриц и петуха. Большой ящик, — кухонный стол — довольно быстро и ловко приспособил под курятник — вместо четвертой стенки прибил сверху до низу ровненькие, гладко струганные палочки, по низу прибил выгнутое из жести узенькое, в длину курятника, корытце — для корма. Все нормально получилось. Места за столом всем хватает, курицы тоже определены на место, только в скорости петух стал проявлять странности в поведении, особенно, когда семейство усаживалось за стол. Ребятишки едят, ногами побалтывают, но как только хозяин потянется с ложкой к тарелке, петух тут же выпростает голову меж перегородок и закукарекает что есть мочи. Всем смешно, хозяину не до шуток — возьмет он и трахнет по столу кулаком, ложки подскочат, петух с урчаньем утянст голову в курятник, но ненадолго — только момент выждать. Дело доходило до того, что ложка в

курытник летит, матюки, как шлепки, по кухне разлетаются, перепало и ребятишкам, а то и из-за стола отец турнет.

Однажды привел к нам сосед девушку, свою племянницу, приехавшую из деревни, чтоб устроиться на работу, потом и паспорт получить. Дядя Секлеты — так звали девушку, прослышал, что нам нужна няня для ребятишек. Секлета оказалась доброй, ласковой к детям, хорошей нам помощницей. Жить нам стало полегче.

Как-то я немного задержалась на работе, значит, взяла ребят из садика тоже позже обычного, вместе с ними зашли в магазин, купили кое-что из продуктов да Иринке носочки тоненькие под валенки — набраться не могу на нее: протирает — штопать не успеваю, а тут им к Новому году надо готовиться, к утреннику, и воспитательница Любовь Харитоновна Лобода сказала родителям, что если у чьих детей нет носочков к новогоднему утреннику, то в магазине рядом продаются недорогие и очень славенькие. И мы купили. Обоим, чтоб не обидно, только цвета разные.

Идем, поднимаемся на свою гору, не торопимся — ребята в садике недавно пили чай. Иринка первая увидела, что к нам дедушка пришел. И правда: стоит возле крылечка, опершись грудью на посох, такую гладкую палку-помощницу себе он сделал когда-то, и она его очень выручала.

— Ты давно нас ждешь, папа? — спрашиваю и тороплюсь побыстрее открыть дверь.

— Да не больно и долго, но после бани дак думаю, маленько ишшо подожду, а не дождусь дак и домой стану спускаться. Сам-то ничего, спина стала зябнуть да и нога... вроде и опираюсь-то больше на палку, а все одно ноет.

В избе тепло — Секлета в этот день во вторую смену работает, обед сварила, все прибрала и ушла. Молодец Секлета. Теперь, когда ребята подросли и стали ходить в садик, она той порой получила уже паспорт и устроилась на работу в столовую — на раздачу. Она ловкая, в деле быстрая, и очень, как говорится, сразу в той столовой пришлась ко двору.

Я накинула на спину папе старенькую Секлетину шаляшку, пододвинула табуретку поближе к шестку, чай на плите горячий, и я принялась собирать на стол. Поставила большую сковородку картошки, соленых огурцов из подполья достала, хлеба нарезала и велела папе подвигаться к столу — поесть горяченького — быстрее согреется. Снова слазила в подполье, достала капусты да в ковшике бражки. У папы и глаза чуть заблестели при виде той бражки. Поставила перед ним кружку, ложку, положила хлеб нарезанный, пододвину-

ла, сама стала чистить луковицу да крошить в капусту, а ему сказала:

— Папа. Бражка не холодная, попей пока хоть маленько, вон огурчиком заешь, а я тем временем в капусту покрошу луку, да маслом полью. Ребятишки! Вы тоже есть будете? Если будете, то мойте руки да садитесь.

— А дедушка не будет мыть руки?

— Он же из бани! — улыбнулась я папе и подлила бражки, налила полкружки и себе, и принялись за еду. — Ты уж прости, папа, что ждать пришлось да еще после бани...

— Да ниче, Марeya. Не шибко я и замерзнуть-то успел. Зато вот сразу к столу, все горяченькое... Ну, дак на здоровье! — Выпил кружку молодой бражки, взялся за еду. — Витя-то не скоро еще придет, не знаешь?

— Да, наверно, вот-вот подойдет, если опять в шахматы играть не свяжутся. А ты ешь, папа, ешь. И вы, ребятишки, или ешьте, или выметайтесь из-за стола! — припугнула их. Но у Андрея уж нос вспотел — очень они любят жареную картошку.

— Марeya, я бы, пожалуй, полежал, отдохнул маленько, а после с Витей, если дак еще чего поем, чай тоже после попью. А сейчас так хорошо поел.

Я постлала на наш старенький кожаный уж диван ребячье одеяло, подушку. Он снял валенки и как-то со вздохом лег. Я кое-что прибрала на столе, коль чай будем пить, все вместе, взяла вязку — варежки вязала всем троим, смешала шерстяную нитку с ватной; Секлета напярала вату да так ровненько и нетолсто, просто замечательно. Подсела к дивану, а потом спросила:

— Папа, ты, может, поспал бы маленько, подремал, я ребятишек на улицу спроважу, а сама возьмусь за дело тихое — дел всегда хватает...

— Да нет. Спать-то, пожалуй, не стану, ночь впереди, а они, ночи чего-то долгие сделались. Иной раз лежу, лежу...

— Ты не заболел ли, папа? Чего беспокоит-то? Ноги болят или руки, или поясницу ломит? Столько за жизнь-то переделал — не все и припомнишь.

— Я уж ниче матере-то не говорю... сам виноват... да теперь что поделаешь...

— Что случилось, папа? Ну, мне-то ты можешь сказать...

— Дак и скажу, куда деваться-то? Тебе и скажу... Еще прошлой зимой, — негромко и смущаясь начал рассказывать папа. — Утянулся я к куму Николе, в Митрофановку... Видимся редко, а кумовья все же, да и праздник — Масленая неделя. Незадолго перед этим он тоже пришел покупать муку

по заборной книжке. Я по этому же делу в магазине оказался. Припас и деньги, и мешки на обмен. Мать в ларе уж по дну нет-нет да и шоркнет совком... Вышли, покурили и тут он предложил, мол, я ведь на лошади, дак неужели она, кляча ленивая, шесть мешков не довезет. Я, говорит, к вам подверну, сгружу мешки, скажу, что так и так, встретились с тобой, ты деньгами рассчитался с продавщицей, но тут тебя перехватили, чего-то скажу, в контору позвали, вот я и привез. А Семенович, как управится с делами в конторе, так и явится. А ты, говорит, где около покури, подожди, я же с Андреевной ласы разводить не стану — ни ей, ни мне нет на это время. А после мы с тобой к нам. Старухи нет — уехала на масленицу-то на родину погостить, а мы с тобой у нас погостим.

А я, Марeya, хоть верь, хоть нет, сроду мать не обманывал, даже по молодости, а тут мне бы посопротивляться, а я согласился, слова возражения не сказал. — Папа помолчал, не то, чтоб дух, как говорится, перевести, не то от смущения — легко ли во грехах-то признаваться... до старости дожил. — Мы и засиделись. Сколько той бражки выпили — кто мерял? Однако домой-то идти все равно надо. А так мы хорошо посидели, побеседовали, два закадычных друга. Дядя хорошо мне одеться, обнялись, поблагодарили друг друга за компанию, и он проводил меня до путей, чтоб под поезд не попал, насылался и до дому проводить, да я не согласился — время уж позднее, самому отдыхать надо, а мне торопиться некуда: семь бед — один ответ, потихоньку дойду, а если мати спит, дак потихоньку разуюсь, разденусь да и улягусь. Можно бы в бане ночь переспать, но баня топлена уж давненько, выстыла поди... И только я все обдумывать стал, не заметил что с тропинки-то маленько меня отвело, а там камни, всякий чугунный хлам...

Папа отвел глаза и долгонько молчал — переживает. Я не торопила.

— Марeya, время-то уж много, пожалуй, чай попьем, да я потихоньку и домой пойду. Мати знает, что уж если в баню пошел, то скоро не жди: с мужиками встретимся, потом поговорим, потом намоемся, друг дружку напарим, после, когда отдохшимся, пива попьем и тогда уж по домам. Но теперь уж все равно пора.

Я чашки-блюдца на стол, самовар подогрела, чай заварила, пряников на тарелку насыпала и подошла к дивану, погладила его по голове, по плечу и напомнила насчет чаю.

Папа, поморщившись, тяжело сначала сел, потом встал, ополоснул холодной водой лицо, утерся и сел за стол.

— Папа, чего же все-таки случилось тогда? Упал, что ли?

— То-то и оно, что упал да, видно, кость повредил. Снаружи-то ничего вроде не видать, синяк и синяк, токо короста появляться стала, и я, когда уж в баню иду, дак остерегаюсь, чтоб не намочить и приспособил старенькую портянку, обвяжу, чтоб штанами не шоркало по больному... а так терплю... что поделаешь?

Мы, не дождавшись Витю, отправились его провожать. Мы проводили папу до дому. Мама квашню заводи́ла, поглядела на папу — ничего, вроде не пьяный, как всегда, только спросила, чего уж долго-то больно? Он и сказал, что, мол, у Марии посидел маленько, отдохнул, оглядел у ребятишек обутки — ничего, пока терпят, к Толькиным катанкам надо только заднички подшить, пропи́нал уж, варнак. Да и метлу бы насадить надо, ну это уж потом, время есть, торопиться больно некуда.

Я между тем, пока бабушка внуков шанежками угощала, отозвала Азария к лесенке и сказала, чтоб осмотрел у папы ушиблённую ногу — давно, говорит, зашиб, шел со станции да поскользнулся на рельсе, упал, и с тех пор все болит, болит. Я хотела посмотреть, да не надо, сказал, тогда вот и решила, что тебе-то он покажет больную ногу.

Я ждала, не торопила ребятишек, что уже темно, — ничего, дойдем. Замочила белье у мамы, приготовленное на стирку, грязные места хорошо намылила.

— Мама, что Оська Кропачев все еще мыло варит? — спросила я про соседа. — Такое мылкое, пены много и на вид красивое...

— Варит, как не варить? Жить-то надо. Теперь уж только не такое, как бывало, но все равно хорошее. На днях приносил. У отца нога гноиться стала, кальсоны отстирывать трудно, только оно и помогает. А нога, видать, сильно болит — ночами стонет... не дай Господи. Спрашиваю — ничего не рассказывает, мол, болит и болит, што сделаешь? Вон экземой-то как маялся, да прошло. Может, и сейчас пройдет. Пока тепло было, старался больное место на солнце греть, да ребятишки везде поспеют, куда не схоронится — найдут, выбирает время, когда и Толька, и наши в садике...

— Ну, ладно, нам ведь и домой пора, — погромче сказала я, чтоб слышал Зоря и сказал бы, чего там у папы?

И в это время позвал папа.

— Марья! У вас ребячьих чулков много, дак обрезала бы носки, а голяшки-то так хорошо облегают больное место, и белье не пачкалось бы, а то матери все стирать.

Азарий, провожая нас, сказал, что у папы болезнь не шуточная, надо бы в больницу, похоже на костный туберкулез. А уж как он, бедный терпит? Я бы ни за что не вытерпел.

Я маленько посидела возле папы, сказала, что после бани, наверное, полегче будет и поспишь.

— Да уж к одному бы концу. Шибко я, Мария, измаялся... день и ночь сверлит. Мочи нет... стараюсь терпеть, прямо в глазах красные да зеленые искры мелькают. — Приложила руку ко лбу, он не горячий, а липкий пот все выступает. Положила мягонькое полотенце, чтоб лоб, лицо вытирал, один конец намочила, другой оставила сухим.

Утром вызвали врача. Тот поворчал, мол, под лавку бы больного еще затолкали.

— Я тут привык... всю жизнь, вроде и в стороне, когда бывало после дежурства днем поспать надо, и темно, и ребят вроде не слышно, семья ведь.

Папа медленно вылез со своей запечной лежанки, мама помогла сесть на лавку, подставила табуретку под больную ногу, для врача на табуретку постелила чистенькую простыню, сложенную квадратом.

Мама говорит, мол, когда увидела, что там, под опавшей коростой, и заплакала — как он бедный терпит такую боль? Когда я забежала к нашим по пути на обед и увидела врача, быстро разделась, вымыла руки и, закусив губы, приблизилась к врачу, обняла папу и шепотом сказала, что я бывшая медсестра, может, чем надо помочь?

— Молчали бы о том, что бывшая медсестра. До чего довели больного? Надо бы ногу отнимать, но у него такие системы в сердце, такое низкое давление... какая уж тут операция? — Он высоко наложил на ногу жгут, порвал кальсонину, стал обрабатывать рану. Я подаю ватные тампоны и все натираю нашатырным спиртом папе виски. Мама пододвинула детский горшок и врач стал туда скидывать пропитанные ковянистым гноем тампоны. Папа совсем побледнел, кусал губы и сдерживался изо всех сил, чтоб не пошевелиться, не помешать врачу делать дело.

— Ну, парень... извините, доктор, однако мне уж боле не стерпеть... — с сипом сказал папа.

— Еще немножко... немного осталось. Прочистим рану. Она вон уж до кости... — Папа обессиленно закрыл глаза, и сколько я ни натирала ему виски нашатырным спиртом — не морщился, не поднимал склоненную на бок голову, не реагировал на резкий запах спирта.

Папе подложили подушку под голову, чтоб лег, под взмокшую от пота рубашку мама положила на грудь ему головной платок, чтоб сухо было и не холодило бы потной рубахой тело. Мама безутешно плакала и близко к папе не подходила, чтоб не расклеивать его еще больше...

А папе было уже все равно. Он так устал, так страдался, что впал в полусон, лежал недвижно и только время от времени шевелил сухими губами — просил попить...

Врач заложил в рану тампон, густо смазанный коричневой, неприятно пахнущей мазью, забинтовал ногу, попросил мягкое полотенце, чтоб завернуть ногу поверх бинта и взглядом показал мне, чтоб приподняла ногу за пятку, расправил порванную штанину кальсон, увидел у мамы в руках байковое одеяло, накинул им отца по грудь, подоткнул с боков и наказал, что нужен полный покой и сколько будет спать — будить не надо, пить можно давать домашний квас или кипяченую прохладную воду. Если потливость не прекратится, осторожно промакивайте ее с лица, но не беспокойте больного. Что вечером зайдет, посмотрит.

Я не дошла до дому, чтоб пообедать, выпила у мамы стакан молока с хлебом, и то через силу и пошла на работу.

Антонина Николаевна — моя начальница, она же — моя золовка, жена брата, сначала почти с криком начала мне выговаривать, что взяла моду приходить на работу когда вздумается.

Я не могла ей возразить, объяснить и вообще что-либо сказать. Уливалась слезами, уронив лицо в ладони, только кивала, мол, все понимаю, что виновата...

Тогда она подошла ко мне:

— Миля! А что собственно случилось? Я говорю о работе, которую надо выполнять, раз здесь работаешь...

Я опять покивала.

Тогда Шура Семенова, крестная нашей Иринки, решительно подошла к столу редактора и сказала, мол, если можете, оставьте человека в покое. От радости не плачут, неужели не понимаете.

Когда в редакции мы остались с Тоней вдвоем, остальные разошлись по своим участкам, я сказала Тоне, не глядя на нее:

— У нас тяжело заболел папа... очень тяжело. Я не на обед ходила, я была там, у папы...

Работа никакая мне на ум не шла. Позвонила Вите в редакцию, сказала, чтоб он взял детей из садика, а я буду у наших — очень заболел папа.

Когда я пришла туда, отец Константин пособоровал уже папу, мне кивнул, я поклонилась и поцеловала его подставленную руку.

— Теперь на все воля божья. Семена Агафоновича тревожить не нужно, а это все: крупу на блюдечке, иконку в изголовье, свечи, воду святую в стаканчике — можно прибрать. Свечи и иконку — к образам положите, а все это отдайте птичкам.

Мама начала было хлопотать с угощением, но отец Константин легко, необходимо отмахнулся, вам, мол, сейчас не до этого. Я помогла все принадлежности, которые для соборования, собрать, и кадило, и елейное масло, все составила на столе, чтоб отец Константин сложил все по-своему. И тут на полу увидела темную змейку — жгут, забытый врачом.

Проводила священника, поблагодарила еще раз и пошла домой, в гору. Думаю, какой же сильный и выносливый был мой папа в молодости, если сейчас, весь больной и изношенный, и в себе терпит такие муки. Господи! Хоть бы ему полегчало... Пыталась представить его на одной ноге, с костылями, а ему и двух-то ног часто не хватало... Хотя всем казалось, да и мне тоже, как папа умело работает, дело любое делает, вроде и не ходко, как говорят у нас, на Урале, а податливо.

Вот в Витебске побывал, а память на всю жизнь, а и побывал-то как? Был там на солдатской службе. Потом-то, когда стал получать как железнодорожник бесплатный билет, побывал в Москве — ездил не на нее поглядеть, столицу белокаменную, а побольше купить товару: мануфактуры, чтоб всех ребятешек обшить, да и взрослым чтоб хватило. Купил маме коричневого кашемиру на выходное платье, и она его сшила да так удачно, что в нем и в церковь, в нем и в больницу — немарковито и прилично, черный шерстяной полушалок надеет, платье кашемировое, чулки коричневые, но не самовязки, а магазинные и полуботинки на шнурочках. Вот и весь наряд. Папа иногда, бывало, посмотрит ей вслед, если она так вот приоделась и пошла, скажем, страховку платить или в аптеку, и скажет вроде с нежностью или со скрытой гордостью: «Вот оделась и пошла, куда надо, и одета не хуже людей — дешево и сердито...»

А сам всю жизнь в толстовках. На работу ходил в спецовке, а дома в толстовке. У мамы они удачно получались, то из чертовой кожи, то из фланели, то из диагонали, бывали и синие, и черные, и темно-серые. Сверху кокетка сзади с подоплекой, а от кокетки по две глубокие складки по ту и по другую сторону от застежки, и карманы внутренние вшиты, тоже с

обеих сторон, в одном кармане кисет с табаком да спички, в другом носовик — половина износившейся наволочки, мягкая, легкая, удобная одним словом и ни с каким носовым платком не сравняется, в тот-то и сморкаться вроде жалко, а тут — воля вольная. Были у него, конечно, и рубахи праздничные, особенно красивая была коричневая в белый мелкий горошек да синяя, из сатина, но смотрелась, как шелковая. И брюки выходные, и даже лаковые сапоги на высоконом каблуке, еще в магазине у купца Гомозова куплены, но делали раньше все прочно, да и носили не каждый день, только на выход.

Я шла и думала: вот выздоровеет и пусть почаще наряжается, даже когда к нам пойдет.

Ребята уже спали, Секлета полы мыла, — говорит, самое то удобное время — вечером вымыть полы: никто не топчется, не шлендает туда-сюда, к утру просохнет, и пол как новенький. Витя лежал на кожаном диване, газеты читал и намекал, мол мужики на выходные на рыбалку собираются, на Кутамыш.

— Мужики? На Кутамыш?

— Да, мужики. Да, на Кутамыш. Не знаю, как мне быть?

— Ну если ты тоже — мужик, то тоже надо ехать.

— Чего-то ты сегодня вроде как с подковырками, а?

— Да нет. Выходные еще не завтра — послезавтра. Надумаешь, поезжай...

Мы маленько с Секлетой поговорили, она увидела мои заплаканные глаза, наклонилась, в лицо заглядывает, взглядом спрашивает, мол, что случилось? Я так же молчком ответила, что пока нет, слава Богу.

— Давай чаю попьем.

— Ну вот домою и попьем.

— Ну, тогда ладно и так. Очень мне надо лечь. А вы, кто как хотите, может, с Витей попьете? — Напилась холодной воды, умылась, разделась и легла, ровно провалилась.

И только вроде успела уснуть, вижу сон: папа копает картошку, прямо у самого крыльца, откидал снег подальше, разгреб даже не застывшую, а сочную, зеленую ботву и как всадит вилы, так и выворотит гнездо картошек, крупных, кремовых, одна к одной! Я только хотела удивиться: зимой и картошка, да какая! — и сон ушел, зато какая тревога охватила, хоть вставай да беги... не то к нашим, не то куда.

Лежу с открытыми глазами и явственно вижу те картошки у крыльца, только что выкопанные. Тихонько разбудила Секлету и позвала в кухню. Она неслышно встала, смотрит на меня испуганно. Я дверь в комнату притворила и тихо-тихо стала ей говорить о том, как вчера было плохо папе,

а сегодня вот картошка эта во сне привиделась. Не к добру это, чувствую... Я сейчас пойду к нашим, а ты потом ребятишек накормишь и сама или Витя проводите в садик.

— Да ладно, ладно, — торопливо шептала Секлета, — только времени то ведь еще пять часов. Не забоишься идти-то?

— Да нет, не первый ведь раз, и на станцию хаживала. Ну я ушла. Закройся тихонько и еще поспи.

Стучу то громче, то тише — вроде бы и не разбудить, не испугать, и чтоб кто-нибудь да услышал.

Дверь открыл Азарий. Смотрит на меня, будто и не верит, что перед ним я, сестра его родная.

— Ты как узнала?

— Чего узнала?

— Что папка-то умер...

— Я не знала... я только чувствовала... Накинь на себя чего-нибудь и давай вот здесь маленько посидим. Я так... сразу... не могу.

Азарий рассказывает, что пришел домой вчера поздно, в кино с Софьей ходили. Смотрю, папа спит — он еще живой был, он спал на лавке, и удивился: почему здесь, на лавке, а не на своей запечной лежанке? Подумал, тут ему лучше или лежал да не заметил, как уснул и его не стали будить — тревожить. Мама не спит, сидит вон там, ничего не спрашивает, ничего не говорит, только смотрит на папу прямо неотрывно, словно ждет, он вот-вот проснется, пить запросит или... Я ушел к себе спать. Таисья уже спала с Толькой в обнимку. И скоро слышу: мама трясет меня за плечо: «Сынок, встань, проснись... уж ладно ли чего с отцом-то? Может, к Иосифу Григорьевичу сходить, позвать, чтоб посмотрел, послушал, к тому-то врачу, в железнодорожную больницу идти далеко... Спустись в кухню-то, погляди...»

— Ну вот, я и поглядел, а он уж едва теплый, уж не дышит, только селезенка как-то странно хлюпает... Ну, ты иди, а я к Чернобровым.

Я припала к папиной, такой доброй и уже охладевшей груди, плакать не могу, только задыхаюсь... Пришел Черепанов — сосед, и прямо следом за ним и Чернобров Иосиф Григорьевич — фельдшер «Скорой помощи». Сели на подставленные мною табуретки перед лавкой, на которой лежал папа, и стали тихо переговариваться. А мама только шмыгает носом, старается-то тихонько, да как уж тут тихонько. Наладила самовар, чтоб горячая вода была, полусшепотом показывает мне, где взять новую печатку мыла, полотенчико вместо мочалки, где клеенка — чтоб подстелить... Чтоб простыни из сундука

поновой достала, где в ящике лежит полотно и черный сатин, шла бы кверху, доставала бы машинку на стол да и принималась бы шить. Тапочки, белье нижнее и верхняя одежда: рубашка сатиновая и брюки новые, и носки, хотя тапочки-то отдали, когда Егор Малофеевич умер...? А как магазины откроют, надо купить метров пятнадцать синего, черного ли сатину — гроб-то обить, да полотна, да цветов хоть немного — не молодой, конечно, а цветочков все одно надо.

С Азарием поговорили, и он пошел к дяде Сереже Логинову, чтоб про горе наше сказать и чтоб гроб делал... А ты, Мария, зайди в свою сапожную мастерскую — может, там готовые тапочки есть, и Сергею бы позвонить надо — Тоня-то на работу не рано приходит, а время идет.

Иосиф Григорьевич скоро ушел, чтоб выписать нужные документы, с которыми в ЗАГС идти да и могилу копать, могут потребовать свидетельство о смерти.

Черепанов да подошедший дядя Володя Камелин стали обмывать папу: один поддерживает со спины, другой голову моет, так по переменке, с бережливостью и обмыли папу, приготовили в последний путь.

Клава с Иваном Абрамовичем пришли уже к вечеру — далеко им идти-то пришлось.

Папу, обмытого и одетого, положили на узкое дверное полотно, чтоб легче потом перекладывать в домовину, а он покорно принимает все, что с ним делают. Пригласили Марию Сергеевну Поплаухину, чтоб почитала над усопшим.

Я ходила туда-сюда, то в дом, то из дому и все смотрела на то место, где папа ночью копал картошку. Никаких признаков, ничего такого, чего хоть малость какую напоминало о ночном действе.

Секлета написала заявление — заказ, что приготовить на поминки: дома-то кому этим заниматься. И привезут готовое, да чего сами сготовим, и будет чем помянуть.

Зоря и Сергей занимались мужскими делами, договаривались с машиной, с автобусом-катафалком, получили документы. Секлета принесла из столовой в судах обед, и мы накормили своих работников, копальщикам Азарий унес на кладбище еду и выпивку.

Только ни о чем и ни о ком не хлопочет, не заботится папа. Я старалась не отходить от него — как хорошо, что жила у нас Секлета, преданный и добрый человек. Я посидела на папиной седухе, которую «загнали в угол», и, сидя на ней, смотрела в окно, и видела то, что видел с этого места папа, посидела у изголовья гроба, погладила седые крупные волосы,

не кудельно-мягкие, какие бывают в старости у людей, особенно у мужчин; лицо успокоенное, глаза плотно смежены, а с рук так и не удалось до конца отмыть дратвенные полоски, так эти его руки-труженицы и покоились на его груди, хотела сказать — прокуренной, но он никогда не курил в затяжку, только пышал, только дым пускал, а без курева не мог... Как придет, бывало, к нам, поужинает с нами, с ребятишками ласково поразговаривает и за дело примется: то метлы насадит, то лопаты наточит, катанки подошьет, попьет маленько бражки, передышку себе сделает и снова за дело. А когда домой уходить станет, непременно скажет: «Как я славно тут у вас побыл, ровно в гостях погостил».

Теперь уж отгостил навсегда. Папа умер 16 февраля 1953 года. Хоронили его днем. С утра была холодная, дурная февральская погода, ветер, пурга, не успели еще миновать угол нашего длинного огорода, ветер стих, пошел тихий снег, за дорогу от кладбища чуть припушил цветы, положенные в гроб, узенькая белая полоска обозначила на лице разрез губ, на руках снегу почти не было...

Я плохо помню, как все было дальше, потому что крепилась изо всех сил, чтоб не разрыдаться. Зато уж потом, осознав до конца, какого близкого и родного человека у меня не стало... — этого чувства у меня ровно и не было... Похоронили, и дороже на свете человека у меня ровно и не было... Переживаю все это очень трудно. И опять мне кажется, что я всегда и во всем опаздываю. Вот опоздала сказать папе самые, только единственно к нему относящиеся, нежные слова — не успела сказать, опоздала...

И годы идут, не дни, не месяцы, а годы, и по годам я уже пережила своего папу, но не бывает почти дня, чтоб я не вспомнила о нем. Иной раз так бывает трудно — ложись и умирай... и тут уж непременно услышится из далекой дали папин голос, как он по-житейски мудро говаривал: «Иной раз подумаю, дак хоть не живи, а раздумаюсь — дак хоть заживись».

Я не печалюсь лишь тем, что хоть я как бы и пережила его годами и, даст Бог, поживу еще — и буду его поминать, кроме меня, оставшейся в живых из такой-то большой семьи уж никто не помянет его, не расскажет о нем внуку Андрею, правнукам Вите, Жене, Полинке.

Царство тебе небесное, дорогой мой папа! Спи спокойно! Спасибо тебе за меня — Марею, — меня ведь никто, кроме тебя, так не называл. А я этим именем, тобою нареченным, горжусь. Сколько во мне есть доброты и любви — это ты вложил

в меня, назвав Мареей. И я, пока буду жива, буду стараться быть достойной этого имени и тебя, дорогой мой отец.

* * *

Мама редко просила меня о чем-нибудь таком, «деликатном», так сказать. Однажды я забежала попроведать ее, узнать, есть ли лекарства, да чтоб были под рукой, спросить, чего ее больше всего беспокоит, может, чего в магазине надо купить, так я бы купила.

Пришла, мама сидит в своей полутемной спальне, сторбившись, тоненькую свою косицу расплетает, говорит, мол, чтоб легче голове было, а то она вроде стягивает, и голова болит сильнее.

Я расчесала ей волосы, по спине легонько погладила и, почувствовав, как сильно она исхудала, — кожа да кости, как говорится, едва не разревелась.

— Мария, не знаю, как и попросить... ты шибко занята?

— Да нет. А чего, мама?

— Мария, вымой меня, если сможешь... Та где-то все, говорит, на работе, то в командировке, то еще где. Такая непутевая девка выросла. Я бы и сама, да не проворю. Баня напелена, вода есть. А мне, может, полегчает.

Я нашла в ящике белье, кофту теплую, юбку, платок, носки — еще самовязки сохранились, полотенце, а сама глотаю слезы да про пословицу думаю: «Дитя не плачет — мать не понимает». А тут... бедная мама, может, уж месяц не мылась, а мне невдомек... А ведь было время, когда я еще и раздумывала — ехать домой или туда, где полегче прожить можно... Господи! Сколько она нас вырастила, а теперь, чтоб помыли ее — из милости просит, будто я не дочь.

Помогла я маме раздеться, воду в двух тазах приготовила, на полоч старенькую простынку, пеленку ли подстелила — чего нашла в ящике, сначала усадила маму на лавку, но лучше ей лечь — она согласно кивнула, и я, не очень ловко ее поддерживая, уложила на теплый полоч, под голову распаренный веник, завернутый в старую, ее же, наверное, юбку, подложила, сверху, как маленьких купают, прикрыла полотенчиком и стала мыть. Мою и захлебываюсь слезами — руки у мамы детски-тонкие, мышц нет вовсе, только кожа обвисла, шея — одни жилы, живот такой впалый, что если и нарочно втягивать — не втянуть так, ноги как неровные палочки, а кисти рук да ступни — большие — все еще напоминали, что когда-то были крепкие, сильные, выносливые...

Мама расслышала, что я плачу, носом швыркаю, сказала: — Что сделаешь, старость — не радость...

Я поливаю ее поверх полотенчика горяченькой водой, она маленько отдышалась и говорит:

— В иное время платья расставляла, чтоб пошире, посвободней, особенно после родов, а теперь... одно остожье осталось. Ты, если не шибко устала, потри и спину, да попуше, вехоткой, чтоб чувствительно было. Я долго ждала-мечтала вымыться в бане, чтоб кожа на теле скрипела. Ты три, не бойся, мне ведь не больно, да если и больно станет, дак стерплю, зато баню почувствую. А теперь еще маленько пополивай горяченькой-то водой. Я полежу, отдохну и тогда голову мыть можно, веник под шею сместить, чтоб удобней было мыть.

Долго мы с нею мылись, когда окатила ее горяченькой водой из ведра, мама велела мне, чтоб помогла ей сесть. Я хорошо вытерла маму, волосы, надела нательную рубашку, затем кофту, юбку, на ноги носки теплые и ссадила ее с лавки, поставила ноги в приготовленные татарские галоши. Приоткрыв дверь, надела на маму стеженую жакетку, шаль поверх платка накинула, и только мы засобирались выходить в предбанник, там увидели Азария, удивились.

— Долго больно вас нету, дай, думаю попроведаю, а то и помогу. — И он сноровисто взял маму под мышки и шаг в шаг повел ее перед собой в избу.

С того времени я особенно остро почувствовала, как давно болеет мама, как многолетняя усталость все больше наваливается на нее, а она еще находит в себе силы топить печь, варить еду и много чего делает по дому, и такая пронзительная жалость к ней поселилась во мне — нет у меня слов, чтоб передать это. Пока шла тогда домой, о чем только не передумала: вот они, родители, все силы истратили, заботясь о нас, чтоб были сыты, одеты, обуты, да чтоб здоровы... А тут... не только старость накатила, тут и беды одна за другой. Скорей бы Толик подрастал, чтоб мама хоть маленько отдохнула и пожила бы подольше. От нас помощи почти никакой, живем пока тоже в такой нужде — не сказать. Одна пока живет в нас надежда: молодые, здоровые пока, пусть и не совсем здоровые — войну же прошли, но зато живы остались. А мама с папой в войну пострадались, сыновей двух не дождалась, и потом — столько всего было и есть... Бедные и безмерно дорогие мои родители... Теперь вот уж и папы нет... хоть бы мама пожила...

Когда у Виктора Петровича вышла вторая книга, мы с доплатой поменяли нашу милую избушку на большую, в которой и Виктору Петровичу нашлось место — кабинет, хоть и не ахти какой, но отдельный; у ребятшек своя комнатка, хоть и проходная, зато теплая, и еще была комната побольше, она была и нашей спальней, и гостиной. Кухня как кухня. Дом стоял на красивом месте, и в летнюю пору с веранды открывался красивейший вид, и Виктор Петрович, как-то сидел на солнцем залитой веранде, смотрел на слияние рек Чусовой, Вильвы и Усьвы — на «стрелку», потом сказал: «Пока буду жив, никогда не забуду эту дивную красоту! Никогда, где бы ни был...»

Но хорошо было летом, особенно когда в палисаднике черемухи цветут, огород, в котором росли овощи. А зимой углы промерзали: дом оказался очень старый, и печь топили почти сутками.

Сейчас того дома нет. Сгорел. Да ни мы, ни дети и привыкнуть к нему, полюбить жилье в нем так и не сумели.

После вспоминали не сам тот дом, а как залезали на крышу, чтоб снять с трубы палку — антенну, если собирались топить печь, в другое время, чтоб положить ту палку на трубу — тогда появится на телевизоре изображение.

А вот родной дом, который Виктор Петрович самолично строил — вспоминают, любят, жалеют.



А у мамы нашей вместе с папой уже болит голова о том, что в семье прибавление — это дело привычное, как и привычное дело работать им, родителям, с утра до утра, иногда и ночи бы прихватить, так не мешало.

Но пришло письмо от маминого отца, Андрея Прохоровича Логинова, что если, мол, пустите, так приехал бы, а то не знаю теперь куда на старости лет деваться. Партейцы да начальники осмотрели наш дом и подворье, решили, что все в порядке, простои́т долго и в нем, большом и крепком, самое лучшее дело — разместить главную контору. А мне сказали, мол, столько у тебя родственников да детей — неужели бросят на произвол судьбы родного отца?! Я, — пишет Прохор Андреевич, даже не сам, а кто-то за него, — хотел им сказать — объяснить, что в нужде, но в своем доме — уж что там у вас за хоромы? Живет только старшая дочь в своей избе, так у нее своих детей девять душ, да сын возле них ютится, да младшая дочь, покалеченная оспой, — руки ни согнуть, ни разогнуть —

тоже на сестриной, значит, на шее моей старшей дочери живет, и младшему сыну со снохой, как он вернется с военной службы — куда деваться? И чего вам дался этот дом... нету других-то развее? Не для вас ведь все это строено, вся жизнь вложена в него?... Слушать не стали, потому что разумно чего-то решить они не способны. Главных мужиков и работников в Митроках почти не осталось, вот добрались до нашего брата. Напишите мне, из милости прошу, как быть? Если примете, я и под порогом спать согласен, недолго уж осталось, а если нет так хоть камень на шею... Напишите, из милости прошу. Как посоветуете, так и сделаю. Если нет у вас возможности меня принять — не считайте, что грех на душу примете, — какая разница годом раньше, годом позже сойду в могилу... Пропишите, из милости прошу. Ваш тятя Андрей Прохоров сын.

Мама с неделю, наверно, выла, уткнувшись в фартук, а ночи напролет на коленях перед спасителем стояла, молила Господа вразумить грешников да не ввести в заблуждение раба божьего Андрея, отца ее родного...

Ушли веселье и благодать из нашего дома. Папа почернел, мама мечется: то к ребенку, то по хозяйству чего-то делает, а как только прервется, так и завоет...

Нам, от мала до велика так сделалось страшно жить, так было жалко папу и маму, что мы уж и играть не выходили, искали заделье — посильную работу, которой пока ни папа, ни мама заниматься не могли — руки не доходили.

Но мир не без добрых людей. Пришел к нам как-то дядя папин. Николай, из Митрофановки — они и кумовья да виделись редко. Сказал, что от Сергея Андреевича прослышал про письмо Андрея Прохоровича, думал, думал — чтобы к вам-то прийти хоть с советом, если не с помощью, и сказал, что, мол, строиться вам надо, что вон уж и срубы вам в Митрофановке сторговал... Велел маме ставить брагу, а он с кумом да еще мужиков двух тамошних подберут — и раскатают те срубы, разметят и при первой же возможности перевезут их сюда. Велел позвать Сергея Андреевича, чтоб он, как самый в родне грамотный, написал бы Андрею Прохоровичу письмо, что скоро за ним приедем — тут уж решите сами, кто за ним поедет, ведь надо и там как-то с умом распорядиться, не все поди же при раскулачивании-то отобрали. Взять бы швейную машинку, что из одежды, обувь какую, да из белья — на себя — соберемся деньгами, кто сколько сможет, где и перейдем, и надо старика оттуда вызволять. Я бы сам поехал, сказал дядя Николай Митрофанович, дак ведь напьюсь обязательно, и руки зачешутся, и кулаки в ход пойдут, а в данном случае это

распоследнее дело, этим только навредить можно. А я на это очень способный: вятский — мужик хватский! Андреевна, кума, а сейчас-то у тебя бражки не найдется, хоть с полковника бы...

— Я сейчас в лавку сбегаю, зеленого вина куплю... Так ты нам, кум дорогой, помочь взялся...

Но тут папа в разговор вступил:

— Никола! Кум дорогой! Дай нам маленько это горе пережить, потерпи с неделю, если можешь... А так, не сомневайся, уважим как самого лучшего друга. Только неделю нам дай отсрочки... погляди на нее... А у нас ведь ребенок маленький, кабы хуже не наделать... Сколь живем, так трудно еще не жилось... но Пелагия правильно говорит: раз взялись жить — надо жить.

Новый дом, в полтора этажа решили строить посреди огорода, чтоб и от линии подальше, и от ручья, на сухом, хорошем месте. Огород постепенно разработаем.

И тут уж пошла работа. Артель мужиков копали канавы под основание дома. Когда положили первые венцы бревен, тут же принялись выкапывать подполье — как без него?

Главным руководителем или прорабом был мамин брат Сергей Андреевич. Очки сдвинет на лоб, карандаш за ухом, походит, посмотрит, где чего подскажет и занимается делом ответственным: делает подушки и косяки для рам, феленчатые двери, рамы, уносит за стайку и прикрывает их сначала холщовой матрасовкой, а затем заставляет старыми широкими воротами — об этом знает только он и нам настрого наказал не только туда не подходить, но и никому ничего об этом не говорить. У тети Таси главное и ответственное дело было кормить, в первую очередь нас — ребят, и чтоб мама обязательно поела. После еды мы с Калерией мыли посуду, перетирали мыли и насухо протирали клеенку и накрывали стол для работников. После ужина они норовили подольше посидеть, но пока стоит погода, утягивались один по одному на сеновал, иные даже и в баню не заходили, чтоб ополоснуться как следует. Работали, можно сказать, до упаду.

Между тем дядя Костя Юсупов привез два воза глины какой-то, по его мнению, очень хорошей, велел тете Тасе приготовить два десятка свежих яиц, он же привез ящик с ручками, в котором месить глину. Это был самый, пожалуй, торжественный и веселый момент за все время строительства дома. Когда было все приготовлено: выложены стойки из кирпича и залитые разведенной глиной вперемешку с галькой и песком, сделан специальный «настил» и для начала, может, с полметра хорошо промешанной глины, перед кумом из Митрофановки

было поставлено в усторонье решето с яйцами. Ему первому преподнесли ковш пенящейся браги и подали биты, и когда по ковшу опорожнили и остальные три печника, дядя Никола жакнул в середку яиц высыпанных из решета в глину и первый ударил! Смех прокатился по пустому помещению, но дядя не смутился, обобрал с рыжей бороды желтые потеки, стряхнул их в общую яму — и пошла работа!

Я не стану продолжать описывать подробности строительства нашего нового дома, только с удивлением замечу, когда дом подвели под крышу, соорудили и вверху, и внизу чуланы — где можно было до поры до времени спать, а к Прохору Андреевичу тем временем уехали папины племянники, случившиеся у нас в ту пору — ехали-то погостить, да пока дело обернулось иначе. И еще: трудно представить, как мужественно, самоотверженно и мудро решили мои родители на великий подвиг. Постройка дома моими родителями в теперешнее время могла бы послужить показательным уроком самоотверженного и мудрого хозяйствования, когда все шло в дело: старые гвозди выпрямлялись и прибирались, опилки шли на подстилку корове, щепы на растопку, если кого-нибудь зачем-то или куда-то посылали — все выполнялось безоговорочно и делалось на совесть.

* * *

Когда дом был уже под крышей и внешне оставалось подшить карниз, прибить наличники, а внутренняя отделка — работа тщательная, неторопливая, с продуманной планировкой, если сказать об этом громко, то есть, чтоб каждый угол и перегородка служили бы пользе — из небольшого дома надо было извлечь наибольшую полезную площадь, но все это делаться будет уже под крышей, в тепле и, как говорится в поговорке: семь раз отмерь да один отрежь. Мама договорилась с фотографом Гуссисом, обговорив с ним день и час, чтоб все были в сборе.

Шумно и весело шли приготовления к предстоящему событию. На окна повесили новые филенные шторы в пол-окна, которые мы сами расшивали белыми нитками, по рисунку «застилая» белые розы и резные листья, а по низу кисточки. На одно окно поставили трехламповый приемник, смастерил который Сергей — младший, то есть не дядя, а брат, на другое — несколько цветущих домашних цветков в красивеньких кашпо с проносившимися донышками.

В центре, на почетном месте, на табуретке сидит бабушка Андрей Прохорович Логинов, а вокруг его дети, внуки-правнуки, зятьевы-племянники, в основном же дед — мамин отец, мама с папой и мы — их дети.

После я не раз, подолгу, пока не начинали слезиться глаза, всматривалась в родные лица и мне некому было сказать, смотри, ты-то какой был! А ты! А я! А он!.. Никого уже нет в живых и «...я, как есть, на роковой стою очереди...» — это сказала не я, сказал поэт, но суть мысли — одна, и я благодарю каждый дарованный мне Господом день жизни и желаю, старюсь прожить этот совсем маленький остаток моей жизни разумно, а она, как «шагреновая кожа»...

Я отвлеклась, заговорив о фотографии, которая и по сей день хранится у нас дома.

Мама, вроде износу не зная, насадила свое здоровье с такой семьей да со строительством дома. И хотя подрастали уже помощники, но дети становились помощниками, естественно, медленней, нежели возрастали заботы, расходы на житье и всякие житейские сложности и требовали от родителей все большего напряжения и сил.

Спасало, что в трудную пору семья наша была на редкость дружна и трудолюбива, в школе мы учились хорошо, в отличниках не ходили, но и в двоечниках не числились, никто на второй год не оставался.

Мама надолго слегла с сердечной болезнью и, превозмогая боль, руководила жизнью, лежа в постели. Мне трудно без слез вспоминать как она много раз умирала, лежа в постели, когда жизнь ее висела на волоске, но оживала и опять бралась за дело по дому, в огороде и на покосе.

Война кончилась, а горю конца не было... Калерия умерла в расцвете лет, как говорится, оставив сыночка тридцати восьмью дней отроду, тут сестрица Тася пустилась легко и без оглядки в вольную жизнь... Потом умер папа — опора жизни и постоянная, надежная поддержка мамы. Кончилось сено, чтоб кормить корову, пришлось ее продать, и мама вместе с Тасей сходили в горсовет, где располагалась и сберкасса. Иногда, по привычке, ходила с подойницей в стайку — оглядит пустое, неуютное стойло, сядет на порог повоюет, иногда долго, пока не схватимся, где она, найдем, подхватим под руки и уведем, уложим в постель. А она, постель, наверное, впервые в жизни была сухая — всю жизнь с маленькими на ней.

Теперь вот сухо, одиноко и холодно. Таисья неожиданно засобиралась замуж, жених Николай живет во Всесвятской,

Таисья уже беременна... Мама поохала, повздыхала, мол, можно бы и по-людски, что из того, что семья наша бедна, но ведь никто по тюрьмам не таскался, никто не спился, со временем жизнь помаленьку выправится, выберемся из нужды... Мол, привози тогда своего мужа, покажи хоть, посидим, поговорим... Пошла по случаю предстоящего знакомства с новым зятем взять денег из кассы, а на книжке-то всего пятерка... Тася под свою роспись все деньги выбрала — гулять-то надо было на что-то... А чтоб не посадили, вот замуж вышла, забеременела...

Я забегаю к маме на обед, а она, бедная, стоит на коленках перед табуреткой, как перед столом... Печка русская едва топится, а мама пьет теплую воду вместо чая, макает в кружку засохший хлеб...

Мы так с ней горько плакали, и когда она смогла перевести дух, крепче ухватилась слабыми руками за края табуретки и сказала:

— Мария... не надо... лучше помоги мне дойти до постели...

Я сняла с нее старенькие катанки, укрыла одеялом, в грелку налила из чайника горячей воды и приспособила к ногам.

В это время пришел Зоря, сказал, что в командировке был, вот вернулся.

— Мама, ну как ты?

— Жива пока. Мария вон к себе зовет, чего, говорит, прибегу-убегу, а ты все одна да одна... Может, на время перебраться к ней. Правда, Вити нет и как...

А мы уж тихо договариваемся, на чем ее везти? Лидии Григорьевны нет, без нее вряд ли лошадь дадут... «Да мы ж ее на санках, в кошевенках — они большие и широкие, и с бортиками как бы... Они ж на вышке...» — И, недоговорив, вышел из избы и скоро вернулся, с горькой улыбкой сказал маме, что карета подана, погладил ее по голове и сел рядом, а мне велел там все подготовить: подстелить папину шубейку, на нее детское одеяло, шубу оденем на маму, в изголовье подушку, а сверху одеяло накроем...

Азарий устроил маму в сани, закрыл ключом дверь, сменил веревку на более крепкую... И мы двинулись в путь.

Мама сколько могла, еще выпрастывала голову, чтоб посмотреть на свое родное жилище, а потом плотно закрыла глаза и плакала молча.

Маму определили в ребячью комнатку в доме на Нагорной улице, откуда мы потом будем уезжать в Пермь. Комнатка, правда, проходная, но самая теплая.

Азарий сидел в кухне, подтапливал печь, грел воду, кипятил самовар и ел с ребятами пшеничную кашу. А я, как беспомощного ребенка, раздевала маму, велела ребятам занести одежду с саней домой, чтоб была теплая. Поила ее теплым чаем с молоком — у соседки Таси брали, мелконько крошила в него белую сайку, сахарок, мелко наколотый, поставила рядом. Мама немного попила-поела и устала, велела все убрать. Когда все ушли из комнаты, сказала негромко:

— Мария, пощупай-ко, как сердце-то у меня... как челнок...

Я притронулась к маминой груди и затем сильно нажала на то место, куда пробивается сердце... Оно и правда, как челнок у неисправной машины: то заходит ходуном в ее узенькой, усталой груди так, что она начинает перекачивать голову по подушке из стороны в сторону, то сердце делается маленьким и уйдет в глубину и трепещется там беспомощно и суетливо, пытаясь занять свое, для него только определенное в груди человека место...

«Господи! Как ему страшно-то... как оно боится остановиться ведь вместе с ним остановится в маме жизнь. Как же ему помочь?» — плакала я, склонившись над мамой. Тольку послала, чтоб быстрее бежал в городскую поликлинику — она же недалеко, позвал бы Василия Михайловича Трофимова: он все знает, что с мамой... Зоре велела написать телеграммы в Лысьву и тете Тасе — если она не в поездке, чтоб обязательно приезжали, чтоб застали еще сестру-кumu живой, Парфеновым — Клаве с Иваном Абрамовичем — почту они получают регулярно и сегодня же узнают, и хоть Клава да приедет. Сергею Зоря обещал позвонить на работу, сказать, что мама плоха. Может, кому бы еще сообщить, да пока сообразить не могу, а адреса вон в книжке на Витином столе, деньги под книжкой, там же. А потом побыстрее домой. Я буду хоть по частям да мыть маму. Врач придет — надо, чтобы она была чистой...

Я вымыла как смогла маме голову, протерла, причесала волосы, сменила мокрое полотенце, подостланное на подушку. Мама попросила, что отдохнуть бы ей надо, устала. Я заварила кисель на сладком квасу, остудила в сенках и опять, накрошив в него мелконько крошечек, Иринке велела покормить бабушку, осторожно, неторопливо... А сама сменила воду в тазу и начала мыть ноги... А они до того опухли, что меж пальцев просовывала мокрую узкую, как ленточка, тряпочку, сначала

намыленную, затем просто мокрую, и когда перебрала все пальцы, тщательно протерла каждый по отдельности... Так же и пальцы на руках... Под ноги и под руки подостлала детскую желтую клеенку и мыла уже с мочалкой, несильно, но, повозможности, отмывая скопившиеся потные загрязненные места.

— Господи, как хорошо, легко стало... ровно на свет народилась...

— Мама, я не стану мыть тело — ты устала, протру теплым спиртом, скоро врач придет, а ты у нас будешь уже чистой, умытой, переодетой...

— Воля твоя... Только я очень устала...

— Я же быстро, только протру и переодену во все чистое. Я быстро... — Я протирала полуживое, до костей исхудавшее мамино тело, кусая губы, чтоб не разрыдаться вслух. И только переодела ее, уложила, попоила киселем и, собрав грязное белье, собралась унести, в дверь постучали. Сунула белье в чулан, таз с водой задвинула под кровать, открыла — пришел Василий Михайлович.

Поздоровались. Показала, где вымыть руки, полотенчик чистое подала, табуретку подставила и, прислонившись к дверному косяку, приготовилась слушать или исполнять, что посоветует врач.

Он долго осматривал маму, слушал трубочкой, поколачивал по спине, по бокам пальцами, думал о чем-то, глядя в полузамерзшее окно. Чего спрашивал — отвечала. На счет больницы отсоветовал: лишний раз тревожить не надо; сделал два укола, на них мама никак не среагировала — не поморщилась, не простонала.

— Пелагия Андреевна, постарайтесь уснуть. Поправляйтесь понемногу, — и вышел в кухню, сказал приглушенно, что на этот раз он, пожалуй, бессилен чем-либо помочь. Она устала жить, и вот из нее постепенно уходит жизнь... Может, месяц еще протянет, хотя надежды на это мало, может, неделю, а то и того меньше... Сколько ей лет-то? Семьдесят два?.. Посмотрим. Вы и завтра выпишите врача на дом, участкового, а приду я... Ну, доброго всем здоровья. — Еще подошел к маме, но она спала.

Я сказала Зоре, чтоб потом зашел... мало ли. А сама соображала: что бы мне для мамы еще сделать, чем помочь... и тут же мысль: а если она умрет — где у нее лежит все приготовленное для крайнего случая? Не могла же Таисия и на это позариться?.. Господи, да прости ты меня за такие мысли. Прости меня, Господи... Это я от горя... прости...

Мама поспала хорошо, часов, наверное, пять, потом вскинулась, спросила, сколько-то время сейчас. Я сказала, что половина восьмого, отставила тарелку с картошкой — ужинали как раз. Подошла к ней и хотела рассказать — напомнить, как, бывало, мы придем с танцев, заберем со стола в кухне кринку с молоком да хлеб — и впробеги по лестнице. Настроение у нас хорошее, натанцевались, — и едим хлеб с молоком, а хлеб мягкий, а молоко холодное... И тут слышим: «Девки, ско-ко время?» Мы, не сговариваясь, отвечаем, что скоро одиннадцать. Мама поговорит сама с собой, мол, уж вроде и выпалась, а время еще скоро одиннадцать, а глянет на часы — на них уж около двух!

— Я вот вам покажу, какие одиннадцать? Сейчас ухватом отхожу, дак сразу два станет! Кобылы вы колхозные!.. — постучит чернем ухвата по последней ступеньке узенькой лестницы, еще поворчит маленько и не то еще поспать соберется, а иной раз, коль уж разбудилась, так печь растоплять примется: пока то да се, пока хлеб выкатает, да пока тесто подойдет, а там уж и отец придет...

Я хотела напомнить маме об этом, отвлечь ее от горестных размышлений, а она вдруг:

— Мария! На меня ведь не угодишь... Обиходила меня, постель вот чистую изладила все хорошо, только мне ведь домой надо...

— Как домой, мама? Ты ведь даже не ночевала... Врач завтра сюда придет. Спи спокойно, ни о чем не думай. Ребята тихо себя ведут, в избе тепло. Если чего надо — скажи, помогу, сделаю... Чего ж в нетопленную избу, на ночь глядя...

— Я все понимаю, и хлопоты вот лишние со мной, но домой мне, Мария, надо... домой. Обязательно. Сделай милость. Так же вот на санях, как давеча и увезете, а тут еще под гору, дак и легче... Сделай милость... Христом Богом прошу тебя... Домой мне надо...

Что делать, — думаю, — как быть? И отказать — она же из милости просит... Говорю тогда ребятам:

— Ребятишки! Одевайтесь! Все. Сани подкатите прямо к крыльцу, на них постелите вот этот матрасик и шубу, в изголовье подушку... Мы с бабушкой тихонько выйдем, ты, Толик, поддерживай ее с той стороны, я с этой, а там уж на санки-то усадим или лечь поможем...

И повезли мы мою маму в родной дом снова да ладом... Она молчит, не стонет, не плачет, не оправдывает свой как бы каприз. Через линию миновали осторожно, спустились к ограде. Толя позвал дядю Зорю. Тот вышел, очень удивился, взял

маму на руки и понес в дом. А там уж Клава, Сергей и Таисия со своим мужем Николаем...

Мне бы о чем-то разговаривать надо, спросить ли, сказать ли. А я поздоровалась и тут же: «До свиданья». Погладила маму по голове, пожалела и сказала, что мы с ребяташками к себе пойдем, поздно уж, завтра им в школу.

И всю дорогу проплакала, безутешно, какая-то тоже одинокая, без вины виноватая. Ладно, хоть ребяташки тут со мной.

Я не успела уснуть, наглоталась лекарств, голова мне все напоминает, и я не придумаю, чего бы мне ей дать для утешения. На улице холод, звезды небо усыпали. Думаю, как завтра потеплее одеть ребят в школу. Отправлю и прямиком к маме. Как-то она бедная там?..

Мне показалось, я и уснуть не успела, только разболевшую голову донесла до подушки, как громкий стук послышался в дверь. Я не то, что испугалась каких непрошенных, недобрых гостей, подумала, что где-то поблизости пожар. Накинула пальто, сунула ноги в катанки и, прикрыв в избу дверь, чтоб не выстывало, спрашиваю: «Кто?».

— Это мы, Маша, — слышу голос Азария.

Открываю: стоят Азарий и с ним Николай — муж Таисии — об этом я догадалась сама. Но почему он здесь? Они ж во Всесвятской?.. Пропустила в избу, жду, что скажут...

— Маша... — помедлил Азарий, — мама-то ведь умерла... Клава из Архиповки пришла... Сергей. Из Лысьвы пока нет. Что делать будем? А они с Таисьей приехали часа два назад... как знали...

— Ничего мы не знали. Тасю чего-то повесткой в милицию вызывают, вот и приехали... а тут такое дело...

Я спросила, будут ли пить чай? — оба отказались.

— Тогда давайте так... Сейчас ночь. Я на ногах не держусь — голова разламывается. Витя в командировке. Пусть Клава найдет мамин узелок — у нее где-то все собрано, для этого случая. Посмотрит, чего есть, чего завтра купить надо будет. Придется потревожить Конюшиху, чтоб обмыла, я так-то всю ее вымыла, и голову, и руки-ноги, но все равно... хоть маленько. И сразу пусть они с Клавой маму обрядят и положат на стол, пока гроба нет. — Я посмотрела в старом комод — Сергей Андреевич еще делал, нашла пять метров полотна — собиралась шить простыни да прособиралась. Подала Азарию: — Это чтоб разрезали, хватит и подстелить, и накрыть. Я сегодня не помощница. Утром ребят в школу отправлю и сразу приду. А вы уж там времени зря не теряйте: что лишнее — вынесете в

чуланы да в дровяник, чего и в баню... Но маму обмыть и снарядить надо сегодня же... Может, Клава с Таисьей обмоют. Я же говорю, что сегодня только вымыла... Одеть, уложить — это сделайте...

Азарий спросил: «Значит, завтра утром придешь?» А Николай пожал плечами, шапку на голову кинул, и пошли они под гору...

Мама Корякина-Логинава Пелагия Андреевна умерла 29 января 1959 года. Похоронена в одной оградке вместе с папой, с Васей, с Калей и нашей Лидочкой.

Схоронили родную маму, пережившую за свою жизнь все, что только возможно пережить русской женщине: дала миру девять детей, пять из них отправила на войну, ни разу не была детоубийцей во чреве — чтоб вопреки природе; износила свое сердце в горе да в заботах, была уважительна к людям, добра к детям — свой материнский долг исполнила сполна.

Царство тебе небесное, родная мама! Спи спокойно.

Иринка родилась спустя два года после смерти первой дочки — Лидочки. Росла здоровенькая, очаровательная, не по возрасту хитровата, даже иногда по-детски лукава. Ну, к слову сказать. Классная руководительница первого класса, где начала учиться наша первоклассница, на первом же родительском собрании сообщила, что, мол, ваша девочка за четверть сделала тридцать шесть опозданий! На собрание ходил Виктор Петрович и, услышав про опоздания, растерялся: провожаем до калитки, школа через два дома, за углом — и столько опозданий?! Но тут же учительница сказала, что Ира, не дойдя до школы, зато дойдя до катушки, катается в свое удовольствие, является на занятие к третьему уроку, а мне на полном серьезе отвечает, что папа, мама у нее — люди интеллигентные и любят долго спать...

Или ищем дневник по музыке. Учительница жалуется, что Ира пропускает уроки, в дневнике, мол, ставлю двойки и письменно обращаюсь к вам, чтоб приняли меры. Но... дневник исчез, нет дневника! Ищем всей семьей. Иринка ищет тоже. Ни под кроватями, ни в курятнике, под столом, за умывальником — нет нигде. Когда кто-то из нас полез в подполье за овощами — дневник белеет в лазейке для кошки.

Как-то с вечера начавшаяся метель занесла избушку нашу по окна и в ограде намела высокий сугроб у дверей. Утром нам на работу, детям — в школу и в садик, а открыть дверь не

можем. Долго возились, и тогда отец сказал Иринке: «Доченька! Нам, сама видишь, не пролезть, давай мы приоткроем дверь, сколько можно, и ты вылезешь, и лопатой, которую я тебе подам, нас откапашь, сколько можно». Иринка не успела придумать отговорку, как отец вытолкнул в щель и следом протянул ей лопату. Иринка угодила в сугроб вниз головой, как-то выпросталась и заругалась: «Гады! Паразиты! Дураки! Не буду вас откапывать, сидите там», — и то плачет, то носом швыряет, то ругается...

Когда ей было годика четыре, к нам погостить приехал отец Виктора Петровича, Петр Павлович, ее дед, кудесник и куралесник, выпивоха и плясун, и что бы ни случилось — никакие огорчения и переживания в себя не принимал; такая легкая натура! Сидим за столом, сын с отцом-гостем выпивают, едят пельмени и еще чем закусывают, разговоры ведут, в основном Петр Павлович, в основном про моряцкую жизнь, потом смотрел-смотрел на сына и сказал: «А ты, Виктор, постарел!...»

Виктор Петрович взорвался:

— А ты думал, я помолодел?! Какую ты нам жизнь устроил, помнишь?

Петр Павлович ко мне за подмогой:

— Маня! Милая Маня! Че он на меня так-то? Я ведь отец ему!...

Я долго сдерживалась, прислушивалась, как Виктор Петрович в своем кабинетике, на диване, не то всхлипывает, не то кашляет с сипом, говорю своему свекру-гостю:

— Петр Павлович! Ваш сын сам уже семейный человек, вот вы бы и сказали-посоветовали, чтобы он не повторял ваших ошибок...

В этот момент Иринка веселую пластинку поставила на патефон, накрутила ручку и, дождавшись «комаринской», потащила деда плясать. И он тут же разулся, погладил внучку по голове, сказал, что в Сибири не пляшут, в Сибири бацают, — и с большим удовольствием начал топотить на пару с внучкой.

Я не буду рассказывать о том, как он добирался к нам, хотя мы не раз и не два ходили его встречать к поезду, думали, перепутал номер поезда или вагон... Но он, среди ночи-то, побывал у соседей, у которых мы никогда не бывали, только здоровались, там еще принял, и тогда сосед доставил его к нам, через ту самую плотину, когда Андрейка, катаясь с горы на санках, не вырулил и упал, на спину женщине, полоскавшей белье и она его после все называла своим крестником. Сосед извиняется, мол, побеспокоил, но вот зато гостя привел...

У Иринки много от него было в характере, манерах и поступках, особенно в детстве, до удивления много. Только аккуратность его ей не передалась. Тут ближе внук Андрей — всегда аккуратен, не запачкается, ничего не порвет, учится нормально, хотя классная как-то на родительском собрании пожаловалась на него, мол, не работает на уроках. Пришел отец домой и спрашивает у сына, почему он не работает на уроках? Он прямо ответил, что не девчонка, чтобы руку тянуть, надо, пусть спрашивает — отвечу. И весь сказ. И отец не раз говаривал, мол, тебе бы маленько от Иринки, а ей от тебя.

Пока ребята наши были детьми — большого горя не знали, но когда стали входить в возраст, тогда наша жизнь «повеселела». Начнет Иринка, бывало, пол мыть, в своей комнате вымоет, в отцовском кабинете — мы тогда уже жили в Перми, — поставит ведро в большой комнате на середине, тряпку бросит, откроет пианино, сядет и запоет, то: «Сама полюбила, никто не велел...» — поет во всю головушку, слезы как горох... Или: «Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда слушал ты песню мою...» Захлопнет крышку, умоется, попьет воды из-под крана — и пошла мыть дальше. В другой раз почувствует, что папа маленько выпил, снова к пианино и, чтоб ему потрафить, запоет да так, вроде камертона: «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки, позарастали мохом-травой, где мы гуляли, милый с тобою...»

Поют папа с дочкой, заливаются. И настала пора, когда и за руку не возьмешь, и куда пошла-то смолчит, то ответит, мол, в одно место. «Когда придешь?». — «Не знаю».

А поэт Владимир Башунов об этом скажет:

Звезда утренняя, звезда вечерняя.
Судьба материнская, судьба дочерняя —
И обок стоят, да врозь.
Одна вспоминает, другая мечтает.
И кто им друг друга услышать мешает?
Ведь все они видят насквозь!
Ах, доченька, что ты затеяла снова?
Ах, мама, я выросла, честное слово.
И думать умею сама.
Мы были совсем не такими... Не надо!
Мне все эти речи знакомы с детства.
А сердце? Достанет ума!
Та скажет одно, а та переиначит,
Одна запоеет, а другая заплачет...

И, повзрослев, она как-то не смогла определиться в жизни. Техникум не закончила, институт не закончила,

заимела двух детей, Витю и Поленьку, оставив мужа, воспитывала одна — везде и всюду сама и никто не знает, сколько она недоспала ночей, сколько просидела у кровати, когда то один заболел, то другая... Пожаловаться бы, да кто поможет, кто изменит? Нас щадила, как могла, израсходовала безжалостно свой жизненный резерв, сократила свою единственную жизнь и вот уж шесть лет покоится на деревенском кладбище. Может, и душа ее уже поуспокоилась, а наша боль, наше убийственное горе не убывает...

Как-то побывали у нее на могилке, приехали с кладбища домой, помянули, начали обедать, и тут Виктор Петрович как заплачет! Никогда, говорит, не придавал значения своему возрасту, а теперь глубоко и горько сожалею о том, что так уж много лет нам и так малы осиротевшие внуки...

* * *

Племянник Толя жил у нас, рос вместе с нашими детьми, не всегда вкусно ел, как и наши ребяташки, не всегда нарядно был одет, как и наши ребяташки. Рано вместе с дядей навострился рыбачить и полюбил реку и лес. В Перми закончил с отличием техникум строительный и по совету дяди Вити, коль оба заядлые рыбаки, попросил, чтоб его «распределили» в Уссурийский край — там тайга, там рыба, там экзотика!.. В Перми осталась его невеста, Иринкина подружка, очень милая и скромная девушка Оля Гаврилова.

Но Толя, едва начав работать, почему-то скоро решил, что строителям выпивать как бы само собой положено, и быстро увлекся этим «делом». Когда Виктор Петрович надумал переезжать в Вологду, надо было, чтоб Толя вернулся из дальних краев, мы бы оставили на них квартиру и им полёгче было бы начинать свою семейную жизнь. Оля привезла Толю в Пермь, они поженились, через год появился у них сыночек Арсений. Оля терпеливо и самоотверженно пыталась отлучить мужа от недуга — не смогла. И с Толей пришлось расстаться... Ему теперь уже сорок семь лет, а он растратил все, из чего состоит нормальная жизнь у человека, да в таком еще хорошем возрасте, и нет у него ни дома, ни семьи, ни здоровья...

Однажды приехал к Виктору Петровичу из Москвы молоденький журналист. А Виктор Петрович как раз работал над рукописью повести «Пастух и пастушка». Уважая всякую работу, отодвинул в сторону свою рукопись и приготовился слушать или беседовать. И тот вдруг просить начал, чтоб Виктор Петрович чего-нибудь наговорил ему на диктофон, с

которым и обращаться-то по-настоящему не очень мог. Виктор Петрович пожал плечами, на меня посмотрел растерянно, на свою рукопись и говорит журналисту, что я, мол, уважаю работу и вот, видите, ради вашей отложил свою. А вы меня просите чего-нибудь «наговорить». Ко мне нужно приезжать или приходить готовым для работы, как поступают, кстати, и столичные журналисты. А вы — «наговорите». Я ничего вам «наговаривать» не буду, еще раз повторяю, чтоб вы и мою работу уважали тоже. Тот умолял, почти плакал, мол, меня в штат не зачислят, квартиру не дадут, а у меня молодая жена, ребенок...

Виктор Петрович не дослушал его, велел мне накрывать на стол, гостю показал, где туалет, где можно вымыть руки, а потом, мол, милости просим к столу.

И вот сидят они за большим столом друг против друга, выпили, закусили. Виктор Петрович долгонько смотрел на журналиста и сказал:

— Ты знаешь, Саша (так звали журналиста), я завидую молодым, но не таким, как ты, а кому за сорок, но еще не пятьдесят. Прекрасный возраст! В этом возрасте человек меньше совершает легкомысленных поступков или иных безрассудств, уже начитан, может убежденно делать какие-то обобщения, реже заблуждаться и многое успеть сделать...

Я долго здесь вела речь о «прекрасном возрасте», когда уже за сорок, но еще не пятьдесят, думая о своем племяннике Анатолии, симпатичном когда-то парне, начитанном, азартном спортивном болельщике, и так вот, запросто, далеко не лучшим образом распорядившимся своей жизнью. Сейчас ему сорок семь лет, а он состарившийся, почти разрушенный человек, и все из-за слабости к спиртному. И именно здесь приведу стихотворение В. Захарова «Случай на выставке».

Над суетою монотонной,
Недосягаемо чиста,
Плывет Сикстинская мадонна,
И отступила суета.
И мы глядели снизу вверх,
И вдруг в каком-то исступленье,
Перед картиной на колени
Небритый рухнул человек.
В торжественно гудящем зале,
Где созерцалось божество,
Он плакал пьяными слезами
И не стыдился никого.
Он руки покаянно поднял,
Он сам себя казнил, крушил:
— Я понял! — он кричал, — я понял,

С какими стервами я жил!
О, как рыдал он просветленно,
Открывший, что он потерял!
— Прости меня! Прости, Мадонна!
Он одержимо повторял.
Забыв, как надобно молиться,
Он над собою суд вершил.
Покинув пост, сержант милиции
К нему на выручку спешил.
Забавный случай. Станный случай.
Он почему-то мучит, мучит
Воображение и поныне,
И вспоминается не раз.
Не потому ли, что гордыня
Мне на колени пасть не даст.
И где Мадонна в век мотора?
К кому лечу? Зачем лечу?
И мне б кричать: «Прости, Мадонна!»
А я молчу...

Я очень часто и тревожно думаю о своем племяннике Толе, оставшемся от мамы тридцати дней, думаю и про себя надеюсь, на его просветление от пьяного, притупившегося уже угара, может, и он над собою такой праведный и горький суд совершит? И еще во мне живет, правда, слабая, но надежда: наш сын Андрей и двоюродный брат Анатолий хоть и не часто, но встречаются, бывают рады этим редким, почти всегда случайным встречам и, может быть, не скоро, не сразу, но со временем Толя прислушается к убедительным и настоятельным советам своего младшего брата, образумится и хотя бы оставшуюся, пусть уже и не большую часть жизни своей проживет достойно, хоть с небольшими радостями, душевной светлостью и приятными неожиданностями.



Виктор

II

Виктора Петровича зачислили на учебу в Москву на двухгодичные Высшие литературные курсы, и он пермякам-писателям и писательскому начальству заявил, что после курсов в Чусовой не вернется, ему даже дорога на электричке от Чусового до Перми и обратно, пока он сотрудничал на областном радио обрыдла, что из-за отсутствия творческой среды, от глухой и чумазой, где даже снег белым не бывает, когда и кошки, и козы, и люди — все серые и чумазые, устал, глядеть уж не может и жить далее не будет.

В Перми, в центре города, строился дом, в котором и была вырешена Виктору Петровичу квартира. Пермское и, в частности писательское начальство урезонило Виктора Петровича, мол, здесь родился как писатель, организация уже по-хорошему заявила о себе и пополнилась еще одним членом Союза писателей, и как-то не очень благодарно он поступит, если уедет в другой какой край или город. Тогда и взялись руководители города решать квартирный вопрос для писателя Астафьева.

В издательстве главным редактором работал удивительный человек, образованнейший и деликатный — Борис Никандрович Назаровский. У него на бывшем Винном заводе — так, по привычке, называлось то место — была дачка, вернее банька, приспособленная под дачку, и Виктор Петрович очень его просил подыскать для него избушку, да хорошо бы поближе к речке — как же он без природы-то, без рыбалки-то?! И Борис Никандрович в скором времени встретился с бывшим мельником, жившим в деревне Быковке и продававшим свой дом вместе с пристройками. Сначала Виктор Петрович с Борисом Никандровичем сходили туда — деревня небольшая, стоит на очень красивом месте, от большой воды с парохода идти километра три, а внизу, около дома, за баней течет говорливая, до слезы прозрачная и студеная вода — зуб ломит, — и харюзакки водятся! В угоре — клубника, дальше — земляника, малина. И дорога от Винного до Быковки идет сквозь сосновый бор и по обочинам черника да земляника...

Купили мы эту избушку и долго приводили ее в порядок и артельно, и поодиночке, только две старых ямы сосгнившим срубами, где когда-то хозяева хранили овощи — забили хламом до отказа.

Много, очень много потребовалось времени, силы, упорства и еще Бог знает чего, чтобы привести все в нормальный жилой вид и состояние. В одной «конюшке», выбеленной, оклеенной, с ровеньким промытым полом, который покрыли двумя половичками, мы оборудовали кабинет Виктору Петровичу. В другой — столовую с раздвижным круглым столом посередине, над ним висячая лампа, у стен скамейки и табуретки, незастекленное окно затянули марлей — и это было любимым местом, где, после обеда или ужина подолгу засиживались за разговорами, и про книги, и про рыбалку, охоту, и, вообще, «за жизнь».

Или под развесистой черемухой, за столиком, вкопанном ножками в землю, пить чай или холодное молоко, или бражку — все шло за милую душу.

Мы, большую часть времени летом и даже зимой проводили с Виктором Петровичем в деревне. Конечно, плохо, что там не было электричества, иногда работал движок, но переменчивое его напряжение еще хуже утомляло глаза. А работало там Виктору Петровичу хорошо. С утра, после завтрака он почти ежедневно, если ничего не мешало, сидел за столом. Я, сделав дела по дому, усаживалась за машинку, которую устанавливала на кухонном столе, а поскольку почерк у Виктора Петровича далеко не каллиграфический, да еще прав-

ленный и не по разу, то я уж привычно читала текст вслух, и если язык спотыкался, значит, неправильно прочитала — обчиталась или не так разобрала правку. Помню, сидела на раскладушке в кухне жена близкого друга Виктора Петровича — очень они подходили друг другу: смеялись, так уж во весь голос, раскатисто, пели — тоже, а уж болельщики были хоть за футбол, хоть за хоккей, бывало, схватятся, хоть разнимай, и объединяло их еще и то, что Александр Моисеевич Граевский, тоже бывший фронтовик, а в ту пору писал рассказы, и когда Борис Никандрович ушел на заслуженный, как говорится, отдых, стал главным редактором Пермского книжного издательства. Мы дружили, гостились, и они часто и не по одному дню гостили у нас в Быковке. Я печатаю «вслух», Ольга сидит, покуривает, опустив голову, и когда я прервалась да не на минутку, она и спрашивает: «Ты чего замолчала?»

Много Виктор Петрович сам читал вслух, с интересом слушали, когда читали другие, потому что наезжий-то гость к нам бывал в основном литератор рыбак и охотник... Ольга приспособилась слушать и таким вот образом, когда я печатаю «вслух»...

Однажды один писатель привез и оставил рукопись своих рассказов, даже не вычитанную. Вите это не понравилось, и он сказал, что на следующий раз ему выскажет про это неуважение — ни ко мне, мол, ни к труду своему...

Они утром рано ушли на охоту. Я управились с делами, еще раз пробежалась по двум-трем рассказам, сварила обед, обдумывая что к чему, села за машинку и написала «Школьное сочинение», не принимая свое творение всерьез. На другой день подладила, подчистила, снова перепечатала и убрала. Когда приехали домой, в город — Витя на охоте простыл и его постоянно подкарауливала пневмония, значит, надо побыстрей лечить его сподручными, так сказать, средствами. Он лежит на диване, я горчишники ему налепила и воспользовалась случаем, прочитала ему свое «Школьное сочинение». Он послушал — куда деваться-то, потом, пока одевался, спрашивает: «А кто это написал? Совсем неплохо. Ты, что ли? Надо будет предложить для начала в областную газету...» И немного дней прошло, приходит он домой, кладет мне на стол газету и говорит:

— На любуйся! К добру ли, нет ли, но вот... напечатали.

Так впервые был напечатан мой рассказ «Детские годы» — так тогда назван был тот рассказ.

Потом, когда я рассказ свой дописала, его напечатали в альманахе «Уральский следопыт», под названием «Ночное де-

журство», позже, когда рассказ уже перерос в повесть «Отец», был издан отдельной книгой в Перми и переиздавался много-много раз. Последнее издание повести «Отец», уже дополненное новыми главами, было выпущено в «Детской литературе», и я на эту книгу получала — да и до сих пор иногда приходят письма — отзывы, школьники писали по этой повести изложения или сочинения, и мне она особенно дорога тем, что писалась легко, со светлой печалью.

Несмотря на то, что я, живя в Быковке, тонула и едва меня спасли — в Камском море, что там меня «нашел» энцефалитный клещ.

Но слава Богу, живу. И по-прежнему, несмотря ни на что, считаю, что в Быковке прошли наши лучшие годы, как много друзей приезжали к нам туда и велись длинные, интересные разговоры. Какие мы тогда были еще молодые и иногда даже до отчаянности веселые. Все это будет долго и светло печалить мою душу. Осталась и живет в сердце надежда, живет любовь, неизменная и неистребимая. А печаль от расставания — так она, печаль, не любит оставлять радость в одиночестве, так было во веки веков, так есть и поныне...

А расстались мы с Быковкой потому, что Виктор Петрович решил сменить место жительства и переехать в город Вологда. До этого, года два-три назад, когда он получил такое предложение — переехать в Вологду на жительство, — Виктор Петрович тут же отказался, сказал, что здесь большая влажность, и я со своими слабыми легкими здесь сразу погибну. Я подумала, как он разумно решил — последнее здоровье оставлять здесь, в Вологде, наверное, не стоит.

Но когда он вступил в «тайную» почему-то переписку насчет переезда в Вологду — я не расспрашивала, я только чувствовала. А однажды, когда в его кабинете был наш общий знакомый, и он дал почитать ему телеграмму о том, чтоб приезжал и выбирал квартиру по сердцу, но, завидев меня, втолкнул ее в ящик письменного стола и сбивчиво забормотал, не зная, о чем говорить, чтоб замять прерванный разговор, — я избавила их от этой неловкости, ушла.

Дни идут. Пока о переезде ни слова, ни полслова, вечером вдруг они с Ириной — Андрея уже проводили в армию — «пошли на меня союзом». Ирина прямо как на собрании выступала, настаивала и предлагала мне быть умной, если я на это способна. Виктор Петрович сказал, что вопрос о переезде уже решен, а если ты не хочешь ехать — оставайся лавка с товаром.

Я вышла из дома, ушла в скверик, села в отдалении и многодум передумала. Ведь если бы по-хорошему, то отчего бы и не переехать? Знакомых в Вологде много, близко от Москвы и от Ленинграда, значит, и туда к нам будут приходить и приезжать интересные люди. Без квартиры не будем, и вообще, везде живут люди. Но там большая влажность и место это не для его слабых легких, а вопрос, оказывается, уже решен.

Для меня переезд в Вологду был даже наилучшим вариантом, коли переезд тот неизбежен, в доме у меня те же дела: машинка печатная, машинка швейная, машина стиральная, та же кухня, уборка дома, если выдастся время для чтения, которое и здесь, в Перми, выдавалось нечасто и нелишка, зато уж на вес золота.

Короче, «домашняя» жизнь для меня всегда была домашней, хоть в Перми, хоть в Вологде (потом) и в Сибири. Пермь было жаль покидать: город музыкальный и театральный и посещения концертов или спектаклей были всегда праздниками, и это очень украшало, или лучше сказать, наполняло радостями жизнь.

Вологда — город старинный, красивый, какой-то полудеревенский, есть реки Вологда, Сухона, Тошня, Комела, да и, наконец, Кубенское озеро. Главное Вологда — нейтральная полоса.

Но больше всего мне было жаль милую сердцу Быковку. «Двадцатого века печаль», как сказал о ней знакомый поэт... И в моей растревоженной душе и памяти все ясней и живей представлялась мне тогдашняя наша жизнь.

Под утро меня в моей «засаде» отыскала дочь Ирина, нашла и по новой принялась обвинять меня во всех грехах, вплоть до того, что я отцу всю жизнь загубила.

* * *

В Вологду мы приехали февральским вечером в 1969 году. Народу на перроне оказалось много и не сразу к вагону пробилась нас встречающие. Пока здоровались, познакомились, обнимались в толчее, разбирали вещи, Николай Рубцов — я только его одного, кажется, в ту пору не знала лично, а так была знакома со всеми. Николая Рубцова знала по стихам раньше, чем состоялось наше личное знакомство.

А личное знакомство произошло в феврале 1969 года, когда наша семья переехала жить в Вологду.

Когда я подала ему руку на вокзале, обрадовавшись догадке, что это и есть Николай Рубцов — я видела его портрет, —

он, чуть улыбаясь, уставился на меня своим острым в прищуре взглядом, вроде даже колючим, и сказал серьезно:

— Рубцов!.. Вы обратили внимание: встречать вас пришла вся вологодская писательская организация! Вот и я пришел тоже... чтобы в полном составе.

Тогда мне это показалось желанием выглядеть оригинальным и не очень понравилось, и недоумение посетило: Рубцов, написавший «Звезду полей», и этот — один и тот же человек! Это, может быть, еще и потому, что я по стихам вообразила его себе вовсе не таким. На Коле темное пальто, шапка пирогом, шарф пестренький, довольно легкий для зимы, небрежно высовывался одним концом поверх пальто; на ногах — разношенные валенки, а на руках — деревенские варежки-самовязки из овечьей шерсти, новые, видать, даже не запушились еще, не обмялись. Руки отчего-то он все время держал напряженно, прижав большие, остро завершённые пальцы варежек к ладоням. И мне опять показалось: он нарочно руки так держит, напоказ, как бы «работает» под деревенского мужика. Отчасти это так и было. Я после не раз буду убеждаться, что ему иногда нравилось «выглядеть» неряшливо, пальто будто с чужого плеча, широкое, с длинными рукавами, помятое, шапка тоже, валенки стоптаны... Объяснял он это тем, будто проверяет, как же друзья и вообще люди к нему относятся, что думают о нем и что в нем ценят больше: его внешний вид или его душу и талант.

В тот же раз, присмотревшись повнимательней, решила, что варежки ему просто велики. И тут не удержалась, уж пристальней всмотрелась ему в лицо и опять встретила с его прищуренным взглядом, не только колючим, пронзительным, но и настороженным, беспокойным, что ли, необыкновенно странным, одним словом.

Почти точное определение его взгляду «тяжелый» я уже после смерти поэта прочту в стихотворении Станислава Куняева, посвященном Николаю Рубцову. Прочитаю и удивлюсь, как тонко, как точно, как проникновенно сказал о нем С. Куняев: «Кровный сын жестокой русской музы!» — прекрасно сказано, и взгляд его, «ни разу не терявший беспокойства» — все точно.

На другой день нашего приезда в Вологду к нам зашли друзья-писатели и мы пошли к собору Софии, на берег реки Вологды. Смотрели на рукотворное древнее чудо — на храм удивительный, тихо переговаривались.

На реке народу видимо-невидимо — люди праздновали Масленую неделю: взрослые и ребяташки катались на санках,

на фанерках с не очень крутых берегов; другие скользили на лыжах, третьи играли в снежки. Шум, хохот... А чуть в стороне от Софии, в загородке, как хоккейная коробка, в углу которой дымила тоненькая труба, перед темной, парящей прорубью присели на корточки или припали на колени, подсунув под них сухие половички или рукавицы, женщины — полоскали белье.

— Мы в детстве тоже... — вдруг заговорил подошедший Николай, заметив, с каким радостным изумлением наблюдаем мы за весельем яркого многолюдья. Но отчего-то не про детство, не про зимние проказы стал он рассказывать, а про то, как он любит летом провожать пароходы. — Сяду на зеленый в одуванчиках берег, закурю, задумаюсь и жду гудка паровозного, не сравнимого ни с каким другим, смотрю, смотрю... А пароход белый-белый! А берега зеленые-зеленые! И сделается охота побежать по траве босиком... как в детстве, сшибая ярко-желтые, а то уж воздушно-светлые головки, чтоб подольше не терять из виду пароход...

Вечером того дня все собрались отметить наш приезд. На столе — вино, закуски, шаньги! Не ватрушки, а именно шаньги, с картошкой, с творогом, со сметаной — на любой вкус! Каждая с тарелку величиной. Наверное, только в Вологде выпекают такие пышные да аппетитные и продают их повсюду, на каждом углу. И едят их все походя.

Скоро заговорили все разом, смеялись, читали стихи. Николай Михайлович почти весь вечер играл на гармошке. Пил он мало, то ли не в настроении был, то ли не хотел производить плохое впечатление — не знаю. А пел много — и так пел! Пел свои стихи, подладив под них музыку, — сочетание необычное, великолепное, великолепное еще, может, потому, что как пел сам он свои стихи-песни, так никто не сможет.

Я и потом, уже после его смерти, буду часто слышать его песни в семейном кругу, в кругу друзей, даже сама буду подпевать, и все вроде будет так и уже не так.

А Николай, устроив гармошку на узеньких коленях, чудно переплетая ноги, — он их действительно как-то по-чуждому переплетал, как бы обвивал одной ногой другую! — прошелся по клавишам, посмотрел в пространство, мимо или сквозь сидящих за столом, и, отвернувшись вполоборота, запел:

Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...

Слова-то какие! Шесть слов, а перед глазами целая картина — видение природы!

Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...

Рубцов откинул голову, веки почти смежены, лишь бритвенно сверкают глубоко в прищуре глаз, мгlisto-темные, остро-лучистые, брови горестно сдвинуты, на шее напряглась и пульсирует, бьется крутая бугристая жилка, и голос уж вроде на пределе, в нём тоска и боль, тревога и сожаление, ожидание и отрешенность.

Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыдание,
И высокий полет этих гордых прославленных птиц...

Смолк, расслабил руки, склонил голову. Притихло застолье. Некоторые запokaшливали, за сигаретами потянулись.

— Коля! Это же прекрасно! — произнес Саша Романов. — Эти журавли... — Сдвинув брови, он пытался мысленно сравнить их с чем-то таким же, им под стать, и чувства свои выразить хотел, но не смог в момент этот и воскликнул: — Что же ты с нами делаешь? Коля?!

Опять все заговорили, зашумели, задвигали стульями... И так будет всякий раз, когда Николай запоет свои песни: не будет вокруг равнодушных, каждый по-разному, каждый по-своему, но каждый будет переживать смятение и радость, тоску и восторг, боль и наслаждение — чувства удивительные, необычные, непременно возвышенные.

Время идет. Я уже знаю о незадавшейся личной судьбе Николая Михайловича, о том, что у него есть уже жена и дочка — живут в Тотемском районе, в Николе. По рассказам уже представляю их себе. Но он никогда не рассказывал о том, как переживает разлуку, даже не разлуку, а разрыв с родным человеком, со своей женой, то ли так и не ставшей ему близкой, то ли отчуждившейся в силу каких иных обстоятельств. Не доведется мне услышать от него такое, хотя мы будем часто и подолгу вести с ним всякие разговоры у нас дома, когда Николай зайдет «попроведать», как он говорил. Дочку он вспоминал часто, говорил, какая она смешная, что зуб вот передний выпал, что любит ее и жалеет, тоскует и мечтает, что вот поедет туда и целыми днями будет с нею. Или с нетерпением ждет, когда ее привезут в Вологду.

В другой раз Рубцов поет уже не про журавлей, а о земном, о человеческом сокровенном:

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут тихо поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока...

И сразу неуют, непогода, холодок вселяются в нутро — так зримо, так явственно предстает картина надвигающейся осени и в природе, и в душе, и предчувствие: вот-вот разразится беда, горе, трагедия между людьми, любящими и страдающими. И поет он сейчас совсем не так, как пел про журавлей. Горестно поводит головой из стороны в сторону, не поднимая глаз, будто не решается, не хочет спугнуть видение-воспоминание, будто вслушивается в прошедшее-минувшее, думает, печалится.

Рубцов — поэт, и по его стихам можно, если не проследить, то почувствовать состояние его души, а почувствовав, невозможно не сопереживать.

Позже я узнаю о том, как тетя Шура — добрая и ласковая няня в детском доме, где воспитывался мальчик Рубцов, — чаще чем других ребятшек, незаметно оделяла его вниманием: то сушку даст, то слово ласковое скажет. И маленький Коля тянулся к ней, как к родной. Подойдет бывало к ней и скажет: «У меня рубашка запачкалась». И она даст ему другую, чистую, и неряхой не обзовет, не поругает. «Тетя Шура, у меня пуговка оторвалась», — снова обратится к ней мальчик. И она пришьет ему пуговицу, может, мимоходом и носик утрит, по головке погладит, шнурок ли на ботинке завяжет...

Чуткая и нежная душа, он боготворил тетю Шуру и вместе с ней боготворил беспредельно, всем своим существом, окружающую его природу родного края. В это время он пока не умел выразить свои чувства высокими словами. Но когда на выпускных экзаменах за седьмой класс в школе будет дана тема сочинения «Мой родной край», Николай светло и удивительно поэтично расскажет о «родном уголке», так, по-своему, назвав сочинение.

Это сочинение, написанное ровным красивым почерком в обыкновенной ученической тетради со светло-зелеными строчками, лежит сейчас передо мной, и я думаю о том Рубцове, который, как его сверстники, был обыкновенным парнишкой, мечтателем и заводилой, драчуном и преданным в дружбе, и в то же время уже необыкновенным — уже в ту пору он был «сочинителем», иначе разве он мог бы сочинить встречу с медведем и вообще столь блистательно написать сочинение.

И все-таки Николай Михайлович вместо того, чтобы сесть за руль комбайна и «зашибать» большие деньги, как ему

настоятельно советовали, по-прежнему ходил в лес, потому что не представлял жизни без природы, без шума сосен, без кукушки и коростеля, без клюквы и морошки. Но часто ходил уже не просто так, не радости и удовольствия ради, а собирал, точнее заготавливал, грибы-ягоды, сдавал их и вырученные деньги отдавал семье. И по-прежнему писал стихи, потому что они для него были самым главным, самым тем, ради чего он жил, о чем мечтал, в чем видел и находил истинное наслаждение и удовлетворение.

В одном из писем к Боккаччо Петрарка писал так: «Перестать писать, это значило бы отказаться от жизни...» Так, наверное, было и для Николая Рубцова.

В творчестве, как и в жизни, Николай Рубцов, как мне случалось наблюдать, мог быть верным, нежным, добрым и ожесточенным, мрачным и веселым, прямым и грубым, слабым и беззащитным — ничто человеческое не было ему чуждо, и в стихах его отражалось все: его ум, вкус, осторожность, доверительность, проникновенность, верность, мудрость, предчувствие — вся его сущность. И, думается, оттого он был такой сложный и противоречивый, что не давал ему спокойно жить его большой талант.

Помню, у нас на новоселье Николай был в ударе: весь вечер играл на гармошке и очень много читал стихов, особенно Тютчева. И еще несколько раз в тот вечер играл любимый им «Вальс цветов». Я уже позже услышу о том, что этот вальс связан с его первой любовью, нежной, трепетной, робкой, светлой, о которой он даже не напишет стихов — будто бы боязно ему было прикоснуться, боязно опечалить или осквернить воспоминание о том «чудном мгновенье».

На другой день под вечер он снова пришел к нам, со смущенной улыбкой сказал: «Вчера мне вовсе не хотелось уходить, да отдыхать вам надо было... Вот пришел опять...» Вскоре он повел разговор о Гоголе, да так интересно, с юмором, с удивительной радостью, наизусть цитируя отрывки и реплики из «Мертвых душ», мы смеялись до слез. Николаю это очень нравилось. Прощаясь, пообещал в следующий раз повеселить нас рассказами из литинститутской жизни.

И этот случай, и вообще, что он часто, чаще чем другие, заходил к нам, разговаривал, читал стихи, с улыбкой говорил, как у нас хорошо, уютно... Мне казалось, он понимал, чувствовал, как непривычно, одиноко, тоскливо нам пока на новом месте, и старался как бы скрасить нашу жизнь, отвлекал... Когда разговор шел о безграничности поэзии, Рубцов утверждал, что у каждого, даже самого посредственного поэта обяза-

тельно есть стихи — много или мало, пусть хоть одно, — мудрые, пророческие, всегда остающиеся современными, и что все поэты, знают они это или не знают, хотят того или не хотят, — пророки. И тут же, как пример, приводил своего любимого Тютчева, что писал он сто лет назад — и уж о нас, о человеке, о судьбе его, писал так, что читаешь сейчас — и душа заходится от восторга, глубины и высочайшего мастерства и еще...

В общем, все, как у всех, как у нас. Как во все времена, — заключил однажды и раскрыл книгу стихов Тютчева.

Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое,
Не выскажет, не выдержит мой стих...

Рубцов читал стихи медленно, членораздельно, как бы подчеркивая весь глубокий смысл, вложенный поэтом в каждое слово. Вот он расхаживает по кухне и то вытягивает руку, то поднимает ее, согнутую в локте, поводит ею то резко, то плавно. Внезапно остановился и заговорил после некоторого молчания уже о том, что о любви и о том, как умели люди любить... и умеют, — поправился он, — писать трудно, а чтобы лучше, — наверное, и невозможно...»

В Вологде встретили тепло, хлебосольно, и я об этом уже написала, рассказывая о знакомстве с поэтом Николаем Рубцовым и о его жизни и судьбе.

Квартира оказалась не ахти, со всякими строительными огрехами — теперь-то это дело обычное, по расположению, как пермская, только на три метра меньше. Оставили вещи, привезенные с собой и поехали в обкомовское общежитие — переждать неустроенность и дожидаться когда придут контейнеры.

Пошла по городу искать почтовое отделение, чтобы дать поздравительную телеграмму Андрею — с солдатским праздником. Глазею по сторонам, навстречу идет мужчина, типичный вологодский, спрашиваю: «Как мне найти почту?» — «А че ее искать-то? Вот пойдешь еще и свернешь направо, а там ее видать станет...» — «Спасибо! — говорю. — Большое спасибо!» — «Да даром».

К нам часто приходили друзья, велись разговоры, но первое время отчего-то редкий, очень редкий случай обходился без выпивки, да и «привычка» в ту пору у вологодских писателей была приходиться без жен, значит, вольному воля.

Коль было такое рыбное изобилие, то не было заботы чем угощать нагрянувшего гостя. Витя, бывало, крикнет, если я в кухне, а он у себя в кабинете или встречает гостей: «Маня! Жарь рыбу на семи сковородах!» И готовили рыбу там по-раз-

ному, кто как умел, кому как нравилось. Я не стану и этого вспоминать — описывать, потому что, не сомневаюсь, найдутся скептики и скажут, мол, сказала-заявила, что буду писать только правду, единственно правду, чтоб потом не появилось желание, описывая в своих произведениях или статьях, переименовывать, писать «от себя» — ибо правда жизни в этом узком понятии, то есть о жизни Виктора Петровича Астафьева и меня, его жены, Астафьевой Марии Семеновны, — о жизни двух нормальных людей пишу я, о муже и жене. О жизни двух писателей. И почти не касаюсь книг, выходявших в разное время, в разных издательствах, в разных республиках и странах, они сами за себя говорят, свидетельствуют о его постоянной, напряженной и достойной уважения работе, в «добавлениях» не нуждаются. Критики и литературоведы делали и продолжают делать свое дело — пишут о произведениях Виктора Петровича, анализируют их и, возможно, только не представляют себе того, в чем и сам-то Виктор Петрович не часто признается: мол, сочиняешь произведение, малое или крупное, оно в процессе работы обрастает деталями, образами — все откуда-то берется — и вот получился рассказ! Что непостижим процесс и само творчество необъяснимо, труд труден и интересен, и как всякий раз, всякую написанную вещь жалко и больно отрывать от сердца.



Года за два-три до того, как Виктор Петрович решит переезжать в Вологду, мы были туда приглашены вологодскими писателями как бы гостями. Была организована поездка на теплоходе до Великого Устюга, но прежде нас свозили в Феррапонтово, в Кириллов, в Прилуки, показали и другие примечательные места этого старинного города, когда-то предназначавшегося быть столицей российской... Много прекрасного и в самом городе, и в окрестностях мы увидели и узнали. Но, к сожалению, не только прекрасного... Такое, наверное, присутствует и во множестве других городов и мест, но в Вологде, где было при царе сто, если не более храмов, увидеть то, что мы увидели в одном из поруганных храмов, когда представитель обкома признался, что мы показываем вам свой позор... Это было более чем позор. В бывшем когда-то величественном храме, теперь с выбитыми окнами, с пробитой крышей, с осколками прекрасных в свое время, разноцветных витражей, на полу, среди хлама, дерьма, разной ломи и обвалившейся штукатурки лежало распятие Христа Спасите-

ля, незащищено распластанное, где вместо пола лежали груды хлама и штукатурки, где местами обозначили себя обломки настенных фресок и прекрасной лепоты и это еще не все: кто-то из «прихожан» — грабителей и разрушителей вытер грязные от земли и назема ноги о лик Спасителя... На это невозможно было смотреть без содрогания и невольного в душе вопроса: «Да как же они, нехристи, Бога-то не побоялись?!»

А поездка по реке Сухоне до Великого Устюга была интересна. В близлежащих от берега городах были встречи с населением и почти всякий раз угощали нас гостеприимно ароматной, великолепной ухой.

Когда вернулись в Вологду, писатели и обкомовское начальство предложили нам переезжать сюда на жительство. Виктор Петрович поблагодарил и сказал, что здесь слишком сырой климат, и мне с моими слабыми легкими здесь жить нельзя здесь я погибну...

И позже, спустя уже многие годы, когда мы, уже жители Вологды, съехавшиеся на очередной семинар молодые и молодые писатели, отработав несколько дней, обговорив, как обстоят дела творческие у авторов, одобрены или возвращены рукописи, писатели собрались ехать в монастырь. Когда стали уговаривать и нас поехать тоже, Виктор Петрович сказал, что глядеть на умирающую Русь — разрушенные храмы, памятники, обезображенные, оскверненные иконостасы, всюду чувствуется трупный запах, я никогда не поеду — ни в Суздаль, ни в Кижы, особенно после того, как увидел валяющееся на полу распятие Иисуса и об него вытерты грязные, наземные ноги... Сожалею, что я современник всего этого...

Затем собравшиеся писатели и художники распрились о том, что одним ближе Бунин и Тургенев, чем Чехов, с этим не соглашались и В. Белов, и Абрамов. Абрамов — за деловое письмо. Виктор Петрович — за детали, описания.

Некоторые попытались предсказать, что же будет писать Виктор Петрович, когда закончит свой «Последний поклон, свое детство».

«О чем писать — не наша воля», — об этом сказал еще поэт Рубцов.

Виктор Петрович вспомнил и рассказал, как, съехавшись на какое-то совещание, разговаривали, сбившись в один номер, и тогда Гранин и Бондарев вспоминали, как присутствовали на приемах у Хрущева. Первый раз было все помпезно, а в последний — Хрущев размахивал руками, стучал кулаком по столу и отчего-то напустился на Алигер. А мы, говорят, стоим у стенки, не дышим — оба бывшие военные командиры! И

только Овечкин подошел к Алигер, взял ее под руку, вывел из зала и проводил...

А Евгений Иванович Носов, ездивший на похороны Валентина Овечкина, хмуро добавил, что изгнали из Союза писателей Прасолова — запил, заворовался... Снова, сказал, убеждаюсь — есть за что русских презирать.

Заговорили о Шукшине с горьким сожалением. И тут один писатель из Ленинграда сказал, что и нынче, и в будущем году еще много умрет людей. Виктор Петрович возмутился, мол, ты думаешь, чего говоришь? А тот: «Это не я говорю, а ученые. Нынче и в будущем году происходит в природе такое, когда на землю поступает самое минимальное количество солнечных лучей, и потому для людей — сердечников — очень тяжелая атмосфера, оттого многие умирают от сердечной недостаточности...»

— А где же те солнечные лучи были, когда я схоронил близкого и дорогого друга, Александра Николаевича Макарова? Я очень горевал, я плакал от того, что нас так поздно свела судьба... Во время похорон я смотрел, стоял в почетном карауле, слушал и... горевал. А когда узнал, что исключен из членов Союза писателей Александр Исаевич Солженицын... я пожалел, что меня не убило на войне... Это был самый черный день в моей жизни...

А Витя мой опять загулял. И болит у меня сердце от тревоги — пьяный он становится каким-то озлобленным, и все у нас на грани. А страшно-то как! Так напряженно здесь мы с ним еще не жили. А вон в поздравительной открытке мне пишут: «Маша! Береги Витю. Он — комета в человеческом море».

Кабы в Машинной было это воле! Он и сам в такую минуту сказал, мол, наплевательски мы относимся к себе. А утром другого дня лежит на машинке: «Я как-то утром или ночью, может быть, осенью (весной не хочется) остановлюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришел. Куда пойду уж безвозвратно, простившись с вами, люди, навсегда.

Но не с природой, всех нас породнившей. И пусть меня поднимут на увал, На тот увал, что ждет меня давно, за милою моею деревней. За бабушкиным огородом.

Пусть по распадку, где ходил я с ней по землянику, поднимут меня те, кого любил я и кому дорог. И пусть не плачут обо мне.

Пусть словом или песнею помянут — и я ее услышу. Ведь говорят, что после смерти люди еще два дня слышат, но уж ответить не могут. Услышу из земли, сам став землею. Но

перед тем, как стать землею, последней каплей крови с родиной поделюсь, последний вздох пошлю в природу. И если осенью увидите на дереве листок вы самый яркий, так, значит, капелька моя в листе том растворилась, и ожила природа красотой, которой отдал я всего себя и за которую немало слез я пролил, немало мук принял, и кровь не раз пролил.

Прощаюсь с вами, мои слезы, мои муки, кровь моя. Прощаюсь, веря, что рожденный в муках и живший муками, не мучаю я вас своим прощанием. Прощайте, люди! Я домой вернулся, я к матери моей вернулся, к бабушке, ко всей родне. Не будьте одиноки без меня. Жизнь коротка. Смерть лишь бесконечна. И в этой бесконечности печальной мы встретимся и никогда уж не простимся. И горести, и мук не испытаем, и муки позабудем, и путь наш будет беспределен.

Прощайте, люди! Умолкаю, слившийся с природой. Я слышу новое зачатие жизни, дыханье жаркое, шепот влюбленных... И не хочу печалить их собою, дарю им яркий листик древа моего. И мысль последнюю, и вздох, и тайную надежду, что зачатая ими жизнь, найдет мир краше, современной. И вспомнит, может быть, да и помянет добрым словом, как Кобзаря, лежащего на берегу Днепра, меня над озаренным Енисеем, и в зеркале его мой лик струею светлой отразится. И песнь, мной не допетая, там зазвучит.

Прощаюсь я с собой без сожаленья и улетаю ввысь, чтоб в землю лечь на высоте. Иду! Иду! Вы слышите меня, природа кличет! И голос матери звучит в ней, удаляясь.

И звуки умолкают в темной дали. Покой и мрак, который долго снился, не так уж страшен. Страшнее жизнь бывает...

Приветствую тебя, мое успокоенье!»

* * *

Почти все остальное время — от работы на машинке, от кухни, от домашних дел и когда приходили друзья и гости — у меня, к сожалению, уходило на обустройство квартир. Первая квартира, в которой мы поселились временно, была славная, и соседи милые и добрые, и почта напротив, через дорогу, где спустя время, а может, уж и в ту пору жил и Николай Рубцов. Но квартира была не то, что не ахти, а как бы поменяли кукушку на ястреба: те же три не очень большие по площади комнаты. Ждали, когда достроится дом по этой же улице, но на «Колиной стороне». Когда дом был готов, нам выделили в нем квартиру. Улица какое-то время была тихая. Напротив строился тоже дом, на нем работали зэки. И когда я появлялась в кабинете

Виктора Петровича, то с рукописью, то с иными бумагами, эски-строители живо и выразительно жестикулировали — советовали, как ему, Виктору Петровичу, надлежит поступить с женщиной. Это была беда не беда, беда началась чуть позже: над нами поселился почетный пионер города, старый большевик, которому плохо спалось ночами, и он расхаживал по квартире туда-сюда, а полы быстро разошлись, не были сбиты, и половицы скрипели, как расстроенное фортепьяно, отдаваясь гулкой болью в моей больной голове...

После завтрака почетный пионер выходил во двор и принимался колоть кирпичи с угла на угол и ими выкладывать клумбы, две: одну в виде серпа и молота, другую в виде звезды, по полведерку приносил откуда-то землицы и высаживал хилые росточки маргариток. Ребятишек во дворе много — им забава на весь день: раскидают, распинают те красно-оранжевые уголки — половинки кирпичей, цветочки притопчут, из свежей земли сооружают домики, пещеры и бог знает что.

Я терпеливо старалась приводить квартиру в порядок, создавать уют, прикрепляла картины, занавески, шторы, передвигала с места на место мебель, но бессонные ночи и головные боли путали мои «планы».

Гости гостями, разговоры разговорами, а дела мои продвигаются вовсе медленно, потому что впереди бессонная ночь, головные боли, гвозди в стены идут плохо, больше гнутся. Хорошо, что через дом располагалась кулинария, и она со своими горячими и пышными шаньгами — на вкус: со сметаной, с яйцом, с творогом, да обилие свежей рыбы, я уж не говорю о чудном снетке — вяленой, замечательной на вкус рыбке, ее в Вологде в ту пору ели походя, вместо семечек — все это очень выручало, однако, дела от этого не делались быстрее и удачливее.

Тогда мы сговорились с нашими друзьями из Москвы, художниками Юлей и Женей, собкор «Известий» в ту пору Вадим Летов очень в том нам поспособствовал, и мы решили двинуть на Север, на Ямал.

9 сентября 1970 года поужинали вместе с Юлей и Женей Капустиными — друзьями из Москвы — и собрались на вокзал. Витя хотел купить билеты заранее, но продают только перед приходом поезда. Нам ехать до Лабытнанги. Света на вокзале нет, висят керосиновые лампы — как в войну. Кассирша нашла одно место в мягком вагоне, два в плацкартном, одно в общем.

Купили. Расстроились, конечно, но распределились: я в мягком вагоне на верхней полке. Со мной чемодан, два рюкзака, ружье. Витя — в вагоне рядом. Женя с Юлей в плацкартном, но без постели, на голых верхних полках — ждали, когда освободятся полки нижние. Витя всех попрощал и сказал, что в вагоне, идет до Лабитнанги (состав идет до Воркуты), нас перецепят — освободятся три места в одном купе и одно в другом. В Полое, мол, переберемся — это в час ночи, но поезд опоздал, и Витя в последний момент уснул. Перебрались едва живые — холодно. Весь день шел дождь. Пошла лесотундра, затем тундра и всюду — бывшие и действующие лагеря. Вечером с местами все образовалось и ночь провели уж, как господа. Витя, погрустневши, сказал:

— Сутки проехали, завтра будет дорога в тягость.

А Женя вообще дальше Куйбышева да Вологды на поезде никуда не ездил — все по границам. А Юля чувствовала себя декабристкой. А им еще наговорили, что там, куда едем, — снегу по пояс.

11.09.70 Проснулись утром — ослепительное солнце. Вдали, как мираж, в облаках проступали, как на кардиограмме, — тонюсенькой полоской Уральские горы, прояснились, приближались склоны к линии. Часто встречались озера и реки, синие-синие. А в природе золотая осень! Бабье лето! Краски ван-гоговские или как у Р. Кэнта — не передать.

И за день заболели шеи, потому что мы весь день, пока ехали, вертели головами, бегали из купе в коридор и обратно!..

Перевалили хребет! На какой-то станции очень долго стояли. Там лагерь строгого режима. Огоньки мерцают в ущелье, далеко и глубоко уходящем вдаль, а огоньки в три нитки, ровные и непрерывные. Но не увидели из-за темноты главного, где горы подступают вплотную к линии...

Что это был за день! Сколько див! Сколько горных прозрачных речек!

Созвонились, узнали, что рыболовный сейнер готов и потащились с вещами на пристань.

Расположились и в два часа дня отбыли по матушке Оби. На столе на палубе лодия. Плыдем. Обь то в разливе, то близко подступают берега. Много уток, видели лебедей и стаи чаек.

Первая остановка в Вындыязы. Вечер. Взяли трех муксунов, сварили уху, пока уха варилась, сходили на берег. В сумерках я взбираюсь на осыпающийся берег и прямо натыкаюсь на старуху — хантыйку. Растерялась. Затем поздоровалась и сунула ей в руку несколько печенюшек. Протянутая моя рука

коснулась чего-то костистого, прохладного, будто не живого. Оказалось — это усохшая рука старухи-хантыйки, она была будто у первобытного человека, с длинными плоскими ногтями, чуть высывалась из прорези жесткой, заношенной парки с выносившимся мехом. Во рту, в уцелевших зубах, торчала огромная сигарка, и исходил от женщины запах грязного тела и грязных одежд...

На берегу костер. Старуха неслышно переместилась ближе к костру, прикрыв лицо платком. А женщина помоложе — жена приемщика рыбы, поворчала, поворчала и отправилась в полог. Утянулась туда и старуха.

Мы спросили, почему она закрыла лицо? Нас боится? «Нет, меня, — ответил приемщик — он зять старухи. — Такой обычай».

С парохода крикнули: «Уха готова!» Что это была за уха!.. Я еще не сказала о вечерних, закатных красках на воде и окрест — слов таких нет, чтоб передать.

* * *

Зашел Саша Романов и попросил рассказать о поездке на Ямал. Мы наперебой рассказывали, а он все восхищался: «Ну молодцы! Вон куда съездили! Вот какие отчаянные да хитрые!..» А поездка и в самом деле была удивительная!

Читатели принимают и воспринимают прочитанные произведения Виктора Петровича по-своему. Вот, к примеру, жена вологодского поэта, сама учительница и влюбленная в творчество Виктора Петровича, однажды сказала, как читала новые главы к «Последнему поклону» в журнале «Наш современник» и как не узнавала Виктора Петровича Астафьева, доброго, веселого и грустного, непосредственного и мудрого... Как ей хотелось остановиться, пойти и сказать ему, Астафьеву: «Витя! Что с тобой? Почему ты такой злой? Почему такой жестокий? Я так люблю читать твои книги, так упиваюсь и наслаждаюсь ими, а тут не могу, не хватает духу продолжить... Я впервые такое почувствовала и пережила... И подумала: неужели человек, перешагнувший полвека — свой такой возраст, враз делается жестоким, недобрый, злым... Неужели с нами со всеми так будет?»

Витя сказал, что все есть: и усталость, и основания, и время, которое он описывал, было тяжелое, сложное, трудное. Мальчишка в таком возрасте особенно раним, не умеет, не может забывать и прощать своих больших обид и несправедливостей...

Получили письмо из Пермского драмтеатра с просьбой дать согласие на постановку спектакля по мотивам рассказа «Руки жены» по подготовленному когда-то киносценарию еще для киностудии под названием «Черемуха», и в этот же день последовал телефонный звонок: звонило областное начальство по культуре. Говорили долго, по делу и о жите-быте. Василий Иванович Белов был в это время у нас, сидел, слушал, наблюдал. В конце разговора Игорь Будрин — пермский начальник культуры поинтересовался: не хочет ли Виктор обратно переехать в Пермь, мол, Баранов — режиссер с телевидения — днями вернулся.

Витя ответил без раздумий:

— Нет! Мне хорошо здесь живется. Кроме того, скоро в журнале «Смена» появится моя статья, в которой я «абзацем» зацепил и пермское начальство, потому, думаю, у вас не появится желания, чтоб я проживал там снова.

А на предложение режиссера драмтеатра ответил согласием. И снова мне:

— А здесь перепечатай пока только места, — сказал он, — где много правки, и отдельно куски сцены, — и отдал мне рукопись. — Думаю, и после перепечатки придется править еще. И вот еще несколько «затесей» — тоже надо перепечатать и хорошо бы побыстрее. А статью, написанную вчерне еще в Быковке, перепечатаешь как будет время — мне над нею тоже надо еще поработать...

И в этот момент Василий Иванович Белов грустно сказал:

— Я бы перед Ольгой (женой) на коленях стоял, чтоб она перепечатала мои рукописи, хотя бы с черновика. Я столько трачу времени и сил, пока переписываю рукопись — для машинистки, чтоб все было разборчиво. А начну переписывать страницу начисто, и тут опять правка возникает, и получает-ся...

— А ты, Вася, знаешь, нет, даже не представляешь: когда в Чусовом узнали, что я писатель — чуть не со всей улицы, — может, откуда и дальше, — шли ко мне с просьбами, чтоб я написал заявления разные, письма, жалобы, справки...

— Правда, что ли?

— Конечно. Маня не даст соврать. Но, я должен сказать, она все это делать может куда лучше секретарши и даже многих начальников...

А теперь вот живем в Вологде уже столько времени, а Витя по-настоящему еще не работал, как опять же Вася Белов сказал, когда мы пришли к ним, — они переехали на эту квартиру более полугода назад, а книги как лежали в углу насыпью, так и лежат, и он это объяснил организационным периодом. Так и у нас. Но у нас есть тому причины — три переезда с квартиры на квартиру...

* * *

Николай Рубцов не был легким и удобным в общении человеком, сознавал это и казнил себя потом. Вот, например, что он писал в записке к Н.С.: «Н. Я понимаю, что мало извиниться перед тобой (мне все рассказала Анастасия Александровна). Это говорил не я. Это говорило мое абсолютное безумие. Поэтому не придавай абсолютно никакого значения дурости. По-прежнему Н.»

Спустя несколько дней Николай зашел к нам пьяный, мрачный, раздраженный. Покачиваясь на стуле, что-то говорил о смысле жизни поэта, начал было развивать какую-то умную мысль, но тут снова заговорило его «абсолютное безумие». Я смотрела на него, совсем другого Колю, неухоженного, нетерпимого, и уж вроде начинала сомневаться: один ли и тот же человек Николай Рубцов, написавший много прекрасных стихов, и этот, изможденный выпивкой, косноязычный, растрчивающий себя и свой талант так безрассудно.

А время идет, жизнь идет. И Николай снова у нас, застенчиво-тихий, бледный. Сидим с ним в кухне, пьем чай с рябиновым вареньем, разговариваем. Не заметили, как по радио зазвучала музыка, заслушались, замолчали. Исполнялась вторая симфония Калинникова (уж эту-то симфонию я знала и любила!). Когда музыка кончилась, Николай, как бы очнувшись, грустно так улыбнулся и сказал:

— Как интересно! Вернее, как хорошо: можно пить чай... прекрасным вареньем и... слушать музыку! Вы ведь тоже заслушались? Иногда я что-то подобное, очень похожее слышу в лесу или на реке. А вот послушать бы в Большом театре!

Рубцов не был у нас более недели. Вернувшись из Москвы, явился чистый, бодрый, с неизменным томиком стихов Тютчева. Еще не отойдя от порога, сказал:

— А я был в Москве.

— Ну и как? Что там нового? Как съездил?

— Вы знаете, я ведь не люблю в Москве бывать, — признался он и, с прищуром посмотрев в окно, добавил: —

Напьешься там, устанешь, разругаешься... — Заметил, что я улыбаюсь. — А чего вы смеетесь? Как ни бейся, а к вечеру напейся, как говорится.

— Ну, мало ли что говорится! Лучше расскажи, что нового у тебя. Давно не был. Сейчас мы с тобой пообедаем, поговорим. Как у тебя с книгой?

— Все нормально. Все хорошо! И в Москву в этот раз съездил хорошо. Был в институте, в издательстве, даже на встрече с какими-то журналистами. Сам не заметил, как все получилось! А вообще-то, интересно, вернее забавно... Называли новые имена в литературе, в поэзии и меня упомянули! — хохотнул он, помолчал, закурил.

— Еще был в ЦДЛ. Не успел зайти в зал, как тут же привязался ко мне один: «Ты — Рубцов! Я тебя знаю! Я тоже поэт! А ты меня знаешь?» А я же трезвый был, голова светлая, на душе хорошо. И не хотелось, чтоб кто-нибудь испортил мне мое прекрасное настроение, и я ответил ему: «Не знаю! И знать не хочу!» — И ушел. И даже сам себе понравился.

Мне ясно представилось, как все это происходило. Пока пили чай, Рубцов рассказывал, кого из знакомых встретил, о чем говорили, что, мол, кого ни послушаешь, все грозятся в Вологду нагнать, посмотреть, что за город такой, шибко литературный.

— Да ну их! — отмахнулся Николай и взял в руки Тютчева. Полистал и начал читать «На кончину брата». Он часто читает это стихотворение и, кажется мне, всякий раз он читает по-разному, по-особенному.

Вот и сейчас, заложив пальцем нужную страницу в книге, прикрыл глаза:

Дни сочтены, утрат не перечсть,
Живая жизнь давно уж позади;
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди...

В этот раз после ухода Николая Михайловича как-то беспокойно, тревожно, даже боязливо сделалось на душе. С Николаем Рубцовым мы часто, иногда не по одному разу в день, встречались на улице. Он жил в доме, где было почтовое отделение, и я часто туда ходила; покупали хлеб и продукты в одном магазине, в кулинаруии покупали горячие вологодские шаньги, и пока у нас не было телефона в квартире, звонили с одного автомата. И, пожалуй, до последней осени такие даже мимолетные, неожиданные встречи были всегда веселыми, радостными, и я не могла допустить мысли, что наступит вре-

мя, когда я буду избегать их, потому что будет невыносимо видеть бредущего Колю, мрачного, озлобленного. И всякий раз после таких встреч не будут покидать меня думы, тягостные и тревожные, и стихи ему будут приходить на память под стать переживаниям и тревогам.

Иногда думалось, что на него так гнетуще действует сытная осенняя пора, потому что, когда заходил разговор о том, как разные поэты в разные времена возвышенно воспевали и воспевают осень: «Люблю я пышное природы увяданье...» или «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора: весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера...» — Николай как бы недоумевал, рассуждал, что это именно очень краткая пора и поэтому ее осенью-то назвать нельзя, это, скорее, конец лета. Осень же — самая унылая и долгая пора из всех времен года.

Как-то осенью почти все вологодские писатели поехали в Архангельск на выездной секретариат. И там вечером второго дня собрались у нас в номере друзья, много говорили о том, какой прекрасный доклад сделал Сергей Павлович Залыгин, он как бы дал настрой всей работе секретариата, толковали, кто о чем собирается сказать с трибуны, а потом пошли разговоры разные. Запели «Вниз по Волге-реке». Запели и удивились: как складно повторяются две последние строчки каждого куплета! Так же ведь и у Кольцова, и у Некрасова... Да и у Пушкина «Вновь я посетил...» — белый стих, а этого не замечаешь. А у Рубцова — «Осенние этюды». И в этот именно момент открылась дверь, вошел Коля в таком состоянии, когда «заговорило вновь его абсолютное безумие».

Настроение испортилось, потому что после его ухода уже было трудно избежать разговора о Рубцове, о его жизни. Я не стала бы писать об этом, если бы теперь не сожалела о том, что тоже избегала его пьяного, не терзалась бы, что сознательно сокращала время общения с ним. Думаю об этом, и мне вспоминается письмо одной матери, несколько лет назад напечатанное в «Комсомольской правде». Ее спросили: что она могла бы рассказать о своем сыне, погибшем на фронте в Великую Отечественную войну, чем он выделялся дома, в школе, в жизни? И она горько, искренне призналась, что был он в семье не один, учился средне, бывало, шалил, не слушался, болел — не без этого. Тогда и заметила, что вырос, когда на войну добровольцем пошел. Если бы знала, что все так выйдет, если бы предполагать могла, что убьют на войне, каждое бы слово, им сказанное, запомнила, каждый шаг. Если бы только знала...

Вот так и я — тоже бы запомнила каждое слово, им сказанное, тем более, что собеседник он был удивительный, обладал великолепной памятью, знал много, рассказывал интересно и сам умел слушать, радостно удивляться и глубоко печалиться, и стихи мог читать сколько угодно.

А тогда... стала избегать встреч... Но, наверное, психика наша так устроена, что прежде чем «среагирует» ум, она уже защищает себя от «перегрузок» всякого рода, и мы медлим, а подчас и не думаем утруждать себя «дополнительными» нравственными обязанностями и либо легко прощаем человеку человеческие слабости, либо, если они изнурительны и докучливы, ограждаем себя от них, и только позже, как бы изда-лека, когда ничего уже нельзя изменить и поправить, понимаем, как уязвим человек слабостями, будь он простой смертный или гений.

Не помню, на второй или третий день после майских праздников перед обедом приходит к нам Николай Михайлович, постриженный, в голубой шелковой рубашке, смущенно-улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбается, и загадочно, и радостно. За ним вошла женщина, светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная, но полная достоинства. Мы как раз пили чай и пригласили их. Войдя в кухню, Николай торжественно поставил деревянную маленькую кадучечку, расписанную яркими цветами, — такие часто продают на базаре. В ней — крашенные разноцветные яички. Заметив наше удивление, тут же выпалил радостно: «Сегодня же Пасха! А вы и не знали? Я же говорил, что они не знают, — сказал он, обратившись к своей спутнице. — Христос воскрес! — весело воскликнул он. — А можно похристосоваться-то?»

Всем сделалось весело. Сели за стол. Разделили на части одно яйцо, остальные оставили в кадучке — очень уж красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гета, и указал на женщину. Я поблагодарила, поинтересовалась, откуда и когда она приехала. Мне тоже захотелось сделать ей приятное, и я спросила, есть ли у нее дети, чтоб послать им гостиницу. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Колю взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть — девочка.

Коля перестал есть и, подумав, сказал серьезно:

— У этой женщины живет моя дочь... Лена.

Я поняла, что опрометчиво поступила... Когда выходили из-за стола, Рубцов задержался на кухне, чтобы докурить сигарету. Я спросила: «Что ж ты не познакомил с женой-то? Же-е-

енщина! У нее живет моя дочь... — передразнила я его. — А она, кстати, очень приятная, славная, и ты напрасно...»

— «Ой, да что вы! Вы же все понимаете...»

После пели песни. Николай заливается. Мы подтягиваем. А Гета, чуть откинувшись на спинку дивана, полуприкрыла глаза и все смотрит, смотрит на него. Что свершалось в ее сердце, о чем думала, что переживала она?

Мне казалось, она вот-вот заплачет и все будет именно так, как он когда-то написал в одном из своих стихотворений: «Слезам она заливалась, а он соловьем заливался...» — или поднимется и уйдет — навсегда. И хотелось сказать, чтоб перестал ее такими песнями терзать, чтоб пел о другом или разговаривали бы... Но тут нам позвонили — пригласили в гости. Гета сказала, что ей нужно идти на вокзал, нужно ехать, потому что там еще за реку надо попадать, а дорога вот-вот откажет.

Дойдя до автобусной остановки, мы попрощались с Гетой и начали было уговаривать Николая, чтобы он приходил, когда ее проводит. А он подал женщине руку, сказал: «До свидания, Гета!» — и направился впереди нас.

«Ну, ты даешь! — изумились мы. — Почему не проводил-то?» — «Так даже лучше!» — громко отозвался он, оглянувшись, поднял руку, мол, будь здорова! И пошел.

Пока шли, Николай с удивленной радостью, как об открытии, рассказывал, как совсем случайно он недавно оказался у одних знакомых и увидел у них прибитую сверху к форточке прозрачную пленку, разрезанную на узенькие ленточки. И эти ленточки все время трепещутся, пошевеливаются... и как бы ветер слышится!

— И тогда я им рассказал, что я у себя тоже делаю ветер — ставлю в форточку пустую бутылку и слушаю. В самом деле, как настоящий ветер тихонько завывает — посвистывает...

Смутные за Колю тревоги и переживания делались уже постоянными, может быть, еще и оттого, что выглядел он часто безмерно усталым, будто очень пожилой и очень больной человек. В стихах он однажды скажет:

О, моя жизнь, на душе не проходит волнение...
Нет, не кляню я мелькнувшую мимо удачу,
Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы,
Что ж я стою у размытой дороги и плачу?
Плачу о том, что прошли мои лучшие годы.

Мне трудно определить, чего здесь больше безысходности или слабости, усталости или отрешенности? Но здесь нет жажды жизни. А в стихотворении «Я буду скакать по холмам задре-

мавшей отчизны...» строка «Все понимая, без грусти пойду до могилы...» уже звучит, как пророчество.

А Николай жил и жил дальше, с нами по соседству, жил, любил, страдал, играл в шахматы, пел под гармошку, писал стихи.

Как-то провел он у нас три дня. Зашел, сказал, что плохо что-то себя чувствует, сердце что-то и голова болит. Мы дали ему лекарств, напоили горячим чаем, устроили на раскладушке. Он попросил выпить, но Виктор Петрович (Астафьев) пододвинул ему стакан с чаем и сказал раздумчиво, что насчет выпить не выйдет, что весь ведь больной... так и погибнуть недолго. Здоровье не богатырское, а ты вон... да еще и не ешь ничего.

— Ну и что, и погибну! — с вызовом воскликнул Коля. — И погибну! И умру!.. И похоронят меня... — со злорадной усмешкой продолжал он.

Через несколько дней после этого Николай зашел вечером и отчего-то не захотел раздеваться, посидеть или хотя бы отойти от двери. Он долго стоял в нерешительности и, наконец, попросил денег в долг.

— Мне нужно расплатиться за машину, за грузовую, за перевозку вещей, — пояснил он.

Возвратить долг Коля пришел не один, а вместе со своей будущей женой. Оба пьяненькие, оба наспех одетые:

— Я пришел вернуть долг! — сказал он, уставившись на меня пронзительным, не очень добрым взглядом.

— Хорошо, — сказала я. — Теперь у тебя все в порядке? На житье-то осталось? А то не к спеху, вернешь потом.

— Нет, сейчас! Вот! — вытащил из одного кармана скомканные рубли и трешки, порылся в другом, пальто расстегнул. — А можно или нельзя мне войти в этот дом? Чтоб долг отдать... — резко, с расстановкой заговорил он.

— Конечно, Коля, проходи! — посторонилась я.

— А она — талантливая поэтесса! — кивнул он в сторону своей спутницы, оставшейся на лестничной площадке этажом ниже.

— Возможно.

— И она же — моя жена! — Он опустил голову, что-то тяжело посоображал и опять уставился на меня в упор. — Ничего вы не знаете! Я тоже ничего знать не желаю! — выпятился из прихожей на площадку и с силой закрыл за собой дверь.

Да, я уже знала, что она пишет стихи, что печаталась. Читала подборку ее стихов в журнале «Север» — простые,

славные два стихотворения. Кроме того, в отделении Союза писателей как-то состоялось обсуждение стихов молодых поэтов, и ее в том числе. Читала она тогда, кажется, три или четыре стихотворения, одно из них запомнилось мне особенно: о том, как люди преследуют и убивают волков за то лишь, что они и пищу, и любовь добывают в борьбе, и что она (стихотворение написала от первого лица) тоже перегрызет горло кому угодно за свою любовь, подобно волчице, у которой с желтых клыков стекает слюна...

Сильное, необычное для женщины стихотворение. Виктор Петрович толкнул легонько Колю в бок — они сидели рядом — и сказал: «А баба-то талантливая!»

— Ну что вы, Виктор Петрович! Это не стихи, это патология. Женщина не должна так писать.

И оттого, наверное, что женщина читала свои стихи детским чистым, таким камерным голоском, это звучало зловеще, а мне подумалось: такая жестокость, пусть даже в очень талантливых стихах — есть нечто противоестественное.

Но тогда я еще не знала о существовании ее стихотворения, в котором есть такие строки:

Когда-нибудь, в пылу азарта,
Взовуюсь я ведьмой из трубы
И перепутаю все карты
Твоей блистательной судьбы!

И уже много лет спустя после того, как не стало поэта Рубцова, в интервью эта женщина — поэтесса-убийца-вдова — скажет: «И мои стихи еще увидят свет, и кончится моя мука «зашитого рта».

Все равно моя песнь взовется,
И такую любовью вдвойне
В самых русских сердцах отзовется —
Даже страшно становится мне!

* * *

Снова думаю о своей спасительной, милой сердцу, Быковке. Видя мои муки, в основном от бессонницы и «патриотических дел» почетного пионера города — нашего верхнего соседа, Виктор Петрович без особых раздумий согласился поехать.

Первые годы нашей жизни в Вологде мы часто навещали в небольшую, тихую уральскую деревушку Быковку. Жители быстро и охотно приняли нас, как родню, и каждый

наш приезд был для них вроде праздника. Они приходили то поодиночке, то один за другим, то ближе к вечеру так и компанией, приносили кто что: молоко, яички, мед, картошку, капусту, иногда бутылку, заткнутую по старинке бумажной «крученой» пробкой, мутноватой самогонки, и получалось у нас застолье — это если мы долго не были, а когда жили в Перми и наши приезды были частыми и неспешными, тоже приходили, пили иногда с нами чай, слушали про городскую жизнь, рассказывали о деревенских новостях. Паруня, съездив в поселок Ляды, где показывали кинофильм «Председатель», и желающих возили посмотреть на свою жизнь со стороны, отмахнулась рукой и сказала, мол, че смотреть про то, че каждый день видим, делаем, переживаем, а по ночам ревматизмом маемся. Лучше бы пол-литру поставили да колбасы за бесплатно, как бы гостимо, вот бы и посидели, и поговорили, может, че и спели... Однажды увидела, что я много наварила овсяного киселя, разлила по тарелкам да чашкам, чтоб остывал, а потом, в обед или в ужин, Виктор Петрович ел, посолив маленько поверху да полив растительным маслом, а я — с молоком, еще лучше бы со сметаной. Она смотрела, смотрела, подумала о чем-то про себя и заключила: «Ну, вы и жрать здоровы!»

До этого я занималась ремонтом квартиры, поскольку въезжали в нее, не ремонтировали. Через приятельницу, работавшую в организации, где занимались «квартирными» делами, договорилась с мастерами. Виктора Петровича не было дома, ремонт длился не день-два — квартира-то «с поле велика».

Жизнь пока проходит в основном в переездах да ремонтах. Много сил уходило на это — не успевала вроде перевести дух от одной громоздкой и нелегкой работы, как накатывала другая. Потому в Быковке я переживала как бы отдых, благодать и чувствовала, как уходит усталость и наступает отдых.

Петр Павлович особенно любил жить в Быковке — вольно ему тут, спокойно, в Астрахань наезжал гостем, Варваре Ивановне писал иногда, что живет благополучно, что ждет ответа, как соловей лета...

Когда мы обзавелись домом в деревне Сибле, в ста километрах от города, отремонтировали, все привели в порядок, а той порой скоропостижно скончалась его жена астраханская, Варвара Ивановна — гладила белье, упала и умерла, Петра Павловича, отца своего Виктор Петрович привез в Вологду, где он дожил свою жизнь — до 79 лет.

Добрались хорошо. Встретили Андрей и Толя. Ольга нажарила пирогов, под пироги и за встречу выпили маленько, поговорили и легли спать. Утром Андрей уехал в университет, Толя должен закупить продукты, мы с Олей тоже купили кое-что на базаре, собрали рюкзаки и поехали на вокзал. Забежала жена Миши Голубкова и принесла «подорожник» — горячий еще пирог. Мы расположились на пароходике — переправе, выпили бутылку вина, съели пирог и не заметили, как пристал наш «извозчик» у нашей пристани Степаново.

С дедом, Петром Павловичем, возились Андрей и Толя. Ночью дед так разгулялся, так расхорохорился, что начал петь блатные песни, острить полуфривольно и повторять свое привычное: «Я координаты не теряю!..»

Я решила, что он уговорил ребят выпить понемножку, когда они оставались ненадолго одни, высказала ребятам это с недовольством. Они головы опустили, помалкивают, не оправдываются. Когда стала разбирать рюкзаки, вижу: бутылки не тронуты, оказалось, дед придержал одну при себе и потихоньку прикладывался.

Первого мая у Виктора Петровича день рождения, поздравили, выпили шампанского и отправились пить березовый сок. Дед пошел к Наде Санниковой — пожилой соседке, жившей в одиночестве внизу за речкой, но не дошел, упал, подняла его Паруня, проходившая мимо, угостила его, уважила просьбу, и ребята нашли его спящим у Паруни в сенках на грязном полу.

Болеет после очень, но держался изо всех сил, не показывал виду. Второго мая после завтрака все отправились в огород. Ребята меняли или ремонтировали местами изгородь, Виктор Петрович занимался посадками, что-то пересаживал, потом принес из ближнего лесу маленькую лиственницу, сосенку и кустики медуницы и хохлаток вместе с гнездовьем. Кстати сказать, Виктор Петрович всюду, где бы ни жил, в будущем — это в Сибле, в деревне, где купим избу в Вологодской области, и в родной Овсянке — будет оставлять о себе память — посаженные деревца, цветы или кустарники. Я копала гряды под мелочь.

На другой день были те же дела. К вечеру истопили баню, намылись, напились чаю и под разговоры уснули. Утром, позавтракав, Виктор Петрович сел работать. Вообще, в Быковке все те годы, пока мы жили на Урале и большей частью в Быковке, ему там всегда успешно и с большой охотой, плодотворно работалось. Вечером ходили гулять, и он, радуясь тишине, природе, покою, много раз вспоминал Бориса Никан-

дровича Назаровского, который нашел нам эту деревушку, эти радостные, милые сердцу места. На Винном, говорит, не выдержали бы, давно бы все бросили.

Дед стал, как дитя, куражлив и наивен, и я иногда терплю-терплю да и сорвусь...

Когда он предложил подладить печку в огороде, мол, вся расщелялась, плита треснула, кружки проваливаются, Витя сказал отцу, мол, охота так переделывать, все равно бездельем маешься.

Долго Петр Павлович возился. Со стороны посмотреть — старательно все делал. И сделал! Со стол высотой! Не заметил, как конец «увел» в сторону, положил плиту, но она оказалась коротка — не рассчитал, тогда взял заслонку от этой же печки, отогнул и ею как бы нарастил плиту. Послал Толю, чтоб звал хозяина — посмотреть и, конечно же, чтоб похвалили. Витя пришел, обошел печку, пожал плечами и сказал, мол, у Мани спрашивай — ей она нужнее.

Дед изготовился выслушать меня, а я и сказала, что плита высоко положена, дров понадобится много, и если поставить кипятить чай — то вскипит только к вечеру.

Дед ругнулся про себя, рукавицы кинул на лавку и с обидой сказал, мол, на тебя не угодишь... Как ты со снохой жить станешь?

— А я не хочу жить со снохой, я хочу с Витей...

Витя, слышавший всё это, расхохотался так, будто веселый гром раскатился. Петр Павлович смерил его презрительным взглядом, на меня вообще не взглянул и отправился к Паруне.

В День Победы Витя все равно посидел за столом, поработал, после обеда они с Толей покончили с изгородью, а вечером пошли на вальдшнепиную охоту.

Дни здесь летят, и я же с грустью думаю, что скоро уезжать.

На три дня съездили в Пермь, побывали у художника Е. Широкова; посмотрели на готовые уже портреты Е. Копеляна, Г. Товстоногова, Л. Чурсиной, Нади Павловой. Виктор Петрович сказал, что Женя — художник непредсказуемый: взял и нарисовал балерину без ног! Дерзко! И получилось очень выразительно, даже то, о чем она, балерина, так напряженно думает, передал так, что можно только удивляться.

Завтра рано утром нам уезжать — грустно. Очень грустно. Но если смотреть на Витю, то грустно — это не то слово, он уж много раз, вслух и про себя сожалел, что пригласил ребят — вологодских писателей — съездить в Сибирь, и они уже ждут, что вот-вот поедут.

На прощанье ребята, и я с ними даже искупались в речке Быковке, хотя вода ключевая и кожу пощипывает, как в нарзанной ванне. Зато потом такое блаженное очищение, такая бодрость и благодать, вроде даже глупеешь от восторга, как Витя сказал, мол, хочется хулиганить, безудержно смеяться неизвестно чему, плескаться, пить эту пречистую, студеною воду... и очень трудно уходить от речки. Днем пошли на Винный, чтоб искупаться в море (Камском), уже кожа чувствует, как хочется снова окунуться в воду, но... пережили не удовольствие, а безразличие и разочарование, потому что вода теплая и прозрачная с виду, но плывет по ней, Боже мой, самая зараза, слизь, лафтаки. Толя поплыл — за ним дорога из пузырей...

Сходили в оперный, посмотрели прекрасный балет «Испанские миниатюры» — не балет, а блистательное буйство красок!

Побывали в гостях у друзей — Граевских. Саша недавно вернулся из похода, очень интересного, хотя и трудного, — он сердечник — утром позвонил снова и все говорил, говорил и со мной, и с Витей.

Утром вернулись в Быковку, к обеду приехали Саша Граевский с приятелем Борей Черновым и рассказали, как они уже съездили в аэропорт, перехватили прямо у трапа футболистов-торпедовцев. Они, страшные болельщики, привезли «Советский спорт» с автографами футболистов! Пришел Борис Никандрович с сыном Сергеем, балерина Марианна Подкина, скульптор Дадик Мустафин. Стряпали пельмени, жарили хариусов, на десерт — малина и земляника...

* * *

Только мы вернулись в Вологду, в этот же день Витя пришел в кухню и сначала долго, растерянно стоял, а потом уж собрался что-то говорить, но не решался — так бывает с ним, когда он плохо себя чувствует. Я и спрашиваю: «Витенька, тебе опять плохо?» — побежала за лекарствами в спальню. Вернулась, а он и говорит: «Очень».

Я глажу его по голове, жалею и хочу понять — где, что болит... А он: «Саша Граевский умер...» — сказал и заплакал.

Походил по квартире, всхлипывая, останавливался перед книгами, в окно смотрел и все повторял: «Ох ты, Саня, Саня! Бедный Саня! Эх, Саня, Саня... Сколько-то нам отпущено? Убираются помаленьку фронтовики... Бедный Саня...» Сказал, что поехать на похороны не сможет, мол, придется ехать тебе. Я собрала свои силы и поехала.

Когда строительство дома по улице Октябрьской было закончено, он был готов к сдаче и в одном из подъездов была предназначена квартира для секретаря обкома и его резиденция, на бюро решался вопрос, кому занимать освободившуюся квартиру первого секретаря Вологодского обкома. И он, Анатолий Семенович Дрыгин, предложил, что ее надлежит занимать писателю Астафьеву Виктору Петровичу, переехавшему сюда из Перми, и пока дела его квартирные никак не устроятся.

Вечером вместе с Василием Ивановичем Беловым и Василием Тимофеевичем Невзоровым (представителем обкома, нашим знакомым) я и Виктор Петрович пошли как бы посмотреть, примериваться к месту, к квартире, где нам предстояло жить. Комнаты огромные, коридор широкий, потолки высокие — начальство в плохих квартирах не живет, это известно давно. Но когда я вошла в кухню, как сказала бы моя мама, с поле велику, — тут уж у меня язык не повернулся отказаться: не кухня, а удобный и не обиженный величиной кухонный полигон. Напротив входа в кухню узкий простенок и по сторонам два окна, слева, возле двери двойная мойка из нержавеющей, и в углу, у стола, он же шкаф — для приготовления пищи, для посуды, а рядом с ним, к окну, расположена плита. Другая половина кухни свободна, и мы определили туда журнальный столик и по сторонам два негромоздких кресла. В простенок уперся торцом большой семейный стол. Когда кухня была освобождена от мебели и всего прочего, казалась действительно полигоном, но когда в ту вроде бы необъятную кухню были стасканы и составлены банки, посуда, соленья, варенья и всякая кухонная утварь — сделалось так тесно, что все надо перешагивать...

Виктору Петровичу кабинет определился сразу — бывший кабинет секретаря. Иринка облюбовала для себя боковую комнату с балконом во двор, квадратную, солнечную, славную. Гостиная с лепотой на потолке вокруг люстры и с бордюром по потолку вдоль стен — должна быть гостиной.

Оставалась еще одна большая комната, в которой мы поставили две кровати, в углу мой письменный стол и тумбочку для пишущей машинки, а вдоль стены стеллажи для книг. Как известно, переезд — дело тяжелое и громоздкое, то было решено, как переедем, все обставим, облагородим и поедем на Урал, в милую Быковку.

Когда установили стеллажи в кабинете Виктора Петровича, диван, письменный стол определили по местам, Виктор Петрович походил, посмотрел и, не торопясь, изо дня в день начал ставить книги, некоторые менял местами, отходил к двери — хорошо ли смотрятся книги, хорошо ли видны названия. Дело шло неспешно, но с удовольствием и обдуманно. Однажды я, как говорится, бегу впереди себя с сумками, света в окнах его кабинета нет, лишь тихо льется, звучит прекрасная музыка. Я скинула обувь, пальто, поставила сумки и спешу к нему в кабинет, спрашиваю встревоженно: «Витенька! Тебе плохо?» «Нет. Лежу вот, прекрасную музыку слушаю — лютни с органом, а до этого рассматривал названия книг — какое унылое однообразие. Два-три оригинальных, а остальные — примитивные, вторичные... Мало братья-писатели, особенно молодые, думают над названием книги...»

Ну вот, значит, Виктор Петрович с чувством, с толком, с расстановкой расставляет книги, то что-то напевает, то наговаривает сам с собой.

Иринка, определившись с комнатой, быстро, легко, без раздумья составила на стеллажи книги, диван поставили, как хотелось, пледом накрыла, шторы повесила, палас постелила, в стенке выделила застекленный шкаф и там расположила бижутерию, духи, флакончики, коробочки и прочие девичьи «игрушки», в секретер убрала свои бумаги, книги, учебники. Всем осталась довольна. На балконе поставила тумбочку-столик, стул. Одним словом, свое «жилье» она обустроила легко и быстро.

С двумя комнатами — гостиной и спальней — я устроилась довольно быстро: места много, что куда поставить — решить было нетрудно.

Главным объектом оставалась кухня, в которой навалом было сгружено все: банки с соленьями и вареньями, посуда, полки и полочки и много всего, нужного в жизни человеку, но не подходящего ни для кабинета, ни для спальни, ни для гостиной и прочих жилых площадей. Все это надо было разобрать, определить по местам, да так, чтоб удобно и практично, чтоб все как бы «под рукой».

И я старалась, как могла, сколько успевала и более того. А Виктор Петрович поставил жесткое условие: пока не разберешь все свои кухонные городки, пока кухня не обретет надлежащий вид, на Урал не поедem!

Пусть так. Мне переезжать не впервой. Обживать новое жилье тоже не впервой, и всегда эта обязанность из обязанностей лежала на мне, к тому же мне до сердечной тоски хотелось поехать на родину, главным образом в Быковку. Я смиренно выслушала наказ мужа и взялась за дело, но ведь и дело-то, как оказалось, я должна делать в урочный час, чтоб и спать ложиться вовремя, и еда чтоб была... И стала я помаленьку ловчить. Ляжем спать. Витя поворочается на своей кровати, почитает, погасит свет и мне велит гасить свет, мол, спать пора.

Ну, пора так пора. Лежу, выжидаю, когда Виктор Петрович начнет похрапывать, глубоко дышать, переберусь через него и в кухню, дверь прикрою — и пошла работа! Почувствую, что устала, гляну на часы — половина шестого! Направляюсь в ванную, мою ноги, умываюсь и, осторожно перелезая через спящего мужа, добираюсь до своей постели. Иногда проснется, спросит, чего холодная? «Да в туалет ходила...» И никто, ни разу не спросил, не удивился, когда все разместилось по местам?..

Когда ехали до Перми поездом, Виктор Петрович вспомнил, стал рассказывать о своем попутчике, соседе по купе — тот ехал домой, возвращался из «отсидки». Маленький, щупленький, только катанки на нем новые и большие, и он их то снимал с ног и укладывал в изголовье, то снова надевал.

Спрашиваю, откуда и куда путь держит? И он рассказал за дорогу-то, как они с матерью в войну, оголодав вовсе, приспособились изготавливать из розовеньких цветочков иванчая «цейлонский чай», подробно рассказал всю «технику» изготовления того чая, и они продавали его, как настоящий, свернув из бумаги пакетики, в каких и поныне продают огородные семена, насыпали по чайной ложке в пакетик и продавали. Торговля шла хорошо, да только до времени, до случая. Разоблачили нас и «определили» на определенное время в каталажку... Вот, освободился, еду домой, к матери — ее из-за болезни освободили раньше.

Виктор Петрович так живо, так зрительно рассказал это в тот раз мне — прямо бери и записывай, и он в самом деле собирался написать об этом рассказ, да так и прособирался и, вспоминая об этом, не раз сожалел, что «выболтал», а написать не написал.

Почти так же получилось с рассказом «Синие сумерки». В Быковке, как обычно, после обеда, он взял удочки и отправился на рыбалку — хариусков подергать, а я с рюкзаком за спиной отправилась на лыжах по «своей» дороге — подышать, покататься, на обратном пути, думаю, может, рябину увижу, так наломаю, или сосновых веток — на «букет», такой от них стойкий и свежий запах по избе.

Вернулись домой, напились чаю и, пока было рано зажигать лампы, улеглись на раскладушках, наблюдать такое удивительное слияние дня с вечером. За окном самые синие сумерки, в окно скребется яблоневая сухая ветвь.

Когда-то, тоже в Быковке, Виктор Петрович изустно, без перерывов и сбоев рассказал от начала до конца прекрасный рассказ «Синие сумерки». Но обстоятельства не дали ему вовремя сесть за стол. Рассказ он спустя время все-таки написал, он так и называется, так названа и одна из его книг, но писал он долго, мучительно, и рассказ многое утратил от первоначальности — ушло время.

Однажды он ненадолго сходил в тайгу, хотел добыть рябчика, да охота не задалась, погода стала портиться, и он скоро вернулся домой, залез на печь и уснул. Проснувшись, сказал, что приснился ему странный, совершенно законченный фантастический рассказ.

— Будто здесь же, в Быковке, но летом, мы что-то за баней садили или выкапывали, — начал он рассказывать сон. — Вдруг все стихло, как бывает перед затмением солнца, оцепенело вокруг. Я глянул на небо, а оно сплошь затянуто сеткой, белой, воздушной, как облаком. Сетка похожа на ту, какую изображают на сладком пироге. Она пульсирует: то почти соединяется, сливается в общий покров, то снова растягивается... По сторонам посмотрел и увидел отовсюду движущиеся по земле молочно-прозрачные тени, попарно, семьями и врозь...

Это же инопланетянки! Мы залезли на печь. Витя взял ружье, приготовился. Ждем. И тут увидели «их», уже просочившихся в избу. Выстрелил — никакой реакции. Они двинулись по избе, затем, вытянувшись, как струи дыма, потекли в двери, в окна, в щели на полу и на стенах... Там, вне дома, они снова обрели прежние формы и пришли в движение...

Чего же в них стрелять? Они ж бесплотные! А как же тогда с ними бороться? Мы же привыкли инопланетян представлять по книгам и рисункам...

Появился ученый в образе Бориса Никандровича Назаровского и говорит, что они не могут обитать в жарких странах. Для них вода, болота — самая благоприятная среда, что мы

сами создали для них эти условия — искусственные водоемы, повырубали лес... Они уже не одну планету превратили в безжизненную. Давно уже наблюдают за нашей прекрасной землей. Теперь проверили, что мы не можем с ними бороться — нечем у нас от них защищаться. Весь лес они быстро сведут, и всюду будут расти травы, не мелкая трава — мурава, а зонтичные — пиканник, медвежья дудка и другие...

— А какие же меры принимаются против них? — спросил Виктор Петрович.

— А никаких, — ответил ученый. — Пока все земное человечество захватил прогресс: создание спутников, бомб, компьютеров, роботов, сверхзвуковых машин — самолетов. И еще: все очень много времени проводят у телевизоров. — Виктор Петрович это тоже уже отметил, что в парках, вокзалах — всюду огромные телевизоры, 30-40 программ, смотрят соревнования тяжелоатлетов, фигурное катание, хоккей, футбол, фильмы с сексом. — А чтобы «их» победить, нужно всю энергию, главным образом тепловую, сосредоточить на борьбе с ними — они не переносят жары. Люди спохватятся тогда, когда они сведут все леса, высушат моря и реки. Сетка, которой затянута небо, — это высшие, наиболее организованные существа, они регулируют поступление солнечного тепла и света: то вытянутся, выпустят в «ячей» нужное количество, и спустятся — закроют...

Никому пока невдомек, что все футболисты, штангисты и прочие выносливые люди с детства воспитываются в особых условиях и потому обретают эту силу. Все остальные давно уже обескровлены, не могут быстро бегать, поднимать тяжести, справляться со зверем. Но, как и во всяком обществе, у них есть разделение на белых и зеленых, белые — высшие, зеленые — роботы.

* * *

Вспоминается трогательное и волнительное прощание с Уралом, с Пермью. В день отъезда под вечер стали собираться друзья и знакомые — более тридцати человек. Были тут и художники, и артисты, и издательские сотрудники. Слышим, подошел уже автобус. Еще посидели, но разговор уже как-то не клеился. Выпивали помаленьку, закусывали неохотно, без шуток. Было сказано много милых, теплых слов, благожелательных напутствий, преподнесли много памятных подарков.

Все поехали на вокзал, и все еще не верилось, все думалось... Сколько здесь друзей! Здесь же родина! Куда? Зачем?

Когда я сейчас думаю, вспоминаю об этом, в груди делается что-то, от чего начинает першить в горле и пощипывать глаза.

Перед отъездом из Перми Евгений Широков — художник — начал писать портрет Виктора Петровича, с укоризною и обидой говорил: мол, будь бы я Микеланджело или кто, то Виктор Петрович отложил бы свой отъезд хоть на год, а тут...

Евгений Николаевич работает — пишет, Виктор Петрович «позирует» — но не позирует, а читает рукопись. Пришел художник Багаутдинов. Удивительное дело: у пермских художников какой-то особенный интерес вызывает творчество Виктора Петровича.

Для начала Виктор Петрович прочитал несколько затесей: «Туру», «Домский собор», «Как лечили богиню», «Вагонные разговоры», которые, он полагал, нигде не напечатают. Затем Виктор Петрович стал читать повесть «Пастух и пастушка».

Я проснулась рано, пошла умываться и, чтоб наскоро приготовить завтрак из того, чего есть, вхожу в ванную, а он, Багаутдинов, прислонившись к стиральной машине, как к тумбочке, читает повесть...

На другой день, рано утром мы снова поехали в Быковку — Витя сказал расстроенному художнику, мол, делай, как знаешь, а мне надо в Быковку, мне туда хочется... Мне надо прийти в себя, подумать, пописать.

Победали и отправились в лес. Клева не было, потому и ухи не поели, как предполагали, но посидели у костерка, попили чаю, Витя обсушился — оступился в речку. Я набрала рябины. А он сидел у затухающего, такого умиротворяющего костерка, глядел вокруг, дивился и снова, и снова говорил о том, что нет земли краше, чем Урал осенний.

Погода начала портиться, на Покров выпал снег. Витя сидел, работал. Написал очерк для журнала «Смена» — «Осенние раздумья». Начинать трудно — очень сильно расстроился желудок. Говорит, если б не обещал, не стал бы заниматься. А после расписался. Очерк получился волнительный, серьезный и грустный, действительно — глубокое раздумье. Я перепечатала, еще правил. Было бы хорошо, если б материал отлежался, но времени нет. В редакцию отправили к сроку.

Написал еще три новеллы-затеси: «Видение», «Звезды и елочки» и «Запоздалое спасибо». Кроме того, написал два письма: отзыв на статью О. Волкова для «Нашего совре-

менника» и представление очерка В. Летова для этого же журнала.

На другой день, когда напились чаю, прочитал мне вслух в кухне «Звезды и елочки», а после обеда все-таки сходил в лес.

Вечером читал в журнале «Дружба народов» вроде рецензию Вл. Семенова на «Синие сумерки». В том же журнале прочитал повесть «Кто распространяет анекдоты» — сказал, оригинальная, хорошо написанная.

Вечером долго не спалось, разговаривали, вспоминали — сумерничали. Витя рассказывал всякие случаи из жизни бабушки Катерины — он очень часто о ней вспоминает и рассказывает. Смеялся, припоминая, как она грешила с ним. Говорит, часто вижу ее во сне: как прихожу к ней в старую, пустую избу. Как и было все у нее в мой, говорит, последний приезд: ситцевые вылинявшие занавески в заплатках, ветхая клеенка на столе, одежда на ней — тоже... Посуды мало и та ушербная, старинная... Два года жизни у них — это и было мое детство.

С утра снова работал — он с какой-то жадностью работает здесь, в Быковке, будто боится, что не успеет, а в другом месте так уж не напишет.

Я перепечатала я письма, и новеллы, и сказала: «Витенька, как ты здорово написал о елочках и звездочках! Прекрасно и грустно». А он: «Сейчас я только что закончил самую прекрасную новеллу — контру», — и прочитал «Братья».

Я, пораженная, хотя историю, здесь описанную, слышала прежде, не зная, что сказать, шутливо молвила, значит, мне все-таки надобно сушить сухари...

Потом Витя стал рассказывать о встречах — знакомствах с главными редакторами и какое кто из них произвел на него впечатление:

«Кабинет у Александра Трифоновича Твардовского просторный и сам он большой, светлый, в белой рубашке. Лицо добродушно-серьезное. Поздоровался, пригласил проходить, садиться. Речь шла о моем рассказе «Бурелом». Он не навязывал своего мнения, не разговаривал покровительственно. Меня поражал его пронизательный ум. Говорил о природе и человеке, в каком положении и состоянии внутреннем мог быть человек, оказавшись наедине со стихией, как бы случайно, но выделял в рассказе главное... хорошо, умно говорил и с удивительным знанием дела. Я люблю его как поэта, считаю самым большим поэтом и самым умным редактором...»

С Симоновым Константином Михайловичем Витя, к сожалению, познакомился, когда он был уже очень тяжело болен

и все-таки при этом ознакомился с рукописью «Зрячий посох», где большое место занимает его бывший и уже ушедший из жизни друг Александр Николаевич Макаров. И разговор был непродолжителен, опять же из-за болезни Константина Михайловича.

Встреча со вторым крупным редактором, Федором Ивановичем Панферовым, возглавлявшим журнал «Октябрь», проходила уже несколько по-иному. Когда, говорит, я вошел в кабинет, он сидел за столом и вставлял в мундштук сигарету. Поздоровался и спрашивает, чего я в Москве делаю? Учусь, говорю, на ВЛК. А он: «Ну и зря. Я тоже учился, но через три месяца меня выгнали. И правильно сделали. Я за это время «Бруски» написал». А в разговоре сказал: «Ты нам давай добрый рассказ, плохие у нас свои пишут...». Разговаривали минут пятнадцать и все время переменялись: то о литературе, то о людях, то о чем-то совсем другом.

Третий крупный редактор на моем пути был редактор журнала «Молодая гвардия» Василий Дмитриевич Федоров, замечательный поэт. С ним были не очень близко, но знакомы, встречались не раз и не два, и в компаниях, и на каких-то заседаниях. Но когда я пришел к нему, как к редактору журнала, — его тон, его высокомерие, какая-то недовольность или усталость от всяких этих авторов привели меня в уныние, даже сам его вид. И уходил из кабинета с грустным чувством: «Вот что может сделать с нормальным хорошим человеком и поэтом власть, занимаемый пост и, вообще, должность...»

После обеда ходили в лес. В лесу прелестно, под ногами хрустит снежок, ярко сияет солнце и слепит глаза. Будто весной.

Однажды завтракали и слушали по радио передачу о Лермонтове. Витя слушал, слушал, а потом сказал, что литературоведы, влюбленные в своих поэтов, так о них говорят, будто сами стихи читают: проникновенно, возвышенно, с волнением. Нам, говорит, на Высших литературных курсах профессор Архипов читал Лермонтова, Некрасова и Тургенева. Тургенев он, правда, разносил, так звонко и очень убедительно его «рассказывал». И продолжал: вообще, студенты литинститута за пять лет обучения там могли бы получить прекрасное эстетическое образование. К сожалению, за малым исключением они богемничают, фрондируют и после выходят теми же невеждами, только более развязными...

Когда приехали в город, Виктор Петрович зашел в Союз писателей, там поддатый Лева Давыдович сказал: «Витя, город наш деградирует день ото дня. Вот ремонтируют улицы

Ленина, сносят все, что было лицом губернского города; ни одного деревца не оставили — все под корень. Зелень, дома, памятники старины, парк, заложенный в память о погибших воинах...»

Витя уже написал обо всем этом в очерке «Осенние раздумья» в журнал «Смена». Дочитав «Восточный поход Муссолини», сожалел, что не прочитал это перед написанием «Пастишки», — кое-что добавил бы: в памяти возникло. А может, и не надо — там и так достаточно мрачных мест. Спустя время говорил, что пока не может решить: от первого или от третьего лица писать роман. Композиционно-то все обдуманно, все сложилось, можно садиться писать. А рассказал о Мите Сазонове, которого расстреляли (показательная казнь) свои же, уж после войны... писать не буду. Вот он уж покойный, но никто из оставшихся в живых, не помянет его добрым словом — такой был злой, трусливый и мерзкий человек.

Надумали покидать Быковку. Накануне вчерне закончил рассказ «Ночь космонавта» — задумал-то как новеллу, но получился большой серьезный рассказ. Работы над ним много переписываться и перепечатываться рассказ будет не раз. Прочитал и пошли в лес — прощаться с природой.

Пришли на берег. Переправа уже не работает. Решили идти на Алебастровую — не шли, а карабкались по скалам, цепляясь за обледенелые чахлые кустики. Однако, хоть и натерпелись страху, дошли, и нам повезло: минут через пять-десять подошла электричка. Чай во фляге застыл, Витя грел его то за пазухой, то на обогревательной трубе. Поели немного. На остановке в вагон вошли военные и среди них один — Лермонтов! Ни дать, ни взять... Опять заговорили о поэте, о книге Ивановой «Друзья истинные и мнимые»...

В дороге, когда карабкались по обледенелым крутым скалам, вспотели, в электричке замерзли. Говорю, что по дороге надо бы купить вина... Потом Витя спросил, чего я видела во сне? Говорю: «Скалы», — и стала рассказывать, как я его умоляла: «Витенька, миленький! Давай карабкаться вверх...»

И вот я подошла к тому, о чем больно и горько рассказывать. 19 января 1971 года не стало Николая Рубцова.

Было обычное зимнее утро, в меру морозное. Я вышла из дома и направилась на почту. В этом почтовом отделении меня

знали. Бывало, увидят в очереди, подойдут, кто свободен, возьмут мои бандероли или оставят, чтоб оформить.

В этот раз мне почему-то сказали: «Подождите немного. Мы только вот этих отпустим...»

Я подождала. Когда народу не осталось, самая молоденькая из работниц спросила:

— Вы знаете Рубцова? — а сама тарашит на меня непривычно не улыбочивые глаза.

— Знаю.

— Он живет в шестьдесят пятой квартире? — допытывалась другая.

В это время подошли еще женщины.

— Точно не знаю номер квартиры, но расположение знаю, на пятом этаже.

— Его сегодня ночью убили...

В первый момент меня ошеломила эта ужасная весть, затем возникла спасительная мысль — ошибка!

— Девочки! Так шутить... — начала было я подавленно, повернулась и пошла к Рубцову. Задумавшись, как я объясню ему свой ранний приход, не заметила, что направилась не в ту сторону, дошла до угла, опомнилась, вернулась. Поднимаюсь спешно с этажа на этаж, дышится от волнения тяжело, но остановиться или хотя бы замедлить шаг не могу: скорей, как можно скорей разувериться...

Две соседки на лестничной площадке, заслышав шаги, уже открыли двери из своих квартир, смотрят на меня.

Звоню сильно, долго. И тогда они в голос:

— Вам кого?

— Николая Рубцова.

— А его только что увезли... в морг...

Прислонившись к пожарной лестнице, ведущей на чердак, закрыла глаза. При чем тут морг?

Одна из женщин принесла в кружке воды, дала мне попить.

— Она его одним махом перехватила! — стала рассказывать было соседка, но ее тут же перебила другая:

— Нет-нет! Он еще упал и все кричал: «Люда, я люблю тебя! Люда, я люблю...»

Я не стала их слушать. Иду, плачу, хочу представить Колю, поверить. Слезы душат. Как скажу об этом своим? Ведь только вчера приснился сон: где-то в худой, полуподвальной избе, замусоренной соломой, лохмотьем... И все мы: Витя, Вася Белов, Коля Рубцов... Он какое-то время ходил по избе, как по кругу, внимательно всматривался в пол, явно чего-то искал. И

вдруг где-то нашел и подарил Виктору Петровичу деревянную и длинную шкатулку, внутри как бы ваза с низкими краями, большая похожая на фарфоровое вытянутое блюдо с зубчиками и с цветочками, а в середине красивым почерком, золотыми буквами написаны строки из его, Колиных, стихов, но я не разобрала... Проснувшись, как от сильного толчка, полезжала, разбудила Витю, рассказала про сон, а он: «Ты будешь спать или нет? А то ведь вытурю!..»

Уснуť не смогла... Сложила бандероли в сумку, попила холодного чаю и ушла.

Пришла домой, раздеваюсь, а рыдания рвут душу, ничего не могу с собой поделать. Прошла на кухню. Виктор Петрович умывался, услышал, что я плачу, решил, что ходила в больницу: плохо себя чувствовала последнее время — и мне предложили лечь, а я не хочу вот и реву.

— Что случилось? — спрашивает.

— Колю Рубцова убили.

— Кто?

— Жена.

— Как?.. — не поверил, ушел к себе, сел за стол, развернул газету, отбросил, вернулся. Начал звонить.

Собрались в отделении Союза писателей, собрали деньги, чтоб купить обувь, белье, костюм. Все были заняты хлопотами: кто в морг, кто оформлять документы, кто заказывать гроб, венки, копать могилу.

Гроб с телом установили в Доме художников, в большом зале. Стены увешаны гирляндами из пихтовых веток, увитых и скрепленных красными и черными лентами. На фоне желтых штор, скрывших окна, спускаются черные полосы, и на них строфы из стихов покойного поэта.

На одном:

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

А на втором:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Два больших портрета: один — фото, другой взят с выставки — работа художника Валентина Малюгина. И му-

зыка, музыка. Почетный караул меняется через каждые пять минут.

В 15 часов 15 минут началась гражданская панихида. Проститься с поэтом пришли люди, знакомые и незнакомые, которых он собрал вокруг себя в этот горький час и объединил этим горем. Они все идут, идут, обходят вокруг гроба и отходят в сторону, уступая место другим. На короткое время все замерло в молчаливом прощании, не было слышно ни голосов, ни плача, ни движения.

Художники, писатели, друзья стали обращаться к покойному поэту со словами прощания. Виктор Петрович Астафьев сказал:

— Друзья мои! Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле.

Здесь сегодня, я думаю, собрались истинные друзья покойного Николая Михайловича Рубцова и разделяют всю боль и горечь утраты. У Рубцова был тяжелый путь, его судьба была трудна и горька. Это отразилось в его стихах, полных печали и раздумий о судьбах русского народа. В этих щемящих стихах рождалась высокая поэзия. Она будила в нас мысль, заставляла думать...

В его таланте явилось для нас что-то неожиданное, но большое и важное. Мы навсегда запоем его чистую, пусть и неопетую песню... Я люблю во всей русской поэзии, может быть, больше всего, такие стихи Николая Рубцова:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Я хочу закончить старинной притчей: «Господь, прости его врагам, Господь, прими его в объятия!»

Бывшая жена поэта, Генриетта Меншикова, приехавшая из Тотемского района — ехала на грузовой машине всю ночь, — сидела по-русски красивая, скорбная, одинокая. Она долго-долго смотрела на лицо покойного мужа, не сдержалась, зашла в рыданиях. После, поняв, что скоро его совсем не будет, остановила в себе плач и уже не сводила с него взгляда. Разобрали венки, подняли гроб и понесли. На кладбище было долгое прощание, короткие, горькие, клятвенные речи. Я все пыталась до конца понять, осознать, что вот ушел из жизни Нико-

лай Михайлович Рубцов. Чувство такое, будто не один он ушел из жизни, а много поэтов, прекрасных внешне и духовно, умных и интересных, ярких и содержательных, добрых, мудрых, сложных, наивных, нежных... И мысленно все повторяла: «Прости, дорогой Коля, что мы, живые, так мало думаем и делаем для того, чтобы люди жили долго, жили чистой и достойной жизнью и сами были бы достойны ее, потому что не всегда способны понять, оправдать и научить добру даже ближнего своего... Прости меня...»

А потом было все: и плач, и споры, как уже повелось на Руси, все запоздало казнили, что не уберегли талант, не уберегли поэта.

Горькие, тревожные, беспокойные пошли дни. Телефон не умолкал. Звонили знакомые и незнакомые, горевали, сочувствовали, спрашивали, что да как...

«Получили книгу Николая Рубцова. Спасибо, спасибо! Какие хорошие, какие удивительные стихи! Всю прочитали вслух. Сразу. Большое удовольствие! Замечательные стихи!

Хотелось больше узнать о нем. И как это так получилось? Погиб талант...

Взяла литературную энциклопедию, чтобы посмотреть, прочитать о нем. Подала сыну. Посмотрел и сказал: «О нем ничего нет. Не включен».

Это строки из письма Матрены Ивановны, матери поэта Евгения Фейерабенда из Свердловска. Я послала им сборник стихов Николая Рубцова «Зеленые цветы», вышедшей, когда поэта уже не было в живых.

«Дорогой Виктор Петрович! — писал Николай Николаевич Яновский. — Сегодня у меня тяжелый день — ровно три года, как погиб мой сын. Сегодня же узнал из газет и писем, что погиб Коля Рубцов. День этот для меня как дурной сон. Я не решался написать тебе, знаю, как ты его любил, как тяжело тебе что-либо говорить, когда свежа еще рана... Сейчас я решился, потому что мне больно и за сына, и за милого, большого русского поэта, полностью еще не раскрывшегося и унесшего тайну своего добра в безвременную могилу...»

«С большой скорбью узнали мы о смерти Коли Рубцова. Ударило прямо в сердце. Очень очень жалко! — пишет из Калининграда Анатолий Соболев. — Вот и отлетело сразу все наносное, остался в памяти чистый и светлый поэт северной России. И стихи его, и песни, и гармошка, и сам он «с большим и маленьким организмом» стоит перед глазами. Боже мой! Боже мой! И по какому же такому случаю помирают истинные

поэты! Жаль, очень жаль! Передай ребятам, что мы разделяем ваше горе...»

Мне думается, с годами он будет все больше и больше объединять вокруг себя своими стихами любителей и почитателей поэзии, и они не будут уставать удивляться и восхищаться его необыкновенным, большим талантом.

Я не случайно уделила столько времени воспоминаниям о поэте Николае Рубцове, и не только потому, что мы близко и не день-два, а годы знали его, но и потому, что период жизни и общения с ним, работы в одном творческом Союзе — это немалый период нашей жизни в городе Вологде.

Когда не стало среди нас Коли Рубцова, мы все были в горькой растерянности и только тогда, с полной остротой и болью поняли, как он нас всех объединял и как всем нам стало без него плохо.

Необъяснимую вину, тяжесть в душе и сердце переживали все вологодские писатели после кончины Николая Рубцова. Когда встречались — хоть в Союзе писателей или у кого из нас, — разговоры вольно или невольно сводились к горю, даже началось было, когда один вдруг недобро обвинит другого, что ты с ним больше и чаще пил, а беду отвести не смог, не захотел...

И стали помаленьку-потихоньку разъезжаться кто куда. Василий Белов уехал к себе в Тимонику, Коротаев — тоже в свою деревню, Боря Чулков поехал в Москву — вроде в одном издательстве ему предложили перевод книги, Саша Романов отправился в родную деревню Воробьево, сказал, что попытается работать, если сможет.

Мы собрались и поехали на Урал, в Пермь и в Быковку. Витя на день остался в городе — сделать кой-какие дела да повидаться, а мы с племянником Толей сели в электричку, доехали до Новых Лядов, там пересели на автобус, чтоб добраться до старого поселка, который почти целиком ушел на дно рукотворного моря. Пешочком, по торной дороге перешли море, там, полем, через лог, и вдали уже показались дома быковские, сердце удивилось приятно, прибавили шагу и быстро дошли до своей избушки. Толя наносил дров, я растопила железную печку, и сразу тепло разлилось по избе, мягкое, долгожданное, привычное. Толя носил снег и топил его — на чай, на похлебку, на всякие нужды. А снег белый-белый — глаза слепит...

Я разбираю рюкзаки, он готовится топить баню. И когда напились чаю, он истопил баню и отправился на рыбалку, а я стала готовить постели — нам с Витей на раскладушках, племянник облюбовал полати... Включила «Спидолу», слушаю

музыку, думаю, вот-вот Витя придет. Мария Федоровна — соседка, увидев дымок в трубе, принесла ведро картошки, сколько-то луковиц, огурцов соленых да бидон молока. Посидела маленько и заторопилась домой, сказала, после опять придет.

Над избой Гриши — пастуха — полная, круглая луна запала в ввалившуюся крышу, как в ложе, и в избе сделалось так светло, хоть огонь гаси, а снег на улице засинел...

Слышу торопливые, легкие Толины шаги по ступенькам в сенках. Зашел в дом, румяный, глаза блестят, рот в улыбке до ушей. Прокатился катом до дверей в кухню и сует мне руки к носу. Чем пахнут? — спрашивает. Я понюхала одну, другую и говорю, что вроде ольхой.

— Ну-ну, тетя Маня! Ну, понюхайте еще! Харюзками пахнут мои руки! Харюзками! Таковую ямку нашел!.. А они не ожидали... Вы знаете, такая красотища кругом! Вам только выйти, полюбоваться некогда...

— Ну раз такое дело! Раз харюзки! Значит, будет уха! — и начала чистить картошку, а Толю еще раз похвалила и сказала, чтоб он пока вымылся в бане, потом я, а там и дядя Витя появится...

Толик пришел из бани распаренный, довольный, сказал, что воды и нагрел много, и холодной натаскал — всем хватит. И тогда мы подменили друг друга: он будет доваривать уху — она уж почти готова. А я пойду в баню. Тоже намылась, как праздник пережила, чуть полежала и взялась накрывать на стол. Стали вспоминать, как Виктор Петрович первую уху из харюзков варил в Быковке. Сварили-то в огороде, на печи, но комар заедал и ужинать решили в избе. Толя изображал, как дядя Витя нес ту кастрюлю с ароматной ухой — в потемках же, весь ориентир — это запах ухи! Толя идет впереди, как бы дорогу показывает, за ним дядя Витя, а мы гуськом следом и одно твердим: не запнись, не пролей, не упади, осторожно, не обварись, и так бы, наверное, до самого стола продолжали бы давать ему советы, но он как выразился со смаком раз-другой — тут уж все смолкли, все успокоились...

Вспоминали, как гурьбой на рыбалку ходили. Как гости, наезжавшие к нам в деревню, угощались той изумительной ухой и все с трудом верили, что есть же еще такие благословенные места и такая изумительная рыбка!

Вдруг стук в раму, а потом и в дверь.

— Дядя Витя приехал! — ликующим голосом воскликнул Толя и побежал отпирать дверь.

В избу вошел Витя! Такой свежий, хороший, полушубок нараспашку, шапка сдвинута на затылок, глаза блестят!..

— Господи! Как я хорошо дошел! Нигде ни души, снег под валенками поскрипывает, луна вон какая — у Гришки аж крышу продавала! — Шапку положил на матицу, полушубок снял и только стал его весить, так без движения и замер.

— Коля ты, Коля! Что же ты наделал, когда такая красота кругом! Ах ты, Коля... бедный Коля... — И опять: — Хорошо-то до чего, батюшки!..

Мы переждали, пока Витя отойдет от нахлынувших горестных дум, помолчали еще какое-то время, пока Витя спохватился, заслышав запах ухи.

— У вас и уха уже готова?! — удивился он.

— И баня! — сообщил не без радости Толя.

Решили, что Витя тоже сходит в баню, намоется, а потом, не торопясь, в удовольствие поужинаем.

Витя отдохнул после бани совсем недолго, минут десять, и все сели ужинать.

Помянули Колю, затем выпили за здоровье Бориса Никандровича, что сам, наверное, того не ведая, подарил нам такое счастье — нашел для нас эту деревню, эту избушку... Засиделись за столом, и Толя от чая отказался, а мы и за чаем вели разговоры разные. Витя рассказал, кого повидал в городе, с кем встретился, что в издательстве долго проговорили, хватился, а времени-то уж о-го-го, распрощался и ходу, с Перми 1-й на электричке, от Новых Лядов попутную схватил — все получилось лучшим образом, даже не думал, что так быстро доберусь. А когда показались быковские огоньки — сердце екнуло радостно, и я надбавил ходу, хотя и торопиться в такую благодатную зимнюю пору вроде грех, но катанки все скрип-скрип — будто подгоняют...

Толя быстро уgomонился на полатах — после рыбалки, после бани да после такого ужина... Пусть спит, пока спится, пока молодой да здоровый, пока ни заботы, ни печали.

А Витя, определившись на своей раскладушке, пододвинул лампу, начал читать Колины стихи — лежал на столе сборник «Душа хранит». Сначала читал вслух. Дошел до последних стихов и говорит:

— Эти стихи я у него очень мало знаю. А ведь читал и прежде. Видимо, теперь они обрели совсем иной смысл, особый. Прекрасные стихи.

Проснулись поздно, пока позавтракали, еще поразговаривали, и Толя стал собираться в город, пока доберется, пока то да се, а завтра рабочий день.

Пошли его провожать. Погода стояла зимняя, но мягкая, когда с улицы не ушел бы, и Витя сказал, что, однако, он плюнет когда-то на все свои дела и обязательства и будет так вот ходить-гулять, чистым воздухом дышать и думать о чем-нибудь хорошем: про хоккей, про рыбалку, конечно, и «за литературу» — куда от нее денешься?

И статьи пока писать не буду, хотя и обещал. Порасспрашивал Толю, где он вчера исхитрился тех харюзков изловить? Много ли наледи выступило, какие ямки затянуло льдом, и можно без пешни, налегке?

А Толя слушал дядю, покачивал головой, мол, ладно, ладно, издевайтесь, что у меня времени нет, но я еще, пока вы здесь, постараюсь выбраться и обловить вас, раз на то пошло.

Снова заговорили об Андрюше — нашем младшем сыне, которому в марте сравнялось 18 лет, а в первых числах мая призвали в армию...

Андрея сразу отправили в Германию, а в половине июня — в Чехословакию, сначала как бы на маневры, а потом... Что уж ему довелось там повидать, пережить и испытать — и представить трудно. Нет, наверное, чувства горше, тяжелее, чем родительское бессилие...

Мы ничем не можем ему помочь или что-то изменить. Неужели мало того, что мы оба были на войне, перестрадали столько и оставили там свою молодость. Даже этим не могли оградить своего сына, такого хорошего парня из которого вышел бы, уверена, хороший человек. А он вот даже в мирное время угодил на войну.

Когда в день проводи́н остались только своей семьей, ели на кухне пельмени, Андрей выпил только одну рюмку водки, сказал, что в военкомате не велели, Витя сказал сыну, мол, можно было бы, раз уж такое дело, мы бы с матерью взяли и подменили тебя и оттрубили бы в армии по годочку, а ты бы учился, в университете. Нам-то университетов заканчивать не довелось... Да только невозможно все это...

И Иринку жалко. Жаль очень, что она так безрассудно и безжалостно распорядилась своей молодостью, и вот теперь страдает и сплетни выслушивает, так как нечем возразить. И ей помочь вот тоже ничем не можем... Как горько все то переживать...

Вот и дела в литературе идут хорошо — нынче вышли четыре книжки: «Кража» — в Москве; «Ясным ли днем» — в Москве; «Конь с розовой гривой» — в Воронеже и «Последний поклон» — в Перми. И в «Советском писателе» скоро должен выйти сборник «Синие сумерки». И в доме достаток. В самую

бы пору передохнуть, подлечиться, а тут такие тревоги да переживания.

Потом Витя опять заговорил о повести «Пастух и пастушка», над которой работает вот уж более двух лет, а конца и не видно. Ясно пока только одно, — говорит он, — в таком виде, в каком она есть, ее никто печатать не станет. Трудно работается. Чувствую, говорит, как не хватает мне большой внутренней культуры, чтобы делать философские обобщения, убедительно раскрыть сложный внутренний мир героя повести — ведь не случайно же так долго «вертелось» название повести «Такое легкое ранение, а он умер...» А я ведь постоянно, изо дня в день стараюсь наполнять себя знаниями, много читаю критического материала, слежу за периодикой, стараюсь сам во многом разобраться, думаю, мыслю, ищу — и все думаю, думаю...

Вот задумал роман, большой, серьезный, многоплановый. Многое в голове уже сложилось, нужно посидеть в архиве, почитать документы, перечитать много литературы (серьезной). Вот с Володией Орловым — профессор-философ, наш сосед по площадке, — поговорить бы надо, но поговорить «не заданно», не академично, а «по душам», откровенно.

Ты и не представляешь, как жаль было мне расстаться с «Последним поклоном» — в этой книге ничего не надо было выдумывать, обобщать. Писалась книга-с удовольствием и радостью. Больше к этой теме я никогда не вернусь...

* * *

Дома снова зашел разговор о повести «Пастух и пастушка». Даже первое прочтение вызвало впечатление ошеломляющее. Замечания были: сократить вторую часть, рассказ Люси о себе должен быть убедительней, сны — из двух оставить один и сократить письмо матери.

Маршал Конев в своих мемуарах пишет о том, что хотел бы забыть, например, когда по его приказу была уничтожена немецкая группировка — то было столько трупов, что невозможно было проехать на машине, и он тогда взял розвальни, обыкновенные, деревенские, и на них поехал, и что переживал... Если все это написать по-настоящему (в картине боя и смерти немецкого генерала)...

От имени главного редактора киностудии им. Довженко сообщили, что собираются все-таки экранизировать «Пастушку». Оказалось, что повесть прочитал Брежнев, повесть ему понравилась, надо делать фильм, — сказал он. Сказал — и решил. Это был как раз тот период, когда ему стали доклады-

вать, что, мол, в журналах ничего интересного, снимать тем более нечего и показали «Пастушку».

А тут еще посмотрели передачу о битве на Волге. Прошло 20 лет, — сказал Витя, — и все эти годы я смотрю, слушаю, а ума не хватает постигнуть, как можно обо всем этом, что происходило и происходит, говорить простыми словами?.. Один выступающий сказал: «И вот небольшая кучка сталинградцев отстаивала Волгоград!» — парадокс какого не придумаешь! А этот «Волгоград» — город, известный во всем мире! Какая же это чудовищная известность!..»

— Вот я лежу, гриппую. Лежу в чистой постели, в тепле, окружен заботой и лаской — и то трудно. А как бывало на фронте: голова разламывается, кости ломит, температура, а надо воевать, работать, не спать, часто в голоде и холоде. Ладно, если ребята посочувствуют, подменят, в землянку или под накат отправят, а там холодно, сыро, одиноко. И только боль во всем теле да лихорадка. И так себя жалко станет... А когда у кого-нибудь зубы болели. Лекарств нет, врача нет. Единственное лекарство — курево. И он, бедный, накурится, очумеет, а боль пуще того. Какой ужас! Жизнь сильнее фантазии... А как об этом написать? Об этом никто не напишет...

Пришло письмо от В. Лакшина, что повесть «Пастух и пастушка» ему понравились, но, если будет публиковаться, — «купюры неизбежны», но что почти вся редколлегия «Нового мира» — за! Виктор Петрович заходил с письмом ко мне в спальню.

Я лежу, читаю (на улице дождь как из ведра) повесть Е. Носова «Красное вино победы» — уревелась вся.

— Ты, никак, ревешь? — слышу подошел Витя. — Ох-хо-хо! А я сижу и не знаю, что старушоночка-то моя уревелась вся... — обнимает, гладит, шутит, а потом, уже серьезно: — А я как раз о нем пишу в «Наш современник» — пришло письмо, дискуссию по рассказу начинают. Просят выступить.

А вечером пришел ко мне на кухню и говорит: «Сначала все писалось как надо, а потом понесло, понесло...» — и прочитал...

Дни идут, один за одним и ни один не споткнется, не остановится... Е. Дорош написал в письме, что уезжает в Болгарию и, к сожалению, не сможет присутствовать в редакции «Нового мира» на обсуждении повести «Пастух и пастушка».

Иринка принесла из библиотеки книгу с картами войны. Витя листал, рассматривал карты, нашел «свои» места.

— Вот Ржишев — здесь меня ранило в глаз. Вот поле под Тарашей. Смотри, вот где были вечером, а утром — вот и... вступили в бой под Христиновской. Тараша — очень красиво. С этого места буду писать это страшное побоище...

Прочитал письмо Лакшина и говорит, что, когда ездил в Москву, в «Новый мир», — разговор был серьезный. И, вообще, впечатление самое доброе. Живут. Работают. Александр Трифонович здоров, вообще, когда дела в журнале трудные, говорят, он не пьет. Разговор начали с юмора — со списка юбиляров будущего года, который отпечатан. У чучмеков есть там такие фамилии — не придумаешь! Посмеялись, поговорили — и за дело.

Повесть всем понравилась. Все за то, чтобы печатать, и все озабочены одним — как напечатать?! Единодушно признали, что сцена баяниста написана блистательно. Наибольшие затруднения с третьей частью. Если удастся описательность подкрепить или где-то заменить зрительностью, когда удалось все те мысли донести в несколько иной форме, тогда исчезнет и некоторая натуралистичность, кою неподготовленный читатель может истолковать по-разному.

Витя рассказал мне, что кое-что он попытается сделать сам, а остальное с редактором. Редактора назначили. Предложили оформить отношения, заключили договор, выписали 75%. Я, говорит, намекнул, что по традиции полагается расписать хотя бы коньячку, но и Лакшин, и Кондратович враз заговорили, что в былые добрые времена так бы и было, но сейчас мы стараемся блюсти себя, как в журнале, так и в личной моральной жизни. Побывал за эти дни в Москве и у бывшего главрежа Пермского драмтеатра И. Бобылева, были оба друг другу рады, и Витя оставил ему почитать свою пьесу. Был в управлении театров, сказал, что радиопостановка по «Последнему поклону» сделана слабо, плохо, а они в ответ — «Гениально, талантливо».

Днем я ходила встречать режиссера Владимира Баранова. После обеда они гуляли, разговаривали, Витя вернулся с простуженным горлом, а Володя отправился купить коньяку, но ходил долго. После ужина Витя читал повесть «Пастух и пастушка». Я, говорит, очень люблю читать ее вслух, всем читаю сам. Дочитал до третьей части, где кончил правку. Огорчается, что так мало удастся сокращать, а больше прописывать...

Володя слушал, а потом сказал, что это готовый сценарий — бери и снимай. И начал рассказывать о фильме «Пир хищников», где немец в конце вызывает уже не неприязнь, а симпатию, становится героем.

Пошел разговор о немцах, как о нации. Витя сказал, что совсем еще недавно он их просто ненавидел, но со временем отношение к ним несколько изменилось, в чем-то он их начал понимать, не оправдывать, а понимать. Все это чрезвычайно сложно. И вот с повестью сложно. Вещь же выношена была, оформилась в голове, а когда начал ее писать и написал — все в ней вроде предельно, слово на вес золота. А вот теперь сокращать... Как все это будет?

* * *

ПИСЬМО Бориса Никандровича Назаровского —
Виктору Петровичу Астафьеву 26 января 1972 г.

Кругом Астафьев. Включишь телевизор — Астафьев, включишь радио — Астафьев. Включать утюг не пробовал, но все возможно в наш век технического прогресса.

Вообще-то, я стараюсь реже включать современные каналы массовой информации, но тут приболел немного, сидел (и сижу) дома, и нельзя же все время читать и писать...

Сначала я смотрел передачу (нашу пермскую) о выставке художников Урала, Сибири и Дальнего Востока в Москве. Ее вела Агата Григорьевна Будрина. Были вмонтированы записи выступлений на заключительном обсуждении выставки. И один из искусствоведов, а затем и художник московский говорили о портретах писателя Виктора Астафьева, как об одной из лучших в этом жанре работ за все последние годы. И хотя портрета на выставке не было (он путешествовал по заграницам), Агата Григорьевна вмонтировала его в передачу. Отличный портрет. Выключил телевизор. Неожиданно позвонила Светлана, племянница: «Смотрите ли? Там Астафьев...»

Включил, действительно, Виктор Петрович сидит, откинувшись в креслах и очень гладко говорит.

А на следующий день по местному радио передача: «С чего начинается Родина». Разговор о книге Виктора Астафьева «Последний поклон». Немного непонятная передача. Был не разговор, а рассказ, чей не сказали...

Все это и побуждает меня написать вам. Человек я старый, и так как привык всегда использовать в личных (хотя и не

корыстных) целях всякое свое положение, то и использую сейчас это единственное положение старого человека, которое позволяет поворчать даже на знаменитости.

Виктор Петрович! Вы рискуете перестать походить на свой портрет. Не для этого вас писал Женья Широков. Портрет вас связывает и обязывает. Извольте походить на себя!

Вам нельзя сниматься, откинувшись: видно брюшко. Вам нельзя позволять снимать себя снизу, с подбородка: лицо получается припухлое. Вы куда лучше (но не идеально) выглядите с наклоненной вперед головой (когда читали). Ближе к портрету.

Но возникает и общее сомнение: полезно ли вам вологодское масло? Не полезнее ли вам быковская картошка? Не надо ли вам посоветоваться с врачами, установить для себя режим питания и жизни? Подходят годы, когда надо, безусловно, надо заботиться о себе и держать себя в форме.

Вам нельзя ни умереть, ни зажить. От вас человечество должно получить многое. Не следует расходовать свое сердце на обслуживание разжиревшего организма: на этом сердце быстро перетруждается, а оно нужно для другого. Знаю все ваши возражения, знаю, что вы можете раздраженно сказать: что он мешается не в свое дело! И все же пишу.

Прошлое — сделанное — связывает и обязывает человека, не только и не сколько, конечно, портрет, на котором видны ваши бойцовские качества, в частности, умение взвесить свои силы. Обязывает «Пастух и пастушка».

Об этой повести мало пишут. Возможно, и замалчивают. Глубоко уверен, что она станет куда более известной в будущем и останется, как художественное свидетельство нашего века в памяти народа. О «Последнем поклоне» справедливо говорили, что произошел переход от автобиографических рассказов к большому философского порядка обобщению (об этом, последнем, не глубоко говорили). Еще большая сила художественного обобщения в энергической мысли, глубоко устремленной к человеку, в «Пастухе и пастушке». И какой-то круг людей, может быть, не столь широкий, но важный для вас, художника, ждет от вас многого, ждет большего. Почему-то я уверен, что вы не исчерпали своих возможностей роста, хотя жду «Затесей», жду еще более широких обобщений.

Правда, я на месте вашего Союза писателей поступал бы с такими людьми, как вы, — людьми одаренными от природы и и показавшими, что они способны использовать свое дарование, по-иному. Я бы прикреплял каждому из вас двух-трех настоящих профессоров, обеспечивал бы вам на три-четыре года целковых по 500 из Литфонда (в месяц) и побуждал бы

учиться. Античную культуру, историю своего народа, начиная с первобытных времен, историю философской, художественной и политической мысли надо постигнуть всем таким людям. Вот прикрепить бы вас к Арсению Владимировичу Гулыге, о книгах которого я вам говорил, кажется, чтобы он давал вам задание, что прочесть, и встречался бы с вами раз в четыре-пять месяцев, чтобы просто поговорить.

Общение с людьми высокой духовной культуры вам, человеку, вполне сложившемуся, никак не повредит, не порвет связи с землей, свежести ощущения природы не нарушит. Оно обогатит, разовьет художнический глаз. Способности этого глаза очень велики.

Для всего этого надо держать себя в форме, быть к себе требовательным во всем. Ничего не сделаешь, талант — жестокий дар...

Сегодня ночью я решил высказать вам все это. Вчера, 25 января, было семь лет со дня смерти Ирины.

Обычно, я заранее напоминаю Сергею и зову его. А тут забыл. Он пришел сам, вспомнил мать и приемного отца — молодец! — и притащил бутылку хорошего коньяку. Пришла и Светлана. Вот мы и выпили, а ночью я, допивая остатки, вспоминал и думал.

Ужасное дело смерть. Об этом ведь и «Пастух и пастушка». Мучительно и трудно билось, не поддаваясь ей, сердце Ирины. Потом врач говорила мне, что при ее пороке сердца — чудо, что она дожила и до 50 лет. А ведь сейчас, семь лет спустя, уже умеют с такими заболеваниями бороться, уже могли бы ее и отстоять.

Смерти не надо поддаваться. Никакой. Против нее борьба. И только в движении вперед победа.

Простите, Мария Семеновна и Виктор Петрович, если я что не так написал. Отнесите это на счет старости и коньяка (хотя я давно уже вполне протрезвел и хорошо отоспался).

Не забывайте Перми и Быковки.

Всего вам доброго.

* * *

Меня кто-то громко й, казалось, нетерпеливо окликнул дважды. Я сначала, естественно, не приняла это на свой счет, но когда почувствовала, что меня кто-то догоняет, зовет, просит остановиться — оглянулась и увидела спешившую ко мне Валю. Я редко с нею общалась, знала, что она жена одного из вологодских писателей, что у нее больные ноги, а работала

она в киоске при райпотребсоюзе — торговала книгами или была товароведом, одним словом, виделась с нею, кажется, только там. И потому очень встревожилась и удивилась, что она так спешит — за собой же не замечаешь, что постоянно бежишь впереди себя, хотя иногда остановишься, оглянешься — не так уж далеко убежала, не так уж много сделала.

— Валечка! Что-то случилось? — участливо обратилась я к ней.

— Да нет... Да, пожалуй, случилось, — перевела дух от скорой ходьбы и стала говорить о том, что ее Ваня едет в Индию, что едет целая вологодская группа туристов, и вот Ваня ее тоже, что делает разные прививки, оформляет документы, ходит на беседы...

Я сказала, что это замечательно! Что посмотрит страну, о которой я мечтала с детства, как ни о какой другой. Я мечтала об Индии. А все началось, наверное, с мыла туалетного в красивой обертке, на которой был нарисован очень красивый человек — принц или король, в белой чалме, на которой надо лбом переливалась лучами драгоценная звезда. Он в белых дорогих одеждах, у ног лежит лев, а окружают дивные пальмы. Мыло то нашла я на пожарище, и, когда прибежала с находкой домой, мама осмотрела чуть припачкавшуюся обертку, понюхала, на принца полюбовалась и мыло убрала в сундук, чтобы давать нам им умываться по праздникам, а обертку отдала мне. Я ее прикрепила над кроватью и перед сном подолгу ее рассматривала, восхищалась красавцем, дивилась раскидистым пальмам, льву, покорно охраняющему своего владыку и все больше убеждалась, что это — Индия!.. И после, когда стала учиться в школе, когда по географии стали проходить страны мира, мне хотелось тянуть руку, чтоб сказать учительнице, что она не так рассказывает, что вот я знаю Индию! Даже показать могу. Конечно, до такой смелости я дойти не решалась, однако мысленно оставалась при своем мнении и только.

И вдруг!.. Вологодская группа едет в Индию, и никто, наверное, из тех, кто едет, даже и не думал о ней ранее, во всяком случае, не мечтал о ней, как я...

Мы еще недолго поговорили с Валей. Она излила мне свою тревожную радость и немного успокоилась, как мне показалось. А я, попрощавшись с нею, дошла до первой телефонной будки, а в ту пору, как это ни странно, в телефонных будках на веревочке висели абонентные телефонные справочники. Вошла в будку, поставила сумку, нашла, чтоб наверняка, номер телефона нашего знакомого в обкоме партии и позвонила. Он оказался на месте, быстро отозвался, и, когда я сбивчиво

спросила его, правда ли, что вологжане едут в Индию, он без раздумий ответил, да, попросил, чтоб я не клала трубку, по другому телефону, не выходя из кабинета, спросил, укомплектована ли группа для поездки в Индию, и сказал, что есть еще два места, мол, оформляйтесь, и пожелал успеха, даже не спросив, хочу ли я тоже поехать.

Я заспешила домой, но чем ближе подходила, тем шаги делались медленнее: шутка ли — мечтала всю жизнь, а тут такая оказалась возможность, но вдруг дома что или Виктор Петрович не очень здоров, или какие иные причины возникнут... На ниточке, на тончайшей, висела моя мечта. Поднимаясь на свой третий этаж, я уж думала, что и обед сварю вкусный, и всем постараюсь угодить, и вообще... только как сказать. А вдруг моя надежда, уже тонюсенькая, как волосок, не выдержит. Я ж тогда умру от горя...

Пришла, разделась, унесла сумку в кухню и в кабинет к Виктору Петровичу. Села на диван, прикусила язык, а он сидит, газету почитывает. Заметил, что я сижу и вроде чего-то жду, спросил:

— Устала?

— Да нет.

— Надо чего?

— Да нет.

— Ну и чего тогда?..

— Ты знаешь, вологодская группа туристами в Индию едут.

— Во, дают! — и снова уткнулся в газету, но тут уж ненадолго. — Тебе тоже охота?

Я выразительно пожала плечами.

— Сколько путевка-то стоит?

— Четыреста двадцать, Индия и Шри Ланка.

Виктор Петрович выдвинул слегка ящик письменного стола, достал из пачки новенькие четыре сторублевые — он только что «лауреахнул!», как в шутку сказали ребята, а денежки лауреатам выдают самые новенькие, не бывшие в употреблении. Затем открыл бумажник, достал две десятки, пододвинул на край стола, чтоб взяла, добавил, мол, пользуйся моей простотой! А за ужином, когда все сидели за столом, громко сообщил, мол, мать-то у нас в Индию собралась!..

Так я побывала в Индии, особенно пережила восторг от перелета — мы же летели навстречу дню, навстречу солнцу, восьмого января. Заря возникла и стала разрастаться — яркая, стремительная, вобравшая в себя все цвета радуги! Но, когда объявили, что самолет пошел на посадку, пережила я некото-

рое недоумение: внизу вопреки моим ожиданиям, что сейчас нас обступят пышные, аромат излучающие пальмы и диковинные растения, мы увидели желто-песчаную в неглубоких оврагах и щелях не то землю, не то супесь и реденько виднелись какие-то, словно наши северные, карликовые березки, пальмы, полуживые искривленные и редкая низкая растительность. Я подумала, что это еще не Индия, не Дели, это вынужденная посадка, мало ли, может, занята «наша» посадочная полоса или еще что. Но нет, мы приземлились в Новом Дели и скоро увидели, как обступившие, будто муравьи, облепили трап иссушенные на солнце и мерзнувшие в такую погоду — в Дели было 21 градус выше нуля, для них это зима — с замотанными шарфами или полотенцами шеями, смуглые мужчины, больше смахивающие на подростков.

А в самом здании аэропорта — настоящий табор: сидят и лежат на полу, всюду дети и взрослые, иные безмолвные, дремлющие в ранний час, иные разговаривающие, убаюкивающие, успокаивающие детей, которых было очень много. Мы приехали без переводчика — она заболела, и из Москвы мы двинулись, заполнив декларации, под руководством старосты. В Дели разыскивала вологодскую группу Анна Никифоровна — москвичка, проживающая в Индии с мужем, и время от времени она «брала» группы. Однако наш староста, сильно проинструктированный в обкоме, ее и близко к нам, к нашей группе, не подпускал, пока, наконец, выслушал ее и тогда возмутился — где она столько времени пропадала, а люди ждут.

Были и другие забавные и грустные приключения и события, но Анна Никифоровна, коль являлась женой торгового полпреда, была в курсе «житейских» дел в стране, рассказывала много и интересно. Руководительница волгоградской группы, которая еще в Домодедово не желала дать нам бланки деклараций, мол, вы не наши! — это еще в Москве! — тут постоянно старалась приобщить и свою группу к нашей, чтоб послушали. В Бомбее в отделе наши номера были уже кому-то отданы, и нам предлагали десятиместные. Анна Никифоровна собрала нас, спросила, согласны ли подождать, пока все выяснится, а выяснится обязательно, позвонила куда-то по телефону, распорядилась, чтоб портье дал комнату боям, чтоб принесли стулья, в холле звучала приглушенная музыка, и скоро одни начали медленно переступать-танцевать танго или что-то подходящее под музыку, двое мужчин, врач и писатель, сели за большой стол, пустующий в раннее время, а вообще занимаемый главным администратором, взяли чистый бланк с

грифом отеля и принялись сочинять письмо: «Досточтимая, глубокоуважаемая, прекраснейшая из женщин, госпожа Индира Ганди! Мы приехали в Вашу страну подивиться на райские гущи и великолепные дворцы. Мы не претендуем на Тадж Махал, но в Вашей стране так много пустующих дворцов, а для нас не оказалось свободных мест...» и т.д. И подписались. И принесли, чтоб прочитать вслух всем и Анне Никифоровне тоже. Она рукой стала как бы сзывать всех поближе, но тут взбунтовалась волгоградская руководительница: «Мы никаких писем подписывать не будем!» — и с ходу властно отстранила «своих». Когда читали письмо, в холле поднялся такой хохот, что бои забегали с пирамидами плетеных кресел, стаскивая их отовсюду, а портье от изумления поправил очки: мол, они же должны выражать недовольство, а они смеются... Что за туристы! — и повелительным жестом подозвал к себе двух боев, чтоб подали охлажденный напиток, но мы, глядя на свою руководительницу, отказавшуюся принять освежающий напиток, поблагодарила лишь, мы все последовали ее примеру. И вдруг отовсюду, со второго этажа, с третьего, из коридоров бои приносили и со звяком клали ключи перед портье на поднос, и очень скоро «нашлись» двухместные номера, уже оплаченные, заказанные, да вот... Раздав ключи, Анна Никифорова всем пожелала спокойной ночи и сказала, что завтрак будет на час позже.

Много чудес увидела я в Индии и на Цейлоне: подвесные сады, цветочные аранжереи, в которых нежились сказочных форм и ароматов, неземные цветы, огромные купальницы слонов и необъятный по разнообразию и населению зоопарк. Видели жителей бедных селений, когда мужчины в набедренных повязках, женщины — не разобрать сестренка или мать — такие взрослые по жизни и школьники по возрасту, плохо одеты, и девушек-красавиц в тончайших разноцветных сафари — студенток на острове Элефанта и много прочего, я уж не говорю о великолепном дворце Тадж-Махал, о красивых городах Мадрасе и Бомбее, о прощальном вечере Махабалипураме. Наша компания: врач, писатель, мы с приятельницей Зинаидой Петровной, вологжанкой, с которой за время путешествия очень сдружились, собрались в бунгало у Анны Никифоровны. Вместо стола широкая доска, столешница, закрепленная на потолке на толстых канатах, возле стен глинобитные скамьи-диваны, вокруг стола плетеные легкие кресла, а на столе подсоленные орехи, сухое вино и «Столичная», подаренная хозяйке дома нашими мужчинами. Мы подарили духи «Красная Москва» и пластинку с «Песнярами», фрукты, сигареты и что-то

еще, над столом, тоже на канате подвешен горшок с отверстиями, заклеенными разноцветными пленками... Необычно, волнительно и маленько тоскливо, что такое «присутствие» мы видим в первый и последний раз! Анна Никифоровна, слушая «Песняров», плачет, тоскуя и думая о Москве, улыбается, угощает и рассказывает, чего не успела рассказать за пролетевшие две недели (в Индии мы были десять дней, 4 дня оставалось на Шри-Ланка) или чего — для узкого круга.

Фонарь-люстра над столом стал меркнуть, потому что наступил рассвет, наступила пора прощания...

Цейлон тоже не переставал удивлять пышной растительностью, мягкостью воздуха, видами и дворцами...

Когда разместились в самолете, чтоб лететь в Москву — и домой, я сама себе сказала: Маня, ты счастливый человек!

Сказать-то себе о том, что я счастливый человек, сказала, хотя всегда, особенно после войны, навсегда запомнила, что печаль не любит оставлять радость в одиночестве, потому что почти всегда после веселой радости — пела и танцевала на празднике, смеялась ли от души, веселилась накануне, когда случалось радостное событие, поездка ли, о которой мечтала, — непременно настигнет горе, печаль, сердечные переживания, и я вроде бы уж и бояться стала того состояния, когда мне хорошо и радостно, — уж к добру ли?!

А тогда... Мне и ждать-то долго не пришлось, когда (чуть-чуть переиначу слово великого поэта) — судьбы свершился приговор: Виктор Петрович публично, на представительном писательском собрании сообщит-заявит, что он (не мы) уезжает в Сибирь навсегда...

* * *

О сыне Андрее я пока сказала самую малость: что родился в Чусовской железнодорожной больнице, рос не очень здоровым, спокойным и не по годам серьезным. Очень переживала, когда он болел, винила себя, что в начале беременности я чего только не предпринимала, чего над собой не делала, чтоб только избавиться от зародившейся во мне жизни. Нужда ведь до добра не доводит, вот я и старалась — страшно даже и произнести — убить жизнь дитя в себе. И муж нет-нет, да и ударит словом-упреком, мол, за столько лет ума не нажила: куда в такое тяжелое время, при такой-то жизни еще плодить нищету. Но аборт был запрещен, в больницах блага нет никакого, где искать помощи? Расспрашивала женщин, даже и

не близко знакомых, не посоветует ли что. И мне советовали такое иногда, что впору заранее умереть, однако прислушивалась — время же идет. Я даже разведенную известку пила. Я даже водку с дрожжами пила. Дождалась, когда Витя и Иринка улеглись и уснули уж, вскипятила самовар, заранее наготовив пустых бутылок с пробками, постелила себе постель в кухне на полу, выпила ту четушку вина с дрожжами, а это так противно, что и не передать, перекрестилась, что грех такой совершить надумала, легла, вытянулась и обложила теми бутылками, как минометными снарядами! Лежу, жду действия. Ждала, ждала да и уснула. Утром проснулась — все бутылки мои еще тепленькие, раскатились, а я здоровехонька, даже голова не болит! С той поры, с той ночи я решила, что пусть лучше снова останусь одна с ребенком, теперь уже с двумя, но буду делать и предпринимать все, что только от меня, как от матери, вынашивающей плод во чреве своем, зависит: двигаться-то я и так двигаюсь предостаточно, буду стараться есть даже тогда, когда чувствую отвращение к еде, лишь бы это было полезно ребенку, и настанет срок, и я рожу его...

И когда наступил срок, и когда у меня родился ребенок, в сильных муках, я, преодолевая слабость и усталость, рассматривала, что у мальчика есть ручки, ножки, глазки, что он — нормальный ребенок, что я не успела ему навредить, тогда я глубоко и облегченно, как, наверное, никогда ни до того, ни после, вздохнула, попросила хлеба с солью, съела и уснула, крепко, первый раз за все то время, пока пыталась любыми средствами убить его в себе, и проспала до утра. Я не слышала, как меня переместили в палату, слышала когда будили, чтоб покормила ребенка, а то скоро унесут обратно. Он хорошо ел, я с любовью и нежностью передавала ему вместе с молоком все лучшие соки жизни. И даже зарекалась, чтоб еще хоть раз, хоть когда-нибудь я соглашусь на подобное — нет и нет!..

Но потом было столько всего и всякого, когда не хватало моих сил и разума для сопротивления не брать греха на душу, не лишать жизни только что еще зародившегося дитя, я шла на это, переживала унижительное кошунство над собой и освобождалась от дитя. А потом не знала, как живым детям глядеть в глаза — этим дала жизнь, а тому почему-то нет. И так бывало не раз и не два, и после, когда я, опустошенная душой и телом, возвращалась домой, занималась воспитанием детей, работала, делала по дому, и вообще, но всегда страдала от душевной муки, если болел Андрей, всегда как проклятие несла в себе: «Это мой грех! Это моя вина...» Но когда мне в больнице отказали в этой, которой по счету, не знаю, операции, после, когда

опять женская беда нависла надо мной — не могли же мы, молодые, усталые от войны и от нужды, отказать себе в единственном личном удовольствии! — я уже не обращалась в больницу: знала, коль сам Сталин своей волей и властью запретил аборт именно в то время, когда русская нация могла и должна была пополняться юными жителями земли русской, обновиться их звонкими голосами, когда и он должен был понимать, что «дети — цветы будущего», и вообще, дети — это будущее поколение. Я встретила приятельницу, с которой мы были давно знакомы и поделилась своим горем, вместо того чтобы поделиться радостью — это было бы так естественно! Она выслушала меня, погоревала, хотя при нормальной жизни порадовалась бы, и сообщила, что сама тоже недавно стала детоубийцей, и тоже не от радости, пообещала помочь. И не далее как вечером, стукнув в дверь, вызвала меня и сказала, чтоб я приготовила три сотни, чистую простыню, мыло, йод, платок и приходила бы к ним завтра днем, когда у них никого не бывает дома...

Я в ту ночь не сомкнула глаз, не плакала, только смотрела на спящих детей, ни сном, ни духом не ведающих о том, что завтра они, если мне не повезет, останутся сиротами... без вины виноватыми, на мужа смотрела, такого любимого и такого как бы уже отстраненно-далекого... Но утром виду не подавала, проводила его на работу, я же из-за того, что частенько болел Андрюша, временно уволилась, и чтоб хоть как-то поддержать, не недостаток, но терпимую жизнь семьи, много вышивала в люди, выбирала время поудобней и бралась за красивое занятие, что из того, что не для себя, потом я и детям буду вышивать платья и рубашечки, и мужу, и себе платья, но это потом...

А тогда попросила соседку подомовничать — очень уж мне надо сходить в одно место, безотлагательно надо, оставила детям еду и одежонку и направилась с узелком по заветному адресу.

Приятельница меня уже ждала, и не одна, но быстро вышла ко мне навстречу, спешно спроводила в комнатку дочери-школьницы, велела приготовиться и, главное — она чуть помедлила и прямо мне сказала:

— Миля, ты извини, но я завяжу тебе глаза... Я-то тебе верю и знаю, что ты под страхом пытки никогда никому ничего не скажешь: кто? где? когда?, если даже, не дай Бог, не с первого раза все получится и ты, боясь за ребят соберешься обратиться за помощью в больницу... Скольких уж акушеров

судили, в основном их выдали те, которые валялись перед ними на коленях и умоляли помочь...

— Господи! Да мне хоть что... Только чтоб помогли.

Через два часа я была уже дома. Акушерка, которую я никогда не видела, сказала, что срок порядочный, что выкидыш произойти может не сразу, даже, может, и не завтра, но я думаю, надеюсь... выздоравливайте, — сказала и вышла из комнатки. Приятельница принесла мне сладкого горячего чаю, все завернула в газетку, кроме денег, проводила до крыльца, поцеловала и вернулась в дом.

Вечером я, как обычно, умыла ребят, ножки особенно и уложила спать, поразговаривав с ними маленько. Муж тоже быстро уснул, а я ушла в кухню, притемнила свет, чтоб только мне было удобно, светло шить, и все прислушивалась к себе.

Ранним утром я освободилась...

* * *

Андрей еще школьником начал подбирать домашнюю библиотеку. И серию «Жизнь замечательных людей», которая у нас имеется почти полностью. Ею тоже он занимался, но когда мы уехали сюда, в Сибирь, она стала редко и нерегулярно пополняться, потому что некому стало заниматься ею и следить за новинками книг. Школу закончил нормально, и они с Иринкой, каждый по-своему, стали готовиться для поступления: Андрей в университет, Ирина в пединститут. Мы посоветовали Андрею подать заявление и документы на биофак — интересная, перспективная работа, может быть, и наука. Андрей помалкивал, не говорил ни да, ни нет. А когда пришел и сообщил, что подал документы, мы с отцом в один голос: «На биофак?» — «Нет, на исторический. Я же не говорил вам, что хорошо, на биофак. Я говорил — подумаю».

С первого раза Андрей в университет не поступил — как бы не хватило одного балла. На самом же деле — некоторые из членов приемной комиссии пытались приобщиться к литературе, предлагали Виктору Петровичу прочесть их сочинения и, может быть, — намекали — посодействовать их продвижению к изданию.

Виктор Петрович, человек обязательный, прямой, рукописи прочитал не все, сказал, что для публикации они не готовы: иные — вторичные, особенно стихи, другие отношения к литературе не имеют вообще, это литературные пробы школьника...

В результате не хватило одного балла. Мы об этом узнали почти год спустя, когда Андрей уже служил положенное в армии. Сначала их, если начать с самого начала, три дня держали в загородке — на сборном пункте, под палящим солнцем, в тесноте, без питья и всяких иных удобств, необходимых человеку, на ночь отпускали домой, утром снова. На третий день Андрей ушел из дома раньше обычного, зашел в парикмахерскую и остригся под ноль, оттуда — на сборный пункт, и их строем повели на вокзал. Там суматоха: новобранцев выстраивали то в одном месте и проверяли наличие состава, то в другом, через переход. Провожающие в расстройстве и недоумении едва успевали угнаться «за своими», чтоб не растеряться в последний момент. Наконец была подана команда: «По вагонам» — был подан пассажирский состав, и мы с отцом с облегчением перевели дух, решив, что хоть их-то не повезут в теплушках, а по-людски. Но лучше бы в теплушках... На нижних полках, кому удалось на них попасть, сидели плотно, превышая положенную «норму» в два раза; на вторых — по четверть человек, и они ютились, пригнув головы, поджав ноги, чтоб не угодить ими в лица внизу сидящих; на верхних уж как кому удалось — оттуда торчали только опущенные до предела головы и пока хватало сил и терпения, в таких позах наблюдали за происходящим. В проходах между нижними полками мы мельком увидели Андрея, а потом только его кисть руки с чуть раскинутыми пальцами и поразились: какие, оказывается, у нашего Андрея крупные руки!

И все! Как в песне поется: «... и тронулся поезд, колеса застучали...» Уезжающие новобранцы все еще прощально махали руками, но уже утянув головы внутрь вагона.

Разлука с сыном переполнила сердце и ум, и я слегла, а бедный Витя и меня спасает, и делами занимается. День Победы прошел в печали, хотя и принимали гостей.

Через неделю уехали в деревню. Первую весть — краткое письмо получили от Андрея с дороги: писал, что везут за границу, в сторону Германии... Затем уголок — письмо уже с номером полевой почты. Затем, когда приходили редкие письма от Андрея, отец мне говорил, мол, вроде у парня все нормально, но своим опытным чутьем старого солдата уже чувствовал, предполагал, знал, что Андрей в мирное время угодил на войну — в Чехословакию — и горевал как бы уже скрытно от меня.

Пишу ему часто, даже о пустяках, лишь бы ничего из него не вычеркнули. Сообщала адреса от его знакомых ребят, с которыми собирались служить в одной части, но разве это от

них зависело? Служили там, куда направили, куда определили, в какую часть, в какой род войск. Володя Брызгалов тоже был где-то в Германии, Фарид Зубаиров попал в Узбекистан, остальных не припомню.

Когда закончились «чехословацкие события» и советские воинские подразделения вернулись в свои прежние расположения, мой Витя мне сказал, что разговаривал в облысполкоме и пообещали, как только группа туристов из Вологды поедет в ГДР, тебя в нее включают.

Жду. Надеюсь. Не очень верю. Однако пригласили в горисполком, в отдел комиссии по туризму, сказали, что я зачислена в группу, дали список: что нужно подготовить, какие и откуда справки, фотографии и инструкция, что можно и что нельзя — это имелось в виду, что можно брать с собой и что можно «там» говорить, потом было собеседование, и вскоре группа вологодских туристов двинула в эку невидаль — в Германию...

У меня были две цели этой поездки: повидаться с Андреем и — если окажется возможным — побывать в Дрезденской галерее. Андрей служил в Карл-Маркс-штадте, но прямо на этот вопрос, как туда попасть нам никто не отвечал, офицеры в комендатуре пожимали плечами, мол, вроде хозяйство Козлова или Ковалева. В краткой открытке уже из Москвы я сообщила Андрею, что в Дрездене будем такого-то числа — отель назвать не разрешили...

Когда была длительная стоянка в Бресте: пересаживали нас, да и всех, из широкоосных вагонов в немецкие, узкоосные — они как спичечные коробки — узенькие и высокие, поставленные «на попа», пока проверяли и сверяли документы, было предложено желающим осмотреть катакомбы, где мужественно и мученически погибали молодогвардейцы... Всюду, там и тут стояли охранники — как их еще назвать? Каски сдвинуты почти на глаза, ноги шире плеч, автомат наизготовку, ни улыбки, ни человеческого взгляда — фашисты и фашисты!.. И это впечатление меня не покидало во время всей поездки. Я не ездила смотреть дорогу смерти, камеры, куда приказывали вставать обреченным, а сзади в стене круглая дырочка, в которую стреляют...

Когда уезжала из дома, Витя все наказывал, мол, никаких нам подарков, ничего, передашь Андрею часы, оставишь себе несколько марок и пфенигов: вымыть руки, посетить туалет, внести пай на покупку веников или цветы на могилы нашим погибшим соотечественникам.

Андрей в сопровождении старшего сержанта искали нас весь день и не нашли, решили еще наведаться в комендатуру и возвращаться в часть. Мне тоже, уже измученной, испереживавшейся, посоветовали ехать в комендатуру и там ждать, там даже комната для встречи есть, но откуда было мне об этом знать?! Хожу по этой комнате от окна к окну, отчаиваюсь и вдруг вижу: идут два солдатика к комендатуре, один похож на Андрея. Я выскочила из этой комнаты и, увидев Андрея, ринулась к нему навстречу по широченной каменной чистой лестнице... и как вцепилась в него — хочу поверить и не могу, а он, слышу, хлопает меня по плечу: «Мама!.. мама!.. Это я, Андрей... мама...» Подошел дежурный офицер, довольно крепко взял меня за предплечье и Андрея тоже, сказал: «Не положено», — и проводил нас в ту комнатку.

Я рассматривала Андрея: слава Богу, живой! Платком стираю пыль с его лица и все смотрю, смотрю: мой и не мой — военная форма да еще в недружественной стране — это такая преграда...

Скоро в дверь постучали, вошел тот же дежурный офицер и сказал, что с минуты на минуту пойдет в город машина, подкажете название отеля — довезут.

Мы как протрезвели и ринулись вниз по все той же парадной лестнице, у нас солдатик проверил документы и показал на машину. Мы к ней. Он же, солдатик, помог мне взобраться в кузов, затем Андрею, пожал руку и откозырял.

Время подходило к обеду. Старшая по группе Татьяна, молодая, проворная женщина и она же моя соседка по жилью, тут же распорядилась, что пообедаем, а потом в номер, закроемся — и нас нет.

В ресторане том только наших (из группы) более тридцати пар глаз, а там военные разные, и с женами, и кого только нет — ресторан же! Ребята мои головы опустили, ждут, рады бы уйти, да не знают, удобно ли? Можно ли? Татьяна моя подозвала официанта, а я ей, Татьяне уже сказала, что денег полон кошелек, чтоб накормили как следует... Тот принес пиалку с супом, не с супом, одним словом, с жидким блюдом, поставил перед Татьяной, она передвинула ее Андрею, тот принес вторую, снова поставил перед нею, она — свою — перед сержантом... Мы все равно «своих» порций дождались, ребята швыркнули из ложек разок-другой и все, и отставили пустые посудины, тогда официант принес нам с Татьяной по второму: немножко зеленого горошка, немножко салата и крыло от курочки. Татьяна повелительно глянула на официанта и подозвала фрау Лиду — еврейку, нашу переводчицу, мол, закажите

для ребят, что получше. И та ответила нагло, что это в ее обязанности не входит. «Ах так!» — Татьяна снова зовет официанта к себе и велит, чтоб подали по порции ребятам, подала сколько-то марок. Тот принес того-сего, под названием «второе», взял марки, толкнул в карман свой боковой, уже не тощий, а мы, не дожидаясь третьего, все сложили в одну тарелку, другой прикрыли, завернули в салфетку четыре кусочка хлеба и демонстративно вышли из зала ресторана. Успели войти в номер, повернули ключ и замерли, потому что к нам тут же постучали. Спустя маленько времени, разложили на столе еду, которую принесли из ресторана, которая была с собой, на всякий случай, Татьяна извлекла бутылку водки — одну сдали в общий котел, чтоб на встрече угощать немцев, заявив, что мы не пьющие, хватит и одной.

Ребята чуть оживились, сняли гимнастерки, умылись, вздохнули с облегчением и пока садились за стол, я опять не могла оторвать глаз от Андрея: в беленькой майке, коротко стриженный, даже немножко улыбчивый — наш Андрей, привычный. Никогда на ум не приходило, что военная форма может так «подменять» человека — внешне, по крайней мере, но и внутреннее, даже во сне полностью их не покидало... Но если вспомнить стихи рядового Энли Смайла... Он пишет в стихотворении «Дежуря ночью»:

По казарме, где койки поставлены в ряд,
Я иду и гляжу на уснувших солдат.
На уставших и крепко уснувших солдат,
Как они непохоже, по-разному спят.
Этот спит, усмехаясь чему-то во сне,
Этот спит, прижимаясь к далекой жене.
Этот спит, одеяло стянув со спины,
В самовольных отлучках находятся сны.
А у этого сны, как подснежник, чисты,
Он ладонь под щекой — так доверчиво спит...

Я не спрашиваю, как спится Андрею, и, вообще, пока ни о чем не спрашиваю. Захочет, настанет время, примется рассказывать сам, пусть выборочно.

Угощаем ребят, чтоб ели, чего уж есть. Постель им приготовили на нашей двухспальной кровати, а мы с Татьяной будем спать на широком диване. Ребята быстро захмелели. Я все посматриваю на Андрюшину майку и не раз уж предложила, что постирала бы и она бы быстро высохла. Он тогда и поясняет, мол, она совершенно чистая, и постельное белье у нас такое чистое — с порошком стирают, — даже после занятий, особен-

но после работы, ложиться на него боязно. А это не грязь, — показал на черные по всей майке точки. Это нам выдали советские байковые одеяла — черные, а пододеяльников нет, вместо них простыни, они ночью собьются, а одеяло «отпечатается», — пошутил.

Рассказали, как долго нас искали. Устали до изнеможения, решили, что зайдем еще в комендатуру, может, там ты была, спрашивала. А если ничего в комендатуре не узнаем, пойдем на электричку и поедем в «свое хозяйство», хотя, конечно, будет очень и очень жаль, я очень тебя ждал...

Скоро ребят наших, усталых и сытых, наконец-то потянуло на сон, они легли и быстро уснули, а мы с Татьяной не спали долго. Все прибрали, подворотнички подшили, формы щеткой почистили и сапоги и все поглядывали на мальчиков, таких спокойных, родных и до сердечной тоски милых. Уезжать им в семь утра, чтоб к десяти быть в части. Знать бы, так и увольнение, может, продлили бы, а тут — сутки и только.

Подъем в группе в восемь утра, завтрак — в девять. Все успеем, главное проводим. Я предложила утром Андрею плоскую бутылочку с коньяком, мол, может, командир подарить, что отпустил. А он переглянулся со своим сопровождающим и сказал, мол, лучше ребят угостим, а этих, чиновников уж и так заугощали.

Расставание было коротким. Не зря говорится: короткое расставание — малые слезы. Обнялись, расцеловались, Андрей, чтоб не расстроить меня и самому сдержаться, сказал: «Пока! Не болейте! Скоро дембель. Приеду уж на новое место — за вами прямо не угонишься...» — невесело пошутил. Ребята почти на ходу шагнули в вагон, и поезд плавно вышел из тупика.

А вчера в номере за столом Андрей рассказал, как им давали сухой паек, если они ездили на ученья, а после этого полагается профилактический ремонт шоссе или железной дороги — двести метров — где пересекали военные машины. Давали, говорит, по четыре пирожка. Немец пожилой откусит от того пирога и жует его, жует, глаза прикроет, все жует. А мы раз откусим — полпирога как небывало, остаток пирога — еще на жвачок. Съедем те маленькие пирожки, проглотим и ну дурачиться. А немец смотрит на нас и качает головой: «Нихтс гут... ниhtс гут...» — а нам — хоть так, хоть так — все равно мало. Андрей не станет вспоминать — рассказывать мне, как им «жилось» там, в Чехословакии, во время тех страшных событий, расскажет мне об этом после в Перми, когда я приеду его попровеждать.

А тут они с сержантом, сопровождавшим Андрея, вспомнят и будут рассказывать, как возвращались в свою часть, в Карл-Маркс-штадт.

Ехали в открытых машинах. Чистые, прибранные и повеселевшие — отвечали, старались отвечать улыбками и приветствиями населению, которое высыпало на улицы, выстроилось вдоль дороги, на протяжении всего пути. В первых машинах офицеры, в нарядных мундирах, на лицах значилось ясно: они — победители! Им преподносили шампанское, торты, цветы, да и вся дорога была усыпана цветами. А в наши машины то и дело залетали пакеты, а в них шкалик — непременно фрукты и сдоба. Нам хорошо, нам это очень даже нравилось. Скоро мы сообразили и установили очередь на те шкалики, не держим их на виду, а так, в пакетах, отопьем, а закусываем, как полагается, безо всякой маскировки, отпиваем — закусываем. Весело нам так сделалось, что мы уж и песни запели... Командиры видать смекнули что-то, заглядывают в кузова, а у нас только пустые шкалики по полу и более никаких признаков, а то, что настроение хорошее, — так домой же едем...

Вернулась я из Германии, повидалась с Андреем, посмотрела, как «побежденные» живут, а наши ребятишки... И вдруг, совершенно неожиданно для себя, я ощутила такую страшную, огромную жалость ко всем абсолютно, даже к пьяным, — пьяный проспится; на улице которых увижу, и к хабалкам-продащицам... ко всей этой толпе несчастных моих соотечественников, разных в своем стремлении к счастливой и красивой жизни, или смирившихся с тоскливым безнадежным существованием... Всех хотелось обнять и облить их слезами. За что?! Ну чем мы хуже тех «побежденных». Мы же лучше. Но эта постоянная и все нарастающая нужда, беготня за тем, за другим — купишь не купишь — полностью отнимает все: мозги, чувства и время.

После демобилизации, рассказывал Андрей, когда ехали через Польшу и Украину — выкидывали свои шинели и бушлаты: мы ж домой едем, а они, жители, такие обносившиеся, худые, изможденные...

А когда приехали, как я, к примеру, в Вологду — и город незнакомый, и холодновато, — одеты не по климату оказались...

— А ты помнишь, — опять вспомнил Андрей, — когда я приехал в Вологду, нашел дом, квартиру, позвонил. Ирина открыла дверь и тут же закрыла... Только потом, когда звонок в дверь завершал не по-доброму, открыла, постояла, да как

закричит: «Андрейка приехал! Андрейка приехал!» — и убежала на кухню.

Андрей после армии задержался дома ненадолго. Походил, познакомился с городом, с некоторыми нашими знакомыми, позвонил в Пермь, узнал, кто из ребят на месте и, отдохнув немного, отправился в Пермь. Хорошо, что ребята догадались занять на него место в общежитии, договорились, теперь, мол, дело за небольшим...

Петр Павлович по-прежнему жил в деревне. Ждал Андрея. Я ему наказала, чтоб не особенно деда баловал, а готовиться к экзаменам, наверное, места лучше нет. Дед варит хорошо. Белье стирает Ольга, а мелочь сами. Магазин работает, молоко будете брать. А фрукты покупай в городе на рынке — такая опять напряженная пора тебя ожидает.

Андрей уехал один. Из Перми через несколько дней позвонил, сказал с кем встретился, узнал про дела в университете, собирает справки, а их теперь немного нужно, потому что подбирают экспериментальную группу из только что отслуживших.

За месяц подготовки к поступлению в университет Андрей потерял или израсходовал на напряжение (и волнение) восемь килограммов небогатырского своего веса.

Получили письмо, а затем и телеграмму, что зачислен, что место в общежитии обеспечено, ребята в комнате подобрались очень хорошие, даже удивительно. На льготы, которые наобещал маршал Малиновский, бывший министр обороны, — те, кто участвовал в Чехословакии, будут приниматься вне конкурса, — махнули рукой. А Андрей потом рассказывал, как ехали они в трамвае, и один, только что отслуживший, начал задираться, мол, я в Чехословакии был! И тут его как окружили и как ему высказали на всю катушку — парня того в трамвае как не бывало. Пишет, что с дедом жили хорошо, пока не началась учеба, но на выходные к нему с ребятами ездим, и он нам всегда очень бывает рад. Во дворе объявился пятнистый хомяк, и мы, пишет Андрей, с ребятами его приручили, идем в уборную или в огород, а он уж ждет, посиживает на жердях, сложенных у стены крытой ограды, откликается на «Хомю», пьет из блюдца молоко, в еде разборчив, не то, что мы...

Во всяком случае письма от Андрея получаем пока добрые, хотя, по правде говоря, он никогда правду, если она «серьезная», и не выскажет, а объяснит одним словом «живу нормально».

К его приезду я заказала две хорошие рубашки, желтоватую, кремовую скорей, и табачного цвета, да одну он привез из Германии — капроновую белую с черным воротником, а джинсы, лёгкие, скорее полубрюки, привез откуда-то папа, табачного цвета с красной в два рядочка строчкой — очень славно. А когда заказывали ему в ателье костюм, он пришел с первой примерки и сказал, мол, я, пожалуй, больше на примерку не пойду, особенно брюк: мастер хороший, пожилой мужчина, а ползает передо мной на коленях вокруг да эдак, так мне неловко, что я едва не сбежал. Костюм получился удачный, и я, забегая вперед, скажу, что в нем он закончил университет.

Когда я приехала в Пермь, ребята встретили. Оля, как всегда, была очень хлебосольна. После ужина Оля с Толей оставили нас на кухне одних, чтоб мы побольше поговорили, мол, мы-то ведь многое знаем, о многом он нам рассказывал. Только когда я сказала Андрею, мол, хорошо, что был тут с денежками... А с деньгами, чтобы дать прибавку Андрею к стипендии, на житье, всякий раз возникали сложности: Андрей наотрез отказывался их брать, мол, достаточно взрослый, чтобы сидеть на шее у родителей. Схватил тройку, лишили стипендии — иди, прирабатывай. А в этот раз Андрей опустил голову, Толя с Олей переглянулись. И я поняла, что тут что-то не так, что-то случилось: или вытащили из кармана в троллейбусе, или случилось что, а потом узнала, что Ирина те деньги, шестьсот рублей, предназначенные для Андрея, брату не отдала, а уехала в Ляды с компанией и там их прогуляла. Андрей сидел все это время на одной картошке, которой давился, но ел, сдавал кровь на донорском пункте — там два дня по разу кормили и давали немножко денег. Занять бы у ребят, но ведь давно известно: берут чужие, отдают свои, а свои у него неизвестно когда будут.

Я смотрела на него, исхудавшего, иссиня-бледного, мрачного, и не знала, как подступиться, как его разговорить, потому что пока чего не спрошу — «все нормально», как с учебой — нормально... Тогда начала сама рассказывать, как живется на новом месте, хотя вроде обо всем писала в письмах, сказала, что для начала забыли мой день рождения, да это не беда, это даже к лучшему было... Что все пытались представить, как ты сдавал экзамены. Как ездили на картошку — там, наверное, и перезнакомились ближе с ребятами? Что за человек — декан? Много ли на факультете народу?..

— Нет, давайте мы все-таки сначала выпьем... за мой день рождения, который прошел, затем за твой, который будет. — Извлекла из сумки шампанское и подала Андрею, чтоб открыл.

— Да я не знаю... может, не надо? Может, в другой раз?

— Надо — надо! — поддержали меня Толя с Олей.

Андрей уже взял было фужер, но отставил, помолчал и спросил у Оли, не осталось ли еще немного водки? Она метнула на меня изумленные синие свои глаза, однако, быстро принесла и поставила на стол бутылку — в ней чуть меньше половины водки, развела руками, мол, тут все, больше нет...

— А нам хватит. Садись давай с нами тоже. И дай стаканы, не рюмки, а стаканы, или стопки, чтоб по-русски.

Когда Ольга достала из посудника стаканы, Андрей разлил всем поровну, сжал в руке стакан, в окно посмотрел, помолчал и сказал:

— Давайте сначала помянем Володю, земляка из Березников, тоже много пережившего, может, даже больше нашего, а теперь уж все, отмаялся... Вы простите меня, я, наверное, не к месту... Мама прости... ну да ты вроде меня понимала... В общем, так: Вовка поступал в университет, на наш факультет, но только места ему в общежитии не досталось, и он снял угол в Балатове — живут муж с женой. Ну как живут? Работают, пьют, дерутся, денег не хватает, вот и пустили квартиранта.

После колхоза, перед началом занятий классная провела с нами собрание, очень строгое, в нем главным было: если кто будет замечен в выпивке в общежитии или на улице — будет немедленно отчислен. Немедленно!

Вовка сдал последний экзамен, радостный шел к нам в общежитие, но не дошел, повстречал своего друга из Березников, обрадовались друг другу очень, тот настоял, что такое дело надо отметить, Вовка посопротивлялся слабо. Зашли в ресторан, посидели. Потом он долго добирался до Балатова, а свет в квартире уже не горел. Вовка стал стучать, сначала уважительно, затем сильнее, требовательнее. Хозяйка сначала сказала, что не откроет, что ей своего пьяницы хватает. Тогда он стал доказывать, что он же здесь живет, что обязаны... Тогда хозяйка распахнула дверь и наотмашь ударила Вовку по голове лопатой. Вовка упал. Она вызвала милицию. Его увезли в медвытрезвитель, а рано утром отпустили. Он шел и думал: как же ему теперь жить-быть? Из вытрезвителя сообщат. Из университета отчислят... Взял ремень, закинул за жердь, на которую развешивал свою одежду, которая служила вместо шифоньера, затянул на шее и упал на колени... Был и не был...

Когда нам утром сообщили, мы скинулись, чтоб взять машину, чтоб увезти Вовку в морг, чтоб дать телеграмму родителям. Не первая встреча машина охотно согласилась

везти висельника в морг... А он, Вовка, лежит на полу, голова набок, ремень подпINAN под кровать. Милиционер кивает на него, как на преступника, и велит пошевеливаться, чтоб скорее забирали, не то увезут его в «общественный» морг, куда всех сваливают, а потом как неизвестного похоронят за казенный счет. А ведь родители же приедут, может, приехали уже. Наконец шофер с самосвала согласился довезти труп до морга. В первом не приняли — переполнен, второй — тоже, только в третий... с придачей...

— Ох, Господи! Мама, я допью твою водку — не могу больше... А потом нас проклинали Вовкины родители, что мы вот живые, а парень погиб, да как погиб. Тут уж мы терпели, молчали и терпели.

Потом собрались у нас в комнате — хорошо, что ребята такие подобрались, — и шепотом, чуть не под одеялом, поминали Вовку и ревели. Все ревели... Кто-то стучал в дверь — но то уж не наши проблемы. И все повторяли: «Вовка ты Вовка! Что же ты наделал? С таким трудом отвоевал себе место в университете, сессию вот сдал... и так легко это место уступил какой-то маменькиной дочке из кандидатов...» Я вчера экзамен на трояк сдал, шел и думал, что же мне теперь, тоже как Вовке?

После этого, наверное, с час Толя с Андреем где-то гуляли, хотя холодно, может, в подъезде, у батареи подогревали еще по-мужски и вернулись.

Андрей разделся, долго мыл руки, и наконец сел за стол.

— Ну, что, значит, за прошедший день рождения?

— Да я что-то передумала. Давай выпьем, чтобы у тебя хватило силы открыть университетскую дверь, отыскать свое место, откуда хорошо слышно и видно, и от окна не дует!

— Давай за тебя, мама, и за Ольгу — вы для меня такие родные, такие дорогие! Такие нужные... В общем, за вас! — Выпил Андрей уже изрядно выдохшееся шампанское, но оно все равно всегда очень приятное и какое-то многозначительное, что ли... Выпил, поцеловал меня, затем Ольгу.

Толя потаращил глаза, повел плечами, мол, мне-то что остается делать? Тоже буду целоваться.

Выпили еще — и за отца, и за деда.

* * *

Мы вошли в зал, большой, торжественный. Накрыты столы, на каждом четыре прибора: фужер с шампанским и на тарелочке фрукты. А на стенах в подсвечниках настоящие

свечи зажжены. Когда вошел ректор университета в черной мантии и четырехуголке, рядом с ним декан нашего факультета, в такой же одежде.

Все встали, замерли. Ждем. «Дорогие абитуриенты! — мы стараемся дышать тихо, а пламя на свечах трепещет... — Мы поздравляем вас всех с вашей первой победой. Мы должны сказать вам, что ждут вас здесь, в стенах этого старинного университета, с его славными традициями, радости, но и огорчения. Готовы ли вы к этому?»

«Готовы», — приглашенными от волнения голосами отвечали все, собравшиеся в этом зале сегодня.

«У вас будут успехи и неудачи. Готовы ли вы к этому?»

«Готовы», — опять полушепотом отозвалась аудитория, а огоньки свеч трепещут то сильнее, то едва заметно.

«Возможно, некоторых из вас могут посетить разочарования от того, что слишком большая нагрузка в учебе и слишком высокие требования, и вам потребуется немало сил и напряжения победить в себе эти слабости упорством и желанием учиться. Готовы ли вы к этому?»

«Готовы», — уже чуть окрепшими голосами отозвалась аудитория.

«Тогда разрешите поздравить вас с тем, что отныне вы наши слушатели, наши студенты, и вручить вам студенческие билеты».

Долго все аплодировали, но все с той же осторожностью, чтоб не погасить нежное и трепетное пламя свечей, пламя наших надежд.

Декан с фужером и ректор университета с красивым подносом переходили от столика к столику: ректор вручал студенту билет и касался своим фужером с шампанским с фужером студента, ему следовал и декан.

— Этого мне никогда не забыть! — взволнованно признался Андрей. — Мне даже кажется, я не заслужил всего этого, хотя и очень мечтал учиться именно в этом университете.

Оля поднялась, утерла счастливые слезы и сказала:

— Так чего, Андрей? Раз уж такое дело. Это же никогда больше не повторится. У меня есть еще в записке, — мило улыбнулась, — бутылка шампанского в холодильнике... Может, и еще выпьем? А завтра начнем трезвую жизнь?

— Ну, конечно! Давай ее сюда или я схожу. Ах, какая ты молодец, мне еще очень хочется выпить за маму с папой, за деда, за тебя и за Толика... Правда, я уж маленько захмелел, ну да что теперь? Неси.

Оля с Толей ушли спать часа в три ночи, а мы с Андреем еще разговаривали. Вспоминали, как встречались в Германии и как наше свидание висело на волоске, потому что могли так и не найти друг друга... Андрей собрался рассказать о том, как они блокировали Пражский кремль, а там же в тот год, именно в тот год, должны были проходить Олимпийские игры, но передумал, сказал, что этот разговор отложим до лучших времен: вот соберемся летом все в Быковке — там же всегда говорили кто во что горазд... вот тогда и об этом порассказываю... «Я очень был удивлен, — говорит Андрей, — что папа своим солдатским, опытным чутьем быстро разгадал, что мы не маршируем ать-два в своем, тьфу, какой он свой? — Карл-Маркс-штадте... А уж такое там было... Хорошо, что мы попали, нас несколько молодых салаг, таких же как я, попали к старикам — к кадровикам, и они нас постоянно спасали, где пинком в зад дадут — и глядишь, мина разорвалась невдалеке, но не в нашей ячейке... А как пить хотелось постоянно. И я тогда, откровенно, ясно понял, как люди умирают от жажды... Как некоторые парни напились из трубы на кладбище трупной воды — ею только поливали цветы, и что с ними было потом, боже мой... Нет, хватит об этом. В другой раз, — остепенил себя Андрей. — Но с тех пор стал очень мало пить жидкости вообще, потому что понял, чем больше пьешь, тем больше пить хочется... А сколько ребят из-за этого погибли... Я опять к тому же. Ты, мама, не слушай меня, я все расскажу тебе и папе, но в другой раз».

Андрей все расспрашивал о папе, об Иринке, несмотря ни на что, жалел, что уехали из Перми, покинули Быковку. Я, говорит, когда приезжал туда ненадолго — попрощаться, еще постоял на высоком ледовском берегу и почему-то тогда уже решил: все, это в последний раз.

Я рассказала Андрею, как после встречи с ним виделась с Гришей Санниковым — сыном тети Нади, деревенской соседки. Он одолжил мне триста марок, чтоб купила домашним чего-нибудь, подарочки, а, мол, маме отдадите русскими деньгами — у нее никогда не хватает этих денег. Рассказала о том, что встречалась с папиной переводчицей Зигрид Фишер и ее мужем, они меня повозили по Берлину, показали, порассказывали, были в кафе, и они угощали меня кофе с мороженым... А после, когда вас с сержантом проводили, я переоделась, сходила в парикмахерскую и пошла в галерею — смотрела на божество, на Сикстинскую мадонну. Мужчины в группе были не очень воспитанны, не догадывались, чтоб уступить мне место ближе... И я какое-то время поглядывала на нее, когда

группа переходила из одного открылка в другой, зато когда все прошли на второй этаж — знакомиться с фламандской живописью, я не пошла, — фламандскую живопись я посмотрю в других картинных галереях и в репродукциях. А тогда я отошла к входной двери и пошла навстречу Мадонне и переживала чувство удивительное, мне казалось, либо я выйду хоть на мгновение до нее, либо она снизойдет с небес до меня...

Это же незабываемо!.. И вообще, я — счастливый человек! Муж — писатель и очень хороший человек, вот только как переехали в Вологду, первое время выпивать было здорово налажилось, теперь вроде меньше, но когда работает — и выпивка, и многое другое отступает, уходит как бы на второй план.

* * *

На другой день Андрей, выговорившись, сдав последний экзамен, спал почти до обеда. Правда, сказал, что поготовится еще и постарается пересдать, чтоб стипендия была... Дня на два-три, может, в Быковку съездим, Спирьку там натискаем, Хомю попроведаем, если не сбежал куда, всех попроведаем, может, хариусов подергаем... А на летние каникулы ненадолго, может, в Ленинград слетаем с ребятами, посмотрим. Евгений Васильевич все грозитися свозить нас в ленинский разлив... Чудной! Зачем он нам? Но если свозит, то тоже ничего.

Встречи с Андреем стали, естественно, редкими, и такое чувство было, будто раз от раза короче — это признаки тоскующего сердца. Он редко приезжал домой на зимние каникулы — и дорожные расходы, и в библиотеке посидеть, и на хоккей съездить компанией — город спортивный, «Молот» играл, правда, по настроению, но играл и иногда давал прикурить даже командам куда выше рангом. Правда, таких побед пермяки вроде и сами не то, что боялись, но верили и не верили.

Дважды летние каникулы он вместе с ребятами проводил в стройотряде — делали пристройку к чердынскому музею и как только начнет действовать тот пристрой, значит, увеличат штат, значит, увеличат и оклады, а оклады-то у музейных работников, что в ту пору, да и сейчас тоже — слезы, а не зарплата. Я, будучи в Болгарии, и когда мне почти насильственно представили слово, представив меня детским писателем, то я, сказав об иных, нас объединяющих проблемах, «под

занавес» рассказала «забавный» случай. Моя знакомая учительница, больше — приятельница: мы с нею иногда даже и совсем кратко общались, но всегда интересно, а если позволяло время, то она мне вслух почитает — очень быстро читала, — о модах поговорим, о «кошках», которые вдруг между Ваней и ею, да Витей и мною забегают, то у детей что-нибудь, то обновками похвастаемся... А напоследок она уж непременно оставит мне вместо снотворного шоколадный батончик, и хотя я и сама могла себе спокойно позволить такое удовольствие, но получить — куда приятнее. И вот она забегает со смехом и со слезами говорит, что две недели подтягивала своих двоечников, затем к докладу для областной учительской конференции готовилась — рвусь на части. А тут еще прачечная не работает — чего-то поломалось. Одну субботу пережили, когда все выкупались — перевернула белье на другую сторону. Не успела оглянуться — опять суббота, опять банный день... Стою, оперлась на перила кровати и думаю: как же быть сегодня? А муж сзади и говорит: «А теперь поставь на ребро...» А я тогда и сказала, что будь моя воля, я бы взяла у мужчин, особенно у начальников — их же побольше, чем рабочих, — по выходному дню и прибавила бы их женщинам!.. Так аплодировали. Здесь — очень сомневаюсь. Но я бы здесь поступила несколько по-иному: взяла бы по выходному дню у начальников от культуры и добавила бы эти выходные музейным сотрудницам, самоотверженным, болеющим за работу, не считающимся со временем, — и все это за зарплату, когда за чёртой бедности, все это по пословице: куда натянешь — там и крыто...

Вот ребята из Пермского университета с исторического факультета и старались хоть как-то увеличить штат, и ставки... Мало чего из этого получилось, однако начало сделали. Потом наш Андрей — надо же ему было отработать три года преподавателем истории после окончания университета, но в Пермском облоно истории не требовались, места были заполнены, и он тогда решил: днем заниматься раставрацией в той же чердынской церквушке, а ночью как бы работать сторожем. 75 рэ, плюс 75 рэ — не разбежишься, но и не опухнешь с голоду. Завелись же в этой сторожке крысы, наглые, жоркие, бесстрашные. Андрей рассказывал: ложусь, говорит, спать, думаю, пока печка топится — почитаю, а там часика три-четыре припущу, еду в кастрюле поленом придавлю или на плите чугуном оберну и под него... Только, говорит начну засыпать, они тут как тут, и по мне бегать взялись!.. Я стал подле кровати

сапоги с подковками на каблуках ставить, валенок они не бо-
ятся, бутылок — нет — откатят за печку, и все тут.

Но я себя закалял, думал, какая-то меня жизнь ждет —
ко всему надо быть готовым, а то, что недосплю, так в армии
почти всегда недосыпали, но тут другая беда — после беспокой-
ной, бессонной ночи стали дрожать руки. А как же работать-то?
Нельзя, чтоб руки дрожали, надо чтоб рука была уверенная —
работа тонкая...

Смотрела, говорит, на меня Витина (сокурсница) жена,
смотрела и однажды сказала:

— Тебе немедленно уходить отсюда надо и жить нормаль-
но. Надо ехать к родителям, они два века, как знаешь, не
живут, и пока ты себя закаливаешь, они, не дай Бог, и «зака-
лятся»...

Убедила. Да еще как!

* * *

Приехал Андрей к родителям. Первое время все вроде
было хорошо: комната есть, питание готовое, а работа? Ходил,
смотрел, искал — нигде больно-то не ждут. Принял временно
муж моей приятельницы, который советовал простыню на реб-
ро поставить... Ну это он так, а на самом деле мужик хороший,
работал в Удмуртии министром связи, потом перевели в Волог-
ду — управляющим связи. А работа временная, значит, слу-
чайная, значит, посылки грузить да разгружать. Сноровки в
этом деле нелишка, стала болеть спина, и, как оказалось,
открылась язва двенадцатиперстной кишки — сказала студ-
енческая диета. Его в больницу. Вспоминает, что не знал,
куда бы ты делся. Стыдно и обидно. Ведь я же кое-что и по-
лучше делать могу, но, пока болею, лежу, лечусь — куда де-
ваться?..

Не успел наш Андрей выйти после больницы на работу,
вернее успел, но проработал две недели, и их, не специалистов,
а вспомогательных почтовиков неподотчетных рабских стали
отправлять на уборку картошки и других овощей. А тут воен-
ные сборы. И снова на уборку урожая. Когда Андрей уезжал, я
была где-то, скорей всего у Ирины — Витенька часто болел, —
не видела как он обут-одет, хотя он был «выучен» к работе в
«полевых условиях». Приехал на побывку — и сердце мое не
то, что оборвалось, а тихо, обреченно, с глухой болью опусти-
лось вниз и долго не находило в себе сил подняться и заработать
нормально. Андрей почернел, губы будто синим карандашом
покрашены, щеки ввалились, не щеки, а кожа на них про-

валилась до тех пор, пока не наткнулась на костную опору, глаза мутные, слезящиеся, и сидит он не как сидят люди за столом, а как бы расстелив, уложив бок и грудь на стол, иначе не мог от боли «держаться осанку», и одной рукой подпер голову, все кренившуюся набок, а другой черпал из чашки еду, как уж зачерпывалось, и отправлял в рот...

При виде такого больного Андрея, во все мое существо гулко и больно ударились убийственная мысль: «Моя вина... Это все последствия моих стараний освободиться от него — это моя вина...»

Когда я опомнилась, обняла его, то он застонал: «Мама, не обнимай меня, во мне все так болит, я держусь из последних сил... Я еще сколько смогу, поем, потом, если успею, полежу, а там уж и ехать...»

— Куда ехать?

— Как куда? На уборку... Зарабатывать свой хлеб...

Я расплакалась встав за его спиной. Он отодвинул тарелку, выпил чай, попросил сестру, чтоб налила еще, погорячей... Как-то старчески осторожно встал из-за стола, приложил ладони с растопыренными пальцами к груди, чтоб больше уложить себя на кровать...

Ирина рассказывала, как он, тяжело заболев, приезжал домой, очень-очень больной... Я обрушивала на него все средства, грела, отпаивала чаем с малиной, то с медом, давала чеснок, в носки сыпала горячую соль, и он стал много пить... На другой день полегчало, но надо было отлежаться, а он снова поехал в часть, куда они после уборки были отправлены на два месяца, как в военные лагеря, и вот их использовали как рабочую силу...

— Мы все очень простыли, да и усталость, да и питание плохое — в последний день многие отравились, а я ковырнул вилкой, понюхал и есть не стал... Спим мало, живем как в свинарнике... вот и результат. Мама, вы зачем меня сюда позвали, чтоб приехал и жил здесь. Ведь везде не сахар. И вам видеть меня такого — чего хорошего, и мне уж лучше бы там... Ну, не знаю... — Задремал или копил силы, не двигался, не разговаривал больше.

— Ирина съездила туда, попросила ребят, чтоб обмундирование мое сдали рабочее — там же все на учете. Теперь почти все нормально. А язва меня еще в университете донимала, но опять же не меня одного... обходилось... Теперь, главное, сплю вот в чистой постели, сплю раздетый, ем как следует. Теперь надо будет еще получить военный билет у

командира — он живет неподалеку, где вы когда-то жили, и потом в комендатуру — я из-за болезни уехал на день раньше.

— Да, — после долгого молчания, заговорил Андрей, — а работать грузчиком я больше не пойду, не буду кидать посылки. Постараюсь что-нибудь подыскать. Хотя в тот же музей. Туда-то примут — там тоже носильщики нужны: таскать, устанавливать тяжелые скульптуры, стенды, бить — колотить: в музеях ведь, в основном, женщины работают. Правда, опять на 75 рэ... Ничего, все равно с работой должно все устроиться, ведь учился же я для чего-то столько лет... и диплом с отличием.

В музее Андрей проработал недолго. А в отдельной пристройке, в полуподвале работал с сыновьями реставратор Федышин, и они подолгу во время затянувшихся «перекуров» или после работы с ним разговаривали. От него Андрей узнал, что есть в Вологде специальная реставрационная мастерская с управлением в Москве — это еще от Грабаря идет традиция: поднатаскать неопытных реставраторов в музеях, в мелких мастерских, в разных филиалах, а потом уж, если очередь дойдет, если посчастливится, то и туда, в реставрационную мастерскую, работать вместе с профессионалами.

И как его «приметил» руководитель реставрационной мастерской — для всех было загадкой, потому что очередь туда попасть, ждут по три-четыре года. А тут...

И стал наш Андрей работать в этой реставрационной мастерской, правда, там уже и не раз происходили какие-то перемещения или изменения, но Андрей работает реставратором по древнему искусству, коллектив маленький, дружный, если можно употребить в данном случае это определение, работают добросовестно и с полной отдачей. Андрей рассказывал, когда они едут в командировку, допустим, в Белозерск или в Нюксеницу — храмы все холодные, значит, в летнюю пору они занимаются реставрацией настенных фресок, росписей, восстанавливают «биографии» икон, представляющих особую ценность: определяют принадлежность этого произведения искусства — в каком веке написана, кем, какой школой, размеры, клейма и все остальное — самым подробнейшим образом. А дежурный готовит еду: ловит раков, рыбешку, собирает грибы, собирает камешки прибрежные, чтоб потом их растереть до тонкости, в работе они используются как красители наивысшего качества, моет пол. Одним словом, дежурит.

Однажды, говорит, работали в Софийском соборе, а там холодина, как на Северном полюсе. Вышли на крыльцо —

покурить и погреться. У входа невысокая насыпь чистейшего песка, который нужно проверять несколько раз, чтоб окончательно очистить его и просушить. И тут идет мимо экскурсовод, что-то поговорила о звоннице, о Софийском соборе, о самой соборной горке, а когда увидела нас, тут же с язвительностью заметила: «Вот сидят труженики, так называемые реставраторы, и трудно представить, что труд сей, то есть реставрационные работы в соборе будут завершены тоже в каком-нибудь веке...» А я, говорит, возьми да скажи, что этот вот песок из 15-го века!.. Мы покурили и ушли, а потом, когда снова вышли на перекур — от песка 15-го века остались жалкие растоптанные грудки. Мои ребята чуть меня было в песок не затоптали.

Затем Андрей встретил Татьяну Типунину. Они с отцом Василием Александровичем и матерью Еленой Ивановной жили от нас неподалеку. До этого я была не близко, но знакома с Еленой Ивановной, милой, светловолосой умницей, в серых больших глазах которой почти постоянно была печаль или смирение — мне так казалось, может быть, еще потому, что она почти никогда не смеялась в голос, только приветливо улыбалась. Брат Татьянин, Юра, был уже или преподавателем в институте или работал на кафедре, у них был сын Илья. Василия Александровича, по существу, почти не знала. Мне он был неинтересен, поскольку при разговоре — только о политике, о партии, иногда о шахматах — собеседниками мы не были, любезностью (ко мне) он не отличался, человек и человек, просто он — отец Тани Типуниной, всю жизнь работал при облизполкоме в беседе.

Таню первый раз увидела у нас, когда провожали Ирину в Ижевск — все пытались вразумить и наставить ее на путь истинный. Там жила наша бывшая няня, да и не няня уже, и не домработница — жила она после Секлеты, на том же положении: пила, ела за общим столом, дела не делила ни по дому, ни в огороде. Ребята с нею, или она с ребятами, жили по-панибратски. Они звали ее Капыней. Была хороша собой, крупная, всегда прибранная, золотистые волосы на редкость густы, глаза, как цветущий лен, ладная, статная, справедливая и нежная. И потом эта наша Капа подружилась с красивым парнем Славиком, вышла за него замуж и уехали на житье в Ижевск, где жили Славины родственники. Вот мы для начала списались с нею, да она и лучше нас, наверное, знала порывы нашей дочери Ирины и тоже, как и мы, надеялась чем-то вразумить, настоять на том, чтоб поступала учиться в Ижевский

университет, мол, способная же, пока поживет у нас, а там либо в общежитие определится, либо на квартиру...

Одним словом, в тот вечер, перед тем как ехать на вокзал, собрались Иринины подруги: Таня Володина, Римма (не помню фамилию), Нина — сослуживица и вот Таня. Потом, как оказалось, Таня Володина и Таня Типунина дружили еще с детского садика, жили по соседству, вот так Таня Типунина и оказалась среди провожающих Ирину. Она вместе с подругами сидела на диване, только чуть углубившись, может, от смущения, может, чтобы лучше наблюдать происходящее. Посидели подруги, сказали Ирине в напутствие добрые слова, что не раз еще встретятся, — заверили и уехали на вокзал.

Второй раз Таня была у нас в новогоднюю ночь. Мы сидели за столом, Андрей с нами, всем было хорошо, вроде с грустью провожали старый год, с надеждой на все хорошее в году наступающем, пили более охотно. Вдруг в дверь позвонили, пришли Таня Володина — самая близкая Иринина подруга из всех и до последнего дня, с нею Таня Типунина и вроде еще кто-то и стали приглашать Андрея в их компанию. Я сначала пыталась отговорить эту затею, у нас все на столе есть, шампанское — тоже, места всем хватит, но Таня Володина, уж чуть на взводе, от Андрея никак не отступалась...

И не зря старалась, потому что с этих пор у Андрея с Таней Типуниной началась дружба, проявились взаимные симпатии. Я о Тане знала лишь, что она преподает английский язык в пединституте, что рукодельница, что закончила музыкальную школу, что уже в возрасте, как и наш Андрей, когда не мешало бы подумать о дальнейшем.

С Еленой Ивановной у нас в отношении Тани разговоров не велось вообще, просто: Юра, Таня, Илюшка — внук и все. Да мы и встречались-то чаще всего на облисполкомовских дачах. У нашей соседки по дому муж работал в обкоме (может, облисполкоме), был прикреплен к этой даче, где семьей мог жить в летнюю пору, а зимой получать «пакет» продуктов. Мы туда прикреплены не были, только уж позже и ненадолго. А тогда Елена Ивановна и Тамара Рудольфовна, как бы между делом, ставили меня меж собой, и нам тоже перепал «пакет». Здоровались при встречах, говорили о детях, о здоровье — вот, пожалуй, и все.

Таня стала уже бывать и у нас: явятся вечером с Андреем, поздоровается, и Андрей скажет: «Проходи в комнату. Посидим. Куда торопиться?..»

Когда разговор зашел о том, чтоб они поженились, мы приняли эту весть, как естественную и даже более того — пока

не «разбаловались», то есть не надумывали, а потом передумывали, — оба в хорошем возрасте, друг другу нравятся, отчего бы и не пожениться... Но не все гладко шло у них, и я это очень переживала: сначала Татьяне непременно надо было сдавать кандидатский минимум и они решили, что лучше это сделать сейчас, чем потом. Затем тяжело заболела Елена Ивановна, неизлечимо тяжело. И когда Андрей приехал на машине встретить свою невесту из Москвы, увидел ее такой радостной, такой счастливой. И вдруг она не почувствовала ответной радости, спросила, мол, что случилось? Андрей уклонился от ответа, довез ее до дома, сказал: «Ну, пока», — развернулся и уехал.

А мать Татьяны умерла и уже лежала на столе, в гробу, приготовленная в последний путь. Она умирала тяжело, Василий Александрович дежурил возле нее, и Тамара Рудольфовна, близкая подруга Елены Ивановны, не раз предлагала свои услуги, мол, подежурю, побуду возле Лены, а вы отдохните, но муж покойной резко, категорично отказывал в этом Тамаре Рудольфовне, мол, Лена в бреду говорит ужасные вещи, и посторонним их слышать не надо, они касаются только нас.

Срок свадьбы перенесли на 23 августа, и дни эти жили в тревоге, в ожидании не радости, а еще чего-нибудь такого. И тому тоже были основания — у нас тяжело болел дед, и врачи не исключали летальный исход, ибо операция вряд ли поможет, если он ее и перенесет, то жизнь его продлится ненадолго... И тогда Татьяна сказала и себе, и жениху своему Андрею, что рок какой-то над нами, и если и 23-го мы не зарегистрируем свой брак, не станем мужем и женой — значит, тому не быть вообще...

День свадьбы назначен. Я рано утром съездила к деду в больницу и попросила его не жаловаться ребятам на свои боли. У них сегодня такой праздник, какой бывает раз в жизни. Они из ЗАГСа заедут на кладбище к Елене Ивановне — поклонятся и как бы мысленно попросят у нее прощения и благословения. Затем они заедут к вам, и вы, пожалуйста, не жалуйтесь, потерпите. Потом жалуйтесь мне, сколько захотите, я буду вас слушать, сочувствовать, успокаивать. А сегодня не надо.

— Да, Маня, милая Маня! Я ведь все понимаю и слово тебе даю, что координат не потеряю, — любимая поговорка была у отца Виктора Петровича. В это время в палату вошла сестра, спросила о чем разговор. Я рассказала. Она пообещала, что сделает ему укольчик и он будет вести себя молодцом.

Молодых заждались: пока ездили на кладбище, пока в больницу, пока соседи во дворе обступили — поздравляли, а стол накрыт, соблазняет, и Виктор Петрович начал заводиться. Наконец, все разместились за столом, молодым даже под ноги цветов побросали, произнесли тост за молодых, кто уже выпил, кто еще не успел. Отец заметил, что его сын женится, а выпить не хочет... Мне, мол, это не нравится, это не по-сибирски. А Андрей в это время мне объясняет, что пить воздержится, потому что дед в больнице похоже опять «принял» и изрядно, а поскольку его уж за это дело не раз грозились выписать, то, мол, не исключено, что придется ехать в больницу и забирать его домой.

Виктору Петровичу показалось подозрительным, что сын не пьет и о чем-то с матерью шепчется, не с ним, а с матерью... и как когда-то в Коле Рубцове, в Викторе Петровиче тоже заговорило «абсолютное безумие» — и вмиг за столом никого не осталось... Иринка, ладно, сообразила, в корзины да в сумку сложила побольше угощенья и бутылок, Таня Володина все унесла домой, так быстро развернули стол, и... до позднего часа еще слышались смех, поздравления, песни — свадьба продолжалась.

Виктор Петрович, теперь-то уж что, дело прошлое, время от времени заходил ко мне в комнату, где я сидела одна, не плакала, не стояла у окна в тоске и печали, сидела и даже ничего не ждала, просто была ко всему готова: ударит — стерплю, оскорблять будет, кричать — так не первый раз — стерплю, ну посуду бить, крушить будет — пускай, ни словом, ни лаской, ни угрозой, ни мольбой — ничем не выдам того, что в душе моей творится и как она черствеет, усыхает от моих горючих внутренних слез — только бы выдержать.

Виктор Петрович заходил не раз и не два: то спрашивал, когда все наорутся на улице и придут домой; то требовал, чтоб Андрей перед ним извинился (а за что?); то, чтоб этого большевика больше в доме не было... Я кивала, что поняла, что большевика этого в доме больше не будет...

Заходил несколько раз Андрей и с беспокойством спрашивал как, мол, ты тут? Я отвечала, что ничего, сижу вот... А он? — кивал он в сторону кабинета отца. «А он все требует, чтоб ты перед ним извинился...» — «А за что?» — «Не знаю». Тогда он пошел в кабинет к отцу и я слышу:

— Папа, мне, наверное, за что-то извиниться надо перед тобой? Так ты, пожалуйста, извини!..

— Мать! — громко кричит Виктор Петрович. — Ты слышала, сын-то, Андрей-то наш, извинился перед отцом! Моло-

дец! Я этого никогда не забуду! Ты слышишь? Не перед тобой, передо мной извинился! По этому случаю полагается выпить, а? Как ты думаешь Андрей?

Скоро Виктор Петрович успокоился, лег в чем был и уснул. Когда я почувствовала, что он крепко уснул, притворила дверь в кабинет и стала прибирать со стола, с полнейшей осторожностью носила на кухню посуду, еду, и все вспоминала, как совсем еще недавно, может, неделю назад, Виктор Петрович получил письмо от писателя Е. Федоровского с просьбой, чтобы по его очерку-рассказу «Поединок» — это когда фашист-асс преследует «Ивана», одиноко бредущего солдата по кромке льда. Витя признался, что никогда не писал сценариев, да на чужой материал, но за эту работу возьмется с удовольствием. Я уже многое обдумал. А осенью тогда засяду за роман о войне.

— Уеду в Сибирь, заберу тебя с собой, наверное, и деда — не оставлять же его на молодых — Андрей с Татьяной пусть женятся. Ирина, если работать пойдет, то с Витенькой справится... Не оставлять же тебя одну?!

Расспрашивал, нравится ли мне Татьяна, кто она, кто родители. Я рассказала, что знала. Тогда, говорит, пусть женятся, пусть все будет у них хорошо. Я буду только рад. Заговорил о том, где молодым жить? Там две комнаты и больная мать... У нас же! У Андрея комната великолепная, все на месте. Пусть живут. Нам теперь без Андрея просто нельзя. Мы так долго без него жили — армия, университет, отработка... Я уж теперь и не представляю, как это он снова уйдет куда-то, или уедет. Пусть живут с нами. А мы... Есть изба в Сибле, есть дом в Овсянке. Вот съезжу весной, посмотрю, что там сделали, как отремонтировали... Можем как гости наезжать сюда да если занеможется — тут больница рядом, либо очень затоскуем о внуке. Да и хочется, чтоб и Андрей подарил нам внука, внучку ли — для продления рода, на радость в старости...

И вот... Не из тучи гром. Ладно, что хоть Виктор Петрович не отправился на улицу, чтоб разыскать эту свадьбу — ведь это не шуточки! Это же женился его сын Андрей.

Я перемыла посуду, накрыла на стол, посуду, выпивку, закуски, завтрак в духовке — только включу, на маленьком столе все, что к чаю.

Я не стану далее так же подробно рассказывать, что и как, да и не знала, как и что там?

Андрей перешел жить к Тане — отец им выделил комнату, гостей они не приглашали, по-моему, потому, что только начинали жить, чего не хватить — все нужно приобретать.

Потом Таня забеременела и в середине следующего лета подарила Андрею сыночка, а нам внука.

Но кабы все так ладно да складно... Так в жизни, наверное, не бывает. Но то, что ожидало меня, — вроде и не в первый раз, но как — это уже особый разговор, а жизнь... сбившая меня с толку, почти уже и изжившую свою жизнь — так смешала все карты, так больно и неожиданно, так жестоко и публично, что мне впору взвыть по-цветаевски: «Мой милый, что тебе я сделала?» Даже не жизнь, даже не обстоятельства, с которыми бы еще можно было как-то все отладить...

Зато было все эффектно — у Виктора Петровича уже был опыт и не малый выступать перед аудиторией, он всегда знал, чего от него ждут, предполагал вопросы, знал, что говорить.

В тот день он тоже знал, что говорить, только, думаю, об этом знал лишь один он, и никто больше, если понаслышке, то, может, кто и предполагал, но чтоб так...

Писательское, отчетно-перевыборное собрание проходило, по-моему, в библиотеке им. Батюшкова. После доклада-отчета, отчитывались литфонд и ревизионная комиссия, затем вручали новенькие писательские билеты тем, кто был принят в члены Союза писателей уже давненько, но билеты, красивые, аккуратные привезли из Москвы недавно, и потому вручение их приурочили к собранию. Выдали такой билет и мне. Я получила, поблагодарила кивком головы и снова села на место. Виктор Петрович в президиуме. Как обычно, после перерыва были прения и сразу же выдвижение кандидатур в члены писательского бюро. Когда назвали фамилию Виктора Петровича, он поднял руку, прервал зачитывание списка кандидатур и сказал:

— Прошу меня отныне ни в какие списки не включать, в том числе и в состав бюро. Я днями уезжаю. В Сибирь. Совсем. У меня все. Извините. — Сел было на место, где сидел, но тут же встал сошел со сцены и покинул зал.

Снова перерыв. Все вышли: кто курить, кто обсуждать такую ошеломляющую новость. Ко мне подошла Ольга Фокина и сказала: «Я жму вашу мужественную руку!» Я ответила рукопожатием, пожала плечами и никак на это не отозвалась. Потом, когда собрание продолжало работу, я по-прежнему сидела, смотрела на говорящих с трибуны, слышала и не слышала, о чем говорят — это отныне их проблемы. В перерыве перед голосованием ушла.

Вышла, подумала зайти за Витенькой в садик, посмотрела на часы — еще рано, дошла до скверика перед детской больницей, села на лавочку, которая была как бы сокрыта от

глаз и попыталась как-то себя взять в руки. — какое странное выражение! — послушала детский плач, доносившийся из открытых окон больницы. И тут мне моя больная голова опять припомнила все — так бывает с нею всегда: от горя или от радости болела нестерпимо, я сильно сдавила виски, и тут вспомнилось стихотворение вроде Т. Стрешневой:

Зачем так бывает, скажи?
Нас двое — и нету роднее,
И точим, и точим ножи,
Чтоб сделать друг другу больнее.

Такие мастачим слова,
Такие пророчим напасти,
Что падает навзничь трава,
И колетса камень на части.

Сгущаются тучи. Темно.
Домашняя речка порожит.
А сердце? А разве оно
Все выдержит? Все переможет?

Не ведаем сами порой,
Как все это зло и жестоко.
И тешимся бранной игрой,
И старим друг друга до срока.

Нет, не сидится... И пришедшим на память стихотворением еще припорошила соли на рану. Вышла на дорогу, чтоб идти к садику, но еще не рядом, далековато. И тут навстречу мне мужчина едет на велосипеде. Так бывает, когда встречные люди не сразу могут разойтись, оба сворачивают то в одну сторону, то в другую... Я никуда не успела свернуть, и когда велосипедист был уж совсем близко, я резко схватила рукой колесо и... сожгла себе ладонь. Почувствовала боль и подступающую тошноту. Он соскочил с велосипеда:

— Женщина! Что с вами? Вам плохо? Вас проводить?

Я отмахнулась рукой, заметила у ближнего палисадника возле дома скамеечку, села. И хлынули слезы... да такие, что я даже слышала, как они падали с глухим звуком мне на платье, на грудь, и как расплывались в мокрые пятна... Зато стало легче дышать, я быстрее сообразила, в какую сторону и зачем мне надо идти. И пошла.

Витенька играл на площадке перед садиком, с ребяташками, которых еще не разобрали родители по домам. Увидел, обрадованно закричал: «Баба! Подожди маленько, мы скоро доделаем...» Я кивнула, что подожду, снова искала, где бы присесть, увидела низенькую скамеечку на территории садика, вошла и села. И даже вроде сесть-то еще не успела, вижу, бежит Иринка, за сердце держится. Села рядом, обняла,

ни о чем не спрашивала, ничего не говорила, только спустя немного времени сказала, что волновалась — ни тебя, ни Витюшки... Отец с Кузольевым на кухне водку пьют и о чем-то возбужденно разговаривают, мне дал знак, чтоб уходила...

* * *

Я радовалась единственному — никому не дано заглянуть мне в душу. Была, конечно, мысль, чтоб уйти из жизни, но так, чтоб никого не винули. Я же когда-то, давно еще, сразу после войны, нагледевшись на усталых, изможденных людей от нужды и болезней, которые и себе, и родным в тягость, тогда еще решила для себя: мне надобно дожить до шестидесяти — я здоровая женщина, у меня будут дети, я их смогу поднять, а потом... постараюсь не быть им в тягость. И прав был поэт, утверждающий, что мысль материальна, и мне не пришлось долго этого ждать... пока — предупреждения.

* * *

Хотела в Быково выпить кофе и позвонить Ирине, чтоб меня встретили, но кофе пить мне уже расхотелось, и я, дождавшись своего рейса, села в самолет, и теперь чувство радости встречи с детьми перемешалось со страданием — самочувствие все ухудшалось. Я все-таки посидела еще за столом — пришел Андрей, Тамара Четникова, да Надя Петухова — наши давние и близкие знакомые. Они сидят, а у меня уж голова плохо держится. Надя — врач. И когда я, извинившись и сославшись на усталость, сказала, что хотела бы немножко полежать, она так посмотрела на меня, строго, укоризненно, затем под села ко мне, подавила в одном месте, в другом — и сказала, что, мол, если не пригласите врача из соседнего подъезда, чтоб проконсультировать, сама вызову «скорую» и отвезу вас в больницу. Пришла и Татьяна Валентиновна — врач — соседка, тщательно меня осмотрела и велела вызвать машину. Со мной поехал и Андрей, и она, пока принимали, пока заполняли... то да се, а клеенка на топчане холодная, а форточка открыта, а температура 39. Татьяна Валентиновна дозвонилась до главного хирурга — хорошо, что он оказался дома: было воскресенье. Быстро приехал, вошел в приемную, поздоровался — мы были не близко, но уже знакомы, спросил про анализы и сказал, что придется оперироваться, чтоб готовили большую операционную... Я тут же подумала, что раз дело такое, надо все запомнить — когда еще окажусь в операционной?!

Меня распяли на узком и длинном столе, как на крестке, чтоб были вытянуты руки по сторонам, сестрички придерживают за руки, и одна говорит: «Спокойно... спокойно... сейчас вы будете засыпать...» А в углублении операционной звякают инструменты. А у меня мысль: «Точат ножи булатные, хотят меня зарезать...» Повернула голову, увидела много-много белых шапочек, прямо строй... И на этом мои всякие ощущения кончились...

Слышу, кто-то легонько хлопает меня по плечу, открыла глаза и вижу: сидит, опершись на поручни — барьерчики моей кровати, Владимир Александрович Раздвогин, оперировавший меня, и говорит, мол, вы не в пожарники собираетесь? Я вроде удивленно пожала плечами, а оказалось, только открыла веки, а он: «Так ведь десять вечера, прошло уж почти двое суток...» И тогда я нашла в себе немного сил, чтоб сказать:

— Значит, перевалили... — Очнулась на другой, может, на третий день, уже не в реанимации, а в маленькой послеоперационной палате, и ко мне то и дело то сестра — температуру меряет, то хирург посмотрит, похмурится, прикроет и уйдет...

А к концу недели сказал, что «барин» мой лопнул, началась гангрена... гангренозный перитонит... нелишка ли для такой маленькой да не больно молодой?.. Ох-хо-хо...

Проллежала я тогда долго, и меня только успели выписать, как поступил Андрей — с острым аппендицитом...

Его тоже оперирует Владимир Александрович, но уж под местным наркозом, и они с Андреем — больной с подлекарем переговариваются:

— Ты что, по стопам отца идти собираешься?

— Нет, по стопам мамы, — невесело отозвался он. — Ее только что выписали, и вот я подоспел...

Получила письмо от Гали Краснобровкиной — двоюродная сестра Виктора Петровича. Написала, что получила от Иринки телеграмму, что маме операцию сделали, которая оказалась очень тяжелой, перенесла... Виктор Петрович был очень изумлен, несколько раз переспросил, какая еще операция? Мне только этого еще не хватало... И здесь найдут... А потом вдумался, о чем идет речь, и стал спрашивать, как да что, может, помочь чем надо, лекарствами какими или с кем-то переговорить в Вологде, чтоб помогли... Я, пишет Галя, сказала ему обо всем, что было и что могло быть, если б чуть промедлить, но теперь слава Богу. Теперь только бы поскорее выздоравливала. От Виктора Петровича приходили письма далеко не любезные, и я не стану о них говорить...

В начале лета к отцу в Красноярск съездила Иринка с Витенькой, сколько была, не помню, наверное, весь отпуск, а когда вернулась, первое что сказала: «Мама! Тебе обязательно надо ехать к папе. Обязательно...»

Надо так надо, значит... надо. А я же после операции и помощников нет. Иринка на работе, Андрей тоже. Наготовила на обувной тумбе свертки с разными подарочками — на разные случаи. Зайдет почтальонка:

— Милая моя, хорошая, не сделаешь ли мне одно дело, не окажешь ли услугу: мне нужны коробки картонные. Вот деньги, вот шнур, чтоб их перевязать — они ж в расплюсненном виде. Магазин близко, продавцы уж поосвободились. Попроси из милости...

И она в тот же вечер после работы, трижды сходила в магазин и купила коробок. Их, правда, на все книги и посуду не хватит, ну на сколько хватит, а там опять видно будет. Подружки две мои закадычные купили по десятку мотков бельевого шнура в магазине. Я потихоньку сложу книги на пол, сколько смогу, а потом усядусь тоже на пол и фукладываю их по форматам, чтоб плотнее, наполненные растолкаю по сторонам, шнур приготовлен, но мне не упаковать, значит, опять жду оказию.. Кончились коробки, снова ту девушку прошу насчет купить коробок, а она, за подарочек, охотно мне опять ната-скает. Пришел как-то Андрей, видит такое дело и говорит, мол, сама понимаешь — я тоже работник пока липовый после больницы-то, но могу тебе закупить водки этой палочки-выручалочки. Сказал и сделал. Спасибо ему. А когда коробок с книгами набралось уж много, позвонила в домоуправление и попросила Сашу зайти — знакомый сантехник: он дело сделает, я ему бутылку — у нас уж давно с ним дело ладится, так и с батареями было... Пришел Саша, посмотрел, свистнул, затылок почесал, глянул на обувную тумбу, скинул рубаху — и за дело: все коробки шнуром перевязал и уложил вдоль стены, одну на одну.

Три комнаты освободились, и я опять за Сашей; он снял в них с полу новый линолеум, повыдергивал гвозди, где торчали и пообещал даже краски раздобыть. А линолеум этот Ирине в квартиру, остальной к ней на балкон — мало ли, может пригодиться...

Уж как, на чем сплю, чего ем-пью — только я и знаю... Ведь стоило хотя бы тех же писателей позвать — сделали бы и выпили... Но я же вроде брошенка... Я и в доброе время к ним в Союз обращалась раза два — просила рассказы почитать, а

они все в голос, ну что вы, Марья Семеновна! Рядом с вами такой лев, а мы какие критики. На том дело и кончилось.

А меня добрые люди между тем то в одном деле выручат, то в другом помогут... Мы с Робертом Балакшиным, дай ему Бог здоровья, даже полы покрасили: был же указ, чтоб при сдаче квартиры был сделан хотя бы туалетный ремонт, иначе плата там в каком-то размере...

Деду между тем делается все хуже и хуже, и я дежурила у него ровно три недели. Иногда днем, когда и сестры, и санитарки на месте, я съезжу домой: вымоюсь, кое-что постираю, кое-что куплю, возьму с собой кофе да печенья какого-нибудь, а деду лимонаду — до последнего часу лимонад любил пить. Ночью с сестрами да с санитарочками кофейку-то попьем, взбодримся, быстрее хоть ночь пройдет. Он бедный, полдня под капельницами лежал, потом кровью харкать стал — банку вымою, зубы с мылом (протезы его) тоже вымою, прополошу, чистюля был, ничего не скажешь...

Он под капельницей лежит, соседи по палате уж спят или дремлют, иной раз в разговор вступят, негромко; спокойно, разговариваем, а ночь-то идет.

— Петр Павлович, — как-то спрашиваю я, — вот вы лежите, а ночи бессонные, длинные, чего только на ум не придет, так о чем вы больше всего думаете, что вспоминаете?

— Мо-о-оре... — глуховато-хриплым голосом отозвался он.

— А вам трудно разговаривать или, может, вспомните да и расскажете, ночь-то и пролетит...

— А слушать если станешь, так порассказываю, рассказывать-то есть о чем.

И Петр Павлович почти всю ночь, с перерывами, чтоб отдышаться или лекарства принять, да пока капельницу меняли, все говорил, говорил. Иногда сбивался, пустая мысль или воспоминание...

К штормам я привык, другие то и дело бегают к борту, рыгают до слез, а я нет, и не я один, конечно. Как только вода начинает закипать, валы перекатывать, болтать судно, будто это не судно, а корыто, либо салик худой... А время — обед. Сядешь на пол, миску промеж ног, ложку, хлеб в руки, да ногой-то постарайся зацепиться за ножку стола. Тебя болтает, ты хлебаешь. Иногда обдаст маленько из миски, но суп тот не из печи на стол — не обваришься, беда, что штаны отстирывать придется. Парни — салаги, только что в команду зачисленные долго приспосабливались.

Может, в тот раз, может, в другой, дежурные по колпиту выставили бачок из-под еды на палубу из камбуза, прислонили к борту, завтра, говорит, отмоют. А завтра его и след простыл... Я даже ругаться не способен сделался от расстройства, сам пообедал сухим пайком да чаем запил, мои архаровцы — тоже, сопят носами, жуют сухомятку да припивают чаем.

После обеда сказал, чтоб бак к утру был, хоть из-под земли, хоть из-под воды, хоть из преисподней, но добудьте!.. И што ты думаешь, — продолжал Петр Павлович, он — капитан — директор — развозит на судне по другим судам пресную воду. И што ты думаешь? Выхожу из каюты, глянул в камбуз и отшатнулся — там семь бачков колпитовских! Повеселело на душе — сообразительная братва подобралась, но скоро то с одного судна, то с другого слышно — вода-то далеко разносит — все про бачки разговор, да все в мать-перемать... Наши притихли. Я постоял, оглядел каждого и с дежурного требую, чтоб опознал свой бак. Те переглядываются — своего-то нет, все чужие. Тогда говорю, проявляйте смекалку еще раз: выберите похожий и так загримируйте, чтоб комар носу не подточил... И сделали ведь! Так изобразили, хоть под микроскоп разглядывай — не к чему придаться... И тут все равно стоят, ждут, как дальше быть? И я в задумчивости, а потом таким выразительным шепотом приказываю: «А эти — на дно, но без единого булька... без единого... Иначе всех под трибунал... такое дело — флот без питания оставить...»

Я вымыла банку с кровавой мокротой, зубы промыла, все поставила на тумбочку, на вид, чтоб Петр Павлович не искал, и пошла на кухню, с нянями да сестрами кофейку попить.

Скоро обход начался, хлопоты — умывание, постели в порядок приводить, палату проветрить, а тут и завтрак, а там и процедуры...

Новый день наступил — жизнь продолжается... Днем-то разговариваем о том о сем, обещаю Петру Павловичу, что уговорю врача, и с Андреем приедем, заберем вас — посидите за столом, и отгуляете на моем дне рождения. Поугощаетесь, а потом и обратно таким же манером...

— А это сколь же ден я здесь лежу, Маня, однако, месяц?

— Да нет, двадцать шесть дней...

Петр Павлович долго перебирал пальцы на руках — считал, может, недели, может, сколько дней если почастливит, так и дома побывает...

— Если Алексея Митрича хорошо попросить, убедительно, может, и отпустит. Конечно, сбавать уж не смогу, а посидеть да рюмашечку принять, думаю, совладаю...

В больницу приходил Андрей, сказал мне, что что-то с Татьяной. Спросил, как дед? И еще спросил: если можно, то, мол, ты бы со мной съездила за Майей Михайловной, чтоб она ее осмотрела, а потом я тебя привезу сюда и побуду маленько с дедом. Можно бы из лечкомиссии или участкового, но лучше бы Майю Михайловну — она ее с детства знает...

Дежурил молодой врач Саша, я даже отчество его не запомнила, зашла к нему в кабинет, попросила, чтоб он, если можно, то сейчас бы посмотрел Петра Павловича, и если пока особых тревог нет, то я бы съездила по делам — машина здесь, — и тем же заворотом обратно...

Петр Павлович, похоже, спал, но только коснулся его плеча врач, вскинул голову, глянул на тумбочку, взял из стакана зубы, привел себя в порядок, надел очки и пристально уставился на врача.

— Вы отдыхали? — Петр Павлович пожал плечами, мол, только то и делаю, что отдыхаю. — Как спали? — Дед опять повел плечами, на руки свои в синяках на месте вен посмотрел и опять пожал плечами.

— Чего-то вы сегодня неразговорчивы? — стал мерять давление, пульс проверил. — Так как же вы себя чувствуете? Хуже или лучше, чем вчера?

Петр Павлович на меня глянул, видать, раздумывал: если жаловаться стану — не отпустит на день рождения, а так... похвалиться особо нечем. И сказал неопределенно:

— Пока все так же... день да ночь — сутки прочь...

— Сегодня, сейчас вам сделают капельницу, попробуем новое лекарство, хорошее, только что получили. А Мария Семеновна ненадолго съездит домой — да на рынке фруктов купит. Вам чего больше хочется?

— Х-хе, — грустно усмехнулся Петр Павлович, — кедровых бы орехов, но орехов нет, зубов нет... и вообще, мне ничего не хочется, разве что лимонаду...

— Значит, ее вы не теряете, капельницу сейчас принесут, поставят, я рядом, если что...

Едем с Андреем, он мрачен, молчалив, сосредоточен. Я тоже молчу.

— Похоже, дед наш скоро...

— Да нет, не думаю. Пьет лимонад, крепкий чай, ест немного, но часто. Нет, думаю еще потянет наш дед.

— Ну, ладно. Только бы еще все с Татьяной обошлось. Затемпературила ни с того ни с сего. Такая бодрая, веселая была и вдруг...

Майи Михайловны на месте не оказалось, прошли к Владимиру Абрамовичу — заведующему детской больницей. Может, и не очень по адресу, но этих врачей мы давно и хорошо знаем — что скажут, тому и поверим.

Он не удивился, показал на стулья, чтоб садились и стал звонить. Поговорил и сказал нам, чтоб подождали, минут через пять Майя Михайловна будет и съездит с вами... Все равно она же будет со временем иметь дела с вами, не с вами, а с вашей женой, с ребенком.

Врач осмотрела Татьяну, порасспрашивала, сказала, что пока никаких даже намеков нет на что-либо опасное, просто она стала женщиной — это бывает и проходит... и родит, как настанет время, в ее организме все еще организуется... Смешные эти молодые! Велела беречься, особенно на первых порах... А если что, не дай Бог, то телефон знаете, живем по соседству. Все будет хорошо...

Андрей успел съесть бутерброд на кухне, запил холодным чаем, и мы поехали, завезли Майю Михайловну в больницу, затем в магазине купили лимонаду да фруктовой воды и поехали к деду. Увидев Андрея, дед очень обрадовался и, отлежав положенное после капельницы, попросил Андрея помочь ему встать и, опершись одной рукой на плечо внука, другой на меня, шагнул раз-другой, и прошелся взад-вперед по палате...

— Ну, паря, выдохся я. Помогите теперь улечься да попить дайте... Значит, ко дню рождения, если коньки не отброшу, то прибуду... Я тебя, милая Маня, сильно уважаю и буду рад.

— Так ведь он уж прошел... — начал объяснять Андрей деду, но я тут перебила его, что, мало ли что было да прошло. А к моему дню рождения он поправится немного, и ты его привезешь...

Андрей смолк. Петр Павлович — тоже. Вечером дед почувствовал себя хуже. Я уж не отхожу от него. Он под капельницей, я напротив. И когда он очень запечалился и спросил:

— Маня! А Витя нас бросил? — всхлипнул и отвернул голову. Немалого труда мне стоило выдержать свое состояние, принять нормальный вид и голос, даже найти сил на утешение:

— Петр Павлович! Вы о чем это подумали?! Разве такое возможно? Зачем же вы такими думами свою больную головушку беспокоите?.. Я вот вам сейчас лимонадчику налью и себе тоже — и мы с вами дернем! Во-от! — взяла у него «поилку» — кружку с рожком, поставила на тумбочку. Тем временем маленько пришла в себя, чтоб не разреветься, и уже бодрее заговорила: — Витя как может нас бросить? А то, что

писем не пишет, так, наверное, много работает. Как только получше вам будет, напишу ему, чтоб приезжал, что мы уж готовы... что мы, пожалуй, если вместе с ним, то и пустились бы в дорогу дальнюю, в Сибирь вашу родную...

— В Сибирь — не знаю, едва ли, а вот в Астрахань бы... так хоть ползком согласен. Ты знаешь... — расплакался дед.

«Ах ты дед, дед, свекор мой. Хотя, странное дело, я же никогда его свекром не называла и не назову уж, наверное. Вот тебе бы в Астрахань, а мне? Разве что посыпать голову пеплом да и...» Пошла, умылась холодной водой, причесалась, посмотрела на себя в зеркало и пожалела, что посмотрела: дошла... духом вовсе упала, и устала до изнеможения, а его вот еще щажу... А впереди ой какие хлопоты ждут — поджидают...

Вошел в палату Алексей Дмитриевич, сказал, что он сегодня дежурит и побудет с нами побольше, если все будет спокойно... А мне бы и это ни к чему — не миновать тогда разговора о Викторе Петровиче, как он там да что?.. Ведь никого-никого наши дела не касаются, а все настороже: что скажу, если спросят? Что еще придумаю. Саша — врач, молодой уж который раз говорил, мол, надо бы Виктора Петровича вызывать, кто знает... и возраст, и болезнь такая... сколько протянет?

Пока Петр Павлович спал, или дремал, я написала текст телеграммы и адрес, а Алексей Дмитриевич домой идет мимо почты, так и отправил бы, и знал бы, что тот в курсе дел, а меня минует хоть вина, что молчала, может, и с умыслом... Да какой уж тут умысел? Виктор Петрович, оказывается, звонил в Союз — Андрею передали, — спрашивал, как дед и если, мол, терпимо, то пока и не поеду — дорога дальняя, тревоги близкой нет, а здесь, мол, дел под завязку...

На другой день пришла ответная телеграмма, что вылетает, сообщил рейс из Красноярска и рейс из Москвы, видимо, догадался с кем-то договориться, чтоб купили билет на ближайший рейс на Вологду. Андрей сам в этот раз приехать не мог, позвонил Владимиру Александровичу — заотделением, и тот попросил сестру, чтоб зашла я к нему.

— Виктор Петрович прилетает, видимо, сегодня вечером. Ему, наверное, сюда приходиться лучше завтра, а сегодня пусть отдохнет, будем надеяться, что ночь сегодня еще обойдется... Я думаю, так лучше. Петру Павловичу ставят капельницу, потом дадут снотворное, и вы тоже немного отдохнете — впереди и горе, и хлопоты...

Когда я вошла в палату, Петр Павлович сидел, придерживаясь за тумбочку.

— Чего, потеряли? Я ходила пить кофеек с сестрами, пока вы отдыхали... Витя завтра, наверное, приедет, а сегодня мы с вами еще наговоримся, навспоминаемся. — Увидела банку, наполовину заполненную кровавой мокротой, сходила, вымыла, поставила на место. — Я рада, что Витя приедет — повидаясь, поговорите, он, наверное, проживет у Ирины, сколько сможет. Она и обеды варит каждый день — ребятишки же, а я здесь, почти на готовом... А вы помните, как с Белкановым за молоком ходили и как пчелы вас кусали? Мне показали на шею, когда домой пришли и говорите: «Маня, гляди-ко, куда меня пчела жогнула!» А Мане хиханьки да хаханьки, мол, не первый раз, не последний. Когда Вите показали — он захохотал, что на Новостройке слышно... А вы тогда ему: «Погоди-и-и, доживешь до моих-то годов, то ли еще будет...»

Он и теперь, хоть до ваших-то годов ему еще ого-го, а иной раз и похуже чего-нибудь вытворит. Сходил как-то в баню, в Быковке еще дело было, нет, это уж в Сибле, у Нади Сухаревой мылся. Вы ведь их помните?

— Да как же не помню? Хорошо помню. Как сейчас вижу...

— Ну вот, приходит он из бани и на меня: «Маня! Ты почему мне чистое белье не дала с собой?» — «Как не дала? Носки, трусы, полотенце, футболку белую, рубашку...» — «Полотенце-то я нашел, — говорит, — утерся, стал одеваться, носки надел, рубаха на гвоздике висит — наготове, а ни трусов, ни нижней рубахи, которые были, бросил под ноги, потом, правда, удивился — больно белые...»

— То ли еще будет, погоди, девка! Некогда скучать-то станет.

Принесли капельницу, я сижу, поглаживаю его под другой руке, а иглы вводят уж в запястья, вены, как ниточки синие, а вокруг синяки так и не сходят. И жалко мне его так стало. Поговорили о ребятах, об Андрее, об Иринке, о Витьке маленьком, который все с молотком за прадедом ходил... А он дышит тяжело, кашлянуть боится, чтоб иглу не шевелить, и пожаловался, что уж больно ныне долго — мыслимо ли изо дня в день столько лекарств вливать. Я ведь чувствую, навряд ли они мне помогут... пора, видно, помаленьку-потихоньку собираться в дорогу, у которой ни конца, ни пределу.

Я попросила сестру, чтоб убрали капельницу, — Петр Павлович устал и кашель подступает.

Сестра все убрала, унесла, я и по этой руке его погладила и говорю:

— Петр Павлович! Я, знаю, не всегда была с вами ласкова, не всегда все делала так, как вы хотели, не всегда внимательна и добра. Вы уж простите меня, ради Бога... простите... Я очень об этом сожалею, что иногда была несдержанная... простите меня, пожалуйста... Простите меня, миленький Петр Павлович...

— Да што ты, Маня! Милая моя Маня! Ты меня прости... прости мое нескромное поведение... прости.

Каемся оба, слезами заливаемся, и все друг у друга прощения просим... Один больной поднялся с кровати, взял сигареты и вышел из палаты. Скоро пришла сестра, деду сделали укол, и он скоро утешился, я пяток таблеток валерианы проглотила... Слушала неровные, затрудненные перебои в его сердце, гладила исхудавшие прохладные старческие руки, а мысли на чем-то определенном сосредоточить не могла... Попросил «утку». Принесла сестра.

Через какое-то время сестра позвала меня из палаты и, прикрыв дверь, сказала, что меня просят к телефону. Звонил Витя.

— Ну, как вы там? — бодро спросил он, видимо, выпил маленько...

— Да ничего, помаленьку... держимся пока...

— Ничего, если я завтра приду? Сегодня с дороги отдохну, да и не могу я переносить больничные запахи... Значит, завтра.

— Хорошо. До завтра.

Витя пришел вместе с Андреем, зашли сначала к заведующим, поговорили, видимо, о том, что и правильно сделали, что отказались от операции. Вряд ли помогла бы...

Петр Павлович как-то не очень обрадовался приезду Вити, сказал полунамеком, ведь и помереть мог, пока ты собирался... покашлял в банку. Я взяла ее, вымыла, налила на дно чистой воды и поставила на привычное место. Витя чувствовал себя как-то беспокойно, оглядывал палату, на отца поглядывал, на меня, спросил у отца про самочувствие и, помолчав, признался, мол, папа, ты прости, но я после госпиталя не могу переносить больничные запахи... Я, пожалуй, пойду, пройдуся, подышу и снова приду...

Петр Павлович с сипом заплакал, головой покачал, мол, стоило ради этих минут ехать в такую даль...

— Маня! Чего же это Витя со мной путем и не поговорил? Пришел, ушел... Когда теперь придет, не сказал?

— Скоро. Скоро придет. По городу походит, повспоминает и придет... — Дала больному попить, постель поправила, сколько смогла, подушку и опять слышу:

— Маня! Я помру, так зубы-то не вынимайте... промойте и снова на место... некрасиво, когда у стариков рот западает.

Я пообещала, что еще будет время об этом поговорить.

— Вы пока отдыхайте, и если ничего не надо, то я схожу к сестрам и попою чаю.

Когда вошла в палату, увидела, что Петр Павлович, оставшийся лежать головой в сторону окна, успел — где и силы взял? И зачем? — перевернулся и лежал к окну ногами, подтянув к животу коленки и подложив руки под щеки. Он так спал, когда был здоров, а тут вот... уткнулся лицом в стену и затих, только слышнее стала екать селезенка, прямо ощутимо... Я позвала врача, рассказала, что и как, он недолго постоял над больным и мне вдруг сказал, мол, вам сегодня спокойно можно ночевать дома. Я не уверен, что он дотянет до утра. Он уже почти... слышите, как селезенка и легкие еще сопротивляются, сбивают друг друга... скоро начнется агония. Вам лучше уйти... Если что, я вам сразу позвоню...

Я только вошла в квартиру, зазвонил телефон. Взяла трубку.

— Это звонят из больницы. Все уже прошло, вернее, кончилось, Виктор Петрович разрешил произвести вскрытие, коль, мол, нужно это для науки... значит, либо приезжайте сюда, пока покойный еще здесь — два часа его трогать нельзя, а вечером переправим в морг, который на Советском проспекте...

Третьего сентября 1979 года умер отец Виктора Петровича Астафьева.

* * *

А у сына Андрея Викторовича и Татьяны Васильевны Астафьевых родился сынок Женя 30 июня 1980 года. Растет хороший паренек, готовится к поступлению в лицей, а родители по-прежнему работают преподавательницей английского языка и реставратором по древнему искусству.

Я ничего не написала о том, как из-за нашего переезда в Сибирь сколько они приняли мятарств с квартирой, сколько мотались с одного жилья на другое — тут-то не по своей вине, а так было угодно хозяевам, пускавшим их на временное проживание. Не описала всех хождений по мукам, пока их включили в строительный кооператив и выделили в выстроенном доме трехкомнатную квартиру, но поскольку и эти их

квартирные хождения были не последними, то в конце нашего семейного жизнеописания, мне и этого, увы, не избежать...

Я не раз и не два, тогда, когда лежала в больнице после операции и после, когда дежурила у деда-свекра своего в той же больнице, вспоминала тот разговор наш с Виктором Петровичем, когда приезжали в Быковку уже в последний раз (тогда об этом говорили еще без определенности) — разговор насчет переезда в Сибирь...

Витя снова и снова горячо говорил о том, как болезненно тоскует он по своей родине. И знаю, мол, когда буду жить там, скорее всего встречу то, к чему стремлюсь. Там еще трудней будет жить и работать. И тем не менее. И снова:

— Как ты-то думаешь по этому поводу? Почему молчишь? Почему я бьюсь, как в каменную стену все эти годы? Ведь ты во всем, даже в самом малом, даже в жертву многим для себя, идешь мне навстречу, но как только вопрос касается переезда — молчишь... как немая делаешься. Почему? А мне выбирать-то нечего: жить только или в Сибири, или в Перми.

И я сказала о том, о чем думала постоянно, всякий раз, когда ждала его возвращения из Сибири, тревожилась, страдала — и на то были основания, повод давал сам и не единожды...

Устала от большого ожидания, вдруг скажешь: «Как мне не хотелось уезжать из Сибири! Как мне не хотелось ехать сюда, что, мол, там мое сердце, там моя жизнь... Не скажу, что с удовольствием, но ждала и того что ты скажешь: «Нас там ждут. Нас туда зовут...» — но никто нас туда не звал, никто нас там не ждал...

А ты, возвращаясь, всегда говорил: «Как хорошо дома! В Сибирь хорошо ездить в гости, а жить надо дома да в Быковке...» И я утешалась. А сейчас думаю только об одном: только бы Андрея дожидаться, только бы помочь хоть чем-то, хоть как-то ему на первых порах, может, поступил бы в университет. И тогда — я устала... и тогда мне будет уж все равно — куда ехать, где жить... А поехать я, конечно, поеду, хоть куда, хоть из ссылки в ссылку... Ты — моя жизнь. Куда ж я без тебя? Хотя помнишь, как однажды ты спросил, чего бы мне подарить такое на мой день рождения. И я сказала без раздумья, с надеждой, даже больше — с просьбой:

— Витенька! Скажи мне, дай слово, что ли, что нынче ты от меня никуда не денешься: не уедешь, не умрешь, не дай Бог, я же вижу, я же чувствую, как болят твои раны, как болит от перенапряжения в работе твоя контуженная головушка, — что не ударишь жестким и легким своим решением: «Ну и оставайся лавка с товаром...» Однажды я этого не переживу, а мне так

хочется пожить, и я, как так поэтесса, «я пока люблюсь белым светом, я пока не верю, что умру...» Я так люблю тебя, так мне хочется наговориться с тобою вволю, но не о том, о чем говорим мы с тобой сегодня, хотя этот разговор — неизбежный и очень нужный, и от него все равно нам никуда не уйти...

В Сибири мне будет плохо, я знаю, даже очень плохо, и буду я там в полной незащитности, только запрусь в душе и все... Мне захочется кому-то высказать свою боль и тревогу, нестерпимо захочется, а я смолчу, а завтра скажу себе: «Молодец, Маня, что никому ничего не сказала! Пойдут только лишние пересуды, а помочь, изменить что-либо, понять — никто все равно не сможет... да и все равно, родственники твои все и всегда будут на твоей стороне. И разлуки наши будут длинней, и одна я буду дни и ночи. Если ты будешь работать — я одна, если не будешь работать, то будешь у родни или они у нас, а это значит, опять только выпивки, опять только выпивки... И у меня уже не хватит сил оградить тебя от этого, да ты и сам не захочешь портить с ними отношения, на время уходить от внутреннего, тяжелого сожаления — подтверждения своим предположениям, что не найдешь в Сибири того, к чему и куда стремился... И, конечно же, уж никогда не скажешь: «Маня, поедem в Свердловск... или Москву, или еще куда...» А я ведь этим всегда безмерно дорожила и чем дальше дорожу сильнее, прямо до сердечной тоски... И то, что Пермь на перепутье и бывает много приятных встреч, интересных разговоров, будь то в городе или в Быковке, и ты всегда, постоянно в курсе новостей, событий... И для меня это очень много значит, потому что читать дается мало, и быт заедает, и я, стараясь «держаться на плаву», то есть постоянно желая вышаться до твоего ко мне отношения, наполняю себя тем, что узнаю из разговоров, что-то от тебя, что-то извлекаю из поездок... Иначе ведь ты мне никогда не станешь читать, что у тебя написалось и тем более прислушиваться к моему мнению, доверять... Я уж не говорю, что там для меня кончится многое, почти все, что дарило радость, высветляло душу... и театр, и деревня... все. «Я там под небом чужим, я как гость нежеланный...»

— Ну, хорошо, — сказал Витя, — вот доживем до лета, поеду в Красноярск, поселюсь у Апони в мастерской, поживу, начну писать роман, посмотрю, что получится. Как будет работать. Хотя в душе уверен заранее: трудно будет потому, что не будет тебя рядом, не будешь ты стучать на машинке или греметь кастрюлями, не будет вокруг того, к чему я так привык за эти двадцать с лишним лет, с чем сжился...

Разговор был откровенным. Я боялась остановиться, прерваться, боялась снова замкнуться на своем терпении и все слабеющих надеждах...

И Витя вдруг горячо заговорил о своих ко мне чувствах, что много уж раз терял меня и не хочет этого больше. Даже говорил, что я, может быть, и не меньше талантлива в чем-то, но не ищу возможности проявить себя, а верой и правдой служу его делу, что он это знает и ценит, и что не будь меня, он очень скоро утратил бы присутствие духа и все, чем силен, жив, горд. Что он знает себе цену как писателю — он ходит не в первых, но и не в последних, а в третьих или четвертых рядах. Но может ничего этого не быть, если мы не будем вместе...

Вспомнил, как однажды, в День Победы, мы были дома одни, зашел Слава Расцветаев — артист из драмтеатра. Накрыли небольшой стол, выпили понемногу, и в разговоре он, Витя, коснулся, да что коснулся, думал с горькой тоской, когда уходил на войну, добровольцем — не потому он тогда отказался от брони и уехал на фронт, чтоб подвиги совершать, а что его некому проводить и некому будет оплакивать, если его убьют... Но он остался жив и впереди еще много жизни, наверно, много, если уж такое пережил... А если бы убили, мое место в жизни, мою семейную ячейку занял бы кто-то другой, были бы дети, но не от меня, не мои дети... Да как же такое возможно?!

Много-много мы в ту ночь переговорили. Витя вспоминал, как всякий раз уезжает из дому и как я его провожаю. Вот и в этот раз, когда улетал в Киев, стал садиться в самолет, оглянулся, а ты, говорит, стоишь одна и плачешь. И у меня все время было тягостно на душе: «Зачем я поехал? Куда? Тут остается человек, любимый и одинокий. Я должен быть с нею. На что мне эта литература и все на свете. Но ведь надо...» И вот так всегда: все надо, надо. И я стараюсь одолеть себя... Или тогда, на вокзале, уже в вагон сел, уже поезд тронулся, посмотрю в окно, а ты стоишь в сторонке, одна... Выпрыгнул бы и никуда бы не поехал...

Или уедешь в город из деревни, и я хожу весь день, то по огороду, то по избе, что-то пишу, что-то делаю, а получается все не так, не то... И вот иду встречать тебя на берег, особенно под осень, когда пароходик уже в огоньках, приближается медленно, а видно его далеко. Всматриваюсь: ты стоишь всегда первая к выходу, с большущим рюкзаком, такая маленькая и такая родная! И я уж знаю: ты торопилась побыстрее управиться в городе с делами и вернуться. Стою, смотрю на тебя, а в душе такое делается! Схватил бы тебя, зацеловал, затискал, такую маленькую, такую безмерно дорогую...

Сойдешь на берег. Я заберу у тебя рюкзак, идем, разговариваем, а чтоб дать волю чувствам своим, ласке — нет! Я ж сибиряк!..

* * *

Когда Роберт докрасил «гостиную» — без нее я могла уже обойтись: то у Ирины переночую, то у Четниковых, на одну ночку, съездила еще раз к тете Тасе — и начала оформлять выездные, выписные документы, сниматься с учетов, хотя, если по правде, и, зная, какие огромные штаты работающих в горкомах, обкомах и прочих заведениях, без одной бумажки от которых я не могла получить нужную справку, без которой не дадут другую... Самое легкое дело было с выпиской. Не мне. Я-то, сидя в пустом углу пустой огромной квартиры, наревелась-навылась как только могла — отвела душу. А все дело было в том, что наш «разъезд» с Виктором Петровичем никто, особенно из начальства, всерьез не принимал, все выискивали первопричину сохранения квартиры. Андрей перешел жить к Татьяне — там квартира не то что огромная, но на троих вроде бы подходящая... Все в городе, особенно начальство, знали о том, что отец жены Андрея — человек, немолодой и нездоровый, и ему вроде бы даже рискованно оставаться жить одному в этой квартире. И я уж не стала брать греха на душу, усоветилась, чтоб убеждать, что молодые — сын с женой — станут жить в этой квартире. Тогда, когда я все же об этом заикнулась, мне прямым текстом ответили, мол, лучше бы не придумывали причины, а объяснили бы своим молодым, что в вашей квартире, если они и решатся оставить отца-старика одного — к ним в ближайшее время поделят людей, может, семью, может, и не одну... Тогда спохватятся. Это вам с Виктором Петровичем, как писателям, полагалось по двадцать метров дополнительной площади, у них этих «льгот» и прав нет... А вы — и дочери квартиру, и сыну...

Я выписала Андрея, осталась без вины виноватая, потому что прошло немного времени, и тесть заявил Андрею, чтоб он освободил жилплощадь. И побыстрее. Дочь может оставаться, а зять чтоб освободил жилплощадь...

И начались хождения по мукам... Боже мой, даже представить невозможно, чтоб родной отец повелел освободить квартиру зятю, то есть мужу родной дочери, у которых уже появилось такое очаровательное существо — сыночек. Женя, родной внук деду...

Как я только потом ни казнила себя, куда ни ходила, кого ни просила о помощи — так сложились обстоятельства, но, как теперь говорят, паровоз ушел...

Когда я была на приеме у замечательного человека председателя облисполкома Виктора Алексеевича Грибанова — он растерялся от такой жестокой расправы над семьей собственной дочери, говорил, мол, он через неделю на коленях станет их умолять вернуться... Но это не тот человек. Я ему не судья — уж какой есть такой есть... Виктор Алексеевич даже предлагал через суд поделить жилплощадь. «Да что вы?! — ужаснулась я одной только мысли и стала просить о том, чтоб ребят включили в кооператив по строительству жилья. Может, где-то уж такой дом строится, и там, как правило, оставляют две-три квартиры «резервных». Председатель облисполкома поставил визу: «Включить». А председатель строительного кооператива тут же, при мне, потом уж при Андрее, демонстративно ее зачеркивал и угрожающе заверял, мол, пока сижу на этом месте, пока я руковожу кооперативным строительством, фамилии этой в списке на строительство и в дальнейшем на получение квартиры — не будет!

В последний раз я была на приеме у председателя облисполкома в начале весны — приехала в Вологду, чтоб помочь Ирине на первых порах с месячной дочкой Полинкой, может, удастся найти подходящую няню, девочку-подростка хорошо бы, чтоб на необходимое для Ирины время могла бы оставаться с ребенком. Пришла за час до приема, и когда увидел меня зам. предоблисполкома, спросил кого я жду? Я сказала. А он мне: «Виктор Алексеевич тяжело болен, лежит в больнице, а как будет получше, его перевезут в Москву, на дальнейшее лечение...» Захожу к Ирине домой, она вся в слезах и подает телеграмму из Красноярского крайисполкома: «Срочно выезжайте Виктор Петрович опасно болен...»

«Господи! Да что же мне делать-то? Куда ни ткнусь — все бугор да яма... Да милые вы мои! Родные! Может, я чего не так делаю, хоть и стараюсь, может, мне уж уйти... но как же я без вас? Как вы без меня?» — упала на колени перед диваном, на котором спит-посапывает малюсенькая и родная кровиночка — внучка Поленька. Покатала я голову по дивану, повыла, затем умылась холодной водой, привела себя в порядок, как могла, села и написала обо всем, что происходит, Виктору Алексеевичу, вложила в подписанную для него книжку свою, посидела в его больничной комнатке, рядом со спальней, а ему дали снотворного, и он спит, а мне за Витенькой в садик, а там уж скоро в Москву — на поезд, в Москве уж куплен билет на самолет до Красноярска...

Так и не дождалась, когда он проснется, ушла в садик за Витенькой. Пришла домой, опустошенная в душе, лишь головная боль делает со мной, что хочет, — впору об стенку биться.

И тут звонок — меня к телефону просят. Подождала. Поздоровалась. Звонил Виктор Алексеевич из больницы, прочитал мое письмо. Мол, езжайте, спасайте Виктора Петровича, а за Андрея не беспокойтесь, мол, все будет в порядке, поверьте моему слову. Этот человек в управлении — случайный. Я все предприму, пока не буду уверен полностью в том, что квартира в этом доме семье Андрея будет — не уеду. Внос можно внести хоть завтра, — сказал куда, кому... А я слова выговорить не могу. — Ждите вестей от Андрея и, возможно, из исполкома. Спасайте Виктора Петровича. И сами будьте здоровы...

Перед этим Андрей с семьей жили на квартире три дня: хозяин сказал, мол, по мне, так хоть год живите, хоть боле, но послезавтра приезжает жена, а у нее характер... не поглядит, что ребенок маленький, что деваться некуда — может, среди ночи вытурить...

* * *

Пришел Андрей, разулся у порога, мол, уж больно чисто и пусто...

Расстелили газету на полу, он достал из кармана две рюмки, пол-литра водки, колбасы, конфет и сыру. Нарезал, разложил все получше, и по первой выпили молча, прямо как за покойника...

Не сразу разговорились. Андрей обошел квартиру, в окна посмотрел, обои погладил и как бы мысленно на все сразу махнул рукой — было да прошло.

Я рассказала Андрею, как после его ухода в армию, папа заходил в галерею, Афанасий Вавилович был ему очень рад и все повторял — благодарил за такого замечательного сына, за Андрея. Всем: и молодым, и пожилым ваш Андрей пришелся по душе. Мол, спасибо вам за него!.. И папа от радости такой, получив по твоей доверенности не полученные тобой денежки, тут же их прогулял, потом еще из сберкассы добавил... Не думаю, что от веселости. Мы очень долго и тяжело переживали разлуку с тобой... и опять же ничего не могли сделать, чтоб хоть как-то облегчить тебе службу... и жизнь, да видишь вот, как все и идет...

— А ты помнишь, как перед отъездом в армию, вы с ребятами накупали цветных надувных шаров, надули их и бросали слону под ноги... — уходила я от тяжелого разговора.

— Ага, помню. Зоопарк же был рядом с галереей, и мы частенько туда наведывались. А когда кинем слону надутый шар, он тяжело поднимает свою ножищу и только собирается растоптать его, а шар уж взлетел от движения воздуха, слон сердится... Но несколько шаров он все-таки раздавил, случайно, но пережил удовлетворение!..

Выпили еще по одной. Андрей еще раз, уже сидя на полу, обвел взглядом комнату, часть папиного кабинета и с раздумьем сказал:

— Я не знаю, поверишь ты или нет, тем более, что мы в данное время находимся в таком пиковом положении, в смысле жилья, а тут вон какие хоромы... Мне жалко тех интересных разговоров, которые здесь, в этой квартире велись... Не думаю, что интересна была жизнь у Дрыгина, хотя он мужик хороший, не думаю, что интересней будут жить здесь те, кто поселится после вас... Давай еще помаленьку! — Чокнулись, Андрей еще пошутил, мол, коль спишь на полу, так падать некуда, не ушибеешься... Помолчал, огорчившись, что живи бы они нормально, разве допустили бы, чтоб ты здесь... одна... в пустой квартире... на голом полу... Господи!.. Нам с тобой часто в жизни «везет», то тебе, то мне... Ну, ладно. И все-таки больше всего мне жалко знаешь чего? Быковку и родной наш Чусовой. И стал вспоминать, как они однажды, не сговариваясь, совершенно по счастливой случайности, в один день съехались, у нас, уже в Красноярске с братом Толей. Нет, Толя приехал днем раньше... Я помню, как встретила Толю; то поговорим, то он почитывает, отдыхает, покуривает на балконе, и однажды, уже вечером, вошел в кухню и с растерянностью сообщил, что к нам гость приехал, — улыбается, то руки потирает, то волосы ершит и все прислушивается, ждет звонка в дверь.

Приехал сын! Обнялись, поздоровались, и я отправилась в кухню — собирать на стол, слышу, как они хлопают друг дружку и громко спрашивают: «Ты как тут оказался?» — «А ты?» — «Надолго?» — «На неделю. А ты?» — «Дней на десять, но уж два прошли...»

Сели за стол, поудивлялись чуду: сколько лет не виделись и вот неожиданно-негаданно съехались, встретились! И тут же и сын, и племянник начали расспрашивать, что там и как? Как Чусовой наш поживает? — они же вместе там выросли. Рассказываю, как ехали, что сначала в Новый город отправились. Но они — ни тот ни другой — не бывали в Новом городе, они знают, помнят и любят старый, родной, знакомый до каждого закоулка... И сын сразу сказал, мол, это, пожалуй, единственный город, который совсем не изменился.

Двухэтажные дома-бараки на Пашийской как стояли, так и стоят, даже покосились. И ясли, и тубдиспансер, и горсовет, и клуб металлургов, и кинотеатр «Луч», даже дом обороны... Только все какое-то маленькое сделалось. Хотя дом обороны все такой же. Главное же — дом наш на Партизанской — в нем росли, там детский садик рядом и третий магазин...

Когда мне бывает совсем плохо, я начинаю думать о Чусовом, что он у меня есть, и если когда будет вовсе не вмоготу, я поеду... И потом весь год буду жить воспоминаниями. Я его даже во сне вижу и если не забудусь — не дотронусь спросонья до головы, — тогда весь день вспоминаю сон, до мельчайших подробностей. Проверено.

Как сладко плакало мое сердце, когда я слушала Андрея. Значит, любовь к своей милой родине передалась и детям моим. Дочь до последнего своего дня жизни все мечтала побывать в родном городе, собиралась свозить туда своих детей, когда подрастут и смогут все запомнить и... полюбить, как она... Не сбылась ее мечта побывать в Чусовом. Она израсходовала раньше времени свой жизненный резерв, надорвала здоровье и силы и рано ушла из жизни.

А сын вот и по сию пору утверждает, что у него есть своя голубая мечта на все случаи жизни — Урал, городок Чусовой — своя маленькая родина! Там мне все родное, даже земля, даже деревянные старые тротуары — там мое детство...

Сидели, как две сиротинушки, до сердечной тоски родные и дорогие друг другу. Андрей заметил, что начало светать и поднялся:

— Мне ведь завтра, вернее, уж сегодня на работу... Ну да ладно. Объясню шефу про свою бессонную ночь, пусть нарядит катать-таскать, двигать, короче, на грубую работу чтоб отрядил, — для реставрации я сегодня не гош...

Долго стояли, обнявшись, молча, только время от времени сильнее прижимались друг к другу — перед разлукой, а какой длинной она окажется? У него с семьей пока все покрыто мраком неизвестности. Я пообещала, что как смогу, так и приеду... У тебя голубая мечта — Урал. У меня мечта, чтоб у вас все устроилось с жильем; чтоб Ирину не подвело здоровье — двое ребят... курит она много. Я как-то сказала, что надо бросать, а она: «Я и сама понимаю, что надо бы бросать, мне и кофе уж горек, и сигареты... но ведь у меня только в детях да в этом и радость...»

Днем другого дня сдала ключ от квартиры в домоуправление при «свидетелях», получила необходимые бумаги и расписку, что ордер сдан, а вечером Андрей увез меня на вокзал — до Москвы я уезжала поездом.



Сибирь

III

Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего неизвестно! —
Вот последняя правда, открытая мной.

О. Хайям

Первые минуты, может быть, даже всю ночь, пока я ехала поездом «Вологодские зори» из Вологды в Москву, душа моя и ум, и сердце — вся я была так переполнена разлукой с детьми и внуками. Всегда ведь кажется: им-то я нужна и им тоже жаль, что я уезжаю, будет часто меня не хватать. А уж как мне было жалко их, как я сожалела, что сделала для них мало из того, что хотелось бы, да и те ли дела и всегда ли была справедлива? И думалось, как у Ахматовой: «...умнее надо быть, умнее, добрее надо быть, добрее, но мало времени уже...»

Когда летела в самолете, поначалу думала — пыталась представить, как да что, встретят — не встретят, мало ли. Но чем ближе к Красноярску, тем волнение сильнее...

Прилетела рано утром. Встретил Виктор Петрович, расцеловались, тут же оказался еще один из красноярских писа-

телей, затем ждали какую-то женщину, чтоб довезти до города. Она поздоровалась с Виктором Петровичем, поблагодарила, что подождали, — я будто и ни при чем. Сказал, что не выспался. Я хотела сказать: «Я — тоже», — но сдержалась, поскольку у нас разные на то причины: здесь же разница во времени, и спал ли он вообще? А у меня — грусть-тоска меня съедает, и не только... Ну, слава Богу, вот он, Витя мой, по виду здоровый — это главное. А то, что разговору наперебой, как ожидала, пока нет, так теперь время наговориться будет... Что переезд сюда более чем странный — так что теперь поделаешь? Слов нет, все могло быть проще, лучше, даже радостней, но, увы...

Мы в общей сложности на Урале, значит, на моей родине, прожили четверть века. «Разнообразно» жили — в это понятие я вкладываю смысл немалый: и нужда, и дочку схоронили, и работа всякая. Но были и радости, пусть даже маленькие, и друзья были, хорошие и надежные, и в праздники гуляли не хуже людей... Все было. И милая сердцу Быковка была.

Вологодчина была как бы «нейтральная полоса»: ни моих родных, ни богатых, ни бедных, ни Витиных, да разве в этом дело? Зато была хорошая квартира, особенно последняя (ну не все же сразу!). Москва и Ленинград близко, и мы с Витей туда и сюда наезжали и тоже хороших друзей обрели, и радостей немало пережили.

И в Большом театре бывали — шутка ли! И самим Евгением Александровичем Мравинским были приглашены на концерт! И нам даже многие ленинградцы — завсегда! — завидовали, поглядывали на нас с недоумением, откуда, мол, такие тут еще взялись, да на такие хорошие места усажены! А нам радостно — знай наших! Были случаи, когда с Витей обходились не лучшим образом — везде же и всюду люди разные есть, — это я всегда горько переживала, думала, если б знали, что он за человек и за писатель — за полверсты расшаркивались бы...

Как-то все будет здесь? Родни много, она, как и у меня, и других — разная. Так ее не переделаешь. Значит, надо принимать какая есть? Главное, чтоб меня-то признали, в родню приняли... Еду посиживаю, думаю, предполагаю...

Женщину высадили в нужном ей месте, а писатель отчего-то с нами. Квартиру, конечно, представляла я себе не такой, но хоть такая есть и слава Богу! Зато место, где она находится, красивейшее, жаль только, что мне всюду, где бы мы ни жили, больше-то приходилось быть в квартире, в ней проходила большая часть моего времени, моей жизни...

Витя чай поставил греть, поскольку приехали утром, хлеба нарезал, колбасы, сахар на столе, — вот, мол, располагайся, присаживайся, чувствуй себя как дома. Давай, покажу, где тут что, пока чай греется. Показал, где его кабинет, где гостиная, туалет, ванная, а там будет твоя комнатка... Все, говорю, очень хорошо, а когда еще маленько порядок наведем... Все, Витенька, будет хорошо... — храбрюсь, как могу, — вот контейнеры придут...

— А ты, матушка, уж не догадалась, консервов-то вложить — получала же пайку обкомовскую.

— Я сама не съела, часть, понемногу, что скопила, Иринке оставила — дети же у нее, немного Андрею дала, немного совсем — они и продукты-то покупают на день, поскольку не знают, где завтра жить будут... Но почти все банки вон в тех двух чемоданах, да один идет в контейнере...

Витя посмотрел на меня с недоверием, раскидал коробки с неразобранными вещами, сказал, что в одной банке, в которой гречка была, в которую ты рюмки сложила, разбились те рюмочки, приказали долго жить, как и крупа...

— Ви-итя! Ну зачем ты так? Я же хотела как лучше, все укладывала, чтоб плотно... Бог с ними, с рюмками... Другие купим. А сегодня-то найдется из чего выпить? За встречу-то вроде полагается...

Витя высвободил чемодан из-под коробок и мешков, открыл: там и мясные консервы, и сельдь тихоокеанская, и нельма в собственном соку, и горошек зеленый, и перец фаршированный — все, что небьющееся...

— Откуда мне было знать? Люди добрые в чемоданах одежду хранят, белье, а ты...

Я встала, накинула плащ и направилась на улицу. — Пока чай кипит... пока ты кипишь... Пойду, посмотрю... на Енисей, подумаю, погляжу... — и ушла. Не успела выйти из подъезда, навстречу идет такая милая женщина, улыбчивая, плотненькая, с ямочками на щеках. Приостановилась, поглядела на меня и удивилась:

— А вы случайно не Мария Семеновна? Жена Виктора Петровича Астафьева? Он должен был вас сегодня встречать? — Я поздоровалась, тоже с улыбкой, сказала, что это я самая. — Ой, как приятно! — Обняла она меня, как старую знакомую! — Ой, как хорошо, что вы приехали! А мы — ваши соседи, нижние, меня зовут Наташей, муж Толя, но он на работе... Мы обязательно придем к вам познакомиться. Обязательно!.. — Еще раз обняла меня и пошла к себе домой.

А я пошла как бы к Енисею, а на самом деле — куда глаза глядят.

Красивая стояла осень: Вода в Енисее посинела, лиственницы пожелтели, и, казалось, прикоснись к ним — тепло почувствуешь. А сосны могучие. В березах желтые пряди... Об Урале подумалось — такие там ярко-красивые осени бывают, и небо непременно почти синее, а... Я закусила губы, чтоб не разреветься, от пустяка вроде бы — тем более не надо. Одуванчики не все еще обдуло, но легкий пушок уж с проплешинками. Тихо, спокойно, вода большая катит себе на север... Вот так бы еще и в душе... Может, думаю, выяснить нам с Витей сразу наши отношения да и не ждать... Ну, ночевать-то все равно останусь. Куда ж я на ночь глядя? И вообще, куда? Я же сюда приехала, к нему...

Не знаю, сколько времени прошло, пришел Витя, слышу, постоял за спиной, потом подхватил меня сзади под мышки развернул как бы и глухо сказал:

— Пойдем домой. Еще насмотришься... Потом погуляем, покажу, расскажу все... Пошли.

В кухне стоял маленький складной столик, который я посылкой еще отправляла, но в дороге, то ли угол в него какой уперся, то ли что — трещина появилась, и не малая, но дюжить он не будет.

— Значит, выпить за встречу полагается? — посмотрел на меня, достал откуда-то неполную бутылку водки, разлил, чокнулся своей о мою и выпил. А я пока чего-то медлила, тогда он себе налил еще, сказал, что любит две подряд, а там будет как будет, снова чокнулся и задержал руку с рюмкой. — А ты чего?

— С приездом, Маня! — сказала я. — Будь здорова, тут тебе не какой-нибудь Урал, тут — Сибирь!..

Попили чаю, я убрала со стола, вымыла чашки, блюдца, ложки и не знала чем заняться, не то помаленьку коробки разбирать и чего в кухню, чего по местам... Боялась, что Витя встанет и уйдет из дома, и, чтоб этого не случилось прямо сейчас, подошла к нему и сказала:

— Витя! Я ехала сюда, к тебе, к мужу, и хотела бы знать, как ты к этому относишься? Я к тебе ехала, Витя! Ты писал и, когда звонил, говорил, что ждешь писем и меня... А сегодня?..

Ушли как бы в его кабинет, где стоял Андрейкин диван, в моей комнатке стоял диван школьного, вологодского еще набора. Витя сел на диван, я на табуретку, помолчали, и тут Витя заговорил:

— Я действительно ждал тебя, очень ждал... А радости встречи не вышло. Я тебя обидел, хотя и не хотел этого. Я не знал, как ты решишь — приедешь или нет после того, как я на собрании тогда, в Вологде. Не знал и не знаю: только повидаться или останешься? Мне очень трудно! Тут друзей по выпивке много, скучать не давали, а вот... Я ведь даже работать еще по-настоящему не принимался, так, пустяки какие-то делал, рукописи графоманские читал, а настроить на работу себя не мог. — Витя утер выступившие слезы, тронул меня за плечо. — Прости, если можешь... Я пойду... мне надо побыть одному, подумать, а ты тут...

И только закрылась за ним дверь, я принялась за дело, за коробки — я на них делала «условные знаки», что где. Коробки с посудой сразу же перетаскивала в кухню. Дошла до белья.

В коридоре были сбиты шкафы фанерные — наподобие стенки, и в них отделения. В одно отделение с полками определила под постельное белье, другое — для личного, я не сразу о них догадалась и, протерев начисто полки, все стала определять по местам. Обувь — в нижние, шторы повесила на дверь, чтоб потом выгладить и повесить на окна... В кухне тоже было подобие шкафов, я там что-то в плиту, что-то в шкафчики — временно. Застелила себе постель на маленьком диване, у Вити белье на постели было еще чистое...

Вити не было долго, и я успела устать, разбираясь с вещами. Освободившиеся коробки расплющила и унесла в ванную, сложила стопкой в углу, накрыла старенькой скатертью и изобразила что-то вроде тумбочки.

Не знала, закрывать не закрывать дверь, есть ли у Вити ключи, потом приняла душ, отмыла с мочалкой руки, ноги, надела ночнушку, халат, приготовилась еще попить чаю да и ложиться спать: когда Витя придет — не знаю, искать его, наверное, дело бесполезное да и не очень приличное. Только подседа к столу, пришел Витя. Я пожала плечами, что ждала да не дождалась и решила пить чай в одиночестве...

— Я тоже с тобой попью. — Пока мыл руки, раздевался, говорил, что долго ходил по берегу. — Люблю смотреть на Енисей. — Подсел к столу и сказал, что я зря время не теряю, пожалуй, мы завтра или послезавтра съездим в Овсянку. Там ведь знают, что ты вот-вот приедешь... ждут.

Когда приехали с Виктором Петровичем в деревню, радости встречи с Витиными родственниками я не пережила, хотя и была к этому готова. Но... доброе слово и кошке приятно, а я первое, что услышала: «Как ты, Марся, постарела! Прямо едва и узнать можно...» А вторая тетка спросила, которая я у

Виктора жена? Тут уж я не сдержалась и сказала, чтоб об этом она у него спросила...

На первых порах, когда надо было стирать: у одной возьму бачок, у другой — ванну. И когда все приготовлю, они сядут рядком и наблюдают — если отжимаю слабо, тут и слышу: «Руки-то отсохли ладом-то жать...» Тогда следующее отжимаю так, что скрипит, и опять слышу: «Мужик много зарабатывает, не жалко, пускай рвется».

Тогда я, уловив момент, перевезла стиральную машину в город, грязное белье — в рюкзак. Ночь моя, одно развешиваю, другое стирается, утром выглажу и привезу в деревню чистое белье. Чего ж машине без пользы стоять? В мебельном магазине удалось купить чешские книжные полки. Я купила их много, думаю, лишние не будут. Алеша — двоюродный брат Виктора Петровича встретил меня, сказал или спросил, я его не очень понимаю, как, мол, живу? Хорошо, говорю, живу, было бы еще лучше, если бы ты денька на два приехал в город — дело есть, а Вите некогда, а я не умею... «Хорошо!» — сказал мне Алеша, подумал и спросил, когда я поеду в город? Я сказала, что сегодня. Он опять: «Хорошо!»

И мы поехали с ним вместе. Пообедали — и за дело. А у меня уж все сантиметром вымеряно, что куда, сколько. И в полтора дня полки были готовы, а как составлять книги — куда какие — решит Витя, зачин, как говорится, сделает, а я уж себя ждать не заставляю... А вот напечатать успела мало, но завтра закончу.

Теперь, — решила я про себя, — всякую мужицкую работу пусть Витя делает сам. Так-то оно так да куда от работы денешься, и есть ли время разбираться? Как-то при нем в полушутку, в полусерьез при ком-то сказала, что писатель в доме есть, да вот мужика нету... Обиделся Витя. Да и я никогда не забуду, как он, бедный, строил в Чусовом домик — жилье для семьи, когда еще пьянчужкой проходившие нет-нет да и назовут его, потому что он: если дело ладится — поет, а не ладится — матерится... Да и кто его в детдоме всему этому научил бы? Но ведь жизнь есть жизнь.

Однажды собралась на стену часы прибить, он увидел, спросил, чего делать собираюсь и сказал, мол, чего мужика-то в доме и правда нет? Есть говорю. Тогда куда тарашись? Часы прибивать. Где стремянка? Принесла. Где гвоздь? Принесла. Где молоток? Принесла. Давай часы — дала. Вбил Витя гвоздь, повесил часы, слез со стремянки, сказал, что хорошо, прибил вот, руки отряхнул и ушел. А я стремянку на место, молоток на место...

Вскоре после того, как я сюда приехала, а Виктор Петрович был уже в райкоме, вернее, — по поводу покупки машины «Волги», — бумагу подписали и передали торговому начальнику для исполнения. А начальник тот сказал, что пока не познакомлюсь с тем писателем, которому «Волга» нужна, — машину не продам! Сказал вроде и в шутку, и всерьез. Виктор Петрович, как я потом поняла, сказал, мол, ладно, днями приезжает Марья Семеновна, вот с ней и приедем.

И пришли — не в кабинет, а в гости — к Деевым Зинаиде Иосифовне и Виктору Леонтьевичу. И прогостили весь день. А потом и подружались — такие замечательные люди опять повстречались нам в жизни, оба поют, оба музицируют, оба много читают, гостеприимны — встречали нас как давних дорогих гостей. Вот Виктора Леонтьевича уж и в живых нет, а память о нем светла и незабвенна. А с Зинаидой Иосифовной мы и до сих пор души в друг друга не чаем, да видимся редко — все какие-нибудь причины, даже транспорт и тот плохо ходит, а живем друг от друга далеко... А уж как они помогли нам в начале здешней жизни?! Век благодарить будем, с покупкой машины вопрос был решен.

И позже начальник торговли не унимался, все повторял: «Ну какие вы странные и скромные люди! Ничего-то вам не надо! Так не бывает!» И мы не один раз, естественно, но через него купили югославскую портативную печатную машинку. Позже приобрели японский «Шарп», купили постельное белье, махровые полотенца, обувь, мебель и многое другое — нам же предстояло заново в основном обустраиваться. А он и после не раз говорил, мол, забыть не могу вашу упрямую скромность, меня же, говорит, на улице хватают, а вас уговаривать надо. Я, говорит, сам вот приеду, погляжу, как живет наш земляк и знаменитый писатель, и прямо заставлю вас покупать необходимое... готовьте только деньги... И верно: ему — не убыток, а нам не достать.

Жизнь наша помаленьку уравнивается, медленно, но уходят «мелочи жизни». Чего говорить, много было всего и всякого, даже более чем, и мне иногда приходило на ум бросить все: и Сибирь эту, и родню многочисленную вместе с Виктором Петровичем, посыпать голову пеплом, как говорится, сжечь мосты да и двинуть... Но какие уж теперь мосты? И куда двинуть... Квартиру сдала, у Ирины своя жизнь да и дети, а у Андрея пока и жилья нет, все пока на птичьих правах...

Новый год встречали в компании милых людей, хотя это и гостевание на встрече Нового года — первое впечатление, а не в обычной обстановке.

После встречи Нового года по красноярскому времени Виктор Петрович затяжелел и сказал, что пора домой. Ну, пора так пора. Дома выпили по фужеру шампанского, и он ушел спать, а я, пока были по телевидению новогодние передачи, сидела, смотрела, слушала, помаленьку отпивая из фужера. Я, вообще-то, люблю это время на стыке лет и стараюсь поблагодарить тех, кто мне сделал добро или подарил радость, желаю всем им здоровья, думаю — вспоминаю о том, что было, о чем-то сожалею, что все уже в прошлом, чему-то рада оттого, что прошло и у меня хватило сил и терпения, здоровья и самоотверженности пережить, думала о том, что и как будет, у нас и у детей. Думала о теперешней жизни, то что иногда я в деревне, иногда в городе, особенно летом — такая жизнь меня устраивает, хотя летний «деревенский климат», иногда, как метастазы, просачивается и в городскую жизнь, и тогда я говорю себе: «Маня, потерпи». Родня Виктора Петровича теперь со мной во многом считается, тетки не указывают, пьяницы лишний раз не заходят...

Дорогой ценой мне это досталось, но то, что мы по-прежнему вместе — это главное, это дороже дорогого. Нам надо быть вместе. Мы нужны друг другу, а впереди, если доживем, старость — тоже не радость...

Праздничные передачи по телевизору кончились. Я долила в фужер шампанского, ушла в кухню, постелила перед собой салфеточку, поставила фужер и бутылку с шампанским — кто знает, вдруг захочется еще, — коробку с оставшимися конфетами, стала отпивать помаленьку, прямо по глоточку шикарный этот напиток, который в новогоднюю ночь бывает по-особенному приятен, и стала думать о Гале — двоюродной сестре Виктора Петровича, хотела представить, где, с кем она встречает этот новогодний праздник. Не перестаю ею восхищаться — такой она милый, добрый, чуткий и уж не знаю, как еще и сказать, человечек. И я часто думаю, как бы мне здесь жилось в такой далекой дали, не будь ее. Она всегда может понять, всегда помочь, поддержать словом... Дивный человек — наша Галя, и жаль, что у нее жизнь сложилась, увы, не лучшим образом, растит сыночка, мастерица на все руки. Тут же вспомнилась открытка — новогоднее поздравление от свердловского поэта Жени Фейерабенда, я о них писала, когда погиб Коля Рубцов и от них было большое письмо. Так вот, Женя пишет, — а Виктор Петрович как раз лежал с обострением пневмонии, болел тяжело: «Виктор, быстрее выбирайся из больничной неволи и желаю скорей встать на ноги. Никто из друзей не пожелает этого тебе столь искренне, как я, ведь

десятого ноября исполнилось двадцать девять лет моего лежания...»

Пожалела свою старшую сестру, с которой мы всегда дружно жили, у которой был такой веселый нрав и выпала такая трагичная жизнь — жизнь мученицы... Ох, господи! Кто бы измерил гласные и негласные эти наши бабьи муки?! Нет такой меры, не придумали люди, да и зачем? А многим мужикам и в голову не придет подумать об этом...

Ох, что-то я в новогоднюю-то ночь вовсе скисла — начала хорошо, да и не заметила, как свернула на тоску-кручину... Попила уже выдохшегося, но все равно приятного шампанского и стала смотреть в окно.

А там!.. Народу! Молодые, дети, как говорится, млад и стар... Бегают, смеются, ряженые нет-нет — да промелькнут, в снегу валяются, целуются, а снег-то белый-белый, то сине-голубой — когда месяц скроется... И в моей душе что-то трепыхнулось, взбодрилось, потом печаль накатила — все уже в прошлом...

Вспомнилось, как в Быковке, кажется, уж в последний раз, ходили с Витей на охоту, и он увидел рябка и показал мне на него молча, тихо велел идти вперед и спугнуть его — на Витю. Я кивнула, что поняла, иду, смотрю по вершинкам деревьев — рябчика пытаюсь взглядом отыскать. Не увидела. Запнулась. Упала. И рябчик перепуганный полетел не в сторону охотника, а совсем даже в другую... А то как он рассказывал, как сидел возле озера, караулил чучела, долго, говорит, сидел. Вдруг прилетел чирок, молоденький и до того красивый, что невозможно не залюбоваться. А он — весь трепет, весь любовь и песня... Смотрел, смотрел, а ружье поднять не смог. Сентиментален, говорит, становлюсь.

Витя засобирился на рыбалку в Туву. Я тоже собралась уж было, но когда стали собирать вещмешки, он позвонил кому-то из компании, чтоб узнать, что там предполагается и как, и сказал, когда пили вечером чай:

— Тебе не нужно ехать с нами. Компания большая, все мужики. И дорога, оказывается, совсем не простая: сначала на самолете, затем где-то, откуда-то, вернее, на вертолете, а там должны подойти машины... И все мужичье, две бабы, курящие, и жены они «вне закона» — не уверен, что тебе будет легко и приятно. Я же весь изведусь...

На том и порешили. Удалось дозвониться до Иринки — она болела, а у меня о ней душа болит постоянно, и я часто

думаю о ней, о взрослой уже, как она не выстраивает по-серьезному свою жизнь, иногда такое выкинет, что диву даешься, а иногда — хоть веревки из нее вей, и терпелива, и ласкова... И я снова беру вину на себя, потому что слишком много пережила всего и всякого, когда была ею беременна, когда надобно больше покоя, радости, ласки, внимания, что все это передается ребенку. Вот и передалось. Додумаюсь иногда до такого, что хоть в ноги ей падай да прощенья вымаливай.

Жизнь у нее не заладилась, да она и перед этим, как говорится, предостаточно «наломала дров» и теперь что-то рас-плачивается, чего-то в наследство приняла, чего-то в себе «не воспитала», хотя то, чего я имею в виду, куда глубже и серьезней...

Говорит, что себя чувствует уже лучше, что Витенька здоров и ходит в садик. А я несколько ночей кряду видела один и тот же сон, один и тот же! Будто она в своей, или не в своей квартире, похудевшая, стройная, озабоченная, что-то в себе затаившая. Всюду кровати, кровати, раскладушки и на них спят, на чистых белых простынях, девочки и мальчики какие-то ребята-школьники, даже несколько взрослых женщин. Она их оглядывает, кого укроет, кого погладит. А я все пытаюсь спросить, что все это значит? А спрашиваю только одно: «Где Витенька?» А она: «Я его отправила с ребятами в Геленджик, в поход, пусть там побудет, пусть побродит...» С тем и просыпалась. И душа моя опять трепыхалась в тревоге.

Вот в Ижевск сначала собиралась так охотно, с нетерпением, планы строила, а потом заявила, уливаясь слезами, мол, вы и рады, что сбыли меня из дому...

* * *

Скоро должен приехать кинорежиссер с Киевской студии со съемочной группой — будут снимать фильм «Ненаглядный мой» по рассказу «Тревожный сон». Будут сначала уточнять, где жить, где снимать, где и чем питаться, еще раз сверят натуру. Виктор Петрович рвется в деревню. Я помалкиваю, но если будет тепло и если он будет настаивать — поеду и я.

Очень скучаю о внуках, больше чем о ребятах. Вон у Витеньки скоро «юбилей!» А Полинку даже во сне вижу и что странно, то вижу малюсенькой, какой привезли из больницы, то уж на ножках, веселую, бегающую и уж лопочущую чего-то.

Часто и тревожно думаю об Ирине — как она там с ними? Устает, не высыпается, долго ли выдержит?.. Главное, была бы здорова.

Ирина подарила нам внучку Полиночку — имя придумал дедушка, Витек сопротивлялся, хотел, чтоб была Машенька, и пока кроме как сестричка, никак не называл, хотя и не видел ее еще в глаза — она ж с мамой в больнице. Иринка говорит, что чувствует себя почти нормально, но как можно чувствовать себя после такой операции? Прямо как бедному Ванюшке. Девочка родилась весом 3.400, ростик 54 см. В этом смысле все вроде нормально. Как мне врач сказала: «Поздравляю вас с внученькой! Носик, ротик, глазки, ушки — все на месте, ручки, ножки — тоже, милая девочка». Ирина трудно приходила в себя после наркоза, а теперь вот пропадает молочко — лекарствами разрушили формулу молока.

Виктор Петрович отдал последнюю часть рукописи — завтра же сяду печатать, а самому ему что-то все не может, хотя держится из последних, как говорится, сил, садится за стол, то письма пишет, то вот рукопись правил. Он боится, не хочет, чтоб был в работе перерыв, после перерыва всегда трудно входит в рабочий настрой. Иногда стараюсь по мере возможного, помогаю ему: у меня в столе всегда есть что печатать, что срочное — перепечатаваю, а что может ждать — лежит в столе, ждет. А Виктор Петрович очень любит читать с машинки, иногда ждет прямо с нетерпением. Тогда я и принимаюсь за перепечатку лежавших рукописей. Виктор Петрович поначалу подойдет, глянет, чего печатаю и уйдет, иногда присядет, иногда то, что напечатано, возьмет к себе, положит на стол... И иногда дело налаживается таким образом.

Поговорили, что печатают журналы, что вон все письма пишут, просят чего-нибудь дать... Какой-то полупустой период журналы многие переживают.

Однажды пришел Виктор Петрович из магазина, где отоваривают инвалидов войны. Он и ходил-то туда первый раз. И рассказывает, как долго искали и совещались, какой же номер мне «присвоить». Дали, говорит, тридцатый. Кто-то из инвалидов ушел в мир иной, и я занял его место, а потом кто-то займет мое. Мне не по себе стало от этого, но смолчала, опровергать бессмысленно, соглашаться — жутко.

Иринку с детьми повезла в Вологду, когда девочке пошел второй месяц, а Виктор Петрович решил это время пожить в профилактории, там и питание готовое, и лечение какое-никакое, и комнатка, где можно и поработать, если потянет к столу. Хотя Виктор Петрович редко где может работать спокойно и плодотворно — это дома или в деревне. Но пока он туда собирался или приходил попроведать, как тут же являлись друзья — пообщаться, в основном выпить — нет ни хозяйки и

жены — не видят... И все дело только усложнилось, ладно, что крайней бедой не кончилось, и потому я, по сообщению здешнего врача, срочно вернулась, оставив Ирину с детьми, и с делами, которых всегда неупрочот, да ладно хоть дома, ладно хоть подруги-приятельницы есть, помогали, когда могли.

А Виктор Петрович болел тогда долго и тяжело. А в деревне в это время заболела тетка Апроня, и я то к Вите, то туда съезжу, попроведаю, кое-что увезу. Приеду, причешу ее, чаем напою, и она принимается расспрашивать:

— Маша, как там Витя-то?

— Да уж получше, слава Богу.

— Ну, хорошо. — Помолчит и опять за свое: — Как там Витя-то?

Раз пять-шесть спросит, и я однажды ей сказала:

— А про меня! Ты все про Витю, да про Витю спрашиваешь? Хоть бы про меня че спросила.

— А тебе-то какой лешак делается?

Витя снисходительно рассмеялся. Между делом запакывала бандероли или посылки с книгами — для Андрея и для Ирины, — посылала, что выходило у отца, что и где говорилось о нем — чтоб знали, иначе-то откуда узнают.

Вечером позвонила Иринка, сказала, что добралась хорошо и дома все нормально. Я не успела даже подумать: «Слава Богу!» — она, помолчав, сказала, что заболели Андрей и Полинка — видать, «хватали» от Витеньки. Они больны, а я боялась, чтоб не слегла и она, пообещала позвонить завтра, но звонка не было ни завтра, ни послезавтра. Виктору Петровичу пока ничего не говорю, только радуюсь, что ему уже получше. Наконец-то Ирина дозвонилась — была на повреждении линия, и она дозвонилась уж из управления связи. Управляющий — муж моей подруги — сказал на будущее, мол, уж если что...

Пока Витя в больнице, а мне все равно не спится не ложится, и я все равно мотаюсь в деревню и обратно, то начала ремонтировать квартиру, благо, что все от клея до обоев было заготовлено. Что подсилено одной: клеить короткие полосы обоев, освобождать место для вечерних работ, когда придут наши близкие знакомые помогать, делаю заготовки на еду, чтоб работников-помощников покормить, — в деревню переправила на первых порах, мне еще очень помогала с грузовым транспортом родственница Виктора Петровича, Римма Астафьева, по «Последнему поклону» — жена сына дяди Соколки. И дай ей Бог здоровья, хотя она и по сию пору везет воз на себе. Коля-муж по-прежнему не просыхает, дети хорошие, но Марина то учится, то на каких-то соревнованиях, Сережа

то учился в речном, то на все лето уходил в плавание. Она и выписывала машину, а я увезла в деревню старую, Иринкину еще, маленькую и хрупкую «стенку», кресло из лосиных рогов, которое никуда не вписывалось, а из деревни увезла большой диван и два к нему кресла, обтянутые темно-зеленым бархатом. Купила — опять же Виктор Леонтьевич, торговый начальник, настоял — стенку в кухню, милую, светло-зеленую, а в гостиную большую, солидную, деревянную, оказалось, очень современную. Делаю до упаду и на пределе усталости, угощаю скромно, чем Бог послал, друзей-помощников, бутылку на вид. А перед их приходом опять наведаясь к Вите, утром и вечером. У меня в квартире такие городки, что даже до шкафа с бельем не добраться, чтоб платье другое достать. Приду, посидим, поговорим, почту принесу, он посмотрит на меня, особенно на руки да на «подтекшие» глаза и спросит:

— Плохо спала?

— Да собаки лаяли...

На другой день тот же у меня вид, и, естественно, тот же вопрос:

— Плохо спала?

— Да зуб ныл...

Днем работаю в одиночестве, вечером — друзья-помощники. И как закончат, что намечено на сегодня, я их благодарю, прошу к столу и уговариваю выпить — за успех. Одна знакомая и говорит мне:

— Ну вы, Мария Семеновна, и заводная!

Это значит, выпить здорова. Я отшучиваюсь, что привыкла, радуюсь, что могу. Все смеются. А нас и всех-то: Володя с Эммой да Нина, да я. Алеша да шофер собрали стенку. Я повесила новые шторы, купленные в Вологде еще, под обои, и когда все, почти все, но главное встало по местам, зашел наведаться Виктор Петрович, мол, пошел погулять — отпустили врачи, и дай, думаю, зайду, погляжу и маленько отдохну, поднявшись на четвертый этаж. У меня «чувства борются», как сказал поэт Рубцов, только чуть иначе и по другому поводу. Жду, трепещу: рада, что Витя домой вот хоть на побывку да пришел, а что скажет, когда все увидит? Он же обратил внимание на кухонную стенку и сказал, что хорошо, славно. Когда лег на диван, тогда и удивился, мол, а это-то как здесь оказалось?!

— Да вот. Там тесновато и на зиму, — говорю, — все равно такую мебель в нетопленном помещении оставлять нельзя — заплесневет.

Виктор Петрович поверил на слово, а потом Галя подтвердила. Когда разглядел деревянную «современную» стенку с расставленной в ней уже посудой и всем прочим, с недоу-

мением спросил: «Ну, а этот-то гроб зачем сюда? Плахи деревянные. Их на дрова, а ты в комнату...»

Не понравилась ему стенка, но все воспринял и принял как действие и результат — нормально, хотя с тем, что «собаки лаяли» и «зубы ныли» — никак не увязал.

С наступлением теплых дней — приближалась Пасха, когда Виктор Петрович уже не рисковал быть вдаль от врачей, поехали в Овсянку. Он то посидит, то полежит. У меня и там дела. Сходили на кладбище, погоревали, повспоминали, затем вышли на край, где круто начинается ров, постояли, послушали, как ручей в глубине побулькивает, как за линией по шоссе с шипом и тормозными скрипами туда-сюда снуют машины, а электрички и иные поезда ходят не часто. Я и говорю, что бабушка Катерина Петровна, наверное, и думать не думала, что будет покоиться — лежать под такой шум, лязг и грохот... Витя грустно, но и со светлой печалью, с которой всегда вспоминает — говорит о бабушке, сказал, что столько лет то с котомками по горам — когда надо было в город и из города, то по реке на самодельном салике, где шестом напрягается, когда идет вверх, к деревне, а когда в город, то устроится на плотике, подол подоткнет, котомки поправит, перекрестится и отчалит...

Поговорили еще и вернулись домой. Витя лег на кровать в маленькой комнатке, я ушла в комнату рядом, взяла вязку, смотрю телепередачи, убавив звук, думала, что он задремал, может, и уснул. И вдруг он позвал меня. Иду встревоженная, думаю, хуже себя почувствовал. А он похлопал по одеялу на кровати, мол, посиди и спросил:

— Очень охота на Урал-то, на родину?

— Очень, — призналась я, — прямо до сердечной тоски. Мне ведь там только побывать, посмотреть, походить, повспоминать. Там ведь я выросла, там училась, там пережила муки и радости, там могилы...

— Все понимаю. Потерпи маленько и съездим вместе. Мне тоже охота туда съездить.

Очень ждем в гости Иринку с детьми. В Москве-то встретят и проводят, если ничего не случится, а тут уж... Чтоб высвободить время, пока они будут здесь, много напряженно печатала роман, чтоб с этим делом закончить. Но в этот раз все было нелегко, и мне не раз хотелось отложить рукопись, не думать о ней, не переживать то, что там меня не просто огорчало, а ввергало в горькое недоумение: «За что же меня так? И вообще, можно ли так?» И пришла к печальному итогу: немножко же я заслужила за тридцать девять лет! Вот вчера был моей маме умерший день, задумывалась над тем, чтоб как-то вместе

с Витей помянуть ее добрым словом да рюмочкой вина. Переживала из-за этого потому, что Виктор Петрович, описывая нашу послевоенную жизнь, жестоко и бескомпромиссно отчего-то ставил в вину маме все то тяжелое время, которое изнурительно, с большим напряжением мы переживали. Он знал, что я это буду печатать и как-то, естественно, среагирую... Но пока всяк по-своему, молчаливо обходили эту боль. Я знала, что рано или поздно у нас состоится по этому поводу тяжелый разговор, думала и заранее страдала, переживала время, пока здесь Иринка. Просила Виктора Петровича об одном, чтоб он, пока рукопись «сырая», никому бы ее не читал. Однако же при Ирине еще приехали режиссер будущего фильма с директором картины, значит, были и «перегрузки», и часто все было на острие, я молчала, замкнулась в себе, только чтоб Виктор Петрович не сорвался при дочери, — она не для этого ехала в такую даль. Виктор Петрович все же не удержался, стал читать им рукопись, и когда они собрались уходить, решительно, даже сама испугалась, сказала Вите, чтоб он снял с рукописи мою фамилию, и сказала главное: что мама нас пятерых провожала на войну, а не в тюрьму, что за мной больших грехов не числится и стыдиться мне своего прошлого оснований нет. Грешна, конечно, вольно или невольно, но не больше других, и что мама моя не виновата в том, что наша послевоенная жизнь была столь изнурительна, ведь и из здешней родни никто ни словом, ни делом не догадались помочь... Сказал, что его нечего учить, как и о чем писать, что не станет изображать нашу жизнь веселой и счастливой...

После этого была продолжительная «минута молчания», с Иринкой мы об этом не заговаривали, время шло, и мы вместе поехали провожать Ирину с детьми до Москвы. Ирина там побегала по магазинам, кое-что купила из еды, и поехали вечером на вокзал, где наш знакомый для них купил отдельное купе, чтоб дети спали, чтоб Ирина могла раздеться.

А пока Ирина погостила у нас здесь. Полинка вела себя чудесно, и Виктор Петрович вообще бредит ею и всем рассказывает, какая она славная, смышленная, чудесная, однако, с норовом, с характером уже и, вообще, девица ахти — современная, мол, Витенька, конечно подбалован был в ее возрасте, с рук на руки переходил, а эта сама себе жизнь организует: что надо — требует, куда хочет — идет, что хочет — делает, но ко всем с улыбкой.

В Москве после отъезда Ирины, побывали на юбилее «Смены», затем в гостях у редактора журнала Альберта Лиханова — загостились до утра. Днем я запаковывала лишнее в посылку и отправила, а вечером были в гостях у Юрия Марковича Нагибина. Ну он и рассказчик! Ну и интересный чело-

век! Ведь не первый раз видела его, не первый раз слушала, но радостно удивлялась всякий раз.

Весь другой день провели у тети Таши. Виктор Петрович после обеда, как всегда у нее, уснул, а мы наговорились от души, а поздним вечером вернулись в Москву.

Утром другого дня, уже ближе к обеду, мы поехали на студию документальных фильмов и там показали весь отснятый материал о Константине Михайловиче Симонове. Затем приехал Михаил Александрович Ульянов и снимали их с Виктором Петровичем — Ульянов задавал вопросы Вите, когда, где и как он познакомился с творчеством Симонова и о личном знакомстве. Затем поехали в театр им. Вахтангова: там, двумя рядами ближе к сцене в тот вечер сидел Константин Михайлович, где его Виктор Петрович увидел вживе. И, видать, так пристально смотрел на него, что тот почувствовал взгляд и обернулся. И Виктор Петрович увидел, какой он больной и усталый человек, и после долго не мог сосредоточить свое внимание на сцене, все смотрел на затылок Константина Михайловича и думал, и волновался, и воображение работало... Вот об этом их снимали дальше, для второй серии: опять М. Ульянов задавал вопросы, а Виктор Петрович отвечал. После съемок еще немножко поговорили и Виктор Петрович воспользовался возможностью, раздумчиво говорил о современных, может быть, и всегда существовавших, но по-иному, проблемах житейских. Говорил о том, что если живы дед и бабка — будут нести семейное бремя — слово-то какое точное!

— Вот мой зять мне как-то бодренько сказал: «Как вы живете, папа, — живут единицы, как я живу — живут миллионы», — а ведь рабочий, дорожник и гляди как политически подкован, — не зря боролись за всеобщее образование, и они, образованные, хотят вольно пить, валяться в вытрезвителях, поднимать кулаки на жену за то, что она его, мужа, кормит, поит и ублажает, да еще чтоб на работе ничего не делать, спать в вагончике с похмельюги, но чтоб зарплата вместе с прогрессивкой выплачивалась регулярно.

Посмотрел я «Частную жизнь», но как-то не в «подходящий момент» посмотрел, что ли. Случилось так, что смотрел я эту самую «жизнь» после «Амаркорда» Феллини, такой-ли выверенной и «точной» показалась мне эта самая «жизнь», после разудалого, хулиганистого и воистину гениального итальянца.

Первый раз видел вас в неестественном каком-то гриме, в замедленном движении, в приглашенном темпераменте. Словно вожжи сзади вас были и вас поворачивали то налево, то направо, даже паузы, даже молчанье, может быть, и хорошо

сыгранные, за что вас и хвалят, — мне же казались неестественными. Вполне, может быть, тут виноват и «Ричард» по телевизору показался мне даже лучше, чем в самом театре. Я сидел когда-то в театре далеко и «крупных планов» не видел. И все же более всего и ближе всего мне бывший солдат из «Последнего побега» — вот тут все гуманно, все естественно и неистово до крайности! То была ваша роль!

После этого Михаил Александрович вернулся на репетицию, а мы поехали на студию и нам показали фильм «Дважды рожденный» по сценарию «Не убий», который был уже напечатан в «Искусство — кино». На мой взгляд фильм получился по-настоящему серьезный, такого я, например, вроде бы еще и не видела.

Один раз побывали в театре на Малой Бронной и посмотрели отличный спектакль «Весельчаки», где играли двое: Л. Дуров и Л. Каневский. После спектакля нагостились у Левы Дурова, поздним вечером он доставил нас к нашим неизменным друзьям Капустиным, откуда на другой день мы отбыли в Красноярск. Вспоминаю эту поездку как удивительный праздник. Спасибо Вите!

Дома, как правило, первые дни сражались со скопившимися делами. Хожу ходуном, чтоб разделаться с неотложными делами и сесть за машинку. Иногда думаю, что не я одна: и врачи, и ученые — все, оказывается, бывают в запарке, пусть и временной, но никто, ни один ученый, ни врач, ни обыкновенный смертный, не могут сказать — куда спешим? Зачем? Все равно придем к одному концу — будь хоть семи пядей во лбу... Мне что-то часто не можется — вот поездка отвлекла, и будто действие наркотика кончилось. Надо бы в больницу, но пока терпимо, не хочу терзать себя излишними «открытиями» дефектов в своем здоровье. Не знаю, как лучше? Не приемлю, не отвергаю, все тешу себя надеждой: может, обойдется. Вчера расшифровали снимок моей больной уж много лет ноги — и мне бы впору «белугой выть», но у нас гости, и я поддерживаю веселые компании, спую на кухню и обратно, а мне строго рекомендована тросточка! Иначе дело — табак! Кабы знать, сколько мне жить определено, так бы, может, и поступала соответственно, но я однажды поклялась себе — на всю жизнь — не думать о НЕЙ, не говорить, не жаловаться, и вот из кожи лезу... Ведь всякий раз, когда возвращаюсь домой после долгого, да и не очень долгого отсутствия, так много скапливается дел, такое окружение забот и тревог и тревожных предчувствий, что и хватаешься за дела, и ворочаешь их с утра до ночи, чтоб только заглушить в себе тревогу...

А Виктор Петрович снова чувствует себя плохо, и когда я напомнила о барокамере, давно ему и очень рекомендованной, он отказался наотрез и сказал, мол, чего ты, вообще, производишь такую шумиху? Оставь меня в покое...

А юбилей приближается стремительно. 60-летие — не очень веселое событие, когда раны болят не только к ненастью, когда контуженная голова не перестает болеть и исподволь, постоянно и изнурительно напоминает ему все «издержки», все напряжение, которое, естественно, связано с работой в течение столь многих лет, не щадя здоровья, силы, а они же не бесконечны, и усталость безмерна, но он, Виктор Петрович, и по сию пору утверждает, что при такой жизни, при такой обстановке остается только работать, иначе недолго и с ума сойти... Господи! Помилуй его! Спаси и помилуй! Не о себе молю, а о муже своем дорогом!

И все-таки решает, что на это время (на юбилейное), когда теперь уж дверь не закрывается: и журналисты, и интервьюеры, и киношники, и телевизионщики — все, кому не лень, но всем чего-то надо. Будто до этого я дурака валял, не работал, и вот только в эти дни создал «шедевры».

Маршрут уже продуман, он не короткий: самолетом в Свердловск, где нас встретят, приютят на день-два, чтоб повидаться только с самыми-самыми. Оттуда на «Волге» ехать до Тагила, там на поезде до моего родного города, там родные могилы и могилка нашей первой дочки... Я-то знаю, что ничего хорошего и радостного там нас не ждет, но хочется, надо... Надо посетить могилку дочки, покинутую, а мы по сию пору, всю жизнь без вины виноватые перед нею.

А накануне Виктор Петрович еще угодил на сквозняк: уговорили выступить перед выпускниками военного училища, а там сквозняк, потому что снимало телевидение и из-за множества проводов двери не закрывались. Приехали домой, и ему сразу стало плохо. Говорит, мол, если так дело пойдет, то я поехать-то не смогу, а как быть. Я стала утешать, как могла, говорила, что мы уж много поездили, во многих краях и всеях побывали. Выздоровеешь, и еще поедem, может, сразу в Вологду, только выздоравливай, и стали мы вспоминать, как ездили в Душанбе.

* * *

В Душанбе нас встретили хорошо. Это уж как бы по второму кругу, потому что когда приехали делегацией, оказалось, накануне умер Мирзо Турсун Заде и дни литературы пришлось отменить. Тогда Виктор Львович Лысенков, жур-

налист, предложил Виктору Петровичу, мол, в такую даль ехали — туда сюда — не ради похорон. У нас есть свободная квартира — отец у жены уехал, мы вас оставим у себя, а мы туда, поскольку там осталась собака и надо за ней ухаживать.

На том и порешили. Вечером, собравшись в комнате у поэтессы Тани Стрешневой, не громко, но весело погуляли, а дальше — кто куда.

Виктор Львович на другой же день, утром, когда сели завтракать, стал строить планы масштабно: к кому в гости, к кому на прием, куда съездить. Виктор Петрович сказал, что так устал от московской суеты, что для начала хотел бы отоспаться.

После обеда разговор пошел по поводу спектакля «Прости меня». Спрашивали, мол, как? Но Виктор Петрович рассказал о двух приятных других случаях, связанных с «Царь-рыбой», что к/ф получился слабый («Таежная повесть»), а летчики, когда он был на юбилее Игарки, предложили съездить на рыбалку и полетели, точно воспроизводя путь Эли и Акима (по главе «Сон о белых горах»), и все, говорит, посматривали на меня и, наконец, не выдержали, спросили, узнает ли он места?

— Какие?

— Мы пролетели тем путем, каким шли ваши Эля с Акимом.

— А я здесь не бывал...

— Как?! — летчик даже руль выпустил от удивления. — А как же вы писали?!

— Я жил в Игарке, в Курейке, пользовался картой, много слышал рассказов и просто работало воображение.

— А второй случай уже в Красноярске, в Академгородке. Пришел однажды, а у дверей квартиры лежит сверток, в нем несколько сорожек и окуньков. И записка: «Автору «Царь-рыбы» — от рыбака» — очень дорогой подарок.

Вечером ходили в кино, посмотрели посредственный итальянский фильм «600 км страха». Утром пораньше решили ехать на рыбалку, а расходиться никому не хотелось.

В заповедник приехали под вечер, и наш «главный» сразу же отправился ловить форель. Сварили уху, жарили грибы — это первого-то апреля! Заповедник расположен в очень живописном месте — в ущелье. Горы красивые и разные: одни голые, хотя и не скалистые, другие — в лиловой пене от цветущего миндаля. Гостиница на самом берегу кипящей реки, а в 10 метрах от подножия горы, в вольере полумычат, полулают олени. В горах совсем близко много волков, кабанов, коз и пока спящих змей. А черепах — видимо-невидимо, много маленьких, но есть такие большие, как опрокинутые корчаги, — они очень агрессивны.

Говорили, как здесь жить, среди этих, почти первобытных по разуму людей...

«Очень трудно, — отозвался Виктор, хотя он и очень коммуникабельный человек. — Русским надо жить в России».

Утром налетел ураганный ветер, затем дождь и снег и сразу похолодало. Вечером поехали на великолепный фильм «За спичками», Виктор Петрович да и мы все нахохотались до слез, и потом Виктор Петрович сожалел только, что хотелось побыть под впечатлением, но сам же всех заговорил своими разговорами.

Были в гостях у композитора Фирузы Бахора, пили, пели, ели, потом слушали музыку, и Виктор Петрович заговорил, что, к сожалению, не всем дано знать, понимать музыку — она не всем доступна.

— А литература всем доступна?

Виктор Петрович сказал, что ему, литератору, у которого есть своя точка зрения и понятия, — она ему понятна. А музыка — он ее любит, знает многие классические произведения, народную музыку. Но понимаю ли? Чувствую — да! Он часто думает о том, что в школах и литературу-то часто преподают не во благо, а во вред, отлучают от Гоголя, даже от Пушкина, что произведения, которые ученики проходят по программе, они еще не готовы их понять, такие, как «Мертвые души», и другие, я говорит, после 50 лет стал для себя открывать Гоголя и Достоевского.

Из Москвы провожали Г. Кожухова и А. Петренко, приехал и Вл. Андреев — главный режиссер театра им. Ермоловой, и коль у Андреева с Виктором Петровичем предстоял деловой разговор, супругам Кожуховой и Петренко пришлось остаться.

Владимир Алексеевич Андреев интересовался, как Виктору Петровичу понравился спектакль? И Виктор Петрович сказал, что актеры не тянут, что второй план вообще плох, что любые сокращения, в пьесе особенно, нужно согласовать с автором — он это сделает лучше. Но этим пренебрег А.В. Бородин — режиссер ЦДТ, ставивший спектакль «Прости меня», потому многое либо повисло, либо утратило смысл. В.А. Андреев осень сожалел, что этот спектакль не поставил сам, в своем театре, что у него сейчас есть интересные молодые актеры.

В аэропорту Виктор Петрович подарил Андрееву «Посох памяти». Владимир Алексеевич прослезился, сказав: «Как хорошо, как дорого, что вы, Виктор Петрович, не изменили отношения оттого, что в давнюю пору были разногласия по поводу пьесы, что преданность и дружба сохранились». На этом распрощались.

— А ты забыла про того мужика с банкой... со змеей, — оживился Витя. — Помнишь на автобусной остановке?

И стал рассказывать, как мы ехали на машине с Володей Кондуром, — он всматривался в насыпи арбузов и дынь, чтоб купить. И вдруг выскочил из машины и поспешил к автобусной остановке, потолкался там недолго и идет обратно, улыбаясь во весь рот. Рассказывает, что один пьяный мужик держит в руках трехлитровую банку, а в банке — полоз — змея ядовитая. Мужик плохо стоит на ногах, его то и дело заносит. Занесет в одну сторону — и толпа ожидающих автобус врассыпную, подальше от того мужика. Поведет хозяина змеи, загнанной в банку, в другую сторону — люди опять разбегаются... Наконец, кто-то спросил мужика, зачем ему та змея? Опасная же, смертельно... А он погладил с улыбкой банку и ответил, что это он везет подарок жене на день рождения!..

* * *

Витя лежал еще в больнице, когда приехала Ирина с детьми, и это как-то помогло ему прийти в себя. Он, конечно, раньше выписался из больницы, говорит, устал, дома доделают три оставшихся укола, и поедем в деревню. И уехали. Солнышко греет, внучата на глазах, массаж утром и вечером делаю сама, травы завариваю: попьет, поплюется и через полмесяца, может, даже пораньше стал выходить в огород. То сорняк выдернет — а Ирина в ограде, за Полей присматривает, еду варит, постирушки делает и все прислушивается, чего папа то расскажет, то о чем-то только вспомнит.

Тут Иринка забегает в избу — я печатала — вся в слезах и в окно мне незаметно на отца показывает. А тот уж несколько дней кряду выйдет, сядет, цветок сорвет травку ли и глядит, глядит на Енисей, на леса... И Ирина тут услышала, как он протяжно вздохнул и сказал: «А я ведь уж попрощался с вами, думал — все... А вот одыбываюсь».

Ирина в тот раз погостила у нас почти два месяца. Потом я ездила их провожать, собиралась только до Москвы, чтоб их в поезд посадить, а самой к тетушке навеститься — и обратно. Да не вышло. Таня тяжело заболела воспалением легких, Андрей в командировке. Определяла ее в больницу, разыскивала да вызывала Андрея, а Женечку уводила в садик сама, а приводили то Таня Володина, то я. Я достала билет на девятое августа, к этому дню Андрей уже приехал, и Тане уже полегчало — все вроде бы стало налаживаться. Приехала домой, и через пять дней пришли документы, что во Францию я

все-таки еду — Михалков, как оказалось, дважды звонил красноярскому бдительному начальству, которое не пускало меня, мол, в прошлом году была в Финляндии — капстране, теперь можно только через три года...

И вот побывала я во Франции, 11 дней, более того, свой день рождения 22 августа, где были в Париже шесть дней. Жили в отеле в номерах по соседству с Романом Солнцевым, он мне стих сочинил, и я его в конце своего повествования тоже приведу, а в тот день, когда было уже поздно, загулялись по Парижу, утомились и зашли ко мне в номер выпить коньяку. А Роман Солнцев посвятил мне стихотворение по этому случаю. Спасибо ему.

Марии Семеновне Астафьевой

22.08.84 года Марсель — Париж

О, Господи! До смеху ли — жара который день!

Летели мы и ехали меж белых деревень.

Мы пили воду всякую, когда совсем темно.

С французами каляли, мы знали и вино.

Тут вам не наше Сормово, не наша колбаса.

Мария свет-Семеновна, такие чудеса!

Ты, значит, в день рождения на «Бойнге» летишь,

Не более не менее, как в самый тот Париж!

Нам стюардессы модные бормочут про грозу.

Она, свивая молнии, проходит там, внизу.

Но предстоит нам все-таки ее пробить — и вниз.

Пока мы спим на солнышке, мы малость напились.

Но вот в иллюминаторе мигнуло, понеслось —

По-русски, значит, к матери, отвесно, на авось!

Так жутко и озоново, и ты к земле паришь,

Мария свет-Семеновна, ты падаешь в Париж!

Ты вспомнишь годы первые, с козлиным молоком,

И те костры военные, и мирные потом...

Детей... и голос диктора, что на земле у нас

Нет, значит, лучше Виктора писателя сейчас.

Земля в опасном ракурсе, и мы, друзья твои,

Тебе желаем радости, покоя и любви.

А летчики французские — «шарман» или «зер гуд!» —

Почти, как наши, русские, тебя поберегут.

С тобою все сегодня мы! Что грустно так глядишь?

Мария свет-Семеновна, ты въехала в ПАРИЖ!

*Роман Солнцев. Поездка писателей
в турпоездку во Францию.*

Хорошая, интересная была поездка. Только я вернулась из Парижа, Виктор Петрович мне говорит, мол, здесь ведь все ждут юбилей. Что делать? Давай соображать да хлопотать, да телеграммы давать.

Многоступенчатый получился юбилей; но красивый, торжественный — на уровне. Прилетали и В. Распутин, и В. Курбатов, и наши Андрей с Таней и Женей, Володя Кругин и

Женя Капустин приезжали, и молодогвардейцы и режиссер-документалист М. Литвяков, родные из Игарки. Многие приезжали поздравить.

Виктору Петровичу наконец-то стало хорошо работать, а то уж, говорит, и интерес, и жажду к работе начал утрачивать. Он сидит в деревне, топит печь и в большой избе, а в избушке работает. Написал несколько рассказов, и если он не попадет на сквозняк и будет прилично здоров, а я успею напечатать два больших новых рассказа, то улетим в Москву и оттуда группой — на выездной секретариат в Ставрополье. А на пленуме он был, но ради встречи с друзьями, потому что иного ничего интересного не было.

Андрей уехал вокруг Европы, скоро должен вернуться. А Татьяна собирается в октябре на неделю в Англию — подобрана группа преподавателей из вузов с английским языком. Нынче они решили повольничать, а на будущий год Женя пойдет в школу.

А теперь мне было бы очень нужно хоть немного времени, чтоб прийти в себя от потери родных и, наверное, со многим смириться. Печалюсь, что сердце мое то и дело выходит «из повиновения», часто и лекарства не снимают боль, от уколов пока воздерживаюсь, поскольку прежде хочу помочь голове.

Грузины поостыли насчет «Ловли пескарей», а на ночь я телефон отключаю. А письма пишут в основном ученые да преподаватели русского языка, которые на уроке, стукнув по столу, спрашивают, точнее, объясняют уж в сотый раз: «Скоко надо говорыт? Палто пищиця бэз мяхкий знак, тещца — з мягким знаком; ненастя — погода плохая — бэз мяхкий знак, а Настя — дэвочка — с мяхкий знак».

Напечатала новую главу к «Последнему поклону». Глава большая и уже пообещана С.П. Залыгину в «Новый мир». Всю ночь печатала, на другой день поехала в деревню — есть предлог — сколько может продолжаться эта изматывающая агрессия? А Виктор Петрович очень любит читать с машинки. Думаю, обрадуется, проронит слово золотое, а может, и спасибо скажет, а может, и про здоровье спросит?.. Только напрасно я себя тешила: ни здравствуй, ни прощай — с тем и вернулась, но себе уже сказала: «Сюда я больше не езду»...

Ирина вышла на работу, снова в редакцию. Поля ходит в садик. Витя учится в четвертом, умудрился по английскому две пятерки принести! Я сказала Ирине по телефону: «Это потому, что картавит!..» А она: «Ну зачем ты так?!»

Попала газета с последним интервью с В. Катаевым. Общее впечатление — не восторг, но то, что он мимоходом, не называя ни автора, ни произведения, «укусил» Виктора Пет-

ровича, — тут я с ним согласна: я никогда не ставила в заслугу автору того, что касалось унижения женщины, ни в поэзии, ни в прозе. И потому в «Детективе» Чашиху и Сыровасову, в «Слепом рыбаке» жену этого самого рыбака не приемлю: они либо надуманны, и утверждать это или давать повод — не есть достоинство мужчины. Я никогда не встану на защиту «Урны» или другой спившейся и опустившейся бабы, а об этих — я при все при том на их стороне, как и на стороне Лерки.

Тут еще и сама жизнь с ее сложностями, вывихами, суетой, отсутствием хотя бы самого необходимого человеку в жизни — все это не дает спокойно жить никому, даже тем, особенно тем, кому и жить-то осталось всего ничего. Вроде чего-то и понять пытаешься, но увы, все равно хочется, да так, наверное, и должно быть, чтоб правильно и мудро думали и поступали государственные деятели. Это их обязанность... Это я все из-за тревоги одетях, теперь уж больше о внуках пребываю в тревоге и в мучительных раздумьях о своем человеческом бессилии.

Виктор Петрович отправил телеграмму: «Москва. Кремль. Верховному Совету. Президенту Горбачеву. Разгул преступности в стране переходит в террор, вы, как всегда, медлите и опаздываете с принятием решительных мер. Народ вооружается, и, когда кончится его долготерпение, он повернет оружие против вас и вашего бездейственного правительства, против растерянno притихшей армии и сметет всех вас. Вот тогда начнется хаос, какого еще свет не видел. Когда-то уважавший вас Виктор Астафьев.»

И уж когда Виктор Петрович пророчески сказал, что если не в будущем году, то через год непременно произойдет в нашем отечестве разделение на бедных и богатых. Но прежние богачи были образованны, интеллигентны, воспитанны, часто даже справедливы, а нынешние, новоявленные миллионеры — хриstopродавцы, вoры, хваты — им никого и ничего не жалко... Что же будет с нашим народом, особенно с нашими детьми, которым жить и страдать...

Куда, как говорится, ни ткнись, всюду бугор да яма... «Вспоминаю, — говорит Виктор Петрович, — на концерт Зары Долухановой собралось 250 человек! А на «Машину времени» — все своротят, валом повалят!.. Это упрощенная модель жизни».

Симфонический оркестр дает блистательный концерт в блистательном концертном зале, а артисты концерта сидят на обшарпанных стульях — по каким развалинам их и собирали?!

Поэзия в настоящее время ищет упрощенного выхода, и она упростилась, даже и в прозе наступило «затишье». Предчувствие: пожар далек, а дышать трудно.

Поэт прошлого века Лермонтов создал огромное внутреннее напряжение и дисгармонию — и рано ушел из жизни. Талант — мучение. Сейчас над человеком висит опасность, а он безразличен, устал, спокоен, всего понемногу рванул: дачи, ковры, хрусталь — болезнь общества. И всему должно быть объяснение — нужно одуматься.

Здоровое общество не должно иметь сирот, но в наше время пока, увы... Должны бы быть очереди, чтоб взять сирот из детских домов, но... очередь за щенками и собаками — с ними легче и спокойней. Этот вопрос необходимо задавать и задавать себе: «Почему?»

В Вологде у нас была славная традиция: когда собирались у нас, скажем, то чаю попить, то чего покрепче, рукописи ли почитать или поговорить, но всякий раз читали очень много стихов — без них не обходилось. Здесь, к сожалению, этого нет. А жаль! Спасибо Виктору Петровичу — вычитает где-то хорошие стихи, придет ко мне, если я за столом или за машинкой, или в кухне, и скажет: «Вот, послушай...» И уж только потом, по его настоянию, желанию и потребности, они вместе с поэтом Романом Солнцевым кропотливо, тщательно отбирали стихи для сборника «Час России» — поэтического сборника, в который отбирали по одному стихотворению русского поэта, не из Ленинграда, не из Белоруссии, не из Москвы, не из республик, только русские поэты представлены в этом сборнике и только одним стихотворением. И сколько же они, таким образом, включив в сборник «Час России», открыли замечательных поэтов, живущих в провинции, о которых и слыхом никто не слыхивал! Вот уж когда и я начиталась стихов вволю.

Побывали на выставке «100 фото о Симонове» Е. Халдея. Выставка вызывает удивление, восторг, раздумья — во всех смыслах. Я, казалось мне, очень много видел К. Симонова на различных фотографиях, и в журналах, и в книгах, но тут были такие, перед которыми надо долго стоять, долго смотреть, всматриваться и размышлять.

В связи с этим коснусь горестного события. Когда умерла Апроня — тетка Виктора Петровича, Апраксинья Ильинична, — в это время были по делам у Виктора Петровича редактор «Студенческого меридиана» и фотограф Валерий Урутюнов — от Гостелерадио. Он, естественно, фотографировал, когда уже были поминки после похорон, застолье, затем родственников и земляков поотдельности, чтоб после «смонтировать окру-

жение» в родной деревне, и все недоумевал: как же это Виктор Петрович выкарабкался из такого «окружения» и стал выдающимся писателем и человеком?! Что они могли ему дать? Я осторожно поясняла, что здесь, в этом «окружении», он был ребенком, а основу в него «заложил» Валериан Иванович Соколов, фигурирующий в повести «Кража» как директор или заведующий детдомом. Он приучал, насколько было возможно, своих воспитанников к музыке, к чтению книг, много рассказывал, много читал вслух, сопровождая комментариями. И Виктор Петрович — тогда Витя — оказался «податливей» других, впитал в себя многое и соединил это с внутренне заложенным талантом, способностями незаурядного ума пристрастился к чтению книг — все это сыграло самую главную, самую сильную роль в его будущем. Он не опустился до воровства, до пьянства, до картежничества и многого другого, свойственного слабости человеческой... Что касается учителя по литературе И.Д. Рождественского — Виктор Петрович о нем не раз и не два писал подробно и достойно.

В душе по-прежнему всяких дум и предчувствий много, но одна мысль постоянна: нам бы более не надо расставаться, но здесь так мало от меня чего-то зависит, главное, к сожалению, от здоровья.

Сейчас, когда наступает тепло, жду возвращения домой Виктора Петровича и тут же опечалюсь, как представлю: приедет он домой и тут же засобирается в деревню, а я ее никогда не любила и никогда не полюблю, потому что ни одного лета (зимой же мы там не живем) не проходило не то, что в радость, а хотя бы спокойно. Там Виктора Петровича будто подменяют и он быстро, прямо на глазах, только успеет приехать, уже делается грубым, бесчувственным, увы, неприлично себя ведет, и жизнь моя там сводится к тому, что я вроде сторожа — дом караулю, а он то по родне пойдет, то «гулять» и явится то в «особом» настрое, то вообще наутро.

Схоронила брата, Сергея Семеновича, последнего из нашей большой когда-то семьи, а до этого схоронила тетушку, брата. Вот менее месяца оставалось до дня, когда сравнялся бы 41 год нашей супружеской с Виктором Петровичем жизни. Вспоминаю-говорю об этом без уверенности, потому как отношения наши были далеко не в том состоянии благополучия, чтоб говорить утвердительно. Не знаю, может, и моя вина в том есть, наверное, есть. Вот; к примеру, отказалась заниматься ремонтом веранды в деревенском поместье: покраской, побелкой и многим, связанным с ремонтом. Виктор Петрович за-

явил, что управится без меня. Все правильно: я устала от ремонтов в Чусовом, в Перми — частично: в новый же дом въезжали, а там и под ванной, и в туалетах, и на балконе — всюду спрессовавшийся цемент, всюду недоделки... Затем приводили, мягко говоря, в порядок дом и пристройки в Быковке, затем в Вологде, затем здесь. Да переезды, не один и не два... Устала. И здесь шесть лет живу и шесть лет все чего-то строится, ремонтируется... Когда я отказалась заниматься ремонтом, — мне как раз предстояла работа с редактором, она «вела» и мою книгу, и книгу Виктора Петровича — тогда Виктор Петрович при ней ясно и категорично заявил, что здесь, в деревне, вообще, ничего Марии Семеновны нет!

Ну, нет, так нет. Переживу. А у меня еще обида и оттого, что телеграмму о кончине брата шофёр привез в деревню. Я заплакала и засобиралась ехать на похороны последнего брата. А Виктор Петрович спокойно сказал, мол, ну, езжай, а я вот досмотрю футбол, погуляю, потом лягу, почитаю маленько. Завтра попытаюсь работать... И как же мне было больно и горько в квартире, где я кругом одна, ни билета на самолет, ни утешительного слова, ни помощи... А потом не встретил, мол, у меня же народ, разве не видишь? Вижу, молодой парень-студент из Ленинграда — лепит его бюст, два художника пишут его портреты, а до того на столе лежали газеты. В краевой газете полоса: «Знать Астафьева», беседы и публикации в «Огоньке», в «Литературке», в «Студенческом меридиане» — шутка ли! Как это выдержать? И как не вознестись...

И сама себе, уж не знаю в который, может, в тысячный раз, велю поберечь себя. Ну, выйду я «из игры», — свет не померкнет от этого, мужики в одиночестве не останутся, а я — в землю, холодную, сырую, неприятную. Не за понюх табаку уступлю свое место под солнцем... Да кабы только это? Ведь и дети, пусть и взрослые, осиротеют, и внукам, думаю, будет меня не хватать. Думаю, ладно, что было, то было... Значит, начинать буду с уборки. Есть где разбежаться!

* * *

Все-таки мы рискнули, не я, Виктор Петрович, пуститься в «юбилейную» поездку. В Свердловске нас встретили, приветили — все было хорошо, насколько возможно, через два дня поехали на «Волге» — мы же это расстояние всегда проезжали на поезде и ничего, кроме ближних станционных и придорожных окрестностей не видели. А в машине хорошо, удобно, дорога красивая, ехали, разговаривали — с нами был кор-

респондент, который как бы «прокладывал» или организовывал наш путь. Благополучно доехали до Нижнего Тагила — там, в ту пору жил Витин фронтовой близкий друг — нынче, к сожалению, он уже умер. Пробыли у него коротко, вроде даже не ночевали, вечером они определили нас на поезд до Чусового — на этом промежутке пути на машине не проехать. Приехали в Чусовой утром. Вышли из вагона и слышим объявление: «Виктор Петрович Астафьев! Вас ожидают машины на привокзальной площади! Виктор Петрович Астафьев! Вас ожидают машины на привокзальной площади!...»

Виктор Петрович наклонил голову и сказал: «Вот так бы в сорок пятом!» Вход в город был на том же месте и та же вывеска, как в 45-м, — дощечка-стрела, покрашенная красной краской, и над нею «Выход в город». Народу на перроне много: кто-то приехал, кого-то встречают, кого-то провожали... А в рупор все повторяют, что ждут машины... И мы, проходя мимо малюсенького Ленина, едва видного из-за штакетника пристанционного сквера, который, как и в те давние времена, все еще тянул вперед, неизвестно к кому, свою коротенькую руку, которому Виктор Петрович в те давние годы сказал: «Здорово, Владимир Ильич! — единственная знакомая мне душа в этом городе...» — увидели машины, подошли. Нас действительно ждали и бывший в ту пору председатель горисполкома, как при разговорах выяснилось, что он — сын моей подруги Зины Ковязо, с которой мы до войны бегали на танцы в железнодорожный сад. Он и сказал, представившись нам:

— Вы видели, сколько народу на перроне, приезжающих встречают, все или почти все вас знают, захотят встретиться или хотя бы «посмотреть»... Мы заказали для вас номер в городской гостинице, но желали бы, чтоб вы согласились и разместились на эти дни, пока в родном городе, на «Огоньке» — в школе олимпийского резерва, в эту пору там пусто...

Мы с радостью согласились, тем более, что в нашем распоряжении будет машина и мы побываем там, где нам побывать хочется да и необходимо.

Пока Виктор Петрович, маленько приняв за встречу и утомившись от дороги, да разволновавшись — шутка ли: с сорок пятого года не бывали! — лег и быстро уснул, я, поблагодарив начальство, поехала в Новый город, где жила моя старшая сестра Клава, повидаться с ней и взять с собой, чтоб поехать на кладбище. Свои-то могилы мы найдем, а «свежие», те, где похоронены родственники наши, умершие уже без нас, — их сможет найти только она. Она белила в квартире стены, не

сразу меня узнала — давно не виделись, — обрадовалась и, узнав, по какому мы тут поводу, торопливо стала одеваться.

Уезжала с беспокойством, потому что только что вернулся средний сын с принудительного лечения, вел себя более чем странно... Но Клава поехала. Виктор Петрович уже проснулся, мы решили сначала съездить на кладбище, а потом, на обратном пути, хоть немножко за чаем посидеть, поговорить.

День был прекрасный, весенне-солнечный, снег оставшийся слепил глаза. Был конец апреля. Мы успели выйти из машины, шофер сказал, что будет ждать нас и с нами поедет, куда попросим, а начальство подъедет на «Огонек» вечером, после работы. И только мы договорились, налетел такой снежный заряд, когда все смешалось, не видать ни земли, ни неба, деревья угрожающе раскачивают вершинами разросшегося на кладбище леса. Добрались до родных могил на старом кладбище и перевели дух только тогда, когда припали к оградке... Это было жутко. Это было страшно, это было как суд господен... И я сказала: «Этого нам еще мало, надо чтоб камнями било нас, камнями — чтоб мы так долго не покидали родных, которые здесь уж столько лет покоятся...»

Когда переходили по убродному снегу на другое, новое кладбище — оно рядом, и там покоятся мои братья, муж сестры Клавы, сестра Таисия. Кладбище казалось пустырем с метами в виде крестов и пирамидок. Клава все могилы помнила, показывала, какая в каком ряду, но я, подавленная ураганным смерчем, трудно воспринимала, что где, тем более запомнила — все мысли были там, возле маленького холмика, под которым покоится наша первая доченька Лидочка, рядом — широкая и высокая могила, в которой захоронены папа с мамой, сестра Калерия и брат Вася...

К тому времени, когда нам возвращаться к машине, природа почти утихомирилась — сделала свое дело, наказала страхом и непогодью и «отпустила с Богом» — пока...

Мы постояли у домика, который строил Виктор Петрович, он переделан, поставлен на фундамент и приподнята крыша — попал в хорошие, хозяйские руки. В избу не заходили — там живут уже другие люди. Но на сердце сделалось так тоскливо, такая охватила жалость, так все всколыхнула горькая память о годах трудной, невыносимо тяжелой, но молодой нашей жизни, о молодых годах, что забыть впору...

Из Чусового снова на «Волге» мы сехали в Пермь. Вадим, который как бы шефствовал над нами, сказал, что непременно надо для начала представиться областному начальству. А Виктору Петровичу уже не терпелось лечь, напиться горячего чая, принять лекарства и лечь, но...

И это «но», я думаю, и сыграло роковую историю, из которой Виктор Петрович с величайшим напряжением своего, еще пока присутствующего сибирского здоровья, вызволил себя для жизни...

Вызвали «скорую», ее сменила «реанимация» — и так двое суток, пока Виктора Петровича нельзя было трогать, чтоб переправить в больницу: не исключали летальный исход. Эти бригады не оставляли его даже на самое краткое время: когда «скорой» нужно было уезжать, они вызывали «реанимацию» и, только дождавшись «смены», уезжали по другим адресам, к другим пациентам, которые в их помощи безотлагательной тоже очень нуждаются.

На третьи сутки Виктора Петровича перевезли в больницу и делали возможное и невозможное, чтоб он выдержал блокаду одну за другой и смог бы доехать до Вологды, а там — снова под наблюдение и помощь врачей.

Полегчало маленько, и Витя сказал, что надо ехать к ребятам, в Вологду, купили билеты, запаслись лекарствами, кислородной подушкой и...

А в Перми мы останавливались у Миши Голубкова, и он клялся-божился нас проводить, главное помочь Виктору Петровичу сесть в машину, дойти до вагона, определиться, багаж занести и попрощаться до следующей встречи...

Но вышло все страшно, рискованно и до безумия жутко. К Мише явились друзья, и они решили распить коньяк, закусить, пообщаться и нас догнать. Хорошо, что в эту пору и в предыдущие, когда Виктор Петрович лежал в больнице, Коля Шелепенькин, сокурсник и друг по сию пору нашего Андрея, навещал его там, приносил свежие газеты, отвлекал «спортивными разговорами». А в этот вечер он с женой Людой, Иринкиной подругой, пришли провожать нас и, если бы не они, не хочу, не могу и представить, что могло быть. Коля с Людой на вокзале — а вагон в составе далеко — поспешили унести вещи в вагон, и чтоб Люда приготовила постель, а Коля вернулся бы и помог дойти Виктору Петровичу. Они спешили к вагону, а билеты у меня, и оставить Виктора Петровича одного нельзя никак — стоять не может...

Позже я написала Мише с Риммой более чем сердитое письмо, и в нем, кроме всего прочего, в терпимых тонах сказала, что предполагала: ну, пришли к тебе друзья, хочется тебе с ними пообщаться, выпить, поговорить... Но они местные, пермские, и коньяк бы не прокис. У нас же с Виктором Петровичем ситуация и положение было — не тебе объяснять. Ты же умный и надежный человек. Тебе бы на полчаса раньше на

автобусе отправиться на вокзал, встретить там нас, помочь, поскольку в то время мы в помощи нуждались крайне, если не сказать — предельно крайне. А ты остался допивать... Спасибо Коле с Людой, которые, оставив двух спящих маленьких девочек, приехали, чтоб помочь. Из такси Виктор Петрович выйти не может — снова удушье, снова кашель, снова спазм. Я стою, его подпираю, Люда с Колей потащили вещи, но коль билеты были у меня, их не пускают в вагон — едва уговорили. А Виктор Петрович, сипя горлом, еле слышно говорит: «Все! Подыхаю к черту! Ну и элемент. — Он так Мишу часто называл, потому что Миша — из семьи раскулаченных. — Успели бы выжрать водку после!» Опять кашель, опять удушье...

Я прислонила его к перилам, где три или четыре ступеньки на перрон, а сама к вагону, сую билеты, плачу, наказываю Люде постель готовить, и обратно. Коля меня обогнал. А Виктор Петрович уже осел на сырую ступеньку, а возле него уж хмырь какой-то. Господи!.. Проводница выглянула и тут же: «Его в скорую надо, в больницу, а вы его в вагон!.. Он же концы отдает...»

И только потом вы явились, уже в вагон, да еще с возгласом: «Да вот же они!..»

Мне, Миша, жутко, как вспомню. И как все разом на-смарку: и гостеприимство, и участие... Вот мне и надо было, как говорится, сосчитать до ста, иначе... я надавала бы вам оплеух и выпнула, вытолкнула, графином по голове...

В Вологде Андрей подогнал машину к вагону. Каждый день «скорая», каждый день врач... Приехали туда Лева Дуров и Володя Крупин, собрались друзья Андрея, пытались как-то помочь участием, отвлечь, посидеть, побыть с ним рядом.

В Москве встретили Капустины, и к ним целая медбригада и опять уговоры, что надо в больницу, а не в дорогу...

А уж перелет из Москвы в Красноярск... теперь, уж задним числом — когда Виктор Петрович два месяца отлежал в больнице — не могу простить себе: как рискнула. Но впереди были суббота и воскресенье. У Виктора Петровича высоченная температура...

Ты знаешь, Миша, — это уж на будущее — все-таки придерживайся золотого правила: прежде чем пообещать — подумай, а пообещал — сделай...

Виктор Петрович еще лежал в больнице, когда приехала Ирина — я уже об этом сказала, — но ее приезд и дети все-таки помогли понемногу прийти Виктору Петровичу в себя. А то, как он, когда летели в Красноярск, страдал и в краткие минуты между приступами, успевал взмолиться: «Господи! Как мне тяжело! Какая длинная ночь... какая бес-

конечная дорога...» — этого я, пока буду жить, не забуду никогда... Я умирала вместе с ним...

Нынешний год начался не очень весело, понимаю, и не только для меня. Вести приходят одна печальней другой. Понимаю — и это тоже жизнь, однако тоскливо на сердце.

Виктор Петрович еще не знает, что не стало его подопечного, не стало «элемента», уже вполне сформировавшегося, талантливое писателя, моего земляка — Миши Голубкова, который не успел когда-то нас проводить из Перми. Все со всеми бывает... Ему только сравнялось пятьдесят лет. А другой поэт, тоже из Перми, словно бы предчувствуя свою кончину и умирая в одиночестве, написал, а Миша, уже обреченный, читал его.

Когда возьмет меня всеильная,
И заключит в тесовый дом,
И будет мне плита могильная
Последним титульным листом,
Я весь застыну от отчаянья,
Не потому что заточен,
А потому, что на молчание
Невозвратно обречен...

* * *

Не раз и не два мы вспоминали с Виктором Петровичем поездку в Эвенкию. Его пригласили — у одного из здешних поэтов, Алитета Немтушкина это родина, он о ней пишет, пишет своеобразно, как своеобразна оказалась и его родина.

У Виктора Петровича бывает иногда такое откровенное чутье или глубинное (слово-то какое, но иначе не умею сказать). В тот год, когда я вернулась с похорон младшей сестры и пребывала в горестном состоянии — она оставила трех дочек, и самой бы пожить еще... Умерла в тот год моя сестра Таисия. И Витя мой, уезжавший с группой писателей на Алтай, взял и меня, отвле-чешься, говорит, все равно уже ничего не изменишь, сестру не вернуть... Познакомишься, мол, с ребятами, согласишься...

И я поехала. А я, наверное, с детства, когда мало и редко куда приводилось ездить, любила ездить, и по сию пору не хватает силы и духа отказаться, если появляется такая возможность. В шутку говорю, что хоть на тракторе поеду, хотя на трактор ни разу даже не садилась.

А в этот раз, проводив в последний путь брата Азария, тоже переживала очень. Спросила, можно ли мне? Витя сказал: «Ну, конечно!»

Полетели. Край, конечно, необычный, красивый пейзаж: то горы, то реки, то ледники, то тундра с ягельными мхами, болотами, карликовыми березками.

Вернулись вечером. Уже сварена уха, накрыт «стол». Расселись, выпили, закусили, и начальство отбыло, а мы остались. Виктор Петрович затяжелел и ушел спать. Алитет развел костер, мы слушали тишину, которую время от времени своим истерическим смехом спугивала на том берегу куропатка. Я читала много стихов. Алитет что-то говорил о Маркесе, что он до него не доходит, прочитал несколько стихов и бросил, замолк. Лариса, жена командира отряда, — он нас «катал» на вертолете — рассказывала с любовью и восторгом о своих учениках — она преподает в музыкальной школе, рассказала истории из эвенкийской жизни, тоже прочитала несколько стихов, но программных, школьных, что ли...

Все было здорово, и я буду помнить эту ночь, эту поездку долго. Река шумела то умиротворенно, то приливно, темнота так и не опускалась на тайгу — оглянулись, а за рекой уже заря загорается... Вышел из избушки заспанный Виктор Петрович и сказал: «Не спите, полуночники, все бормочете, а вот че в мире делается, небось и не думаете... А там, может, че Михаил Сергеевич говорит...»

Сходил на берег, вернулся, передернув плечами, постоял у костра, но не присел, а отмахнулся от нашего приглашения и ушел спать дальше.

Весь следующий день рыбачили, кто чем, затем мы с Ларисой кашеварили, она даже шашлык сообразила, да какой!

К ночи навалился комар, а ночью разошелся дождь, и из пяти дней, проведенных в тайге, выдались погожие только два дня. Зато уж наговорились, наслушались, надышались...

В доме культуры была встреча гостей, нас, значит, с представителями населения! — так было все это обозначено.

И когда любезно предоставили слово Виктору Петровичу, а у него слово «не задержится», — для начала поблагодарил присутствующих, что все пришли, оказали внимание, затем поговорил немного о себе, о литературе, и потом «пошли» вопросы, среди них, конечно же: «Какое впечатление произвел на вас город?»

— Ну, сами напросились, так слушайте мое впечатление о городе. Удручающее впечатление. Город не ухожен, кругом беспорядки, но главное: все дома покрашены, все до единого, в какой-то обдристанный цвет. Где вы столько этой говенной краски-то взяли? Неужели ничего другого придумать не могли? Вот и все мое впечатление. А народ как народ, живет, работает, пьет, ест... как везде, только там, на «магистралах» комара такого нет, а здесь эти комары, как волкодавы...

Вот и встретили Новый год. Выходит, Виктор Петрович прожил здесь, после войны и долгих странствий шесть лет, поскольку переехал на свою родину годом раньше меня, летом 1980 года, а я осенью на другой год. Жизнь идет вроде уж и привычно, без особых отклонений, которые мешают жить.

В начале лета, даже в конце марта, приезжала Ирина с детьми и гостили здесь до самого отъезда в Феодосию — там и погреться, и фруктов поедят, и с морем познакомятся, да и сама Ирина, как сможет и сумеет, тоже отдохнет.

У нас в основном прежние дела и заботы. Виктор Петрович в основном в деревне, а я то там, то дома, но в городе больше, да и здоровье мое, как приехала сюда, хоть и помалкиваю, но чувствую, как оно из меня уходит помаленьку. Стараюсь об этом не думать, но оно, это ощущение не радует и не оставляет в покое. Думаю, только бы не расхвораться — кто тут будет со мной возиться? Морока одна... Ну, будет как будет, думаю про себя, но дела пока делаю, надежды еще рождаются, радуюсь малым радостям, если случаются, радуюсь встречам.

В конце августа, пока предположительно, собираемся с Виктором Петровичем в Чехословакию — приглашения лежат, документы оформляются...

Дома опустело. Я съездила в деревню, сказала Вите, что Ирину с детьми провожала, что вот уж и телеграмма, что добрались благополучно, устроились хорошо, все живы-здоровы, ждите вестей — и вернулась домой: много работы на машинке, да и надо подумать, что с собой взять из одежды, если поедем...

Дни идут, дела с разным успехом, но делаются и только всякий день жду хоть самой короткой весточки от Иринки.

Для поездки в Чехословакию пока собрала только лекарства, положила на видное место — главное собрано, остальное — ближе к сроку. Кто знает, поедем не поедем, загадывать на дальнее время рискованно, а тут... как-то Ирина съездит? Мне бы как-то себя подкрепить лекарствами...

Иринка то пишет, то звонит, что отдыхают хорошо. Я ей потихоньку денежек туда подошлю, чтоб хоть на фруктах не экономили.

Где-то в половине августа вдруг обрушилось на меня состояние, когда ничему не рад, предчувствие чего-то неотвратимого, страшного, неизбежного, не стало покидать меня ни днем ни ночью. В это время приехали какие-то двое дипломатов, может, они и замечательные люди, но мне совсем не до них, мне и видеть-то никого неохота... Виктор Леонтьевич Деев временно ведал тогда какой-то спортивной базой или домом отдыха и пригласил поехать туда — отдохнуть. Я было отказы-

ваться начала, что вот... но он и слушать меня не захотел. Я понимаю, он хотел как лучше. Еду, помалкиваю, когда можно не поддерживать разговор, слезы в горле комком... Там ходили, вроде даже грибы собирали, стали накрывать на стол. Когда выставили бутылки — я с ужасом на них посмотрела: они еще и выпивать будут. А так надо бы мне домой... Утешаю себя тем, что накануне позвонила Ирина, уже из Вологды и так спешила рассказать, как они хорошо отдохнули, что она еще никогда так не отдыхала! И ребяташки отдыхали, резвились, как хотели, как все было замечательно! Говорила прямо вздохнув, сама себя перебивая. Сказала, что с Полей завтра пойдет в поликлинику, чтоб взять справки, что здорова, Витя сходит в школу, может с ребятами повстречается, узнает в какую смену, а она сама через два дня выйдет на работу, говорит, никогда не думала, что так можно соскучиться по работе, и все твердила: «Спасибо вам, дорогие мои! Спасибо». Сказала, что приехали вчера, а сегодня наведались в Сиблу — там тоже все в порядке и тоже замечательно... Не могла Иринушка наговориться, будто чувствовала, как тяжело мне жить отчего-то в эти дни, что вот-вот обрушится какая-то беда... Слава Богу, что она выговорила свою радость от отдыха, что сегодня вот еще провернет стирку — много белья накопилось, — а там и на работу...

Поехали мы домой, а дипломаты остались у нас, Витя велел на стол накрывать, а мне бы впору завить во всю головушку. Но гости же... надо же...

И вдруг позвонила Валентина Михайловна Ярошевская — эти дипломаты ее знакомые, и она странным тоном спросила меня, у нас ли они еще и если у нас, то позвала бы к телефону Петра (кажется), недолго с ним поговорила — и гости наши были не были, мигом уехали...

Потом пришла Наталья Ильинична, врач, соседка и говорит:

— Мария Семеновна! Звонила Таня (сноха) и сказала, что очень тяжело заболела ваша Ирина, что вам обязательно нужно туда поехать... Я поеду с вами...

Я перед ней чуть не на коленях, благодарю ее, что у меня все лекарства собраны... как хорошо, что я догадалась их собрать...

Я не помню, не знаю, может, уколы она мне поставила, вроде говорила, что перед дорогой, мол, надо успокоиться... И когда, плача во всю головушку, вошел в комнату Виктор Петрович и сказал, что нет у нас больше Иринушки... я еще пыталась ему сказать, что знаю, что она тяжело заболела и мы с Наташей полетим... Надо доставать билеты... Господи! Я ничего больше не помню... Я ничего больше не запомнила... Когда

утром Виктор Петрович вошел ко мне, чтобы сказать, что он привезет Иринushку и детей сюда... я ухватила за его рукав, вышла в коридор, а там стоят Иванова и Пащенко. И только помню: что с горьким упреком спросила Витю: «Почему они? Почему не я?» — и моя память опять мне отказала...

В тот день, когда уехал Виктор Петрович в Вологду, или на другой день, не знаю, но Валентина Михайловна и наша Галя о чем-то меня спрашивали или пытались рассказать — тоже не помню, помню, когда сказали, что привезут детей, моя больная память очнулась — надо, пока я в понятии, обдумать, где их расположить, слышу, что они приедут рано утром или даже ночью, и у меня очень заболело сердце, физически заболело, я думала, что не выдержит моя грудная клетка, лопнет, порвется внутри трубка, на которой оно держится... А у меня так мало сил, чтоб ему помочь... мне бы только не было так больно. Вспомнилось почему-то, как мы ездили по грибы, в последний раз вместе с Иринкой и с детьми и как застряла машина на лесной дороге и надо было кому-то толкать. Дети в машине намокли, потому разулись и разделись до трусиков, только б не простыли, я — после инфарктов и, значит, тоже сижу, выходит, толкать придется Ирине, потому что водитель за рулем, а у нее ишемическая болезнь ко всему... Я хотела и могла бы выйти из машины, но что от этого проку?.. Ирина толкала машину с таким напряжением, что у нее дрожали губы и распухло от непосильного напряжения лицо, сделалось очень красным и очень крупным... Я зажмурилась на мгновенье, чтоб сообразить, что предпринять? Она же так умереть может... Что же сделать? И в этот момент машина тронулась с места. И я уж показываю Ирине, чтоб отступилась, перевела дух, а она машет рукой, мол, езжайте, езжайте, пока идет, пока снова не сели...

Когда машина была вызволена из податливой земляной ямы, Ирина осела под ближнюю возле колес сосну, Михаил Иннокентьевич — шофер, помог ей раскурить сигарету, она отвалилась спиной на ствол и какое-то время сидела с закрытыми глазами, время от времени делая глубокие от сигареты затажки и через большие промежутки, тяжело переводила дыхание: трудно вдыхала и, кажется, еще трудней выдыхала... Потом пошел мелкий дождь, и мы потихоньку поехали, чтоб выехать с этой неровной дороги, а Ирина пошла рядом с машиной. Михаил Иннокентьевич, наверно, дважды ей сказал, мол, Ирина, садись в машину — и немного отойдешь, и не намокнешь. А она на небо посмотрела, на лес, и, сказав, что, мол, пойду, наверное, уж в последний раз... И пошла...

Михаил Иннокентьевич — наш шофер в то время не раз об этом вспоминал.

А Ирина любила дождь, особенно не холодный, не сильный, а моросящий, грибной. И в огороде, бывало, глянешь в окно — а далеко видно дорогу, по которой она шла домой с работы из редакции. Идет себе, как гуляет, босоножки в одной руке, сумка в другой, а она — босая и как бы вольная, в городе вроде бы предосудительно ходить босиком, а ей в радость.

Я пыталась представить, как там Виктор Петрович? Как он все это вынесет? Окажутся ли в это время надежные люди, помощники? Помоги ему, Господи! Помогите, люди добрые...

Я, конечно же, не могла представить себе и доли того, что там происходило, и до сих пор знаю как бы понаслышке — кто о чем расскажет, кто, бывший в то тяжелое время там, напишет...

Я сквозь сон, как сквозь воду, слышала, как Валентина Михайловна говорила мне, что, мол, приехали, Ирину привезли, что дети здесь... А я слышу и не слышу, не могу поднять головы. Очнулась, когда стали помогать мне одеться, ехать в Овсянку — Ирина там, там и священник, ее уже отпели... надо ехать. Перед тем как выйти из дома, заглянула в комнату, где дети спали, — они, по-моему, спали, а может, и их уже разбудили?

В Овсянке я увидела большой стол, как оказалось — гроб с телом Иринушки, обтянутый шелком, к нему пришиты беленькие цветочки, в изголовье — ее портрет в рамке, а Ирины нет... И я ждала... потом мне сказали, что Иринушку больше не увижу: она в оцинкованном гробу — вскрывать нельзя...

Похороны совсем не помню, помню только, что меня крепко держали за руки, а я просила, чтоб мне можно было встать на колени перед могилой и поклониться дочери в последний раз...

После похорон Иринушки я с неделю была в странном состоянии, в тяжелом полусне, открою глаза: то врачи, то знакомые, то уколы, то лекарства, то утешения... Потом поднялась высокая температура и физическая боль не легче душевной — где-то подстерегло меня двухстороннее воспаление легких. Пытались лечить дома, но и сердце висело на волоске... От больницы отказалась наотрез — здесь, дома, хоть Витя и внуки вроде на глазах... От уколов уже нет живого места — куда их только не ставят... Устала от уколов, и врачи решили дать мне передышку, но тут обострились почки... Я давно уже чувствовала, когда приехала сюда, как стало уходить из меня здоровье.

А ночи длинные, о чем не передумашь? Виктор Петрович о своем самочувствии ничего не говорит, да если и скажет — разве

я могу ему чем-то помочь?.. Дни проходят безрадостно и безнадежно.

Витя младший определился в моей бывшей спальне. Он спит на диванчике из моего кабинета, а Поля на раскладушке. Поставили письменный стол, днями установят три-четыре книжные полки и будет у него как бы книжный шкаф.

Поля играет в куклы, их у нее уже четыре. Придет из садика, вытащит из-под раскладушки чемодан и стелет для них постель, укладывает спать. Вчера вон всех кукол выкупала в нарядах...

Витя учится, полчетверти пропустил, значит, по четырем предметам не аттестован. Да это Бог с ним, жаль только сам-то он переживает как глубокую несправедливость, вообще-то, он учился хорошо.

Я потихоньку-помаленьку приспосабливаюсь к делу: проверну белье в «Малютке», наберу полную ванну воды, скидаю туда белье и жду, когда кто зайдет, как бывало в Вологде, кто-нибудь да зайдет, прополощет, развесит...

В это тяжелое время я почти не была одна: приезжала старшая невестка из Перми, Оля, на пять дней, знакомая актриса — они жили тогда в Минусинске, а знакомые еще с Вологды. Приезжала Таня, жена Андрея, и тоже крутилась, как белка в колесе, даже за машинкой посидела. Я лежа ей диктовала написанное Виктором Петровичем — почерк его часто нечитаем. Одновременно Таня присматривалась к ребятам, собралась было Полинку с собой увезти, но свидетельство о рождении ее в Вологде. Когда Ирина умерла, в Вологде знакомые, да и незнакомые, спрашивали, мол, как же теперь ребятишки-то? И Таня мужественно, без раздумий, тогда ответила, что Иринины дети — наши дети.

Слушаю, как ровно посапывают во сне дети, — спят рядом в комнате. Сердце холодеет, когда услышу, как сильно кашляет Виктор Петрович, как напрягаются и страдают его слабые легкие. Смотрю на портрет Ирины — висит на стене напротив, и такой у нее взгляд на этой фотографии, будто постоянно следит за мной — печальный, снисходительный, все понимающий взгляд. Иногда удается сдержаться, не расплакаться, иногда плачу навзрыд, до головной боли...

Днем звонила Оля из Перми, сказала, что, узнав о беде, весь день бегала вдоль составов, идущих в Сибирь, просилась в вагоны, но, увы, ни до кого не допросилась. Теперь зарабатывает отгулы, чтобы ехать сюда, хоть на сороковины попасть.

Полинка и дома ведет себя весело, ласково, правда, трижды криком плакала, спрашивала, почему ей не сказали, что мама умерла? Она хочет к ней. И плакала перед портретом,

мол, приезжай, приходи, я тебя очень люблю!.. Вчера села перед портретом и спрашивает: почему моя мама умерла? Говорю, что болела очень. А она: «Почему ее не вылечили?» А когда ехали в машине, села ко мне на колени и сказала: «Ну, ладно. У меня будет другая мамочка и тоже будет меня любить. Тетя Танечка будет моей мамой...» А Витя замкнулся, может, от болезни, может, от горя, может, от того и другого. Читает, смотрит телепередачи и молчит; иногда спросит — надо ли чего помочь? — и все.

Дали возможность, чтоб Андрей с Таней отдохнули: тяжелую и пожизненную обязанность — воспитывать осиротевших детей Ирины они на себя берут. Отдохнули хорошо, сплавали на комфортабельном теплоходе от Красноярска до Дудинки и обратно, потом стали собирать детей, чтоб везти их в Вологду, к Андрею с Таней — на житье...

Много хлопот было с обменом и получением за две квартиры одну, но с учетом уже и детей — это была слишком большая и напряженная нагрузка для Андрея, поскольку всем этим заниматься предстояло ему. А он же еще работает, он же реставратор, а руки дрожат, сон плохой, в глазах красные да зеленые искры мелькают, он не мог в руке держать скальпель. Затем переезд, обустройство в квартире и сразу трое детей, разных: Женя воспитан хорошо, в строгости и родительской ласке. Ирина, одна на двоих, была и добра, и строга, и слабинку им давала, жалеючи, и поддаст, бывало, сорвется, то на работе, то дома, а на ребятишках отдается, и она, зная и чувствуя это, и баловала их в меру возможного, и мало требовала, воспитывала как умела и могла и только любила беспредельно. Дети собирались в одной семье разные. Если б не было у Андрея с Таней своего сыночка, возможно, они бы с ребят и начинали воспитание детей, а когда один воспитан так, другие по-другому, в чем-то и не очень воспитаны, сразу начались осложнения разного рода, в разных случаях. У Вити дела в школе не заладились...

Как винить в этом Андрея и Татьяну, что они оказались не готовы к такому подвигу, на который решились. Затрачено было много сил и напряжения — тоже, но, к сожалению, ничего из этого не получилось... И последняя наша поездка в Вологду была хоть и коротка, да и лучше, чем коротка, но столь удручающе, столь ошеломляюще горькая — теперь, даже задним числом, передать трудно. Разговор был в назидание и нам, и осиротевшим детям — тяжело вспомнить, и когда Андрей позвонил по телефону, что идет в отпуск, но у него все распределено, потому заедет к нам ненадолго, я написала им большое

письмо, но главное, чтоб не возвращаться к тому разговору, — больше мне такого не пережить.

Андрей очень удивился, как Витя вырос и сказал, мол, Вите у вас лучше. Пробыл сын у нас три дня и все три дня я невидимой стеной присутствовала между Андреем и отцом, между ним и Витей, да и Полинку постоянно старалась держать в поле зрения. Виктор Петрович общался с Андреем мало, только за обедом и у телевизора. Витя младший к нему на «вы» и все ждал, надеялся, что дядя пригласит его хотя бы в гости... на каникулы — дети же легче и быстрее прощают взрослым.

Я по-прежнему на лекарствах и дорожу каждым днем, мне отпущенным Богом после инфарктов и этого убийственного горя... И только, чем дальше, тем все больше убеждаюсь в том, как опасно утверждать, что нет, я бы так не поступил, я бы так не сделала... Когда я тонула на Камском море и было очень мало надежды на наше спасение, однако, тетка Виктора Петровича, приехавшая в гости и тоже вместе со мною угодившая в эту беду, все спрашивала: «Спасут ли нас?» — «Спасут, — отвечала я, когда могла, когда не захлестывало водой, и убедительно добавляла: — Вон Зиганшина в океане спасли!» Господи! Да мне тот Зиганшин и на ум бы не приходил, когда мы в таком положении, тетка вообще о нем не слыхивала, а вот...

Мы сами, молодые и уж куда как бедные да неустроенные, после войны жили уж за таким краем бедности — ни в сказке сказать, но когда умерла моя сестра и оставила маленького ребенка — Толю, когда моя мама уже не могла с ним управляться — годков с трех он рос у нас, рос на равных с нашими детьми — Ириной и Андреем... Наверное, тогда другого выхода не было, а может, времена были другие, а может, что Виктор Петрович сам рос сиротой и решил себе: пусть лучше в бедноте, да в семье растет парнишка, чем в детском доме...

Я как бы отошла от постигшего нас горя, но частично рассказывала об осиротевших наших внуках, без которых нам теперь жизнь свою трудно представить.

А дочь так жалко, так жалко!.. Мы никак не можем примириться со смертью дочери своей Ирины. Это уже вторую дочь мы похоронили, но та была маленьким шестимесячным ангелочком, уморенным нами голодом, и в нас живет вечная вина перед нею. А Ирина... Нас утешали и утешают, но нам не нужны эти утешения, нам нужна наша дочь, детям, нашим осиротевшим внукам, нужна мама... Пусть бы нам было еще хуже, но чтоб была жива она, но ее нигде среди живых нет...

И Виктор Петрович, когда мы съездили на кладбище, приехали домой, сели обедать и помянуть, горько заплакал:

никогда, говорит не думал о своем возрасте, а теперь сожалею горько, что так много нам лет и так малы наши внуки...

* * *

Но я должна сказать, когда пишу о смерти дочери Ирины, об осиротевших наших внуках, должна сказать и поблагодарить всем своим сердцем милых и добрых людей, которые нас не оставили тогда, в такое для нас горькое и трудное время, которые не оставляют и сейчас, когда случается крайняя минута.

Я благодарю Эмму Константиновну Родичеву и Галину Николаевну Романову, Галину Николаевну Краснобровкину — сестрицу Виктора Петровича, Зинаиду Иосифовну Зорькину-Дееву, Ольгу Семеновну Денисову, Надежду Борисовну Козлову, Нину Ефимовну Пашкову и Наталью Ильиничну Ермакову, вернувшую меня к жизни после клинической смерти, я уж не говорю о постоянной неизменной ее помощи, как и Ольги Семеновны и о многих замечательных, душевных людях, которые не оставляли и не оставляют нас в трудное время.

Особенно готова бесконечно благодарить Валентину Михайловну Ярошевскую, которая столько для нас делала и делает.

А познакомились мы с нею престранным образом: приехала она к нам — ей надо для музея фотографии, книги и многое-многое — для выставки, посвященной предстоящему юбилею Виктора Петровича. А мы так долго, с такой нерешительностью, опаской и нездоровьем Виктора Петровича все-таки собираемся в путь — уехать от юбилейного шума, побыть с детьми и внуками, повидавшись перед этим, по ходу пути (я об этом уже писала), с друзьями в Свердловске и Нижнем Тагиле. В Чусовом посетили родные могилы, и прибыли в Пермь, где прожили много лет после Чусового, и там Виктора Петровича уже караулила тяжелейшая болезнь. Мне надо быть связанной и с врачами, чтоб в дорогу взять необходимые лекарства, собраться самим, и все предусмотреть насколько возможно — мечусь в тревоге и спешке, и тут вот, именно в этот момент появилась Валентина Михайловна, которой тоже нужна моя помощь... Я спрашиваю: «Где же вы раньше-то были?» — «Стеснялась». — «Вы?! Нас?!» — «Да, просила-уговаривала Владимира Алексеевича Зеленова пособствовать нашему знакомству и деловому контакту...»

Тут уж я рассвирепела, а она взмолилась: мол, за что вы меня так не любите?..

Что было, то было, не сразу наши отношения сложились, но в самое трудное, самое сложное, безвыходное для нас время

она первая пришла к нам, помогла чем могла и, сверх того, помогает по сию пору, и мне бы сказать о ней нежные, благодарные слова, но таких слов, таких... что могли все выразить и определить, у меня нет, а на каждое мое к ней «Большое спасибо», — только отмахнется и скажет, ну чего вы на самом деле? Я делаю для вас то, чего не успела сделать для мамы... И этим убедила навсегда, и нам, чем дальше, тем невозможней без нее, особенно после постигшего нас убийственного горя и когда внуки остались с нами. И чего уж ей стоило выдержать наше состояние, когда мы пытались пристроить свое горе и то определяли детей к родному дяде, то забирали обратно... Она и для них, особенно для внука Вити, который после переезда к нам месяца два молчал, замкнулся в себе, — только она смогла его «разговорить», освободить от этой оглушающей несправедливости и судьбы, выпавшей на его долю, во многом повторяющую судьбу деда, Виктора Петровича. О ее отношении, нет, участии в жизни, учебе и многом-многом другом, что касается детей, я уж не говорю о себе, можно было бы рассказывать долго и много, но все, что она делает и от чего нам легче жить, — делает это столь ненавязчиво, незаметно и столь естественно, что никому не придет в голову не то, чтоб как-то упрекнуть ее, мол, «вписывается» то и дело в жизнь людей, нас, значит, но, думаю, даже мысль такая не посетит, если человек тот нормальный и если он — человек вообще.

Я не сказала ничего о нашей давней знакомой, ближе чем родной, которую все наши знакомые и друзья, познакомившись с нею, сразу полюбили, прониклись глубоким уважением, восхитились и продолжают восхищаться ее женским чутьем, самоотверженностью, приспособленностью к жизни даже в самом трудном и тяжелом ее появлении, о том, какая она мастерица на всякое дело, за какое бы ни бралась. Для нее не существует ни понятия, ни слова — «я не умею или я не могу!» Я говорю о заслуженной артистке РСФСР, Тамаре Александровне Четниковой.

Я, к сожалению, вернее мы с Виктором Петровичем, не в состоянии здесь сказать обо всех, кто нам был и есть верен, предан и надежен. Но всех сердечно благодарим во веки веков!

* * *

Когда вспоминаю о своем творческом вечере как писательницы, о том волнении, которое до последнего момента — до начала его — переживала и пережила, — вспоминаю теперь, по прошествии времени, со светлой печалью и радостью. Радость

стью оттого, что так много присутствовало в зале читателей моих и, конечно же, Виктора Петровича. Я не сразу дала согласие, поскольку думала, что не все, так большинство придут посмотреть на жену Астафьева, будут спрашивать: тяжело ли быть женой писателя, да такого! Сколько раз замужем и пр.

Напрасно думала, ничего такого не было. В одной записке был вопрос: «Описал ли вас Виктор Петрович в своих произведениях?» Ответила, что пока нет, разве что когда ему писать станет вовсе не о чем, тогда... Спросили, какой общественной деятельностью я занимаюсь? Вернее, занимаюсь ли? Я ответила: «А чем же тогда я занимаюсь? Выростила троих детей: сына, дочь и племянника. Работаю профессионально как писательница, у меня вышло одиннадцать книг, кроме журнальных и газетных публикаций. Разве эта работа не для общества, не общественная?» Мне даже много аплодировали, было много цветов. А Виктор Петрович был дома и, как оказалось, очень волновался. На другой день и позже спрашивали — интересовались разные соборы, мол, как прошел вечер? Говорю, со стороны видней. Зато Валентин Яковлевич Курбатов, представлявший меня, сказал, что вечер прошел отлично (может, и не совсем). Как по сценарию. Ни одной сбивки, ни одного перерыва, ни одного зряшного слова. Что на многочисленные вопросы Мария Семеновна отвечала с ходу, без раздумий, без запинки, живо, интересно, остроумно и очень доверительно. Будто каждый день этим занимается!..

Даже если приукрасил, мне все равно очень приятно это и дорого. Думаю, будь бы время, надо бы еще написать о своих военных девочках, не так, как в «Тихих зорях», а было как было, да видно уж не успеть. Ну и ладно. Тогда хотела бы сказать, к слову, что не могу вспомнить книгу, где говорилось бы только о человеческих радостях. Всюду, на любом континенте, в любой стране, люди живут — страдают, болеют, борются, умирают, будто только для этого родились на свет...

* * *

И дети, и мы часто и с удовольствием вспоминали, как путешествовали на комфортабельном теплоходе «А. Чехов». Плавали от Красноярска до Диксона и обратно. Каких красот мы только ни насмотрелись! Какое сильное, радостное и жутковатое состояние пережили, когда проходили пороги, особенно Осиновские! Весь народ высыпал на палубу. Казалось, еще чуть-чуть и от нашего комфортабельного теплохода только щепки полетят! Сердце не то, что ушло в пятки, а от яростной

и жуткой радости прыгало то вверх, то вниз, и уж подумалось: «Ну, если что... погибать, так с музыкой!» Но, слава Богу, все обошлось, и мы незаметно входили в северные белые ночи.

Когда проплыли мимо станков Полой, Курейка, Карасино — это все места обитания парнишки Вити Астафьева с отцом, Петром Павловичем... Я смотрела и глубоко недоумевала, изумлялась: чего же «тянуло» сюда его, Петра Павловича, не любившего ни работать, ни кормить семью, не умеющего да и не желающего, в такую глухую отдаленность, где ни света, ни магазина, ни теплого жилья, только молодая жена и дети... Да он и не был особенно этими заботами связан, он то на участок — с отчетом или за деньгами да за талонами, загуляет там, что пропьет, что растеряет, а у этих — матери и детей — ни хлеба, ни дров... Представить все это трудно и страшно, и я переживала, глядя на все это и мысленно представляла — молча, — не хотела говорить о покойном плохо, смотрела на Виктора Петровича, на заброшенные давно поселки и станки, и мрачно мне делалось на душе от всего этого.

Походили по Игарке, поездили по старому и новому городу. В старом городе бывали у здания, где располагался когда-то детдом, откуда Виктор Петрович уходил «в жизнь». Здание сохранилось, даже крыльцо деревянное, потому что этот вход перекрыли, переконструировали в здании, что смогли и разместили там «рыбную» контору. Был конец рабочего дня, вышла женщина, посмотрела и говорит, мол, заходите, Виктор Петрович, посмотрите (утром-то встречали и фотографировали местные журналисты). Походили, посмотрели, вокруг обошли, и Виктор Петрович все повторял, мол, хорошо жили, хорошо жили, а у меня слезы кипят, не успеваю смаргивать, — чего уж там — хорошо жили... Хотя в теперешних детских домах жизнь у ребят такая, что уж и не понять: не то детдом, не то колония...

Почти в одно время с нами, когда мы вернулись, в город поездом приехала группа писателей с Украины, и Виктор Петрович только успел умыться дома, переодеться, и после мотания с ними туда-сюда и на машине, и на катере, и на «Ракете» нам тоже надо было их принимать. А дома ни воды никакой, белья грязного гряда, пыль на всем, а тут и угощать надо. Ну надо, так надо. Хорошо, что мы привезли много рыбы да была уже свежая картошка.

Было очень много поздравлений, письменных и по телефону по случаю присвоения Виктору Петровичу звания Героя Социалистического Труда. Хорошо написал Валя Распутин, мол, я тоже все переживал, пока не вспомнил поговорку: «Дают — бери» и далее уже придерживайся ее.

С украинскими гостями посидела раза два или три, со смехом мы с Виктором Петровичем вспоминали украинскую мову — мы же поженились на Украине!

Когда гости разошлись, а дети и Виктор Петрович легли спать, я села к своему письменному столу, а над ним фотографии мамы и папы, и мы с Витей рядышком, молодые еще — первая общая с ним фотография! Лампу повернула к стене, сижу, разговариваю с ними, рассказываю, что Витя такого высокого и всеобщего уважения, известности добился — он теперь Герой Социалистического Труда! Вот какая у него головушка! Говорила, что теперь-то мы хорошо живем и вы бы у нас жили или гостили, и я бы за вами ухаживала, и радовалась бы, что вы у меня есть, такие хороши и сердечно дорогие... Тетю Тасю вспомнила, как она тогда горько подумала, насчет моего мужа, нашла, мол, себе кривенького, израненного, как и жить будут?.. Вот теперь бы посмотрела и порадовалась бы, хотя тетя-то Тася все-таки успела у нас побывать не раз и поглядела, как живем... И Вите говорила, глядя ему в глаза, как он трудно, долго, честно, смело, даже дерзко шел к этому высокому признанию...

А Виктор Петрович, бедный, не знает, куда скрыться от соборов да почитателей. Ему поработать охота, а его везде «достают», везде мешают.

А днями позвонил Андрей, он был в командировке и только дома узнал о том, что отцу присвоили такое высокое звание — заработал честно, и я, мол, очень за него рад, а то мотался по глухим деревням и ничего слухом не слыхивал...

Когда Виктор Петрович приехал — ездил в какие-то отдаленные места, насчет мрамора для памятника, — только разулся, сел, и Поинка сразу к нему на колени, а он ей: «Принеси, голубчик, деду попить, а я потом тебя полюблю, пока же с бабушкой мне очень надо поговорить».

Я, говорит, перед отъездом торопился — машина ждала — и не рассказал тебе, какой тревожный и тяжелый был тот день, в канун отъезда, что приезжал к нему товарищ из органов — он подходил еще на сессии и сообщил, что разыскал документы по раскулачиванию и аресту отца и деда, что надо ведь их реабилитировать... Ну вот он и приехал и они только разговорились... посмотрел, говорит, я на фотографии, расплакался — ни отца, ни деда в том возрасте, естественно, не видел, теперь, говорит, понимаю, за что его мама так любила и, если бы не аресты, да не тюрьмы, он, наверное, был бы не самым плохим человеком, и мама из жизни не ушла бы так рано и мучительно...

А тут опять принесли телеграммы. А тут телефон звонит: говорят, что вылетать надо рано утром, а ему и выкупаться

надо, и собраться... А тут еще и «Ломоносова» показывают. И Поинка спать не ложится, ждет, когда дед полюбит. А накануне телепередача о нем была, но он захватил лишь последнюю минуту. Говорю, передача получилась ничего, все прилично, правда, ведущий, перечисляя телеграммы академика Исаева, которого мы хорошо знаем, назвал Егором Исаевым, поскольку тот постоянно то тут, то там мелькает.

* * *

Отвели внуку Вите день рождения. Сказать, что было весело по-детски, к сожалению, не было веселья большого, ни детского, ни взрослого. Поинка весь вечер крутилась-вертелась около брата, он ее угощал, иногда отстранял от себя, не сердито, но серьезно. Я уж говорила, что когда он приехал к нам, первое время молчал, не улыбался, не играл, не читал, был как затравленный зверек, спасибо нашей близкой знакомой, такой молодой — она ровесница нашей Иринушке, — такой мудрой и самоотверженной. Она и взялась за Витю, записала его вместе со своим сыном в бассейн, стали ребята поочередно ночевать то у нас, то у них. В воскресенье она ходила с ними в кино, устраивали праздники — микропраздники: то выпадение белого снега, то оттепель, то день рождения кота, то еще чего-нибудь, и вот Витя начал помаленьку оживать, улыбаться, рассказывать, о чем-то спрашивать и в себе переживал свой сложный возраст, и горе неизбежное — на всю жизнь.

Когда вечером, прибрав посуду, остались с ним одни, спросила, где же он был до позднего вечера, голодный, легко одетый, в резиновых сапогах (зимой-то). Пока, говорит, тепло было, подолгу сидел на железнодорожной насыпи и смотрел, как идут поезда... А потом когда где. Утром уходил рано — мне же все равно не завтракать — помогал Полине одеться, и мы уходили: она в садик, я в школу, иногда стоял в подъезде у Сашки — друга, ждал, когда выйдет, и мы вместе идем в школу...

Поговорили немного уж о другом, сказала ему, почувствовав, что ему неохота про все это вспоминать, чтоб порассматривал еще подарки, может, модель планера начнет собирать, если не хочет спать.

Сама ушла — от греха подальше, чтоб не разреветься, не добавить внуку еще горя...

Лежу, вспоминаю, как их провожали в Вологду, а уезжали они рано утром, накануне отвели годовщину смерти Ирины, на другой день уезжали и они. Виктор Петрович про-

вожать в аэропорт не поехал. Сразу после их отъезда наступила в доме убийственная тишина.

Дорогой, пока ехали в аэропорт, Женя и Полинка дуррачились, бегали с места на место, Витя сидел на переднем сиденье у двери и молча смотрел в окно, может, напоминал, что видел, прощался, может, думал со страхом и беспокойством, что их ждет в Вологде? Завидев вдаль здание аэропорта, притихли и ребята. Я держалась на пределе. Когда началась посадка в накопитель, Поля подбежала ко мне и спрашивает со слезами: «Бабушка! А ты-то почему с нами не едешь?» — «Дедушку закрыла на ключик — он же спал, а когда проснется, то никуда и выйти не сможет...» А она: «Уж десять раз можно было съездить да отпереть его — вон как долго ждали...»

Обратной дороги я из-за слез уж и не видела... Жизнь, ясное дело, многообразна. Но быт, собственное нездоровье и, главное, нездоровье Виктора Петровича, да безмерная вина перед незабвенной дочерью, что ее нет, а мы живем. И вообще, она, жизнь, навязала столько «узелков» за долгие годы, что я уж вроде и надорвалась, как чеховский Иванов... Однако нестерпимо горячо желала бы продлить хотя уж и не очень желанную, свою жизнь и живу как бы с оглядкой, но и с робкими надеждами.

Помнится, как в канун отъезда ребят, всю ночь ко мне лезли с микрофонами разные корреспонденты с вопросами про конференцию, про перестройку, про впечатления. Я отбиваюсь, что не была там и что все нынче так заболтано... Маялась, а проснуться не могла. Проснулась, когда полезла через меня на мою кровать Полинка, тепленькая, ласковая, в коротенькой ночнушке. Говорю, что у меня холодно — сплю под простыней, что взяла бы тогда одеяло. А она: «Я его ташу...»

А вечером (это все в канун отъезда) пришли к Виктору Петровичу его знакомые. Я поставила чай, а все разместились в большой комнате: Андрей с Таней, Виктор Петрович, гости, я села на диван к балкону, как бы в стороне. Поставили пластинку с цыганскими песнями и уговорили Полинку танцевать. И она, несмотря на то, что оставлена была без обеда, — Андрей спросил, будет ли она обедать, а она, собравшись гулять, сказала, что есть не хочет. И он меня тут же строго предупредил, что до ужина ее кормить не надо, а она молча повязалась косыночкой и ушла, не плача, не прося потихоньку хоть печенюшечку... И вот нарядилась в старую тюлевую штору, повязалась длинным (запасным для сумки) ремешком с карабинчиками на концах, будто монаста, и начала танцевать, да как! Все движения «в ногу» с мелодией...

Я смотрю на нее из угла и рыдаю, не могу остановиться, так горько плачу оттого, что она, не помня обиды, что оставлена без обеда и вот уж год растет без родной мамы, без материнской ласки... танцует, доставляет нам удовольствие. А я думаю: «Господи! Чего их ждет, всех детей, особенно наших осиротевших внуков...» Полинка, увидев, что я плачу, подбежала, спрашивает: «Баба, ты почему плачешь?» Говорю, что песни печальные. Утерла ладошкой мне слезы и снова пошла танцевать, то и дело поглядывая на меня.

И мысленно твержу про себя: «Господи! Дай мне ясность ума, чтобы принимать вещи, которые я не могу изменить. Дай мне смелости изменить то, чего я могу изменить. Дай мне мудрость, чтобы различать эти вещи!» — это надпись на медали ИМКА — США.

Помню, как жалели «Бима», прочитав повесть Троепольского. А я была в детском доме или в Доме ребенка, на ул. Вавилова, по-моему, — при мне сдали трех детей! Трех! За три часа!.. Кто их пожалеет... Ребятишек в этом доме ребенка даже гулять не выводят — не в чем, нет ни одной одинаковой пары обуви, хотя бы по величине подходящей. Пока для одних ищут, набирают с грехом пополам, а эти вспотели или обмочились, или уснули... То, что приносят добрые люди из вещей и игрушек, — я в Вологде не раз носила что было, такое необходимос из одежды, игрушек, обуви. Там — не знаю, а здешние няни, в то время, когда я там была, продавали и пропивали...

Живем как-то суетно, надрывно, видно, ослабла крепость нашего духа и погасли надежды. И время катастрофически сжимается. И грустно (нет, это чувство сильнее, чем грусть), что яростного в нашем мире становится все больше, а прекрасного — все меньше; все истинное возрождается мучительно, и сердце черствеет. И я ловлю себя иногда на мысли, что вроде коплю обиды и обобщаю огорчения и после с великим трудом как бы вразумляю себя...

Как-то по телевизору показывали — веление времени — 1000-летие крещения Руси. И было показано интервью с молодой монашкой. У нее высшее образование и такой свет в глазах, в душе такое высшее начало, и я — очень себе удивилась — позавидовала ей так остро, так искренне!.. Может, оттого, что знаю, из чего и как в мирской жизни состоит жизнь современной женщины, и она раньше срока уходит из жизни, часто не испытав даже малой доли женских радостей, наслаждений, праздников, не познав материнства, не поносив красивых одежд. Женщины не стало, она изнашивалась, потому что сплошь да рядом делала работу за мужиков, за тех, кто должен был

работать в полную меру, но умудрялся делать дело какое полегче или вовсе умеючи от него отойти, переложить на других... Я все к тому, что наша дочь Ирина умерла именно от перегрузок, редко когда компенсировавшихся уж если не счастьем, то хотя бы радостями... Она даже своей Полинке нарадоваться не успела. Вот опять лето и красота удивительная вокруг, а она уж столько лет ничего этого не видит и никогда не увидит, не услышит ни шороха листвы, ни птичьего пенья, ни грибов не поищет, ягод не пособирает... Разве такое в жизни человеческой справедливо, кто бы нам сказал? Почему наши внуки должны расти сиротами и не надо трудиться долго, чтобы представить, что у них будет за жизнь, да еще в такое-то, сбившееся с толку, обезумевшее время.

Как-то при случае, когда Виктор Петрович сказал, что кому-то написал большое, подробное письмо, в ответ на такое же. И я сказала, что мне давно уж Витенька не пишет писем, иногда позвонит, скажет несколько слов — и все. А я так люблю его письма, потому что они приходят, люблю слушать, когда его нет рядом, когда я одна — читаю их не по разу.

И вот приехала я тогда с «очередных» похорон. Приняла душ, попила чаю, рядом стол с кроватью, положила письма и стала их «сортировать» — что Вите, что мне. И от Вити обнаружила четыре письма: из Варшавы, из Берлина, из Мюнхена. И для меня это было даже не событием, а чудом! Будто Витя мой оттуда, из далекого далека взял и отвлек меня от мрачных раздумий, взял и пожалел!..

* * *

В половине десятого утра из Москвы позвонил Виктор Петрович, сказал, что вот явился из дальних странствий, что все ничего, что за время поездки успел побывать в пяти странах, даже в Канаде. Еще сказал, что когда улетел в Колумбию, то не очень осмотрительно себя вел, забыл подкупить фталазола (его в этом смысле постоянно бросает из крайности в крайность) и еще — напился от души пива. В самолете постоянно предлагали то, се, и вот пиво, перед которым он не устоял, — очень, говорит, хорошее, а в Лиме — летели с одной посадкой — не смог втиснуть отекающие ноги в туфли, время было ночное, в отеле извинился перед дежурной, что явился в тапочках — так отекали ноги. Что в Москве ему надобно побывать в большом писательском Союзе и там решится вопрос: срочное ли то дело, по которому ему надлежит посетить Кремль. Сказали, что впереди суббота и воскресенье и все от этого будет зависеть.

Пообещал вечером позвонить, чтоб сообщить, когда его встречать. Но, мол, не раньше 6-7-го мая — все зависит от обстоятельств, от приема, когда состоится встреча. Чтоб эти дни был около телефона. Он решил на эти дни съездить в Вологду, только, сказал, в Сиблу с Андреем съездить не смогут, коль надо быть у телефона.

Шестого утром позвонил уже из Москвы, сказал, что Толя встретил (Заболоцкий), мол, попью чаю и лягу спать. За ним приедут и повезут в Кремль, а потом сразу же постарается вылететь домой.

В 8 часов утра за Виктором Петровичем приехал референт Горбачева Фролов (или Ю. Воронов) и сказал, мол, надо ехать, пока то да се, Михаил Сергеевич освободится и примет. Пока он еще занят, но ему доложили, что вы здесь, ждете приема. Стали пить чай-кофе. Виктор Петрович выпил чаю и пока пил, то от волнения или по привычке, оживленно размахивая руками, задел чайную ложку в стакане, она подпрыгнула и чай на галстук. Виктор Петрович огорчился, а Юрий Петрович утешил: чай — не кофе, галстук «нейтральный», сейчас мы его чуть подотрем, подсушим, и все будет нормально.

Вскоре сообщили, что Михаил Сергеевич ждет.

— Иду, — рассказывает Виктор Петрович, — разными коридорами, посматриваю, как насчет охраны — много ли? Нет, не много: в начале коридора и в конце. Открывают передо мной дверь и молча приглашают следовать дальше. И только у дверей кабинета Горбачева попросили предъявить документ — я показал паспорт, «отказыряли» и открыли дверь.

Кабинет строгий и площадью не с колонный зал, нормальный кабинет. Два стола: один довольно большой, в конце кабинета — для Михаила Сергеевича. Перпендикулярно к нему, чуть отступя, длинный стол. Здесь, видимо, проводятся заседания бюро.

Михаил Сергеевич с улыбкой поздоровался, спросил, где лучше сядем, чтоб не так официально?

Сели. Тут же подали Михаилу Сергеевичу и мне кофе, я не заметил, что Горбачев пьет кофе со сливками, а свой сливочник не увидел и выпил крепкий и очень ароматный кофе. Выпил и почувствовал, что у меня вроде волосы на голове задымались.

Михаил Сергеевич заговорил было — для начала — на «отвлеченные» темы, но я был готов к встрече и сразу сказал:

— Я пришел не для того, чтобы чего-то просить для себя. У меня необходимое все есть: есть свое место в литературе, есть квартира, семья, жена, достойная уважения. Я пришел говорить с Вами о Сибири.

Михаил Сергеевич с улыбкой заговорил, мол, знаю, красивый край, природа, гидростанция — наблюдал с самолета.

— А вы лучше приезжайте, — сказал я, — и лично все увидите, и лучше не с начальниками в машину садитесь, а со мной — я вам покажу все, и хорошее, и, увы, безобразия, которые есть, творятся и чем дальше, тем больше. Я знаю, что родная моя Сибирь — край прекрасный, но не делайте из него колонию. Непременно приезжайте! Я не буду злоупотреблять вашим и без того загруженным временем, вот позвольте подарить вам мою книгу и тем засвидетельствовать мое к вам уважение. — Обнял, сказал: — Храни вас Бог, — и с тем удалился из кабинета.

Вечером звонка от Виктора Петровича не было, значит, позвонит завтра.

А завтра с самого утра было много звонков других, столько их было, что я от телефона к телефону бегала — у какого ближе окажусь. Панические звонки были от здешних, академгородковских физиков — институт физики расположен вблизи березовой рощи, а за институтом леса — это тоже близко, — сделаны посадки, теперь уже семнадцатилетние, бархатнопобкового дерева, кедрачи уже окрепли, лиственницы окутались зеленоватым туманом, но главное — березы. Прямые, стройные, толщиной в хороший кулак и помощнее.

И вот вчера явились трудяги с топорами и с пилами и принялись эту рощу сводить, да лихо так, с удовольствием, даже со злорадством! Дети идут со школы и давай в них камни кидать, давай кричать и плакать, особенно девочки. Они начали вставать под стволы, убеждать, что здесь даже дети, не говоря о взрослых, цветы не рвут... Митинги самостийно возникали. А нам звонили, чтоб Виктор Петрович заступился... Одним словом: «Плакала Маша, как лес вырубали...»

Ничего не помогло. 98 деревьев уронили, в понедельник нужно свести еще 200! А народ еще что-то об экологии говорит... А Виктор Петрович однажды, отвечая на вопрос в анкете: «Почему ничего не пишете в защиту леса? (Теперь — почему ничего не пишете о перестройке?)», — ответил тогда, что он так много писал в защиту леса, что, не ведая того, свел, наверное, уже не одну такую рощу...

На образовавшемся пустыре — кладбище леса, пни березовые плачут соком. Дети то подбирают зеленые веточки, то уже прыгают с пеньков. Взрослые повсюду поразвесили лозунги-призывы, чтоб не трогали лес, что это чистое золото, что это краса земная и чистый воздух... Вчера многие криком клялись, что не пойдут на работу, организуют пикеты, но кто

же захочёт иметь неприятности на работе, и разве у нас есть что-нибудь подобное обходилось без штрейкбрехеров?!

А у меня и самой поводов для слез и переживаний, кроме этого, всеобщего, тоже предостаточно. Врач сказала, анализы плохие — много в крови сахара, очень свертывается кровь, снова открылся кашель, и она, врач, снова заикнулась, мол, возможен туберкулез... Господи, да откуда еще и туберкулезу-то взяться? Костный был — и вот результат — деформирована нога, но хожу же пока, слава Богу, и радуюсь тому, что в то время не было моды на мини, — попыталась отшутиться. А вечером опять в слезы: жалко себя, жалко Иринушку, а уж внуков осиротевших жалко — и не сказать. 19 мая сравнялось бы 40 лет нашей Ирине. Природа оживает, синеют и желтеют уже цветочки по склонам, а она никогда и ничего этого не увидит. «А вдруг если чувствует и страдает немысленно... Встанет, наверное, ее усталая душа, витает и никак не определится, не утешится, не пристроит свою печаль».

В последний раз, перед отъездом Виктора Петровича, съездили к ней на могилку, погоревали, вернулись домой. Сидим друг против друга, стараемся есть, а слезы бегут, бегут, на хлеб, в тарелки, на стол. С тем и разошлись. Уж год прошел, как ее нет с нами, а в мире ничего не изменилось. Виктор Петрович говорит, мол, покупал всем подарочки и все ловил себя на мысли, что Ирине вот это — ей будет хорошо... И тут же как обухом...

Вот только что позвонили из Москвы, сказали, что Виктор Петрович перед поездкой за рубеж выступил в Академии наук блестяще! А он мне и сказал, что пришлось выступать, а то выступавшие академики, впавшие уже в детство, — слушать неловко этих почтенных людей...

Наверное, так вот просто все и идет — свершается, как о том величайший Достоевский когда-то писал:

Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать —
Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости на обновляющийся мир,
Где новые садятся гости за уготованный им пир...

Я тоже в чем только не ищу стимула, чтоб только не дать себе расклеиться. Мои приятельницы не случайно все куда моложе меня, мне интересно с ними общаться, с неловкостью наблюдаю, как они помогают мне в делах по дому, но тут же и

оправдываю как бы свое на то согласие — они, пока могут, помогут, потом им другие, даст бог, будут помогать. Я слушаю их разговоры и иногда мотаю себе, как говорится, на ус, мне бывает интересно узнавать, как они воспринимают или реагируют на событие, информацию ли. Они часто мыслят по-своему, я же ловлю себя на мысли, почти как я, в их возрасте или настроении. От них я узнаю немало интересного, наблюдаю, как смело и решительно, иногда опрометчиво, но главное — смело и решительно разрешают свои затруднительные жизненные ситуации, короче, благодаря им да Виктору Петровичу — от него я явно или незаметно узнаю о многом: он очень начитан, остроумен, интересен в рассуждениях, — да иные телепередачи, что-то, услышанное по радио — все это помогает мне как бы держаться на плаву. А дети — милые наши внуки — поднимают с постели, требуют к себе внимания, ласки и забот. Вот Полинка собралась в школу, скажет: «Баба, я пошла!», а я ей: «Ну-ка, покажись». Огляжу, как одета, обута, заплетена ли коса, все ли пуговицы на пальто, на кофточке, а она опять: «Ну, баба, я пошла!» — чмокну в щеку и бегу в кухню к окну, чтоб махнуть ей рукой ответно. Витя уж самостоятелен, чего велю, делает, сходит в прачечную, за продуктами, на почту, пропылесосит, вон машинку пишущую отремонтировал. Молодец! Всякий бывает... как и все мы. Им же не всегда интересно с нами. Дед с ними мало общается, а они не могут еще внутренне, особенно Поля, согласиться с тем, что их дедушка — дедушка особенный, ни у кого такого нет! Хотя Поля, как оказалось, в школе уж нет-нет да и «козырнет»: «А я знаю, почему вы меня любите, потому что у меня дедушка...» За нашими детьми такого не водилось, Витек, думаю, тоже об этом сам никогда и никому не напомнит, а вот Полинка...

Конечно, у нас в семье, пока как в государстве: цены растут быстрее, чем зарплата, а у нас — внуки растут, но когда будут настоящими помощниками — не загадываю, зато норов паче разума... Однако теперешнюю нашу жизнь нам без них уже и не представить.

Сожалею, что на чтение времени мало совсем остается, если остается вообще, но стихи по-прежнему люблю и читаю их много. Когда я работала «на себя», то есть писала книги, сидя за письменным столом, то и тогда «сочиняла» в полуночные часы, перед сном. Все спят, тихо, я и веду свое «сочинительство», а днем, если выдастся время сесть за машинку, — «для себя» сажусь уже «готовой», черновики у меня нет, правлю после машинки, и когда перепечатаю, доведу рукопись до дела, то и все исчерканные страницы — в корзину, без сожаления —

дома итак бумаг много. Сейчас я давно уж не занимаюсь творчеством, с одной стороны понимаю — литература проживет и без меня, с другой же стороны — эта «побочная» работа мне доставляла и удовольствие, уводила от повседневной суеты и беспокойства. А теперь возьму книгу, прочитаю страниц несколько, а потом начинает «работать мысль»: что завтра приготовить, что сделать, куда сходить, сделать стирку или уборку, погляжу, много набирается и тогда, как Скарлетт в «Унесенных ветром» тоже себе скажу: «А об этом я подумаю завтра!»

Так и живем. Вот еще год прожили. Будем встречать Новый, 1990! Время-то мчится, как в войну эшелоны на фронт...

Витя очень переживал то время, когда он жил уже здесь, а Полинка была еще там, в Вологде. А она же, по существу, росла как бы на его руках. Как-то вспоминаю, как с нею, с Полиной, в магазин ходил: если в хлебный, то ее руку крепко сжимал в своей, чтоб чего где не ухватила, хотя все равно были случаи, я одну руку ее держу, сам складываю в пакет купленный хлеб, а у нее уже в руках батон и конец откушен!.. С нею и гулял, и поддавал потихоньку, и развлекал, как мог и умел, опекал... Довели, говорит, однажды маму, а она только что купила, или я купил огурцы, длинные и толстые, здоровые, одним словом. Мы с Поликой раздурелись, она как дала мне по голове самым большим огурцом, и он разлетелся на три части, как по заказу! И мы все, говорит, смеялись, а мама и наругать нас забыла.

Ни тогда, ни сейчас их разъединять нельзя, уж взрослей станут — будет видно.

Вот только сегодня с Виктором Петровичем закончили подбирать рукопись 5-го тома Собрания сочинений для издательства «Молодая гвардия», в котором уже издавалось его 4-томное Собрание сочинений. Чего-то перепечатывала, чего-то расклеивала, что-то искала в разных сборниках и вот до позднего вечера выверяла все постранично.

По-прежнему часто бывают люди, разные, знакомые и незнакомые, нормальные и занудные, и чувствую, надо бы хоть предложить чаю. Когда Виктора Петровича дома не бывает, иногда и не приглашаю незнакомых-то в квартиру — нынче сделалось как-то очень тревожно жить, только и слышно, то в одном доме обокрали квартиру или две, то в другом.

Зато в последние два-три года почти исчезли из нашей с Виктором Петровичем «мелочи жизни», которые так мешают и жить, и работать. Боюсь вроде поверить, но радостно думаю об этом постоянно. А нелюбовь моя к его деревне — тут, наверное, еще и вековое чувство, что краше и милее нет на свете

иных краев и земель, кроме родной, единственной... Он вон даже в открытую, в газете, крупными буквами — как заголовок печатается, выделяется ли, сказал, что Пермь я не люблю... Бывает. Каждому свое. Я же так люблю участвовать в сложной и кропотливой работе вместе с Виктором Петровичем, к примеру, в составлении тома или книги, выбирать, в какой книге явно видится пристальная работа редактора при издании. Люблю работу, особенно любую трудную, сложную и непонятную иной раз до невозможности из-за правки, потому что не знаю, что и как он сотворил, о чем, хотя по рассказам-предположениям вроде уже и знаю, но как оно получилось на самом деле — эта работа долгожданная и потому особенно интересная. И вообще, одно то, что я первая — единственная в мире! — перепечатаваю его черновые варианты произведений и этим горжусь и даже как-то утверждаюсь в том, что доверяет, что соглашается или вразнос меня, что не так поняла и восприняла, но это редко, потому что при перепечатке черновика, те места, которые читай хоть вниз головой страницу держи, хоть наискос — не понять... Отец Виктора Петровича, бывало, стоит сзади, а я печатаю — разбираюсь, а он, может, спросить чего собрался или сказать и вот ждет-пождет, а я уж и через лупу... — и скажет: «Маня, брось! Сам написал, пускай сам и печатает. С ума можно сойти!.. Мне вот врачи сказали не нервничать, я и не нервничаю...»

Виктора Петровича дома нет, у меня все подготовлено насчет необходимого для ремонта квартиры, не капитального, а так, туалетного, но... средней тяжести: две женщины белили потолки, клеили обои, меняли в туалете и в ванной настенные плитки, красили окна и двери. Они работают, то напевают чего-то, то переругнутся разок, потом работают молча или снова запоем, неторопливо, никого не стеснясь. А я у них на подхвате, ну и на кухне, конечно, потому что если связаться со столовой, то пока дойдут, пока в очереди постоят, пока пообедуют, пока придут — полдня не полдня, а часа три-четыре уйдут впустую. А я-то стараюсь их накормить повкуснее да посытнее и спасибо заработаю, и они, увидев, что я уж за делом, тоже принимаются за работу — дело идет податливо.

Готовлю обед на кухне и по радио слышу что-то такое пронзительно-близкое сердцу, такое душевное, как будто для меня! Присела и продолжаю слушать — артист читает о том, как редко наши женщины слышат добрые слова «дорогая, родная, милая...» — и зашипало глаза, хотя мне-то они, эти дивные слова, не часто, но перепадают. А мысли перебивают одна другую, на сердце тоскливо и удивительно... Передача за-

кончилась. Диктор сообщает: «Главу из книги Валентина Распутина читал Яков Смоленский».

Посидела, еще чего-то ожидая, затем умылась и давай дальше. Сели обедать, одна из женщин спрашивает: «Чего, Семеновна, ревела, че ли?» — «Да нет, лук чистила».

Живу эти дни все еще как бы оглушенная усталостью от ремонта. Слов нет, как тяжелы они, громоздки и надсадны всякие передвижения, перетаскивания, когда все имущество костром торчит средь комнат, — и всякий раз в таких случаях недоумеваю: как человек успевает в жизни обрести! Мне на подхвате надо было быть постоянно, Витя младший помогал, как мог и умел, без свидетелей нет-нет да и поворчит на меня, линолеум резал да так сноровисто, уверенно, будто давно уж набил на этом деле руку. Молодец! Я уж перед ним на цырлах, как говорится. Вон, забегая вперед, отремонтировал мне электрическую пишущую машинку, часов, наверное, до двух ночи возился. Гладить, конечно, лучше «по шерстке», а так может получиться — себе дороже.

Виктор Петрович приезжал на побывку из деревни домой — хотел выкупаться, а воды никакой. Поглядел, походил и сказал: «Ниче, посветлее стало». А сердце мое, изнурительно — усталое и взволнованное пребывало на такой высочайшей ноте — вот-вот взорвется или замрет — от похвалы или от умиления, или восторга: «Во, как здорово стало!», или бы: «Ну и слава Богу! Теперь и в деревне ремонт сделан, и здесь порядок — можно жить спокойно». Но не последовало ни того, ни другого. И сердце мое, как пеликан в зоопарке, который часами стоит у кроми воды, не то дремлет, не то о чем своем думает, и вдруг ни с того ни с сего замашет отчаянно крыльями, прямо изо всех сил, как вертолет, вот-вот взлетит, разметав взмахами все вокруг. А он потрепыхается, потопчется да и отплывет, опустит вяло крылья, екнет селезенкой, поглядит на свое в воде отражение — и стоит дальше...

Мысленно сказала я тогда себе: «А ты, Маня, честолюбива все-таки!» Наверно, маленько есть, но ведь не я, Сомерсет Моэм сказал, что самый большой недостаток — не иметь недостатков вовсе... Значит, быть потому.

Вот бы теперь отдохнуть — так самое время, сказала я сначала сама себе, а потом, причем не один раз, сказала и Виктору Петровичу, что сплавать бы снова на комфортабельном «Чехове», но не до Игарки, а из конца в конец, до Дудинки и обратно. Все прекрасно. Дети рады, мы — не меньше. Был этот отдых в удовольствие: на зеленых стоянках кто рыбачил, кто собирал грибы, если приставали у пляжа, — взрослые и

дети шалели от восторга и радости. Ребятишки наши и на дискотеки походили, и однажды Поленька до того дотанцевалась, что взмолилась: «Тетя Валечка! Возьми меня на руки, мне самой до каюты не дойти — устала очень...» Купались, загорали, ребята и в бассейне успевали душу отвести, и в кафе, то с нами, то одни. И как хорошо все получилось, что мы, не раздумывая, купили три каюты, сели и поплыли... Теперь-то уедешь с печи на полаты, на хлебной лопате — валюты нет и, вообще, накладно. Зато память осталась на всю жизнь!

Закончила первую перепечатку первой книги романа Виктора Петровича о войне «Чертова яма». Виктор Петрович всегда жадно, с нетерпением ждет рукопись с машинки, чтоб увидеть уж как бы со стороны — что же получилось? Представляю даже я, как еще много предстоит работы над романом. Но главное сделано: первая книга из трех, как предполагалось, написана, дальше, говорит он, пойдет легче... Как же долго он готовился к этой работе! Как много начитывал мемуарной, документальной и другой литературы, думал над романом постоянно. Разбирает папки и блокноты, куда складывал или кратко записывал, о чем прописать, что уточнить...

Вот вчера, забегаая далеко вперед, снова заговорил о романе, говорит, такой страшный кусок написал! Так долго думал, как написать?

После я долго не могла уснуть, вспоминала Ирину и горевала и даже думала: было бы возможно, повидалась бы с нею хоть на часок, сказала бы ей, чего не успела сказать, может, утешила. Это уж от тоски все. Когда надобен покой, и чтоб были ровнее мысли и согласное с сердцем дело, чтоб воля, ум и благодать на каждый день, и чтоб не так вот расставаться-разлучаться нам с Витей, когда так нужна взаимная опора и согласие, тогда бы и свету в душе больше, и усталость не так бы угнетала. Нелегко жить с таким внутренним настроением в такое смутное время...

Спать-то вроде и не спала, однако сон приснился странный: будто бы нас с Виктором Петровичем уговорили снова пожениться и он согласился. Народу набралось много, и все пошли куда-то, а дорога грязная, скользкая, идти трудно... Я уж далеко отстала, села на ломаный ящик на обочине дороги и думаю: надо ли мне вообще идти? И решила: не пойду. Посижу маленько «на камне у дороги», отдохну и вернусь домой, лягу спать...

А утром Полинку едва разбудила, чтоб собираться, завтракать да и в школу идти. Уж я ее и так, и эдак. Она не выдержала: выпростала руку из-под одеяла и, как Наполеон,

выкинула ее в мою сторону: «Бабушка! Ну скажи ты мне на милость, зачем она мне, эта школа сдалась?!» — и отвернулась.

Лето прошло мимо меня: занималась технической подготовкой Собрания сочинений Виктора Петровича в 14 томах! А до этого дважды, может, если выборочно, то и больше перепечатывала рукопись первой книги романа «Прокляты и убиты». Виктор Петрович долго готовился, долго и многотрудно писал эту книгу, а я, наверное, не менее трудно и изнурительно долго ее, рукопись, перепечатывала, и, что редко случалось, — в этот раз я устала от текста. Мне не все в «Чертовой яме» — так названа первая книга романа — нравится, особенно тем, что в ней много мата, а я не люблю, когда и сам Виктор Петрович в разговоре употребляет подобное, а тут сплошь да рядом, и конечно же, сказала ему об этом, сказала, что он так великолепно пользуется словом, так богат и емок русский язык, что никакой мат не выразит мысль, состояние или действие сильнее, чем слово, которое он, бывает, доводит до звона — делает таким, какого вроде бы и в природе не бывает, а у него бывает и эта пронзительность слова, то ли в сочетании с другим, то ли в таком случае или «к месту», когда большинству писателей и страницы не хватает описать или передать то, что он «вместит» в это созвучие. Сказал, мол, тут без этого не обойтись... Зато спустя время, когда Виктор Петрович посылал для прочтения еще рабочий вариант рукописи Евгению Носову так убедительно и резонно об этом же, как будто только он, высочайший мастер слова, может так все высказать.

Здесь бы в пору, может быть, и привести целиком письмо Евгения Ивановича, но я этого в своем повествовании не делала по причине того, что у нас хранятся папки с письмами отдельных писателей: Е. Носова, А. Борщаговского, В. Быкова, М. Сажаева и многих других, также весьма содержательных и интересных, кроме того, есть папка с отдельными письмами, тоже заслуживающими особого к ним интереса и пристального внимания, на которой так и написано: «Хранить дома». И, значит, либо приводить их все, либо пусть «живут сами по себе», как есть, в отдельных папках. Еще же хранятся у меня письма Виктора Петровича ко мне — до единой бумажки, за исключением тех, которые я вынужденно «лишила жизни» и теперь иногда о том сожалею, иногда думаю иначе — не всем и все надо знать — это наше.

Теперь я вернусь к работе над Собранием сочинений Виктора Петровича в 14 томах.

Только я закончила перепечатку рукописи романа, Виктор Петрович сообщил, что через три дня приезжает редактор и тебе,

мол, надо будет вместе с нею подбирать книги, сборники — все, что издавалось и публиковалось за все годы моей творческой работы. Он уже переехал, так сказать, на «летние квартиры», то есть в деревню, на мне дети, дом и вот очередная предстоящая работа. Должна заметить, когда Виктора Петровича не бывает дома, мы с детьми одни, то и обеды попроще, и визитов меньше, и звонков, и есть повод отговориться, мол, осенью либо зимой, или еще. Я, как говорится, с утра пораньше и до глубокой ночи в оставшиеся эти три дня, шарилась по полкам и стеллажам, таская за собой стремянку, выбирала книги и раскладывала их на раздвинутом столе по годам, на подоконнике, на креслах, на диванах — всюду, затем выбирала и так же, в хронологическом порядке размещала сборники, журналы не только с публикациями художественных произведений, но и публицистику, и драматургию, и стихи, и переводы (переводил произведения авторов с других языков народов, много переводил болгарских писателей).

Приехала редакторша, увидела «наличие» и ахнула, как в свое время, когда отмечали 50-летний юбилей Виктора Петровича, и в Вологде, в библиотеке им. Батюшкова, была в одном зале организована выставка книг, журналов, сборников — он ахнул и сказал: «Господи! Сколько я бумаги-то извел!»

Так и редактриса. Сказала, что представляла себе, какая предстоит работа, но вроде не в таком все-таки объеме. Но есть как есть. А Собрание сочинений предполагает быть изданным по классическому образцу, то есть с самого первого издания и всеми последующими, дополненными, прописанными, измененными, включая «сокращения» цензурного порядка.

Мы с нею, очень опытной и все понимающей редакторшей, сидели с шести утра и до глубокой ночи почти десять дней, это при том, что она профессионально быстро читает и творчество Виктора Петровича знает как никакой другой редактор, — она и 6-томное собрание сочинений его ведет. Три тома уже вышли к этой поре, четвертый вот-вот, 5-й — недавно вычитала верстку.

Когда она закончила «расписывать» тома — в какой что должно войти, принялась описывать подробно оглавление каждого тома, что нужно допечатать, перепечатать, что можно бы и машинистке отдать, а что, мол, только вы сможете... Затем просматривали сотни фотографий: подбирали портретные — для каждого тома, чтоб в соответствии к периоду изданий — одну из двух, которая пойдет для ретуши и пр., а вторая — на подстраховку.

Съездили в Овсянку, и они вместе с Виктором Петровичем согласовали содержание томов. Виктор Петрович

написал вступительную статью, большую, 180 страниц, под названием «Подводя итоги», затем писал аннотации — истории написания и прохождения в печать отдельных изданий, входящих в тот или иной том... Прodelал титаническую работу.

Когда я проводила редакторшу в Москву, благодаря ее за то, как нам хорошо и на полном взаимопонимании работалось, распрощалась с нею, и грустно мне стало. А грустить-то некогда особо. И я принялась «рвать по живому» нужные книги да каждую в двух экземплярах, в общей сложности, наверное, штук 240 если не больше. «Разобрала» я те книги, обривняла ножницами кромки страниц — убрала неровности после брошюровки — и принялась делать расклейку.

И клеила, и клеила, и клеила, чаще занималась этим в полуночные часы, когда не надо подбегать к телефону, открывать кому-то дверь, кормить, варить, стирать, убирать, значит, за счет сна, и работала очень напряженно — внимательно, чтоб не спутать страницу, не спутать «лицо с изнанкой», то есть той стороной, которая уходила вниз, под страницу, иначе придется из-за одной спутанной, неправильно расклеенной страницы разорвать еще книгу... Едва вместила в 28 папок!

Когда закончила с расклейкой, даже заплакала, не от чего-то такого, а от усталости, от жалости к себе, что ли.

Но ведь и это не все. Виктор Петрович написал вступление «Подводя итоги», это 180 страниц, это перепечатка, затем ему работа над текстом, затем перепечатка, затем еще работа, еще перепечатка... Шутка ли: это результат его творческой работы за 40 лет!

Слава Богу, и эта работа сделана, теперь все будет зависеть от дел в издательстве, а нынче во многом, в том числе и в работе издательства, все непредсказуемо... Ну, будет как будет, все остальное уже, увы, не в воле Виктора Петровича. Остается надежда.

Нынешний, 1991, год нам, похоже, радостей особых не сулит, но мы все равно благодарим год минувший — в нем было все, в смысле трудностей, нездоровья и многое другое, но у нас нашлись силы что-то пережить, что-то, насколько возможно, делали для того, чтоб отвести боль и напасти, большие и маленькие.

5 января 1991 года помянула Петра Павловича — отца Виктора Петровича — ему в этот день сравнялось бы 90 лет.

Захворала ослепшая тетка — младшая из сестер — Августа Ильинична Патылицына (прежние фамилии ее по мужьям — Шамова и Девяткина — редко кто из родни поминает, значит,

и для меня она Патылицына) — последняя из теток Виктора Петровича, заболела, кажется, опасно, видать, подходят к концу и ее земные сроки...

Я очень понимаю Виктора Петровича, каково потерять последнюю тетку и остается ближняя родня — это жена Николая Ильича, Анна Константиновна, да Галя, их дочь, которая живет — мотается между городом и деревней, потому что и Анне Константиновне на будущий год стукнет 80 лет, даст Бог, доживет, а это немалый срок прожитой ею трудной, часто непосильно трудной жизни.

19 мая день рождения Иринushки, и нынче ей был бы 41 год и горькое совпадение: она и умерла тоже 19 числа, только в августе, покинула и детей, и нас навсегда.

Вон Витя пришел, в кино, говорит, ходил, посмотрел американский приключенческий фильм. Отправился на кухню — проголодался, потом посидел за уроками, потом, сказал, погуляет, снова поучит — почитает чего. У него нынче пять экзаменов! Переживаю больше, чем он сам. Поговаривает о поездке в Вологду. Сдай, говорю, экзамены и поезжай. А он — так билеты же заранее заказывать надо. Ну, закажем, говорю, а если спотычка со сдачей выйдет, так билет сдать легче, чем заказать. Он плечами повел, я головой — на том пока и порешили.

Снова пришлось лечь под капельницу — не стала с этим делом тянуть дальше, — подлечусь и, надеюсь, буду приговорена жить дальше...

Подбираю сборники стихов, складываю к изголовью у кровати на стол и буду почитать на сон грядущий. Подумала было, что, пока ребята на весенних каникулах, отосплюсь и я, почитаю побольше, сделаю побольше, но Виктор Петрович на несколько дней растянул подготовку к поездке на премьеру спектакля по своей пьесе: приглашал знакомых, уточнял, кто желает ехать поездом, кто самолетом. Когда приглашенных набралось 15 душ, принялся хлопотать насчет билетов, это когда нужен один билет да депутату — всегда пожалуйста, а когда много — возникли осложнения. Наконец-то купил на всех билеты, тут же начались хлопоты с транспортом.

31-го отбыли в Минусинск, первого июня состоялась премьера, а второго Виктор Петрович вылетел в Абакан и оттуда в Москву, на «Римские встречи». Пока «ничего моряк не пишет...», значит, в здравии и благополучии.

Я никогда не считала, что все люди только хорошие или только плохие. Если для себя, то знаю: хороших людей больше, иначе как же жить-то, то есть не только есть, пить, ругаться,

любить, мыть, стирать — это держит в упряжке, если можно так выразиться, чтоб до конца не впасть в отчаяние, либо умиляться жизнью. Другое дело, что ни того ни другого миновать нельзя. А тут однажды Виктор Петрович читает мне вслух письмо, которое получил от местной молодой бабы, мол, я дама, но спокойная, в семью не лезу — это ей не терпится общаться с Виктором Петровичем, и вот она спрашивает у него на это согласия и приблизительно бы знать время, где лучше встречаться, мол, лишний раз звонить — боюсь МарСем: она так сурово говорит по телефону, что я ее боюсь...

— Витенька! Ты зачем мне это читал?! Чтоб повеселить или тоже «дать согласие»?

Разорвал, бросил в корзину, ушел, а я так ничего и не поняла, то есть единственное поняла, что я не зверь, не мегера, иначе бы три дня назад — был такой день, — я не услышала столько хороших, милых, искренних и нежных слов!.. За один только день! — и все думала: ничего, если так можно, и терпеть можно, пока есть силы.

Бесовская политика, от которой ни днем ни ночью нигде нет спасенья, сопутствует теперь уж и в праздники и в будни. Наверное, не одну меня покинул дух оптимизма, но и дела — заботы житейские закручивают все больше. Нам, в нашем возрасте, воспитывать осиротевших внуков все сложнее и это тоже естественно. Вот у Вити проснулась возрастная пора, когда желание наглубить, ослушаться, спокойно выслушать замечания, сильнее, нежели доброта, легкость, непосредственность. Ну да что теперь? Пока растут дети как дети, как у большинства живых родителей. Жалко и огорчительно, что дед часто конфликтует с ним. Я уж решила, коль дед уезжает, то приготовлю чего немного, накрою ребятам стол в комнате, а мы с Валентиной Михайловной да с Эммочкой, накроем себе стол в кухне, поставим на скатерть красивые тарелки и рюмочки, закуску и будем попивать коньячок да наговоримся от души. Но Виктор Петрович, собравшийся лететь на рыбалку, в последний момент передумал, сдал билеты, зашел к кому-то и явился домой под шафе, и заговорило его «абсолютное безумие», как бывало с Колей Рубцовым. Ничего хорошего и приятного он этим не причинил, вместо того чтоб поздравить, расхотелся: «Никаких гостей! Никакого праздника! Всех выкину! И тебя тоже!» — зыркнул он на меня. — «А кто же ему, Вите, устроит праздник, если не мы?». Витя чего-то сказал ребятам — и они ушли. Оставшись одни, я прямо и серьезно сказала: «Витя, если не умсешь вести себя прилично, когда выпьешь лишнего, то ложись спать, а не порти всем праздник.

Куда чего и делось от твоей бывалой веселости? Мы не для этого сирот брали к себе...»

В это время позвонила из Минусинска Тamarочка! Она всегда кстати, всегда более чем желанна и вот приехала! Успела еще сказать, что Вите подарочек везет. Я и сказала, что он уже получил... от деда.

Я говорила о том, что мы с ним, с нею и ее мужем Александром Павловичем, тоже актером, знакомы еще по Вологде. Она в спектакле «Прости меня» играла Смерть. Спектакль был удостоен Государственной премии, но наградили не ее, а другую актрису, а ее нет — «отрицательный образ»...

На столе у Виктора Петровича лежит раскрытая рукопись первой книги романа, и он нет-нет в нее заглянет, правит, дописывает. Пишет и «затеси» — они помогают ему как бы разгрузить голову и сердце. Недавно по просьбе одного сгерея написал для «Известий» большой материал в защиту Сибири. И я снова сидела за машинкой, работала напряженно.

Сказала ему, что так работать нельзя (и ему, и мне): 25 страниц плотного машинописного текста — первая перепечатка рукописи, много правленная, когда буква на букве, строка на строке. Сказал, мол, так нельзя, конечно, да вот попросили... и тут же: «Я стал так трудно и напряженно работать, что и не знаю, хватит ли сил для романа...»

Как-то приехал в деревню к Виктору Петровичу гость — руководитель огромного предприятия. Они незаметно и давно уж привыкли общаться друг с другом, и Виктор Петрович предупредил, мол, не больно в новом-то костюме на этот стол облакачивайся — извозишься весь, сейчас газеты принесу, чтоб подослать. А стол тот уж так много повидавший всяких «реконструкций», крашен слой на слой, и чего на нем только не делали, даже гвозди выпрямляли, а тут еще пыль, грязь вековая, вьевшаяся. А гость ему в ответ:

— Нет, уж, лучше я новый стол тебе привезу.

Раз от раза он примечал все новые неполадки, халтурное дело, и с помощью его рабочих, отряженных бригадой, нам сменили двери, электропроводку... Много, во многом он помог, отрядив рабочих, вплоть до дров! Не перечесть всего. Я, пряча слезы, благодарю его, а после подумала: есть крайком и крайисполком, взяли бы вырешили машину для Астафьева, на два раза в неделю. Наши шофера, кроме Иннокентия Ивановича, горазды были только растащить какое добро из гаража, вплоть до колес, даже лампочки вывернули, затем «наработает на себя», пока машина тянет, запустят ее, поломают, сунут нижним соседям ключи, чтоб передали нам, — и след простыл!

Теперь уж и вовсе нашей пенсии не хватит, чтоб шофера содержать и машину привести в порядок; так и стоит, как сиротинка, в деревенском гараже, давно «обсохшая» и покинутая... А нам и нужна-то машина в основном в летнюю пору, потому что жизнь идет между городом и Овсянкой, и к кому ни обратишься (а как неловко попрошайничать-то!) и слышишь, то бензина нет — и это сущая правда сплошь и рядом, — то какие-нибудь увертки, мол, то одно, то другое — деньги брать с нас неловко, вот и опять неразрешимость проблемы, а ведь по-человечески как было бы все просто разрешить: платим же мы за свет, квартплату, за телефон, за разговоры... Да вот поди ж ты. А другие начальники — простит Господь, — может, в душе и злорадствуют, мол, пусть сидит или приседет... и всякий раз с поклоном и тысячей извинений... А тут уж заговорили, засуетились, как да что — насчет юбилея Виктора Петровича, пообещали пенсию пожизненно, так она у Виктора Петровича и так пожизненна, или эту отобрать, другую выделить — как высокую награду... Вон в Овсянке библиотека недостроенная стоит — кончились деньги, значит, могут найтись «смельчаки» и по винтику, по кирпичику эту библиотеку. Одна школа на весь Академгородок, в классе по 38 человек и дышать нечем, а числится еще одна, которую захватили псевдоученые, уж не в обиду им, но дела-то там никакие почти не делаются, а ребятишки — в школе-душегубке... Эти настоятельные инициативы Виктора Петровича, и не только, а помощь немалая — не могут сдвинуть с места руководство, новые дома строятся, а ребятишкам хоть куда... И это в голову никому не приходит. Говорила с Р. Солнцевым, чтоб помог выселить «квартирантов» и отремонтировать школу — пока он «у руля». Тоже ответил, мол, разговаривал с учительницей, хорошей... Да что же та учительница сможет изменить?! Виктор Петрович много лет бился, чтоб прекратили сплав леса по реке Мане, — и добился, но выше, в притоках, установили драги и пошло: хрен редьки не слаще...

Заговорили о Володе Радкевиче — пермском поэте. Вспоминаем о нем не часто, у нас он почти не бывал, встречались в Союзе или у кого-нибудь, но чаще в Союзе писателей.

И однажды, совершенно неожиданно, пришло от него письмо не письмо, а конверт со стихотворением — и никакой приписки. Подождали какое-то время письмо, но его все не было, и Виктор Петрович с удивлением, даже с недоумением

вслух подумал: «Вот и пойми душу поэта! Привыкли утверждать, что женская душа — потемки, или загадка. А тут вот тоже загадка: поэт Володя Радкевич взял да прислал письмо, а дальше не знаешь, что и думать: не то спьяну, не то под настроение, не то как знак, что он не забыл о нас, что помнит и вот посылает дорогое для него стихотворение».

СТИХИ О СЫНЕ СЕРЕЖЕ

За разливами лет,
За разливами рек
Жил со мной семилетний родной человек.
Он со мной говорил —
Я его понимал.
Я его на руках высоко поднимал.
Только вот приключилась какая беда:
Я его уронил
Насовсем. Навсегда.
Тот же город.
И улиц — десяток всего.
Но всю жизнь мне идти — не дойти до него.
Одного не могу я понять до конца:
Почему я — живой, а мой сын без отца?
Не смотри ж, упрекая меня и моля,
Милый сын мой, Сережа — кровинка моя!
Ни себя не кляню,
Ни тебя не зову,
А с оторванным сердцем вот так и живу.

Много-много времени спустя от Володи пришло письмо, которое вместе с немногими другими лежит в папке: «Хранить дома». Виктор Петрович сходил за письмом Володи и прочитал:

«Дорогой Виктор Петрович! В последние годы почему-то все чаще думаю о тебе. Вспоминаю, как Борис Никандрович еще в молодые наши годы уверял меня, что Астафьев на Урале будет позначимее Мамина-Сибиряка. Рад, что был Назаровский человеком мудрым и прозорливым.

У меня сейчас все вроде наладилось. Правда, были два инфаркта, но я отношусь к ним с презрением. Даже бываю в поездках по области при хорошей погоде, поскольку от критиков знаю, что поэтам от жизни нельзя отрываться. А то отстанут.

Выходит в мае или в июне шестилистовая книга, которую, выражаясь старомодно, сочту за честь прислать тебе и Марии. А к шестидесятилетию наградили неожиданно для меня орденом «Дружбы народов», а крупноблочный портрет мой повесили аж на Выставке достижений народного хозяйства в Перми как «Победителя социалистического соревнования в

честь Первого мая», хотя я, ей-богу, ни с кем не соревновался и никого не побеждал, — может, только себя, да и то отчасти...

Как ты, наверное, знаешь, два года провел в психиатричке. Была страшная депрессия, вешался, но, по счастью, все веревки в моем бесхозыственном доме были гнилые и моих восьмидесяти килограммов не сдюжили. И Бог мне сказал: «Я тебе дал свой дар, божий, а ты что с ним сделал? В грязи, гад, извалял. Вот теперь лежи и кайся». Скрылся из глаз, а я, при моем физиологическом образовании, не мог потом и двух слов в одну фразу связать, доступно мне было только примитивное, вроде: хочу есть, пить, спать, курить, жарко, холодно. А самое мучительное, что мысль оставалась острой и вроде бы я все понимал...

Так промолчал я почти два года. Из больницы меня выписали, дали инвалидность. А потом, однажды ночью, часа в два я проснулся, разбудил жену и часов до шести говорили непрерывно — я выговаривался за два года немоты. Тут-то этот Господь опять мне привиделся, чисто побритый, и усмехается: «Как ты мог подумать, что я тебя брошу, усомниться в милосердии моем? Ведь ты же мой любимец...» И опять ускользнуть хотел. Но я его прихватил за пиджак и говорю: «Нет, погоди, чего ты меня два года мурыжил?» А он свое: некогда, мол, у меня вас почти пять миллиардов, знаешь сколько на тебя божьего времени потратил?! Я подсчитал быстренько — больше двух тысяч лет — ну и отпустил.

С тех пор больше я его не видел. Сегодня до слез расстроился — такая злость на жизнь взяла. Доставал у медиков для Миши Голубкова, аж к ректору мединститута академику Вагнеру ткнулся. Перевели его в клинику к урологу — Вадьке Орлову, а это мой друг еще студенческий, вместе за сборную в волейбол играли. Будет делать Мише серьезную операцию. Он сейчас лучший в Перми хирург-уролог.

По дружбе сказал мне профессор, что положение у Миши опасное настолько, что он сам до конца об этом не знает. Вот ведь гадство! 49 лет всего, только утвердился талантливый, чистейшей души, добрый и дружелюбный человек — и вот, гадство, — что-нибудь да подкосит. Теперь только надежда на Бога да на хирурга. Миша в больнице уже месяца, побледнел, а глаза — как у подраненного тоскующего оленя — смотреть больно.

Знаю, ты ему иногда пишешь, но не надо намекать о серьезности его болезни. Авось это еще не черт, а его малютка!

Виктор Петрович, с восхищением прочитал «Ловлю пескарей». Одна чердынская крестьянка сказала мне: «Вот ведь

мужик, всю правду пишет. Теперь таких мужиков нет!» И сколько я не уверял ее, что ты есть, только в Красноярске, — не поверила. А грузинские патриоты-цитатчики что же не процитировали Маяковского дальше, насчет грузинской «крови и ярки» — вовсе не благосклонные строки. Да заодно бы припомнили Горького очерк «Мой спутник», где он прямо говорит о своем отвращении перед особенностями грузинской жизни: «преклонением перед богатством и грубой физической силой»...

Прости, дорогой Виктор, за длинное и суматошное письмо. Не о себе напомнить хотелось — мне после трех инфарктов (первый был еще в 1968 году — после смерти матери), как сам понимаешь, ничего не надо. Просто сегодня захотелось выговориться перед концом или до конца, может быть...

А так-то я рад, что жил с тобой в одно время и в одном месте. Искренне желаю здоровья тебе и Марии.

С доброй памятью и сердечным уважением к вам Володя Радкевич. Пермь.

И о Харии Хейслере в «Юности» тоже ясен он в рассказе твоём. Поплакал чуток, сознаюсь: он мне свои новые стихи для перевода незадолго до этого прислал, а я ему ответить не успел...

Присылал мне и Леше Домнину, а того уже почти три года на свете не было.

Все пришлось взять на себя. В.Р. »

Письмо от Володи Радкевича пришло, когда его уже не было в живых — разница в несколько дней — 1.5.87 г.

Поясню немного о Мише Голубкове: родом из Чусовой, там вошел в литературу — Виктор Петрович рекомендовал его в члены Союза писателей, пристально следил за его творчеством, и он его с честью оправдывал.

Всякий раз я, уезжая из деревни Быковки и из родного города, все глядела вокруг, не могла наглядеться, но не смогла сказать своей родине: «Прощай!»

Так и живу по сию пору, то отчаиваюсь, то еще рожают надежды, слабые, хрупкие, как огоньки свечей, трепетные, но высветляющие все-таки душу...

Прочитала в журнале «Нева» Дм. Лихачева: «Как мы выжили?.. Боже мой, как чудовищно страшно! И то, что Виктор Петрович когда-то высказал в своем интервью на страницах центральной газеты по поводу того, нужно ли было «отстаи-

вать» Ленинград такой ценой?! Такими неисчислимо огромными потерями человеческих жизней? — Дмитрий Сергеевич подтвердил это в своем повествовании, сказав о том, что пережил сам.

С наступлением непогоды сильно заболела моя больная нога, так заболела, что я не знаю ее куда положить, даже сердце устало от этой боли, и я все уговариваю себя: «Потерпи маленько. Погода наладится, дела поубудут...» А дела делаю, где стоя, где сидя — как придется.

Постоянно думаю, не дай Бог, слягу и тогда Виктор Петрович, расходуя время на быт, многое не напишет, не создаст, вот и лезу из кожи...

Нынче у Виктора Петровича вышло книг грудно, как он говорит, да все со звериными названиями: «Улыбка волчицы», «Медвежья кровь», «Тихая птица». К тому времени вышли уже два тома Собрания сочинений (из шести — два). Но тираж... «Тихая птица» — прекрасно изданная книга 30-тысячным тиражом на такую-то страну!

Написал две главы к «Последнему поклону»: «Разудалая головушка» и «Вечерние раздумья».

Побывал в Голландии, на книжном фестивале, выступал там с докладом. Был он там в самое тревожное во всех смыслах время: фестиваль проходил с 17 по 22 августа. Без него отвели годовщину нашей дочери Ирины. Поехали на кладбище пораньше, чтоб успеть посмотреть по ТВ передачу о нем, а затем сесть за стол, чтоб помянуть дочь, попечалиться, повспоминать, поговорить. Не успели, как говорится, обопнуться, — войти в квартиру — спешит нам навстречу растерянная, побледневшая Галя — сестра Виктора Петровича. Она оставалась готовить, и дрожащим голосом говорит: «Что же вы так долго ездили, в стране-то переворот...» — и сбивчиво попыталась рассказать, что к чему.

А Виктор Петрович в Эдинбурге, и в голове у меня одна чудовищная мысль: только выйдет в Москве из самолета — его сразу же под белы ручки... Андрей с Женей как раз были у нас. И после, о чем бы ни говорили, чего бы ни делали, все «сворачиваем» и в мыслях, и в разговорах к перевороту. Слава Богу, Виктора Петровича в Москве встретили друзья, приютили и вот проводили домой.

Вот и наступил еще один Новый год. Теперь уж 1992-й. Еще на год жизнь сделалась короче.

Виктор Петрович успел уже побывать в Китае, а китайцы, как и японцы, да и другие буржуи, зазря денег на приглашения не тратят, надо отработать от и до. Однако Виктор Пет-

рович выбрал время и написал мне оттуда три письма! Молодец! Написал на папирусе. Когда приехал, увидел гору всякой почты на столе, вздохнул, «выразился» и почти сразу же собрался сесть за стол. А ребята ко мне: «Бабушка, а почему дед нам ничего не рассказывает про Китай». Говорю, привез подарочки, радуйтесь и не досаждайте — он же еще не отвык говорить по-китайски, как вспомнит, как по-русски разговаривают, тогда и заговорит, тогда и слушайте!.. Витек похохатывает. Полинка чистосердечно и жалостливо восприняла бабушкин бред за чистую монету и принялась жалеть деда: то тапочки подаст, то воды попить принесет, то за почтой сбегает, и, конечно же, не совсем уж за просто так, хотя бы за конфетку. Хитроватая девочка растет, но и ласковая.

Виктор Петрович по-прежнему дома бывает редко: то в деревне, то в разъездах. Конечно, когда его нет дома, меньше звонков и визитов, но его, Виктора Петровича, не хватает, иной раз всю квартиру обойду — нет и все, и только потом вспомню, так он же уехал.

Днями по ТВ брали интервью у Ильи Глазунова. У меня отношение к нему разное, но то, что умен, — нет сомнений. Отвечая на вопрос: верит ли он в то, что Россия воспрянет? — ответил, что верит, что Россия никогда ни у кого не была колонией, что русский мужик за свою историю, за свою жизнь не раз «стонал», но с самоотверженностью, ему лишь присущей, да с Божьей помощью находил в себе силы, вставал, укреплялся — и земля опять делалась его надежной опорой, кормилицей и поилицей, когда крестьянин не уставал кланяться ей в труде до пота лица. И только горько недоумевает, когда художники — они же ближе ему по творчеству — рисуют цветочки, ягодки и прочее тогда, когда нужно в живописи отражать бытие соответственно, чтоб вызывало людей на раздумья...

Посмотрели по ТВ передачи: «Три встречи с Астафьевым». Хорошие передачи получились, главная в том заслуга — сам Виктор Петрович: говорил умно и мудро, держался непосредственно, от вопросов и раздумий не уходил. Наиболее содержательной, на мой взгляд, получилась «Первая встреча».

В третьей все-таки есть повторы — что-то уже отснято было кинорежиссером М. Литвяковым. Но все равно все хорошо, и из писателей, по-моему, вроде еще ни с кем такого откровенного диалога в прямом эфире не было.

Первая книга романа «Прокляты и убиты» под названием «Чертова яма» С.М. Залыгину понравилась (в общем), но есть претензии. Рассчитывают печатать в 10-11-12 номерах, а до

этого будет редактора. Думаю, все обойдется — Виктор Петрович не из тех писателей, кто легко идет на компромиссы. Говорит, если что — заберу рукопись и в другой журнал. С.П. Залыгин, многожды объявлявший о публикации романа в «Новом мире», на это вряд ли пойдет.

Виктор Петрович тоже съездил на Урал, но приехал далеко не таким восторженным впечатлением, как я после своей туда поездки. Ну да это, наверное, вполне естественно.

Тетка Августа, последняя из теток Виктора Петровича, умерла. Я плохо себя чувствовала, его дома не было, значит, поехала я. Потом приводила в порядок уже вечный приют Иринишки, мыла памятник, чистила, да и простыла не ко времени. Затем готовилась принимать гостей в честь дня рождения Виктора Петровича, сам он приехал утром этого дня. После Радоницы Виктор Петрович с другом своим неизменным, Володей Зеленовым, улетели на Север...

Мне вроде бы совсем еще недавно казалось, что жизнь такая большая, длинная, и до «моего предела» еще далеко, как до горизонта. Но годы идут, здоровье и силы убывают, жизнь убивает, и когда вдруг безжалостно разольется по сердцу боль и в голову отдаст, и по всему телу, тут и забрезжит мой «земной предел», тут же посетит тоскливая мысль: какая бы она, жизнь, ни была, иногда подла и несправедлива, однако не появляется желания судить свою жизнь и судьбу, судить близких и неблизких, что я так страдаю...

Давно еще где-то вычитала, будто в Индии говорят: «Будь бесстрашен, будь силен. Если есть грех на свете, так это — слабость. Слабость — это грех, слабость — это смерть. Все, что делает тебя слабым физически, интеллектуально отвергай, как яд — в нем нет жизни...» Слов нет, как важно и хорошо быть сильным, но чтобы отвергать все, что делает тебя слабым, — на это тоже нужна сила...

Как-то звонил из Москвы главный редактор «Культуры», спрашивал Виктора Петровича, не сможет ли он написать к юбилею композитора Г. Свиридова? Сказала, что спрошу, вообще-то, они очень симпатичны друг другу и, наверное, смог бы написать. Спрошу. Далее Альберт Андреевич спрашивает, как отнесся Витя к публикации о нем Ал. Михайлова: «Живет в Сибири писатель»? Говорю, что в Красноярск этот номер газеты не поступал и мы прочитали материал в Сашинском рукописном варианте. Беляев возмутился: «Ах, как плохо работает у вас почта!» — «Дело не в почте, — сказала я, — а в том, что живет в Сибири такой писатель...» — и попросила прислать несколько экземпляров.

Вечером слушали прекрасную музыку — виртуозы Москвы во главе со Спиваковым. Так играли! А потом дети, которых он где-то углядел, подслушал и вот... Как же они славно играли! Потом сообщил, что этому маленькому скрипачу он подарил скрипку, а этой девочке — фортепьяно... Не выключаем ТВ, ждем, чего еще будет? Но наш пострел везде поспел! — заговорили уже политики, наши и не наши, чего-то делят, поучают. И нам так грустно сделалось, и Виктор Петрович сказал:

— Ведь музыка, как и растения, принадлежит всему миру, всему человечеству, а не одному государству, не одной территории, не одной личности. Музыка и природа — самые демократичные из всего того, что есть на свете...

А мне опять подумалось: «Боже мой! Чего только нет в этой седой головушке?! И как ему трудно. Все, о чем он пишет, мыслит, говорит, — естественно, только не надо быть глухим и равнодушным ко всем и ко всему... Дал бы Господь здоровья да крепости духа — для жизни и работы, и для нас, так его любящих.

Не успели оглянуться, а завтра летний, такой желанный день еще потопчется на месте и незаметно, однако, не мешкая, пойдет на убыль. Эта неизбежность печалит меня очень, особенно теперь, когда жизнь сделалась вовсе скоротечной. А я все еще собираюсь пожить со своею душою на «ВЫ!...»

Наступил август. О том, как жили-были мы с Виктором Петровичем многие годы — я описала, что будет дальше, проживем — увидим... Мне грустно расставаться с этим делом, отчасти потому, что все, о чем писала, — уже в прошлом. Мне снова захотелось, как в предновогоднюю ночь, думать лучше о людях, ну и о себе тоже.

Днями приезжают в гости сын Андрей с внуком Женей, переживем уж в который раз глубокую печаль — 6 лет сравняется, как нет с нами и со своими милыми детьми нашей дочери Ирины. Затем — мой день рождения, вроде бы и порадоваться нечему, но дал Господь мне такую большую жизнь и как мне ЕГО за это не благодарить и как не попросить, чтоб ОН даровал еще жизни — это уж ради и для внуков, значит, и сил, и крепости духа сколько возможно, чтоб я побыла еще пока никому не в тягость, а способна на посильные дела, чтоб полюбавалась еще белым светом...

Виктор Петрович получил два приглашения в зарубежные поездки: в Швейцарию и на теплоходе — в Италию, Турцию, Грецию и Израиль. Я за него буду рада, если он будет

способен на поездки, чтоб потом наслушаться — «что за чудо есть на свете?..»

А у меня, если выберется время да позволит здоровье, я «досылом» еще кое-что написала бы. Пока же запустила не только домашние дела, но и, к большому сожалению, затянула дело с перепечаткой второй книги романа о войне — «Плацдарм».

Внук Витя закончил 11 классов и поступил в техникум на факультет «Финансы и право». Поинка нынче «прыгнет» из третьего класса в пятый! Будет ли из этого толк. В октябре этого года, если доживем, сравняется 48 лет нашей супружеской жизни с Виктором Петровичем.

Я пока и не представляю, что получилось у меня за повествование — у меня не было времени ни остановиться, ни оглянуться, даже подумать — только на большом напряжении работала моя память да дневники, иногда с большими перерывами.

Хранятся все письма Виктора Петровича ко мне, моих сохранилось мало, но и они есть.

Кроме перепечатки рукописи романа, а это более пятисот страниц, работа и над этой рукописью, такого же, наверное, объема. А мне и самой не терпится как бы зрительно пройти по своей жизни, разглядывая, сопереживая, радуясь и печалься, наблюдая ее со стороны.

В конце будет стихотворение, посвященное конкретно нам с Виктором Петровичем. Вообще-то, их немало, но «попросилось» в рукопись только одно. И одно — из лирики Н.А. Некрасова.

Выборочно приведу дарственные автографы Виктора Петровича на подаренных мне книгах.

Знать бы теперь еще, как определится судьба моей этой книги, тогда можно и успокоиться. А пока...

* * *

Совсем недавно, когда у Виктора Петровича выдались «промежуточные» дни — делал очередной заход на рукопись второй книги романа, — он писал ответные и деловые письма и попутно искал привезенные из Овсянки документы (военный билет) и многочисленные заметки, чтобы написать небольшой очерк о Филиппе Кузьмиче Жуковском, долго, наверное, полжизни работавшем в сельском магазине и недавно покинувшем земные пределы. Много раз принимался искать — все бесполезно, как сквозь землю... Тогда принялся разбирать, просматривать залежавшиеся записные книжки, которые «вел» время от времени.

И нашел тот злочастный военный билет односельчанина и наброски «затесей», отложил, и несколько исписанных разных листков, предполагая использовать их в романе, но теперь книга «Плацдарм» — вторая, но обошелся без них и вот принес мне — я работала на машинке, — мол, посмотри при случае, что дерзок был и в давние годы...

Я, конечно же, прочитала их. Прочитала и удивилась: будто ему уже известно, что я работаю над рукописью своей книги, работаю «тайно», чтоб подарить ему в его приближающийся юбилей, поскольку книга, названная «Знаки жизни» — это повествование о нашей, прожитой с ним жизни, недавно разменяв 49-ю годовщину!

Перечитала ту часть рукописи, готовясь к редакции, где речь ведется о житье-бытье нашем в Сибири, и даже подумывала — не включить ли их вставками в текст, но поскольку книга состоять будет из трех частей, периодов нашей жизни: «Урал», «Вологда», «Сибирь», значит, и быть этим «наброскам» в «Сибири».

Вот одна из заметок: «Странная жизнь, — пишет Виктор Петрович, — ударь осколок меня правее на палец или будь на излете — и меня не стало бы. И мое место на земле исчезло бы, и не было бы моих детей и внуков, жена моя была бы не моей женой, и все было бы не мое... сгребли бы в кучу с другими убиенными солдатами... даже затопили то место, где я был ранен за Днепром, а люди как-то не понимают этого, люди думают, что их это не может коснуться, да и то — привыкли: мертвых на земле было больше, чем живых...»

Вторая заметка: «А мне и моей жене никакая партия и правительство ребенка не вернут (это о нашей первой доченьке, прожившей на свете полгода, — уморили голодом — я об этом подробно написала в «Урале» — первой части книги). И я не прощал и не прощу его ни нашим вождям, ни тем, что были до нее, никаким партиям, в том числе и лучшей в мире, на словах, партии, которая на деле этого никак не доказала, а даже наоборот — это они тысячи лет убивали мое дитя, шли неумолимой поступью к его деревянной колыбели, и тем вождям и партиям, что еще пребудут, — я тоже не прощу своего ребенка, ибо вместе с моей девочкой они оборвали и обрывают жизнь ее детей, ее внуков и правнуков — пока есть вожди, все будут гибнуть невинные дети, пока есть и будут править дармоеды и проходимцы в комиссарских штанах и с дряхлой идеологией, говорить пустые слова и ради них проливать чужую кровь и убивать не своих детей...»

Запись третья: «Нынче исполнится сорок лет, как мы поженились на войне и хвастать тут никакого повода, конечно, нету. Будь бы мы обеспечены жильем, едой и прочим довольствием, так мы бы тоже, как нынешние молодые, — расходились бы да сходились, разнообразя унылую жизнь. А так вот: война соединила, нужда сдружила — бороться с нуждой вдвоем легче, вот и дожили до старости. Мне бы за такую прочность жизни благодарить наших отцов-командиров, и самого покойного генералиссимуса, которые, как и во веки веков это делалось, предали нас после войны, бросили на произвол судьбы, может, даже и не предали, а радуясь нами добытой победе, загуляли, завеселились, не зная уж чем себя наградить и куда себя посадить за такую доблесть, при которой они воевали один к десяти, да и послевоенные потери, превышающие военные, должны наши «отцы» взять и записать на свой счет — слишком много они нам обещали, слишком быстро забыли об этих обещаниях. В результате победа, добытая нами, обернулась нашим поражением. Во всем.

Запись четвертая: «Право жить и быть нам вместе — никто не дарил. Нам никто, ничего не дарил, только жизнь под небесами подарила да сохранила крестная жены да тетя Тася — это они кое-что по мелочи дарили нам. Вместе нам никогда не было скучно, неинтересно, и мы никогда, никому не жалобились, и если я гнал ее от себя, порой грубо, то это от усталости, от душевной перенапряженности, быть может, от эгоистического мужского желания остаться «страдать одному» и жалеть себя за это страдание.

В минуту светлую и добрую я сказал, что раз уж смерть неизбежна, нам бы умереть в один день, в один час и в одну минуту — мы заработали и выстрадали и это право. Я и сейчас готов повторить те слова, хотя уж мало им доверяю и знаю, что слова ничего не стоят в нынешнее грешное время, когда и жизнь-то сама для многих потеряла всякую цену и смысл...

И душа моя тихо плачет и сетует, и как жаль, что не дано нам о чем-то пожалеть загодя...»

Роман Солнцев

Марии Семеновне
и Виктору Петровичу Астафьевым

Подумать только — вместе сорок!
Пройди-ка сквозь огонь, изволь,
Когда невеста — будто порох,
Когда жених — как будто соль.

Прошли, прошли по мертвым странам,
Потом вернулись на свою
И сохранили, как ни странно,
Любовь у горя на краю.

Ведь жизнь — она ломает круто:
Нет крыши, детям молока...
Но сохранили, как ни трудно,
Они и веру на века.

Пусть не идут, шутя по водам —
Былым связистам вышла масть
Соединить народ с народом,
И с совестью вот эту власть.

Подчас я слышу в океане
В эфире черном средь планет
Негромкий голос: — Маня, Маня!..
И звонкий: — Витенька!.. — в ответ.

Судьба писателя в России
Всегда была, Господь, прости,
Попыткой, не сгибая выи,
Сойти на землю и взойти.

Там позади их тьма осталась
Болезней, гибельных ночей...
Но верная жена смеялась —
И отступал седой Кощей.

Так пусть в снегах, в угрюмом-быте
Нам будет радость и в пример
Их переключка: «Маня?.. — Витя?..»
Из ФРГ в СССР.

Вы в небе, гады, запишите
Магнитофонные слова:
Пока едины Маня — Витя —
Окститесь, милые, сперва!

Перо пока что держат руки,
И в сердце не слабеет свет.
И подрастают шумно внуки.
И смысла в распрях точно нет.

Осень 1985 г.

Вот неполный перечень названных книг Виктора Петровича, которые он мне дарил с автографами. Первый автограф

был на книге «Перевал», вышедшей в 1960 году в Свердловском книжном издательстве. Вот что он написал:

«Старушонке моей — Мане, с которой не один пуд соли съеден. И сахару — тоже».

Второй автограф — на книге «Звездопад», вышедшей в Москве в 1962 г.

«Самый дорогой мой подарок первому моему помощнику и терпеливому слушателю, постоянному вдохновителю — Марье моей».

Третий автограф Виктор Петрович оставил на подаренной мне книге «Последний поклон», вышедшей в 1968 году в Пермском издательстве.

Он написал: *«Помощнику моему, другу верному и нежному — Мане — мою самую любимую книгу, с любовью и пожеланием здоровья и покоя, да чтобы Андрей скорей вернулся (из армии)».*

Четвертый автограф я получила от мужа с дарственной надписью на вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в 1972 году «Повести о моем современнике».

«Мане! С любовью эту долгожданную книгу и дорогую нам обоим (выстраданную)».

Пятый автограф — на книге, вышедшей в «Художественной литературе», в Москве, под тремя названиями на обложке: «Стародуб», «Кража», «Пастух и пастушка», 1976 год.

Вот что он написал: *«Марье свет-Семеновне — уже полноценной бабке, желая счастья ей в этой новой роли, а внуку — бабушкиного сердца и человеколюбия, тогда и он проживет наполненную смыслом и радостью жизнь».* (У дочери Ирины родился сынок Витя).

Шестой автограф — на книге «Избранное», вышедшей в 1977 году в изд. «Молодая гвардия». Вот что написал мне Виктор Петрович:

«Дорогой Мане — с неизменной любовью и уважением, с надеждой подарить в скором времени не только «Избранное», а все пять томов сразу! Будь здорова, спокойна — вдогон «Царь-рыбе».

Седьмой автограф я получила на книге «Царь-рыба», удостоенной Государственной премии России им. М. Горького. 1977 год, «Сов. Россия».

«Дорогой Мане — сердечно! — написал он мне и добавил: — С бабьим днем тебя! Пусть сбудется все, что намечено на этот год и скорее будет весна, и здорова будь. А резвости дети и внуки добавят. Твой Витя».

Восьмой автограф — на книге «Мальчик в белой рубашке». Виктор Петрович мне написал: *«Маня! Эту новую книгу дарю тебе, как всегда, с любовью и благодарностью, ведь тут столько твоего труда! Не хворай и будет все хорошо. С благодарностью — Виктор!»*

Девятый. «Очень мне дорогую книгу — дорогой Мане. Мой, всё еще падающий лист, надеюсь, что он еще озарит не один день своим несгораемым светом. Как всегда, благодарю за помощь и радость совместной работы». («Падение листа»).

Десятый. «Дорогая Маня! — написал на книге «Последний поклон», вышедшей в 1989 году, на книге, которую и он, и я любим всем сердцем. — Книга еще не окончена, значит, и я живу, и тебе жить велю, и тебе работа будет. Авось не скоро набреду на последнюю тропку, на которую вывела и отправила меня в жизнь моя бедная мама. Мама пока не зовет к себе, Ирина не торопит под березы, детишки малы и надо жить и работать, пока есть силы. Спасибо еще раз за помощь и стойкость. Кланяюсь и целую — вечно твой Витя». 1989 год.

Одиннадцатый автограф на первом томе первого собрания сочинений.

«Дорогой Мане — Марии Семеновне, супруге моей — первый автограф на первом томе Первого собрания сочинений, до которого я и не мечтал дожить, но с ее помощью вот дожил... Кланяюсь. Люблю. Благодарю!» 1979 год.

Двенадцатый. «Дорогой жене — Марии Семеновне — на добрую память мою книгу, в которой много и ее бессонных ночей, труда и боли. Наверное, лучше мне уж ничего не писать, ибо жизнь не повторяется, а в этой книге вся моя лучшая часть жизни».

Тринадцатый. «Дорогой Мане, которая очень и очень много сделала, чтобы эта книга сформировалась и увидела свет». Этот автограф Виктор Петрович написал мне на книге «Посох памяти».

Четырнадцатый. «Дорогая Маня! Дарю тебе этот овсянский цветок на 8 Марта, а сердце овсянское уже давно тебе подарено! С началом еще одной весны! Здоровья, сил для нас всех и терпения». («Медвежья кровь», 1990 год).

Пятнадцатый. «Дорогая Маня! Эта книга напоминает нам об Александре Николаевиче Макарове — об одном из прекраснейших людей, встретившихся на нашем счастливом на друзей и добрых знакомых пути. Да не будет им конца!» («Зрячий посох»).

Шестнадцатый. *«Мане моей — рыбку, пойманную на Вологодчине под ее чутким и хозяйственным руководством.*

Беспартийный автор и бросивший рыбалку рыбак».

Семнадцатый. *«Родной Мане мой портрет и книгу на все времена и доброе здоровье».* («Тихая птица») 1991 год.

Восемнадцатый. *«Дорогая Маня! С любовью и благодарностью ставлю эти свои каракули на этом томе, до которого Бог дал нам дожить, и повторяю за Великим поэтом: «Прости, в чем были и не были виноват»... Храни тебя Господь!»* 1991 год.

Я не специально подбирала книги Виктора Петровича с его автографами, подаренные мне в разные годы нашей жизни. В общей сложности подаренных мне книг много, русских и не русских, и пока я жива, буду беречь их, как собственную душу, возможно, в минуты светлые или печальные, когда я в здравии или когда забрезжат где-то, как бы на горизонте, мои земные сроки, и я пожелаю, если смогу, с нежностью и благодарностью с теми и с тем, кого и что любила, — наглядеться напоследок или сказать, чего не сказала, хотя горячо того хотела в добрые времена, как, к примеру, поступил мой муж, сообщив мне в письме, из далеской дали о том, чего хотел бы мне сказать в наш сегодняшний торжественный день — 45 лет совместной жизни — по телефону, но связь до Красноярска дошла, а до квартиры «не допустили», мол, не отвечают, а по времени-то — 11 часов вечера, когда внучка уж спит, внук сидит за книжкой, а я доглаживаю белье — как же мы могли бы не ответить?! Ну да что теперь — не соединили так не соединили. А написал он вот что:

«А тебе, Маня, в сегодняшний наш торжественный день хочу повторить то, что собирался сказать по телефону, — я тебя люблю больше всех людей на свете! Желаю, чтобы ты была всегда с нами и терпела нас, сколько возможно. Ложусь спать, думая о тебе и ребятишках. Целую всех вас. Ваш — твой муж, и ребятам дед — дедушка и муж!..»

Еще давно, еще из Перми я вынужденно уезжала на две недели в санаторий. Прошла неделя, и мне вручают телеграмму! Я чуть не умерла от мысли: «Дома случилась беда». Дрожащими руками разворачиваю и читаю... «Где вехотка? (мочалка). Две недели не моемся! Виктор».

А баня, в которой продавались в ту пору и веники, и мочалки, и другое, — через дом от нас, да вот купить не дога-

дался!.. С ним, с Виктором Петровичем, бывало такое и раньше, да и теперь случается (как со всеми). Увидела на своем просторном письменном столе на середине лежит чистый лист бумаги, на нем, тоже посередке приклеена маленькая, пожелтевшая уже вырезка из какой-то газетки. Над нею крупными буквами написано:

«ТОРЖЕСТВУЙ, МАНЯ!»

А в подзаголовке над заметкой: «Если ты — левша». В заметочке той сказано: «Ученые подсчитали, что левши составляют примерно 6% от числа жителей нашей планеты. Известно так же, что левшами были такие знаменитые люди, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, римский император Тиберий, актер и режиссер Чарли Чаплин и многие другие. В некоторых странах, учитывая эту физическую особенность граждан, выпускают даже специальные «левосторонние товары».

Я раз прочитала, другой, и в этот момент заходят к нам всегда желанные друзья, муж с женой. Пока чай кипел, пока на стол накрывала, гости уже о чем-то разговаривали. Я взяла заметку-листок и попросила внимания, и после Чаплина, замыкающего список, прочитала и свою фамилию. Виктор Петрович, сверкнув зрячим глазом, уставился на меня:

— Где это ты вычитала?!

— Да вот, — показываю я вырезку.

Виктор Петрович выхватил у меня листок, перечитал заметку и, сбитый с толку, снова ко мне:

— Ну где?!

Я сказала, что газетка, видать, давнишняя, и вот забыли написать, но я на самом деле чистокровная левша и, значит... тоже знаменитость.

— Какая?!

— Так я же твоя жена, ты уж давно — знаменитость, известный миру писатель. Значит, и я — знаменитость. Вот и все!

Или вот: дело было перед женским праздником, а Виктор Петрович отвечал в очередной раз на вопросы в какой-то анкете, но дело это ему надоело, и он в заключение написал: «Марья моя стирает кальсоны, кормит семейство, мне же надоело и без того ежедневное писание. Скажите спасибо, что столько наотвечал...»

И тут же подумал, что Марье ведь придется чего-то дарить и достал из стола красивую записную книжечку, корочка расписана под Палеха, открыл первую страничку, а на ней тоже вопросы, и он стал заполнять:

Фамилия — АСТАФЬЕВА, имя — МАРИЯ, отчество — СЕМЕНОВНА.

Местожительство — ЗЕМЛЯ, адрес — СИБИРЬ, телефон домашний — ПОЧТИ НЕ РАБОТАЕТ, место работы — КУХНЯ.

Телефон служебный — У ОЛЬГИ СЕМЕНОВНЫ (лечащий врач).

Паспорт, серия — не различить от частого пользования, страховой полис — 000000000000; сберегательная книжка — В СТОЛЕ.

Группа крови — РУССКАЯ, КРАСНАЯ; резус-фактор — ПОКА НИЧЕ.

Скорая помощь — САМА ПРИЕДЕТ.

При пожаре: ЗВОНИТЬ В МИЛИЦИЮ ГЕННАДИЮ ИВАНОВИЧУ ШЕСТАКОВУ — милиционеру и ЯРОШЕВСКОЙ.

В заключение поздравляю с началом весны! С праздником! Здоровья будь!

ЗАПОЛНИЛ КРАСНОАРМЕЕЦ АСТАФЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ.

В заключение

Н.А. Некрасов

Я не люблю иронии твоей,
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим,
— Нам рано предаваться ей!

Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно,
Ревнивые тревоги и мечты
— Не торопи развязки неизбежной!

И без того она недалеко:
Кипим сильнее, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска...
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны...

СОДЕРЖАНИЕ

I. Урал	7
II. Вологда	200
III. Сибирь	304

КОРЯКИНА-АСТАФЬЕВА

Мария Семеновна



Редактор В.И. Ермаков

Художественный редактор Г.В. Соколова

Художник Е.Б. Юринский

Технический редактор А.Г. Малышева

Корректор В.П. Васильева

Диапозитивы изготовил А.Б. Журавлев

ИБ № 2105

Сдано в набор 19.11.93. Подписано к печати 16.02.94. Формат 84х108 1/32.
Бум. газетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,16. Усл.
кр.-отг. 21. Уч.-изд. л. 22,62. Тираж 10 000 экз. Заказ 304 "С" 005.

Красноярское книжное издательство, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 98.

Отпечатано ПИК "Офсет", 660049, г. Красноярск, ул. Республики, 51.

не в церкви.

Сколько, если я сейчас
выскажу на меняющую (и)
рою, а тебе не даю
только у меня семья с
младшей дочкой Кармен
ее, хотя А. М. говори
сказать я кричу все
еще. Это русские
мне кричат, а сам, эти
свои русские братья и
дети, а также и с
дочками и сыновьями. Я
и жалею себя: «Таня и
Саша, я говорю, что
не работаю по этому

